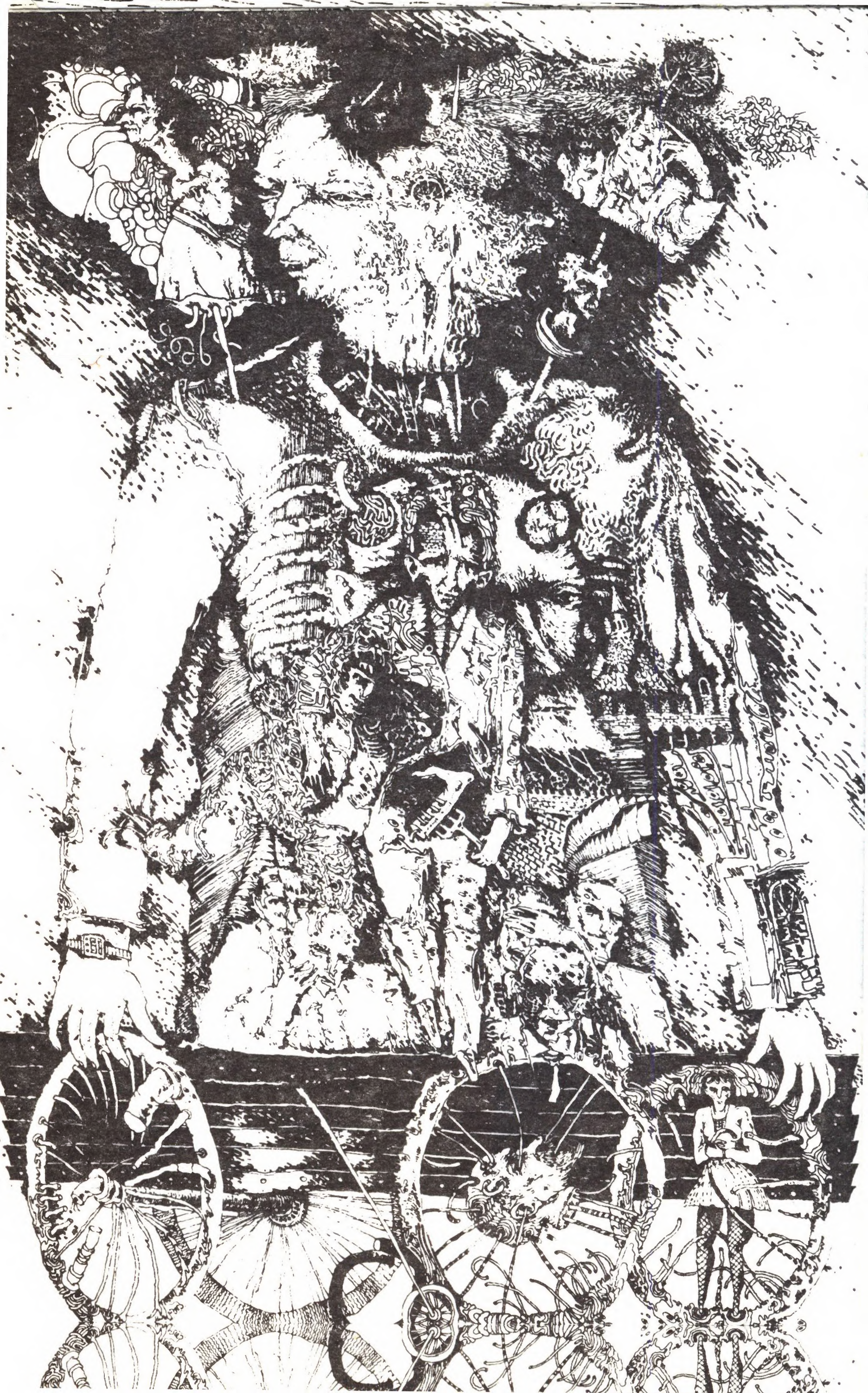
СЛАВКО ЯНЕВСКИЙ

МИРАКЛИ

СЛАВКО ЯНЕВСКИЙ

„Коснись меня, Господи,
бесплотной рукой,
научи, что есть человек,
а что – крыса.
Есть Ты, меня бы не было,
нет Тебя, я – живой труп,
вместо молитвы – брань."

МИРАКЛИ



СЛАВКО ЯНЕВСКИЙ

МИРАКЛИ

Роман-трилогия

Перевод с македонского Н. Смирновой

Издание осуществлено при финансовом участии фирмы "СИТКО"

Москва

"Радуга"

1990

ББК 84.4Ю
Я60

Предисловие *Вячеслава Вс. ИВАНОВА*
Редактор *Р. ГРЕЦКАЯ*
Художник *Ю. ЦВЕТАЕВ*

Яневский С.
Я60 **Миракли**: Роман-трилогия./Пер. с макед. Н. Смирновой; Предисл. В. В. Иванова; Художник Ю. Цветаев. – М.: Радуга, 1990. – 464 с.

Славко Яневский – известный югославский писатель и поэт, член Македонской академии наук и искусств, лауреат союзных и республиканских премий.

Трилогия ("Легионы святого Адофониса", "Песье распятие", "В ожидании чумы"), отмеченная премией М. Крлежи, – философская притча-метафора из жизни некоего условного села Кукулино периода средневековья. Конкретное и условное одновременно, оно символически емко отразило в своей истории все грани трудной судьбы Македонии. В романе присутствует необходимая атрибутика жанра – кровавые битвы, личная отвага, монашеские кельи, предательство, месть и любовь.

Я $\frac{4703010100-425}{030(01)-90}$ 23–90

ББК 84.4Ю
И (Югосл)

ISBN 5-05-002567-2

О МАГИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ СЛАВКО ЯНЕВСКОГО

Открывая эту книгу, читатель попадает в необычный образный мир – югославский писатель Славко Яневский создает собственную поэтическую вселенную, населяя ее самыми разнообразными, причудливыми и непривычными персонажами, восходящими к мифологии балканских народов и давним христианским поверьям.

Книга необычна даже на фоне того, что называют магическим или фантастическим реализмом. В ней соединяется набор местных преданий и образы, рожденные прихотливой фантазией то ли самого автора, то ли его персонажей. Монологи упыря-мертвеца, помнящего прошлое и будущее, перемежаются диковинными видениями монахов. Иные из символов принадлежат к числу тех, которые нынешняя наука называет архетипическими: таковы предания об исполинской руке, внезапно поднимающейся из земли, или об исполинском оке. Подобные образы есть в самых разных древних и новых мифологических традициях. Но в предлагаемой вниманию читателей книге есть очень много отраженных поверий и легенд, которые могли возникнуть только в описываемых автором краях. Все прошлое Македонии в переплетении с судьбой Балкан, по-своему преломленное античное греческое наследие, особенности православных верований в их взаимодействии с не угасшим совсем язычеством составляют основу эпизодов, способных поразить читателя, впервые знакомящегося с этим удивительным и странным миром.

Наиболее выразительная особенность этого мира – то, что и образы народной демонологии, и видения монахов, томимых подавленными страстями, погружены в кошмарные и тягостные восприятия разрастающегося человеческого тела, становящегося чуть ли не главным субъектом мифов, собранных в книге. Тело это чаще всего уродливо, страдает каким-то дефектом, недостачей или избытком (то глаз не хватает, то мясо обглодано крысами), но, и даже когда оно вдруг покажется прекрасным, это кратковременное наваждение: за телом женщины просвечивает наславший ее злой дух или человечек, а то и эмбрион, в ней таящийся. Это колыхание плоти охватывает не только человека, но и зверей (сколько страшного и чудовищного в книге только о крысах), и растения. Природа кишит духами и призраками, любое животное и человек может вдруг оказаться их временным пристанищем.

Весьма занимательны отношения автора и главных героев его трилогии со временем. Сознающие себя мертвецы помнят то, что с ними было много веков назад. В обрывках перед нами мелькает история Македонии и сопредельных стран (в том числе и Руси) на протяжении веков. Легенды и связанные с ними

персонажи окутывают селение Кукулино, превращая его в таинственное обиталище вечности. Старцы, собирающиеся на совет, кажутся чуть ли не ровесниками мироздания. Оттого не только время, но и пространство повествования начинают выглядеть по-иному.

Я совсем не уверен в том, что поверья и россказни, которыми полна книга, соответствуют реальным верованиям, когда-то бытовавшим в Македонии. Куда важнее другое: автор в духе всей новейшей европейской прозы рядом с описываемым миром строит другой, воображаемый, который для иных его героев становится едва ли не гораздо более реальным. Это двоякое существование персонажей одновременно в небольшом селе, крепости и монастыре неподалеку от него и в фантастических образах можно считать большой стилистической удачей писателя.

Иной раз повторение мотивов, особенно кошмарных и тягостных (те же полчища крыс, одолевающих людей), может показаться нарочитым и назойливым, тем более что натуралистические подробности, возможно, и оттолкнут читателя. Но поэтика книги вся рассчитана на изобилие, в ней всего много: мифов, покойников, призраков, соблазнительных женщин и монахов, готовых поддаться соблазну. Автор словно не доверяет первому впечатлению и спешит усилить и закрепить его неоднократными повторами.

Книга удивительно органична. Упыри и злые духи растут в ней, как деревья и травы. Подлинное ощущение природы, напоившее книгу поэзией, оправдывает и самые будоражащие душу описания омерзительных выходок нечисти. Разумеется, и по отношению к "Мираклям", как и ко многим другим показательным произведениям художественной литературы нашего века, можно задаться вопросом: почему – даже при описании монахов, отшельников и святых – такой перевес получают воплощения местного или мертвого зла? Литература XX века в большой мере обращена к изображению мелких бесов или настоящего черта. Это объединяет Запад и Восток, Сологуба и Булгакова, Томаса Манна и Акутагаву. В этот ряд произведений, воспроизводящих "пузыри земли" (слова из "Макбета", поставленные Блоком эпиграфом к его стихам на эту тему), встала и эта книга с ее колдовской и дивной поэзией.

Читателю предстоит сложное и не совсем привычное чтение, хотя книга не нуждается в доскональном разъяснении, растолковании. Она требует от самого читателя работы мысли. И чувства тоже. И пусть, ведомый этими двумя наставниками, отправится он в многотрудное и познавательное путешествие по страницам богатейшего жизнеописания, предлагаемого ему Славко Яневским, писателем-мыслителем.

Вячеслав Вс. Иванов

К СОВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

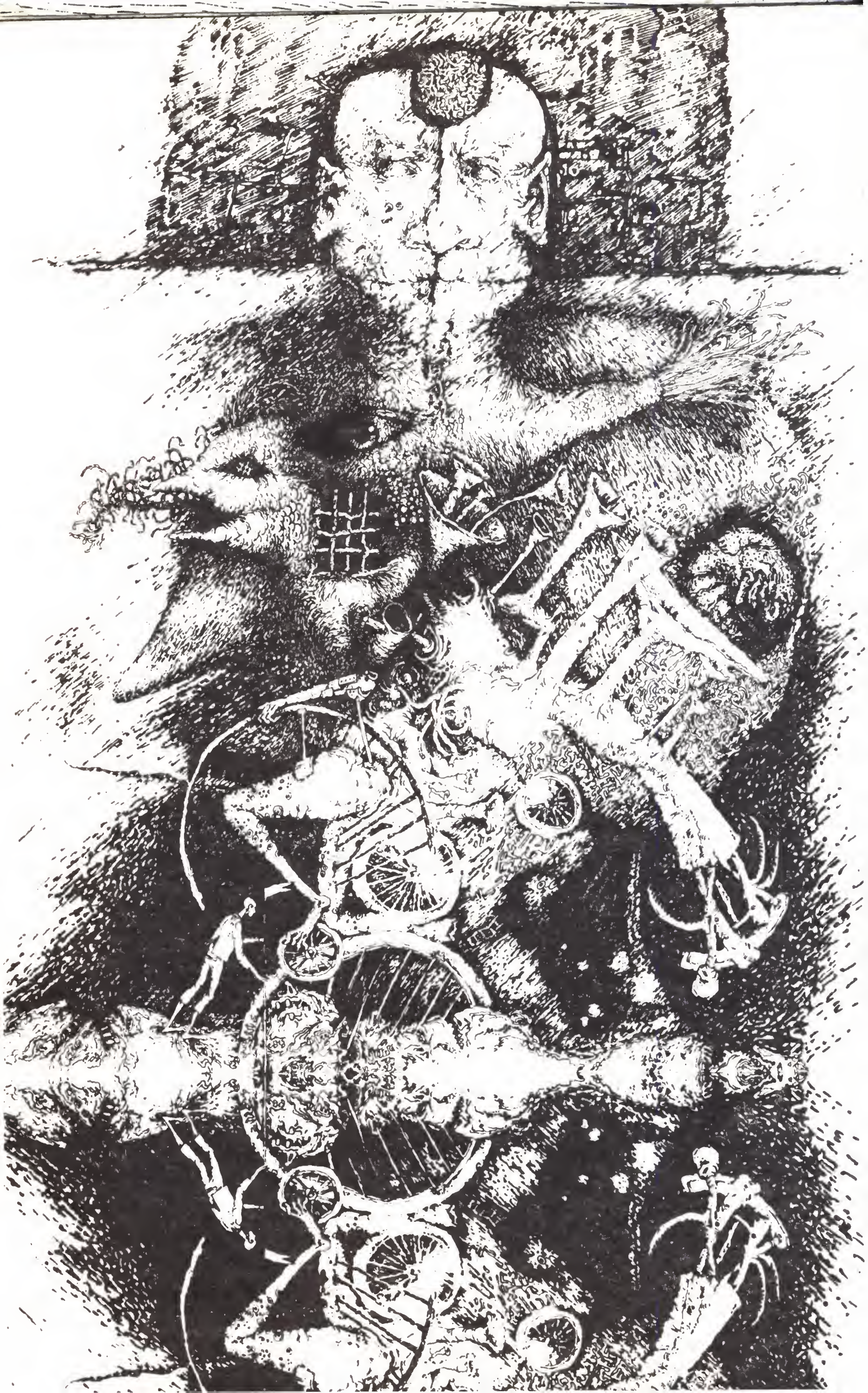
Мы не знакомы лично. Сегодня связь между нами с помощью издательства "Радуга" осуществляется через трех грамматиков и их записи в "Мираклях", через этих грешных святых и благословенных проклятых из прошлого.

Этот текст я пишу в гостинице, расположенной неподалеку от храма Василия Блаженного, столь привлекательного места для грез и поэзии. Я проездом в этом городе – значит, у меня мало времени, чтобы объяснить все то, что предстоит тебе прочитать.

События, описанные в книге, состоящей из трех частей, лишь часть большой хроники. Она начинается романом "Девять веков Керубина" (701–1596) и заканчивается "Рулеткой с семью цифрами" (2096). Между этими двумя книгами – романы "Легионы святого Адофониса", "Песье распятие" и "В ожидании чумы" (XIV век), сразу же за ними – "Чудотворцы" (XVIII век), "Упрямцы" (XIX век) и "Марево" (XX век). Место действия на протяжении всех четырнадцати веков – Кукулино, село в Македонии... на Балканах... на третьем адовом дне, где человеческой надежде только снится спокойствие, такое недостижимое. Предлагаемая советскому читателю трилогия представляет собой неразделимое целое, она объединена с другими романами общими героями и событиями – и все же достаточно самостоятельна, чтобы иметь право на жизнь в собственной Вселенной, среди мрака и блеска молний.

Доверительно скажу: сотни и сотни ночей пробирался я по коридорам времени к истокам истины. Известно, что бывают моменты, когда автор живет и умирает вместе со своими героями. Было такое и у меня. Более двадцати лет создавал я этот опус. Стоило ли делать это – оценивать другим. Одним судьей будешь и ты, читатель. Я желаю тебе всего самого наилучшего.

Написано в Москве, ноябрьским днем, двадцатым по счету, в год 1989.



ЛЕГИОНЫ СВЯТОГО АДОФОНИСА

ЛЕГИОНИТЕ НА СВЕТИ АДОФОНИС

Помню ли, знаю ли, как подвигся я на воспоминания, подобающие тени вроде меня, – вот вопрос. Одно знаю: себя разыскиваю и нахожу в годах минувших, в коих ветры пустынь песком замели все подступы к воспоминаньям. Я их раскапываю.

Назад тому сотню лет – а я тогда был в живых – не верилось мне в воскресающих мертвецов. Я про них и не ведал. До того дня, вернее, до той ночи, которую я провел в мертвом городе. Не важно теперь название города, как не важны и имена двух благочестивых паломников, взявших меня с собой на радение. Весь день шли мы под раскаленным солнцем к неясной цели, покуда, жаждущие, с потрескавшимися губами, не добрались до развалин – без имени, без зелени, без людей. В песке средь руин неуклюже пошатывалась дикая сука со стрелой в хребтине, оставляя за собой сгустки крови. Удалялась, ощетиненная и задышливая, с высунутым языком. При первом же наплыве тьмы она исчезла, внезапно, будто провалилась в песок. Те двое, приведшие меня поглядеть на чудо, стояли неподвижно и немо. Так же стоял и я, когда узрел, как среди развалин, из ямины ли, из песка ли, подымается некто, отродившийся от своей смерти, высохший и зеленый в лунном зловещем свете. Слышно было его тяжелое дыхание: прогнившее нутро наверняка забито песком. И все же он двинулся на отверделых ногах по кровавому следу. Слепой и тени под собой не имеющий, сыскал беспогрешно горбатую суку, задыхаясь склонился и высосал из нее кровь. Я чувствовал себя вовлеченным в

действо, от которого рассудку несдобровать. Паломники пытались меня удержать, не пустить к упырю – он возвращался на свое прежнее место. Не ходи, испуганно молили они. Удержать не сумели, я, неведомо чего ради, мчался уже к тому, без тени. Оказавшись перед ним, обомлел, но не отступил. Он вытянул ко мне руки, я взмахнул ножом. Нож прошел сквозь его пустоту. Еще раз взмахнул и не устоял на ногах. Пал без памяти.

Открыв глаза, я увидел паломников, удалявшихся с поспешением. Кликнул их слабым голосом, просил помочь, не бросать меня тут немощного. Один из них, на ходу обернувшись, вымолвил: "Ты не смел на него поднимать руки. С этой ночи станешь ты тем, кем был он от веку".

Столетие пролегло с проклятой ночи. И не ведомо, стал ли я вампиром тогда или пришел таким в мертвый город после смерти своей, когда Растимир коварный выдолбил для моего надгробья на белой плите:

Костяк и Борчило
и раб божий при том

смерть мати черная
не берет

боже всеблагий
помилуй

скорбью движима кровь
по застывшим жилам

Те, из земли:
Возьми заступ, зарой меня.

Я, Борчило:
Скорбь тебя обо мне одолеет,
Возьми заступ, зарой меня.

ПЕСНЬ ТЛЕНА

1

РОЖДЕСТВО СМЕРТИ

Я восстал из могилы после стольких десятилетий.

В тот день, обильный гусеницами и одуванчиками, жаркий, высушивший нивы, заявился в Кукулино прорицатель, некий Русе по кличке Кускуле-Недомерок, желтый и коренастый – под стать своему прозванию. Было лето шесть тысяч восемьсот тринадцатое, душное и сухое. К прорицателю выскочил из двуколки человек с плешью во все темя, с бородой зато столь окладистой, что разбойнику или игумену впору: глаза белесые, взор прилипчив, на груди малый крест из потемневшего серебра. "Предскажи мне что-нибудь, Русе", – промолвил он. Прорицатель запечалился. "Предскажу, только ты осерчаешь. В воскресенье тебя зароют". "С чего это мне помирать? – побелел сельчанин. – Ты даже имени моего не знаешь, да в воскресенье еще", – теперь и губы у него дрожали. "Знаю я твое имя, ты ведь Деспот, а? Так вот, Деспот, пухом тебе земля", – и он набожно прикрыл глаза. "Не мне, а тебе, вещун!" – вскричал Деспот, выхватил из груженной сеном двуколки косу и замахнулся. Прорицатель, и понять не успев, что и как, пал со взрезанным горлом. А через три дня, в воскресенье, явились из города на конях трое судей да шестеро стражников с мечами и по закону царскому злодея повесили.

Русе Кускуле встал из могилы. Видели его – с головой в руках – на башне старой порушенной крепости. Враки. В Кукулине один только и есть сбежавший от смерти, я, Борчило, живой труп в мертвой крепости. Три года люди крестились и верили, что срезанная вампирова голова злобно скалит зубы на месяц. Уверяли даже, будто и Деспот повампирился. Ступая неслышно, шастает по гумнам, косит тени острыми и быстрыми взмахами – бешеный совсем, как при жизни, в вампирах стал вдвое бешеней, беда тому, кто под косу ему подвернется.

На следующее лето в день поминовения вдова Стамена подступала к старенькому и хворому могильщику Живе, чтоб он мужа ее Деспота из земли выкопал и в сердце бы ему забил осиновый кол. "Мое дело зарывать, – отшамкивался Живе. – Сама его искапывай да пробивай". Его мучили зубы, от бессонницы взялись кровью глаза, отчего походили на две медные денежки, вытертые и тусклые. Грушеподобная голова держалась на тонкой морщинистой шее, выступавшей из се-

рой рваной рубахи. Обеими руками отпихивал он от себя Стамену, видать, усатая ее образина страшила его куда более, чем вампиры, ткавшие для села саван из лунных нитей. Постанывал про себя. Зубная боль отдавалась в ушах и каждой жилке. ”Да слышь ты, малоумный копальщик, – зашлась от злости Стамена. – Он по ночам шастает, давит кур у меня, он или Русе Кускуле. Видел его мой сын, Зафир Средгорник, и не только он”.

С вампирами никто связываться не решался, да и не было особой охоты. Не хотелось людям кольями забивать свои сказки. ”Матери только б выдумывать, – смеялся Зафир Средгорник. – У нас и кур-то нету”.

А Живе себе могилы не выкопал. Упокоился на несколько недель раньше Стамены, и погребли обоих под молитвы отца Киприяна, монаха не очень старого из монастыря Святого Никиты, начатого и недостроенного на прогалинке, где когда-то стояла церковка, возведенная в честь святителя, чье имя и не поминается – не перед всяким склоняется Кукулино. Мертвые покрывались забвением, подходили свадьбы и праздники, лозы и яблони тяжелели плодами, а безбрежная синь небес – звездами. Овдовев, Фиде, урожденный Деспотом и Стаменой, сызнова жениться не пожелал. Из скарба своего кое-что продал, а кое-что подарил старшему брату Зафиру и отправился в город, не сказавшись зачем. Провожать его никто не ходил, зато потянулись за ним нити слухов – бежит, мол, потому как боится повампирившегося родителя; или: отомстить надумал судьям, сказнившим его отца; или: подался в разбойники, как Деспот в молодости, перед тем как переселиться сюда из далекого – день и ночь верхового пути – села Бижанцы.

В то время никому и не снилось, что будет.

Я предсказывал себе и про себя. Человек и тень три столетия, я рожден в лето шесть тысяч шестьсот семидесятое, в день третий после третьего круга луны и солнца, лет за двадцать до падения Андроника Комнина Византийского, когда бездорожьем и по виа Игнация нахлынули норманны и подрезали корень его царства. Может, я чуть моложе или чуть старше, теперь мне уже не вспомнить. Все прошлое столетие изжито мною и десятки лет до того, когда умирали венценосцы Филипп Швабский, Вацлав Чешский, Иоанн Безземельный, Альфонс Кастильский, Балдуин Фландрский, Калоян Болгарский. Я бражничал и бился до крови в пору рождения, владычества или смерти Фердинанда Кастильского, Генриха из Сицилии, Стефана Уроша, Ивана Асена, Теодора Ласкариса, Александра

Невского, Михаила Палеолога. Я пережил Чингисхана и царство его от берегов Желтого моря до Каспия, и крестоносца Фридриха II, проклятого папой Григорием и освобожденного от святых угроз после победы креста в Иерусалиме.

В тот год, когда крепкие жилистые монголы одолели на Калке православие и его князей, по нашим пределам наступал конец богомильскому непокорству перед силою живой и мертвой, и в городке неподалеку от Кукулина крохотная церквушка Богородицы Троеручицы стала прибежищем для убогих с их богохвальными псалмами. В то самое время здешний вельможа Растимир заколол брата своего двуродного Лота – покарал за ученолюбие грамотея и звездочета, геометра, алхимика, ритора, травщика и знахаря. Я тогда был и жив и молод. Это теперь я вечный старец и вечный покойник, злоокий призрак, веститель бед, поражений, болезней, напастей, а может, провидец, распевающий псалмы победителю – здешнему человеку, из-под горного чернолесья.

Никто не предчувствовал. И все же случилось.

Дни, пепельные и обгорелые, каменели на пути в неведомое, среди лесов залегло серое марево. Села по эту сторону Вардара словно повисли в дыму, на соломенных и плиточных кровлях каменели голуби. И звук становился камнем. Листья орешника утратили цвет, серые под серым небом. Ни восхода, ни солнечного заката. Ни полдня. Время без знамений, умом не растолковать. Обессиленность жизни, затаившейся над землей: не ночь и не день, млечная лиловатость.

Гляжу и молчу. Обучен грамоте, записываю на высушенной и просоленной овечьей шкуре. В лето шесть тысяч восемьсот шестнадцатое писание мое – мой голос. Я – Борчило, странник из столетья в столетье, живые меня считают за мертвого и потому разбегаются, мертвые тоже не принимают. Одни грозятся колом, другие прячутся. Вампир? Не знаю. Ни дома, ни могилы. В своей коже мне слишком студено, согреться бы в земле. А земля, как камень под пеплом, злобствует, не отворяется.

На западе, над порушенной и запустелой крепостью, где я умираю без смерти, большое серое облако стало походить на дохлую суку с обвислыми и высохшими сосцами. Дождь – далекое воспоминание. И без огня обратятся в пепел хлеба. Под пустыми колосьями продырявленная лисья шкурка. Ночью я выпил кровь из зверька, оглодал, и вот теперь в морде его ищет пристанища моль. Казалось, пределы эти, не богомильские уже, но и не царские, попали в рабство к чуме, желтозубому чудищу с челюстями, размалывающими кость и камень.

Пророки предсказывают – только сбудется ли, а я, грешный, предсказываю без огреха. Мое имя может быть – Предсказание.

В горной пещере зарождалась смерть. Точнее, она распрямлялась на камне, когда поспешением божьим вылуплялись из водяного плодника дождевой червь и человек, а до того клен и улитка. Теперь возникало ее второе обличье. Без запоздалого близнеца смерть не имела сил на грядущую великую жатву. Время, как от подскока, двинулось вспять, подобно потоку, истребляющему собственное течение: выпьет его до дна и оставит за собой пустоту, сухой песок.

И явилась тогда клубом свернутая, раскаленная и узловатая, шелестящая, страхоносная, искристая, горьковато-обжигающая на вкус и на ощупь, синюшная, прóклятая, нежданная, горбатая и пузатая, похожая на искушение, а пуще всего угрожающая, злая и подвижная молния. Пала с ясного высока и, как разбухшая, но проворная гусеница, пронеслась по обильным полям и по убогим полоскам. Осушила ручей. Ударила в ветхие стены крепости, раз и другой. Оставила запах горелого лишая и эхо своего рева, а еще – скорбь опламененного овна. Посеяла тени по задымленным комьям и сгинула, призрачная и прозрачная, расплылась, став корчью в корче разодранной утробы, привидение или бестия неземная, живописцам не сыскать ей ни имени, ни подобия, и обличье ее не помянется в писаниях после меня.

Только единожды в молодости, во времена Первого Стефана, владетеля над людьми и горами – а он пребывает в скелетах уже более ста лет, – видывал я такое. Клубок змеевидных молний прокатился тогда тут и исчез за пастбищами. В то лето появились козлята с четырьмя и шестью рожками, посинело молоко у рожениц, лютые полевые старухи с саранчу ростом выжрали весь ячмень, семеро потеряли слух и зрение, тронулись друг за другом к болотному богу – и там среди водяниц с бородами, увитыми водорослями и головастиками, оставили гнить свои кости. Земля расселась. В черные трещины можно было видеть кости мертвецов из неисчислимых столетий. Можно. Но видевший их превращался в пень – ревел от боли, когда топор попадал в сучок.

И следующее лето было злым. Из семян вместо ржи и пшеницы поднимались травы, гибкие и живучие, словно рогатые змеи. От их касания по-змеиному скидывалась кожа. Маялись болью великой псы и скотина. Морды каменели, не принимали жвачку. И снова семеро пошли в объятия к водяницам с

грудями, увязанными петлей в ожидании утопленников.

В третье лето после чуда сего я сделался прозорливцем. Перед сбором винограда предсказал, что на Богоявление выйдут из утробы четыре младенца мужеска пола. Так и сталось. Четыре горстки живой плоти утопили, точно щенят, в нижнем конце ручья, и с той поры на Богоявление ночами слышится оттуда волчий вой. Не можно было безумье остановить: хоть и младенцы, хоть и без ясных ликов, но от герани-травы повелись, за то и кара.

А ныне земля от удара молнии собралась морщинами. В морщинах тех угадывались столетья. Спалив вместе с кладбищенским терном и вязами кости усопших, молния воротилась к небесной суке, или нырнула в колодец, или покатилась к Городу – сеять трупы людей и животных. Оставшиеся – воины, продавцы зелья и магии, тати, травщики, грамотеи либо мошенники – всякого наплетут через мгновение ли, через годы, а назавтра все обратится в прах, все станут прахом и забвением после последнего вздоха. Без сомнения, ни звездочеты, ни травоверы не знали – то ли время ринулось к исконным своим чародействам, то ли заспешило к будущим, определенным судьбой для грядущих столетий. Многих словно вынули из-под гнета: кожа горит, глаза лезут из обруча кровавых век – превращаются в головешки, в пепел. Это они. А я предчувствую: полыхнут плоды, и здешние и те, из заморских стран добытые Филипповым Александром. Не осталось в деревьях ни гусениц, ни тени.

Бык. Шерсть синевой искрится. Во лбу прозвездь из белых шерстин. Бурый. Взревел, натужно и дико, из копыт извлекая рев, из жил, из нутра, с неслыханной болью, и я вторил ему, ведь не бывало такого, чтоб без огня раскалилась скотина, чтоб улеглась, вытянув отверделые ноги, а перед тем выпустила в землю кровь – согреть корень крапивный и семя малины. Буйно разрастутся по весне фиалка с пузырником. Но не желтым цветом покроются, не лиловым – процветут кроваво.

Рев громадного быка в небеса ударил рогами, в горы и в стены крепости. Долетел до бога. Побежали внуки мои или правнуки – не видавшие меня, не слыхавшие – и нашли его мертвоглазого. Племенной бык превратился в горстку костей и спаленной кожи на сухой соломе – деяние бесплотного бога, себя принесшего в жертву во славу свою. Новым объятые страхом, позабыли люди повампирившихся Русе Кускуле и Деспота.

Даль была темной и синей: темное серело, синее наливалось кровью. Горит и сгорает земля, горят небеса, вылижет их пла-

мень, и нет от него спасения. Тает облако, и цедятся капли воска, летят прозрачные голуби с плачем в клювах. Под Синей Скалой, где ютятся призраки и отшельники, появляется из земли исполинская рука, персты ее – суковатые дубовые стебли. Крик – за дубравой, где Песье Распятие. Предупреждает. Но кого и о чем – не понять.

В кануны священнодейств неведомо, что творится в пределах, недоступных оку непрозорливых. Мне ведомо, но некому рассказать. Вещанье мое ни до кого не доходит. Беды и напасти безмерные собираются над Кукулином. Может, такое было в тот день, когда церковь Богородицы Троеручицы сподобилась изображения жути: жабья голова с рогом, в пасти вместо зубов орлиные клювы, руки десятипалые и на каждом пальце змеиная голова, нетопырьи крылья и горб, а ноги – черные, в струпьях. Ныне это святилище стало пеплом и лишь один помнит его свидетель – я.

Сижу в темноте и смеюсь, оскал мой похож на плач. Ежели я в живых, то уж слишком долго, не хочет расступиться земля, словно покойники придерживают ее изнутри за кожу, за травяные корни. Ежели в мертвых, странно, почему я не прах. Однажды, многие и многие десятилетья назад, вроде бы варили кутью на помин раба божьего Борчилы, любившего вино, битвы и женщин. Узнавшего теперь о рождении второй смерти в темных ризах. Смерть эта страшнее той перворожденной, за тысячи и тысячи и тысячи лет до моего писания.

Вот, письмена оставляю на выбеленной овечьей коже. Прочтут потомки, и я им буду ровесник. А считают меня за мертвого. Хорошо. Был такой Борчило Грамматик. И есть. И будет. Мертвый? Живой? Все равно. Его писание – он сам, я, проклятое черное зерно в черной мельнице.

Дочавкаю голыми деснами летучую мышь, напьюсь дождевой воды, оставшейся от тех дней, когда цвел миндаль, и дам себе роздых. Надежда, что некий милостивец забьет мне в ребра осиновый кол, потеряна. Живым заказано ступать в этот замок призраков, глухая его пустота звоном отдается лишь во мне, ибо я полый – букашка, высохшая и страшная, раздави – не останется мокрого места. Костяк с рассудком. Стервятники разбегаются с криком, почуявши мой тлен. А ведь и вправду сбудется – новая смерть кинет жизнь на червивую трапезу, разделает на куски, станет рвать, пожирать и огладывать, брюхо ее переварит и камень.

Предрекаю – ответа нет, а наступает страшное – кровь обретает умысел.

2

КРЫСЫ

Я таращусь со стен крепости, из которой разбежались вурдалаки, прислеживаю, слушаю дали.

После долгого безмолвия, струями истекавшего из ниоткуда в никуда, кто-то запел. Потом, когда плотный голос умолк, собрались на важный сход все старички – сельские старейшины вокруг набольшего своего, Серафима. Давно уж позабылось про его шашни с козой, покаянный, исповеданный и причащенный, он теперь Серафим Блаженный, вкушающий коренья да пахту. Собрались и ждали, когда же первый старейшина вылезет из невидимой скорлупы не то вялого сна, не то пророческих размышлений. Подняли ему веко, он учуял, услышал, даже нечто узрел, о чем не хотел говорить. Облекая смыслом свою жизнь, если так можно назвать старческое дожитие, изрек: ”Всему живому, от мала до велика, оставаться под кровлями, что-то будет”. Я подслушивал его тайны в черепе, притягивал их, как лужа притягивает солнце, чтобы оказалось оно в двух местах, на небесах и в воде. И понял я, что не знает он о рождении новой смерти, злобной губительницы, устремившейся к Кукулину. Бессилен он разглядеть страшную жницу живой плоти. Перекрестился. Дважды. До и после молитвы *Иже еси на небесех*. Потом призвал святителя своего Николу, да Никиту, да Никодима, всех троих разом, словно один святой мог обретаться в трех кожах и защищать на три стороны. Про четвертую, ту самую, откуда подступала смерть, он забыл. Прочие старички (самый старый моложе меня на семь десятилетий) прикладывались челом и устами к его деснице. Якобы прикладывались – лень было шевелиться, от мух даже отмахиваться перестали. Ничего в них не сохранилось от молодой ретивости, когда кусок обращается в силу, а глоток в неуемную дерзость. Но люди Кукулина верили им, выбрали их из множества своего править старшинство, блюсти порядок и справедливость, и они блюли.

А перед тем за две ночи по обыкновению голыми под луной плясали родильницы, терлись бедром о бедро, чтобы пролился дождь и родила земля. Обнаженные женские тела, разогретые истовой пляской, исходили золотой испариной. Со звезд низвергалась на них растопленная руда, стекала меж белых и налитых грудей, выпивала женскую молодость с плеч и податливого чрева. Заметались среди колосьев старушонки с саранчу

ростом, опьяненные запахом здоровой женской плоти, не чаяли живыми выбраться из потока. По прошествии сорока дней невинный отрок девяти годков зарезал освященным серпом черного щенка, опрыскал его полуночным молоком кобылицы. Отозвались на это невидимые лягушки, только дождь не пошел. Без пользы оказался и крестный ход с упованием на единого бога. Не получилось проку и из смеху достойного скакания по стерне босыми ступнями, как в киевской земле когда-то, – известно из старинных деяний времен Ярослава Мудрого, господина сотни церквей, меж коими золотой богиней блистала Святая София, пресветлая матерь всех красот, покуда не разрушили ее неистовые монголы во время великой резни в лето семьдесят пятое от моего рождения. Я встречал одного из подданных названного Ярослава. Не помню, где и когда. Он носил крест, серебряной нитью пришитый к голому телу. Предупреждение надобно предвидеть, поучал он. Всякий народ однажды сталкивается со своей погибелью.

Всякий народ, значит, и здешний, кукулинский.

Только старейшины все еще верили, что дожди придут. Нет и нет. Зато пришел Петкан кривоногий в накидке из медвежьей шкуры, не молодой, но и не столь старый, чтобы стать споспешником старейшинам, и не в меру болтливый. Варил и выцеживал сливы, а не был пьян, хоть и бранился вовсю и проклинал смерть: угнездилась-де в нем и отравляет кровь, до ночи не даст дожить, оно бы пускай, он-то свое пожил, только эта смерть, эта проклятая смерть все и всех истребляет на своем пути, ни птенца, ни дите не щадит, кто и как с ней выйдет на бой? Опасливо показал им пятку с кровяной печатью. "Зубы хищника. Здоровенной крысы", – промолвил и заохал. Шмыгал носом, глаза подпухли. Исходил луком и потом, верхняя губа раздвоенная, синеватая сысподу и влажная. Старики загрозились кулаками. Обругали. Хилыми руками вытолкали его из каморки старейшин, даже палку у него отобрали. "Хлеба дыханием запалить можно, – возмущались они, – а он смеха ради про каких-то крыс, издевается над многоразумием пречестного Серафима". А скольких горстей муки и масла стоило ему вчиниться внуком славного и горделивого сокольника Богосава, служившего у воеводы Растимира, когда Кукулино равнялось силой со Скупи, а Византия и царство Никейское под Ласкаресом и под Ватецом прославляли его воинственность? Петкан же ни с того ни с сего заявил, что ляжет вот здесь и подохнет и вернется к ним зубастым упырем. Уходя, оставил за собой несколько капель крови.

”Беги давай! – кричали ему вслед. – А как зубастым вернешься, всадим в тебя осиновый кол”.

Нашел его на чужом току родной сын Парамон, кряжистый парень, составленный из жил и костей. Нагнулся и вскинул на руки, точно сноп. И понес, окоченелого и поскуливающего. Вышагивал медленно, медленней тех, что бежали куда-то и почему-то. Не спешил. Не от устали или спеси. Просто такие, как он, не бегают, им на роду написано двигаться по прямой, зверь и могила убираются с их пути.

В каморку старейшин, сляпанную из соломы да глины, в прорезь, куда с трудом просовывалась голова, пробралась крыса. Дряхленькая, вылинявшая под бременем лет, похожая на самих старейшин. Сжалась за ларем с зерном. Следом явилась еще одна, побольше. Усохшие старички могли оказаться под кожухами и рубищем изо льна и шерсти и злолукавием, и смиренной скорбью. А были лишь тяжестью для своих костей. И – жили каким-то допотопным заветом, в мятеже повторений, с первого дня чудес: *Да будет свет* и *Да будет сумрак, мрак, ночь*. Почесывались неуклюже. От толики крови их сытно жилось вшам и блохам. В камне и в том больше оставалось предчувствий. Не единожды в жизни своей видывали их крысы и к ним вражды не питали. Один старейшина прихлебывал тюрю. Нити молока, свисавшие с губ, были не белей его бороды. Прочие, утешенные безмерно его ублаженностью, позабыли, зачем собрались. Вши отгоняли дрему. Дверь дубовую заложили засовом, никакой напасти сюда не прорваться, собой довольные, возлюбили смрад, не хотели его уступить миру, как и шелест своего дыхания. Ни за что. Никому ничем не обязаны, не станут никого оделять духом своим и усыпительным потом. Ни в кои веки. Они разумные и бережные.

Разумные? Сидят – круг полуживой плоти и трухлявых костей, мудрость им раскалила темя, покрыла постной бледностью лица. Руки дрожат от дряхлости, умаляются и чадят. Шевелятся зеленые и синие тени, посередке теплится огонек, возжегшийся сам собой. Припоминают чудеса апостольские и в союзе с ними, с апостолами, мнят себя сильными. Вдруг один отзывается то котом, то уткой. Маленький, похожий на отрока с прилепленной бородой. Серафим к нему оборачивается и покачивает головой. ”Молись, брат Мирон, а я присоединюсь”.

Стелется по селу бледный млечный туман, предвещая зной, что до времени прячется под комьями по оврагам. Кружит над развалившимися башнями шестиугольной крепости воронье, разлетается, испещряя небо живыми пятнами. В желтую ряби-

ну заплетается ветер, клонит ее, оставляет пригнутой. Мешаются шумы. Под ветром шуршит тростник в болотине. Есть такое место – Песье Распятие. За ним реденькая дубрава. В прелых пнях кто только не обитает – муравьи, черви, ужи. Посредине – большой сгнивший крест на собачьих костях: звериный Иисус, неведомо когда свалившийся со своего распятия. Десятилетьями полыхают кости на солнце, упрямятся перед стужей, отпугивая волчьи стаи и лохматых собратьев.

Селение не ведает своей судьбы и живет своей обычной жизнью, кто-то подтесывает соху, распевая во все горло. К нему подступает крыса. Наталкивается на камень и прячется.

А с чернолесья уже катятся живые волосатые комья. Селянин оставил недоделанную соху, распрямился. Стоял в нерешительности: угроза опасности его царапнула, хотя и не глубоко проникла.

Соломенная кровля над каморкой старейшин и без ветра ходила ходуном. Набегание шорохов словно возвращало старичкам сознание, снимало с глаз пелену. По обыкновению без усмеха ждали, когда набольший, Серафим-постник, отойдет от внутреннего омертвения. Корноухий, он казался разным – левым и правым. Ухо ему отгрызла свинья, еще в колыбели. Изувеченную сторону лица судьба украсила подкожным орехом омертвелого мяса, а веко оттянула до самого носа. Старцы сидели на можжевеловых треногах, опираясь ладонями на державки сокрушительных когда-то боевых секир, воздыхания и кожухи делали их как бы единой животиной, не способной уже возвратиться к солнцу и жизни. Я их жалел. Даже для меня они были слишком дряхлые, словно гробы задышливые со старческим мраком внутри.

Через трещины в потолке, сквозь прорезь в стене крысы норовили проникнуть в дома. Торопливо овладевали пространством, пытали возможность сделаться господами над людьми и над их скелетами.

Из Города воротился брат Зафира Фиде, пугало приволок для отгона призраков: деревянного страхолюда в черном балахоне. Горе его упокоенному родителю Деспоту, горе живым.

3

МОР

Одно мгновение – и вот он, мор.

За проселочной дорогой, неровной и пыльной, гигантским ужом протянувшейся вдоль реки Давидицы, спал в тени еже-

вичника нищий музыкант Арам. Нищие подобное имя носят нередко, но этот был Арам Побожник: головастый человечек, коряво приросший к земле – от выпитого вина из него пустились побеги, сцепившиеся с сухими травами. Он вздрогнул от мохнатого касания и пробудился. На распахнутой его груди сидела крыса, с лукавой затаенностью терла лапами морду, освобождая глаза от пыли и утомления. Один ее глаз был кровавым, другой золотым. Страхом изгоняя из себя страх, паука, опутывающего живую душу, нищий взвизгнул, отбросил от себя мразь ударом. Вскочил и завертелся на месте, сухой и длинный, босой, оборванный и вшивый, в глазах – человечья скорбь. Нагнулся за камнем и увидел, что это не камень – крыса, и еще одна повисла на его голом плече. Запрыгал, взревел, неуклюже помчался к рядку хилых яблоневых дерев, а там на него посыпались с веток мохнатые, хвостатые, скулящие плоды с острыми резцами на колючих мордах. Бежал с трудом, все тяжелее и тяжелее, живая броня клонила его к земле. Упал ничком со вскрытой утробой, и старейшие из преследователей принялись упитываться теплой его мякотью.

Их было двое в челне посреди болотины, в середине треугольника село – город – вода, в этом царстве пиявок и головастиков, рыб, цапель, тростников и не найденных под ряской утопленников, запаха гнили и жужжанья мошкары. Их было двое – изо всей силы ударявших веслами по кипящей воде и до боли в глотках вопивших от ужаса. Отец и сын, русоволосые, крепкие, бронзовые от солнца. Они отбивались в полную силу. Но смерть уже нельзя было отбить. Крысы подплывали густыми и быстрыми стаями и кидались на деревянный челн, жажда мяса и крови, жил и хрящей оплачивалась во имя природного равновесия тысячами их жизней, проплывая среди размозженных собратьев, они карабкались по бортам челна, набрасывались на людей. Живые гроздья на живых лозах. Под их натиском челн загрузал. Крики отца и сына слабели. Превратившись в сплошную кровавую рану с выставленными на солнце костями, они чувствовали, что сердца их долго не выдержат. Один бросился в воду, став кораблем и трапезой. Надумал занырнуть в теплую бочажину и дышать сквозь тростинку. Крысы вцепились в него, тащили. Он всплыл с оголенным черепом, свесившим кровавый язык. Оставшийся в челне отец обратился в месиво без души.

В Кукулине сгущались запахи – звериная моча, кровь, припаленная шерсть, – отовсюду находили шумы и страхи, не восполняя друг друга, сплетались в перенапряжение желто-серого

дня, выпускали щупальца и побеги, ужасали землю и небеса, втягивались и снова вздымались в корчах, и неведомо было, где вытье и лай, где плач и гневливый вскрик, а где гимн апокалипсического искушения. И старики и дети чувствовали под языком горьковатую желчь, прежде чем огложет их исчадие ада.

До глубин, до самого корня жизни проникает страх. Иное нечто, под названием "конец", того глубже. Меж тем в продолжение вздоха все каменело – ни трепета, ни возглашения, исчез свет и исчезла тень, плоть не ощущает огня и укусов не ощущает, опреснела под языком кровь. Но жизнь не может стать вселенским осадком: после долгого смирения пугающе зашатались деревья – то бились о стволы обезумевшие козлы. Неохотно отрекаясь от любви к небесам, пало дерево. Из прогнившего корня вывернулась слепенькая змея и забилась под мраморную голову македонского или римского воина. С жадностью выпив из себя зелень, горный можжевельник съежился и опаленно темнел, обращаясь в собственный призрак. Трещинами пошла земля в великом сражении видов за жизненное пространство.

Кого ты выбираешь себе, земля, – чадо-человека или чадо-зверя, с ревом вопрошал я из крепости, в ярости кусая себе пальцы, и не мог улечься и выпрямиться не мог. Такой же раб неизвестности, как и другие, но со свободным прошлым, трудным и недоступным ни для человека, ни для крысы.

Я ревел надсадно, в пустоте громко трещали кости. Только я, один-одинешенек, слушаю собственный рев и корчусь от желания помочь, хотя бессилен, – я не знаю чар и в чары не верю. Затягиваюсь паутиной отчаяния и машу руками, суставы издают угрожающий скрип. Старость превратила меня в гору, прорезала проточину за проточиной, избороздила морщинами, и все равно я злость и бессилие, а не всемогущий волшебник и избавитель, способный испепелить крысиную нечисть, мохнатые и злозубые легионы, выславшие в Кукулино искусных лазутчиков, перед покорением мира, разобщенного поясами воды, кладбищенскими межами, тенью и светом. И злобой.

Вдруг мне все показалось сном: подо мною село с кровлями из соломы и плит, теплый ветер доносит запах горячего хлеба. Я – спазм за крепостной бойницей, с закрытыми глазами считаю в себе мгновения, словно жду, когда пройдет страшный сон. Час или два, не знаю. И без молитвы – сон, постылый, короткий, кошмарный, проклятый сон; сопутник старости. Вампиру иначе не полагается, по ту сторону жизни не видится иных

снов. Открываю глаза и высовываюсь в бойницу, единственное окно мое в жизнь и в мир.

Я надумал себя обмануть, будто сплю, но судьбы селения не отменил, судьбы и страха людей, пропащего моего племени, испокон века подверженного разноликому злу и украшенного шишками, набиваемыми изнутри – под черепом.

За безрядьем было не уследить, и прежде, до нашествия крысиного, случались невозможные вещи. Песенники, бородатые жнецы и драные виноделы, гончары, тележники, бондари, кожевники, рыбаки, оружейники и кузнецы, а с ними охотники, травщики, плуты, дезертиры, бездельники, грабители со шрамами по лицам и без оных, мечтатели, постники, маги словно остолбенели. Клубом свитая молния ослепила их. Внуки когда-то славных, а то коварных и алчных вельможьих щитоносцев, сокольников, стрелков, ткачей, поваров, конюхов, знахарей, блудников или пленников шарахались без ума и разума, сталкивались друг с другом и – диво дивное – пытались войти в дома сквозь стены, разбивали лбы, но, заарканенные собственными тенями, вновь принимались за свои безуспешные попытки. Крысы их караулили вдалеке. Точнее – главные силы. Лазутчики уже вцеплялись в лохмотья и в тела. В жутком вопле кто-то запел, выковыривая песнь из душевной мути. Другие, обезумев, призывали Невидимого. И в корчах бежали, падали с удолженными лицами в дикий овес. Поднимались и опять бежали, потные, похожие на веретена, увитые багровыми прядями. Иные перед смертью делались по́стой.

Крысы брали приступом третий дом. Сперва накинулись на молодку Борянку Йонову, недавно разродившуюся, из грудей ее брызнуло водянистое синее молоко. Белая и сильнорукая, с плечами, способными уместить двоих, она защищала цвет своей любви – колыбель. И муж ее, Андон, головней и криками отстаивал то, что принадлежало ему по праву, – потомство, достояние, жизнь. Псы покинули их, запертая скотина, одичав, дырявила себя рогами. Не знала, как защититься. Мычание, налетая на преграды, возвращалось, чтобы их укрыть и придушить боль, и еще было оно каким-никаким протестом против гибели и молитвой за упокоенных Йоновых – Борянку и мужа ее Андона, здоровых и молодых до сего проклятого дня.

Укусы снимали с глаз чары клубчатой молнии. Возвращали людей в жизнь, дабы оглоданными предать смерти. Только имени ни у кого не было. Взметенные вихрем страха, желтые
 и окровавленные, русоволосые или русобородые, катались с

визгом в пыли. Являли громождение узлов: человек и зверь, борода и лапы, овес колючий и женское горло, боль и огонь. Из пенистого и кровавого крутева выплетался серебряный след вытекших глаз, пиявиц, присосавшихся к свету, а избавления не возвещалось, и вскипал разум: отныне у земли новый будет хозяин, не человек, — когтистый, волосатый, зубастый, и мольбищем его станет череп, и домом — груда костей, и зори и цветения отойдут к нему, и воды, и облака, и тихие закаты осенние над каштанами и над скалами с горными куропатками. И завтрашняя девственность снега.

Падет, без сомнения, падет дождь на пепел. А в жилах не будет влаги в отзыв священнодейству.

4

И ЧАРЫ И КРЕСТ И...

Страх. Вверху темное солнце, внизу темные люди и белые тени.

Ни сном, ни явью не назовешь — хвост увяз в отошедшем мгновении, а щупальца, ногти, зубы пребывают в следующем, по имени "сейчас" и без ясного "завтра".

Скорбь глядеть побелевшими глазами и открывать, что свет — всего лишь сгущение тьмы. Этот день, и если бы только этот, для меня такой, будто я заключен в гробницу, а целый мир превратился в склеп. А не так. Над землей я и тоскую по гробу, по плите, что прикроет мне кости, извещая, кем был я, кем мог быть когда-то, пять, шесть, восемь десятилетий или целое столетье назад, далекий от этого дня и черных его страхов. Не знаю, может статься, я тень праха, над чьей позабытостью натянута нить сознания, две нити, а на них очи бессмертия. Эти очи — мое наказание, проклятые и злые, а может, злы они от проклятья, определившего их в свидетели жути, навалившейся на горемычное становище Кукулино. Вздрагиваю. Выдираюсь из высохшей скорлупы. Все обман, рычу про себя, и делаюсь откликом своего рыка. Обман, обман, обман возвращает мне глубина моей боли и обманывает меня, закапывает в паутину новых обманов. Обманы переплетаются в узел, во множество узлов, увязавших жилы моей хилой плоти и нити сознания. Я и вправду вампир устрашенный, затаивший ужас пред другими вампирами, не теми, что обитают в сельских сказаниях и изгоняются луком, крестом и низкой высушенных петушьих головок над дверью, а совсем иными,

воистину погибельными и кошмарными. И впрямь...

...И впрямь, нахлынули ураганом, лавиной, потопом. Еще страшнее. Крысиные лазутчики загрызли рыбарей – отца и сына, да пьяного бродягу со свирелью за поясом, да кое-кого из людей и скотины. Главная сила ждала. И дождалась, проклятая. Ибо только проклятие могло стать ей благословением.

Не могу сейчас изъяснить, что-то мне застилает взор, но вдали, за болотиной, я увидел их властелина. Он стоял на своей распрямленной тени – ни человек, ни крыса, нечто смутное, наподобие сгущенного чада, словно призрак огромной гусеницы, без лица и многоголовый: извивается, то полый, то в облике огромной пасти, извергающей брань и повеления – голосом пекла. И знал я, что воевода сей, злобный и темный, имеет имя, и не иное какое, а – Адофонис, вокруг него никли и засыхали деревья моей юности, испарялась озерная вода и на дно уходили рыбьи пузыри, лопались пиявки и умирал тростниковый корень.

Мне хотелось, раз уж я и впрямь прозорлив, разглядеть его лик, око, морщинку мельчайшую, чтоб продраться сквозь нее в глубь его умысла и намеренья – таит ли он что-то в себе и подсчитывает ли мертвецов, которых оставляет за собой и вокруг себя. Он был без брони, поколыхивался прозрачный. Но черное пятно его сердца отбивало время, миг за мигом, не слишком быстро и не слишком медленно, дабы поверилось, что близкий конец – часть боли и тяготы людей из грядущего, не этих, еще живых, возле крепости. Обличьем он походил на человека, только по стану его, мутноватому и неуловимому, отворялись как бы малые челюсти с тысячами зубов, острых и несломливых, способных глодать сплетения жил, корень и камень. Из крысиного воеводы испустился дым, метнулся, завихряясь, вернулся ожившей тенью и сотворил из себя крысу со страшным веприным горбом, на коем восседала нагая женщина. Бедра ее подрагивали, предвещая сладострастие, чреватое безумием и проклятьем. И вдруг, будто оборвался кошмарный сон, прозрачность крысы и женщины сгустилась в корявый пень, затянутый грибной слизью. А потом ничего, даже пня не стало. Только голая, потрескавшаяся земля без побегов и корней, без муравьиных лабиринтов, без дыханья крота или барсука.

Небеса охнули и провисли мехами под тяжестью горя. Лопнули, выцеживая из себя зной. Тотчас из трещин земных, неведомо с какого или которого дна, после придушенных громыханий, с рассветом (или с сумерками, не важно когда, и время

можно вывернуть, как кожух) прихлынули тени. Они ширились, собирались наплывом, разрывались и склеивались снова и двигались шелестящей шкурой, не сосчитать зубов, хвостов и – на каждую пядь по горбу. Мор. Погибель. Пред таким завоевателем никому будущего не ухранить. По земле, давно не тронутой ветром, проходила ожившая мгла с красными и зелеными искрами, двигалась крысиная рать. Чем ее остановишь – чарами или крестом?

Колдовка из местных, кривошеяя Яглика, выбравшись из своих кожухов, направилась на гумно поворожить над клоком волос троекратной вдовицы. Запалила волосы в роге для волшбы, доставленном из-за моря, заголосила. Распевала пискляво и размахивала руками с неуклюжестью взлетающей цапли. Лицо бледное, сильные округлые скулы под большими глазами – видать, когда-то была красавицей. Впустую, хоть на себе волосы запали. Темное месиво, волокнистое, серое и пузырчатое, прошло сквозь нее, оставив один скелет с куском потрохов под ребрами. Появился человек с крестом, сухой и высокий, – Ангел. Шаг неверный. И молитвы его, и глаза – две ямы без жизни – выказывали безумца. "Вы были наши целители, – молвил он, – души наши освободили от скверны, истребили идолопоклонников и скотину паршивую и с ними прочую нечисть, а теперь возвращайтесь в свой мрак, оставайтесь в межах своей черной скинии, мы же вас воспрославим, первенца новорожденного вашим именем наречем".

И молитель, изнутри подпекаемый пламенем своей, и только своей веры, умолк. В Кукулино вступали орды, племя, пред коим могила осыпалась в могилу. Одолевали силой и натиском, и неведомо было, пустошь остается за ними или – из моей бойницы не углядеть – оживает камень, обрастая зубами и шерстью. И все другое рядом с камнем: дернина и пень, даже тени, до того недвижимые.

Кошки, грузные и хладноокие, иные с морских прибрежий, ленивые ловцы ящерок и мышей, устремились к Городу, к городу татей и богомольцев, славян, иудеев, латинян, что торговал с ромейскими городами и самой Рашкой, а еще пьянствовал, блудодействовал, маялся или пел, испарялся от мерзостей и молитв, сытый и голодный, бездельный и работящий, с укрытыми златницами и злодеяниями; он и во сне не видел, что ждет его, когда Кукулино станет могильником, катапультой, которая заметнет беду прямо в его содомскую душу, и разойдется она по всем царствам и покроет их язвами неисцелимыми, и не спасет от них ни снадобье девятитравное, ни прах

звездного камня, ни черепашья кровь. Ни магия далеких земель, населенных полудиким людом, ни крест из дерева от гроба Господня, из тех краев, где растут смоквы и библейская мандрагора. Ни щит, ни меч. Ничего, ничего, ничего.

"Огнем, – надоумил кто-то. – Отобьемся огнем". Это сипел Парамон. И родитель его Петкан – трехлетний ребенок помочился ему на кровавую пятку, чтоб крысиный укус не оставил отравы, и он ожил. Их крики были слышны за горами. Отец и сын, два голоса в одном взреве, обещали избавление и надежду, что победа останется за человеком. Но голоса людей до старейшин не доходили. Малоумие старцев заставило меня дважды выблевать себя, всего – от костей до гроба. Старичье вопрошало, кто пропитывает монахов. И отвечало само себе: мы, преподобные отцы, вас пропитываем, наши нивы. "Позвать их, пусть распятием разгонят сброд", – бормотал Серафим одноухий. И тотчас вопросил, а кто же поит вампиров. "Кровь наших снох да сыновей, благородный старейшина", – напомнили ему. "Позвать их, – вскричал он, – не то завтра, без нас, они вдругорядь вчинятся мертвецами под плитами!" Умно покачивали головами, на самом же деле – полоумели, гнили, чернели. Крысы, очутившиеся в каморке с заложенной дубовой дверью, попрятались в тень, бессильные выбраться отсюда и пристать к ордам, к великой оргии. Слишком были стары, чтоб вскарабкаться по глинобитной стене и пролезть в трещинку под крышей.

Тех, что рождались, Деспотом более не нарекали. Ни одна женщина не хотела кормить вампира.

5

...И ОГОНЬ

Старейшины не спрашивали, как войти в сообщество с монахами и вампирами. Припомнилось одному, что то ли среди монахов, то ли среди вампиров есть у него родня, дядя по отцу – Макарий, или Монахий, или Манасий – имя он позабыл, и, может, не по отцу вовсе, а по матери, игумен. Теперь вот, в полночь, сидит он на груше-дереве и прикидывает на пальцах, как им помочь. Тут самый старый, Серафим, признался – надумал жениться, достаток есть, вот только колченогую не возьмет, он и сам хромой да без уха; а снилась ему такая грудастая, что соху грудями впору волочить по камню.

 На селе про старцев никто и не вспоминал. Бегали стрем-

глав с топорами, рубили можжевельник и вязы, поджигали ежевичник и несжатые хлеба, целые запряжки бросали в пламя. Некоторые обгорали, зато помирали с выгодой – подсобрав тепла на вечный подземный холод. Меж тем верхний край кукулинский не устоял. По кочкам и по кустам живым потоком хлынули крысы, потеснили сельчан. Ударили неуемной силой на защитный огненный пояс. Кукулинцы сгустились в пламени. Самый сильный из всех, Тимофей, зубастый парень, внук не знаю какого моего внука, верховодил – головней поджигал вороха хвороста и сухие бревна. Пошатнулись крепостные стены, от чада потемнел день. Но заслоны из запаленных дерев, пней, дверей, зыбок, столов, бочек, двуколок, хомутов, сох, седел не удерживали напора крыс. Чумоносители бросались в огонь с писком, звериным и человечьим, принимали пламень на свои горбы, свертывались в клубок, обожженные и ощеренные, горели и обугливались, а по ним проходила вторая косматая волна и тоже кидалась на огненную окову, дабы обеспечить рати, идущей следом, проход к сердцу Кукулина и дальше, к Городу, к жилищам около Города, к морю, до самого Киттима, до неведомых земель.

Где-то, в другом селе, ударили колокола. Сперва малый – голосом молодой борзой, причуявшей лисью норку, ему ржаво отозвался колокол побольше, вслед за ними самый больший, старый и строгий, не будоражащий, но смиряющий смуту. Звон мешался, возносился ввысь, ширился, напоминал о забытых праздниках и библейских мучениках. И в горах и на равнине почитались эти колокола. Верили, что в полой бронзе живут голоса прадедов, тех, что переселились сюда из Склавинии и покорялись сперва Перуну, а затем покорствовали Христу. Некогда живший Лот, Magister artium liberalium, частенько говаривал, что, как только им крест не в помогу, они делают заворот назад, к своим стареньким племенным богам. Меж тем колокола перестали молить. Теперь они лаяли по-собачьи. У двух больших звук на низах прерывался, а маленький с писком зарывался в самые небеса. Упорствовал. И треснул, смиряясь. Остался лишь хриплый лай двух других, а может, смутная воющая молитва за упокой душ и живых и мертвых, за упокой малого пса с языком заглохшим в бронзовой голодной утробе.

А крысы набегали со всех сторон. Словно их притягивал адский дым и колеблющиеся завитки огня. Словно в пекле освобождались от подступавшего мужского семени и женской истомы. Не было у них ни семени, ни истомы, распложались и днем и ночью, с подвизгом заскакивали друг на друга, убывало се-

мя, и набухали сосцы – яровитые, как никогда, воздвигали царство свое.

Вокруг Кукулина – прислеживаю краешком глаза – трепещет зной, не отступая, но и не сливаясь с огнем. Живет себе село собственное житие, что не имеет ни начала, ни конца, ни середины, как кольцо, как звено цепи, затянувшийся писк с кончиком хвоста в челюстях, – вывернется, подобно змее, из кожи и снова в кольцо, сцепившись с омертвелым звеном. Вон оно, змеей свернутое кольцо, без голоса и дыхания, словно круг замкнулся кончиной мира, – земля и жизнь в объятиях смерти. Э-э-э, возносятся крики, у-у-у, отзываются небеса, о-о-о, стонет камень или судьбина под камнем. Растревоженные голоса – отходная жизни, вопль плоти, прощальный крик нерожденных. И снова, призрачно и пискляво, а-а-а – голос, где мешаются ужас и удивление, и-и-и – грозная и жутковатая свадебная песнь, умиранье привенчалось к мертвой надежде, что есть у жизни мерная поступь, что не оборвется она концом негаданным и внезапным. Э-а-у, и-о-э, о-у-а, бьют неясные вскрики в стены проклятой крепости, сотрясают ее, крушат. Но она не обрушится – мне отказано в быстрой смерти, в мертвой воле, в упокоении. А-э-у, у-и-о, гласные без смысла, мертвый язык неживых людей, исторгнутая молитва будущих мертвецов. Откликаются горы, возвращает голоса болото, бьется в корчах село. Отяжелевшие небеса опираются на столбы из чада, по ним к внеземному пеклу карабкается человечья мука и падает обратно в этот ад, что рядом со мной, на земле.

Пламя перекинулось и за Давидицу – речку, по-летнему мелкую и с песчаным дном. На ее журчание наслаивался мшистый дым. Горел ивняк, горели тутовые деревья, горел камень. Все румянилось и чернело. Крысы с пламенеющими, как короны, спинами походили на стяги, обрамленные синевой, с проворством необычайным искали они избавления в копнах сена, забивались под соломенные кровли сараев. Все горело. Умирали в огне цикламены, их былая и будущая лиловость. Завтра выпрыснутся из пепла сморщенные грибы сморчки. Выжившие будут заливать их кизиловой ракией и медом. За грибами вылезут одуванчики, салат, лебеда, а по весне – красноголовый конский щавель. Но пока что мужчины и женщины слепли, становились незрячими от чада и искр. И все же узрели: из своей развалюхи выскочил знахарь Максим – ожерелье из волчьих зубов на тощей, не шире женской руки, шее, метлы в воздетых руках, в вывернутом кожухе. С сокровенными молитвами на устах заспешил к дьявольскому отродью – одна нога бо-

сая, длинные бабьи волосы, глаза как два сдвинутых ореха. Увидевшие его вознадеялись. Но остались без утешения. Знахарь полыхнул словно сам собою. Живым факелом. Подскочил раз или два. И только. Упал, поднялся, опять упал и опять поднялся, но реки не достиг. Лег, обугленный, и смирился. С ним умерла его магия. Погибли Кирилко, один из старейшин (чая спастись в колодце), и недоучка живописец Викентий (сгорел), и бондарь, и седельщик. И еще: Канон (в огне), жена его Фросия и сын Угрин (оглоданы), и Размо, дядя молодого Тимофея, и канатчик Владимир, и старуха Божьянка, и внучка ее Донка, да те двое рыбаков перед ними, да нищий, да колдовка и знахарь, да еще другие. Их смерть была быстрее моего Евангелия. А вот и я – упираюсь коленями в камень, без бога на челе, без могилы, – я, аскирит смерти, пропади я пропадом.

Деревянное пугало от вампиров стало пеплом. Фиде поклялся, что добудет другое. А Русе Кускуле и Деспот под землею испепелились.

6

ТРИ НЕОТПЕТЫХ ПРИШЕЛЬЦА

На устах человека проклятие, спасение в его руках.

Но уста пусты и сухи – разверсты. Не требуют хлеба. Руки защищают право на жизнь. До скончания жизни и духа жизни, субстанции или материи, по сказанному в посланиях патриарха константинопольского Иоанна Златоуста из Антиохии, в торжественные дни его боговенчания.

Волны крыс, ослепленных чадом и искрами, гроздьями кидались в шелестящее пламя. Становились грудой угля и чуть погодя пеплом. С их шкурой, челюстями, глотками, потрохами сгорала чума. Но вновь и вновь взнимались они из песка и тени. И тут явился на них сакс, переселенец из Эрделии, великан в белых ресницах, Голиаф с душою Давида. Тайна божия, как его занесло в Кукулино из кратиского рудника. Очутился на коне средь крысиных роев, чтобы кидать на них свои чары и спастись от страха. Рослый и осанистый, на шее впору телка усыплять, волосы и борода до пупа, вспененный, как и конь его в пестрой узде, с зыком поднимал он в руке блистающий меч. Воинственная кровь прадедов возжаждала подвига. Под копытами неистового коня в тени мертвой акации сделалась мутная каша из крови и шерсти, она источала смрад, словно действо совершалось в чреве вселенского зверя. Сакс натянул

поводья и издал клич на своем языке, но гнедой, ходивший кругами, слабел, все больше погружаясь в бесформенную трясину.

В схватке с таким недругом неустрашимость – всего лишь лихорадка ума, а может, нечто иное – любовная игра безумия и смерти, блажной выплеск крови перед могилой.

Сакс, кельт, угр, германец, далекий внук Одоакра, завоевателя старого Рима, кесаря Оттона, Фридриха Барбароссы – глуби мифа, человек-конь, кентавр, двуглавость, зверь и человек, тождество и единение со смертью. К нему уже мчался с головней человечек, Денисий Тончев, хотел ему стать со-ратником и со-смертником, братом-трупом, это живые особятся меж собой, а мертвые, будь то саксы или славяне, – трупы. Без лица и без числа своих лет, человечек не имел второй жизни. Было имя, хотя и его не стало. Обессилевший и ослепший от дыма, поддавшись отчаянью и перекинувшись на сторону смерти, он упал, свалился наземь, лицом в головню. Полыхнул, превращаясь в костер из своих волос, приподнялся, хотел сбежать от огня, взмахнул руками, словно жаркоголовый петух, но не взлетел – конь его на скаку стоптал передними ногами, упокоил в день, что дольше столетия, в миг, что дольше самого долгого дня. Неспешно и незаметно на круп коня взобралась крыса и, скрививши голову, отыскала зубами жилу. Лизнула извилистую нитку крови и порвала – не выткать из нее мертвецкого савана. Конь заржал, однако не перекрыл криков всадника. И все же словно бы их прикрыл, придушил в призрачном и кровавом плясе. Сакс поднял над головой меч, дабы все-таки, хоть и ложно, оказать себя победителем. Вздыбился потный конь, тщась стряхнуть крысу и всадника. Другая крыса, помельче, уже совала голову в конскую ноздрю. Искала мрака и крови, другие взбирались по ногам животного. Их не задерживала броня: грызли и рвали жилы, прокусывая меж ребер доступ к горячим мышцам и крови. Добирались до всадника. Сакс от ног до макушки покрылся крысами, хоть и рвал их с себя с клочьями собственной кожи и мяса.

И словно канул в живую топь, в дьявольскую жижу, из которой не пробиться ни голоду, ни надежде; заплутавшийся средь балканской жути Зигфрид ткнулся лбом в конскую гриву и таял, упадая в клокочущем зеве. Только раз вскинулась из взбаламученного месива рука, ухватила верезжащую тварь и раздавила могучим сдавом, а сам он сник в трясине – для грез о нибелунговом кладе, о сапфирах и аметистах, яшме,
 сардониксе, смарагдах, топазах, и еще о сельской красавице,

в ночь перед крысиной напастью согревавшей ему своим телом ладони. Он не грезил. И та красавица тоже, Донка, Божьянкина внучка, – не праздновать ей рождения сакса-славянина, хотя чаялось ей выносить в чреве чадо – германского корня поросль, да со славянским сердцем – и наречь его именем пришельца: Людвиг.

Нынче. Завтра. Никогда. Ни после Судного дня.

А вокруг, пока Тимофей, на шаг опередив Парамона, на быстром скаку ухватил меч саксонца и столь же быстро, не дав крысе в себя вцепиться, вернулся к третьему огневому кольцу (два уже пробиты), темное отродье давилось в собственной крови и желчи и восставало из безобличия. Тут вознесся голос о послании божием на сей день. Молитву словно из бороды своей выпрядал скиталец Христов, добравшийся по бездорожью от высокогорной обители Полихрона до этих серых и суровых мест, набитых нечестивцами и дикими кабанами. Подбодрял себя Устиян Златоуст. Во имя спасения мира и креста. Палкой выпрямившись под рясой, ворочал он отяжелевшим языком, как хмельной. За ним на расстоянии, нужном для почитания и довольном для поучения, шумно подскакивал послушник с заушницей под конопляной повязкой, пропитанной оливковым маслом, медом и сосновой смолой. Являли собой чудо, разгоняющее чудеса, но крысы, если и признавали богов, покорялись только своим. Послушник же, чуть повыше ростом, но в поступи не столь твердый, как первый, хрипло молил святителя в драной рясе проклясть бестий и вкаменить их. Вера, выстраданная отреченьем и постом, таяла. Старший, в упорстве своем подобный саксу, сущий кряж из твердого мяса и бороды, грохотал, окруженный большими и малыми сивомордыми крысами, бил их тяжелым серебряным крестом, сдирал с рясы и с кожи, защищая от укусов плоть свою, жилистую и святую. Не дольше, чем сакс. Его настигали новые орды и одолевали. Крысиный бог был сильнее бога священника и послушника, двух мучеников с обезумевшими глазами. Выкрики старика звучали уже не по-славянски, может, то был вседержитель, распевающий псалмы на трех языках – славянском, латинском и иудейском, – потом все слилось в протяженные гласные – а-и-у-о, о-у-а-е, е-о-и-а, в честь каждой из двух голов Доброзлого.

Заметно стало, что земля словно всколебалась и сделалась крутой. Оба они, один слишком старый, чтобы сохранить и высловить случившееся, другой слишком мягкий и молодой, чтоб уразуметь великое зло – впрочем, концом конца и не ура-

зумеешь, – как-то мирно, чуть ли не торжествующе покорились, плотью своей привлекая спешащие со всех сторон полчища. И в смерти, если то была смерть, отбивались, особенно старец. Их могил не осталось. И жил на шее и на руках.

Двое или трое кричали им что-то с плоской крыши. Устиян Златоуст пребывал на месте, в вечности, смерть мостом перекинулась к другой жизни, но послушник с кровоточащими ушами и пальцами добрался, шатаясь, до осмоленной бочки, приподнял ее и залез внутрь – укрылся. "Господи! – вскричал он. – Не дай меня. Я твой покорный Андроник Ромей". Чуть только крысы подступили к бочке, Тимофей бросил в них головню. Бочку охватил огненный обруч, качнул ее, сдвинул и покатил, ноги Андроника выступали из нее, как из отверделой ризы. Шаг, подскок, шаг, еще подскок – и конец. Бочка не достигла реки, вильнула, задымленная, в сторону и покатилась по крысам к беспомощному Тимофею. Обгорелые ноги Андроника Ромея смирились. Гора крыс улеглась могильным курганом над монахом Устияном Златоустом и его послушником.

Ушли, словно и не бывали. Пенится, покрывает останки их вал кошмара, стирает даже тени; не возносится ввысь молитва, утешение небес не доходит до них. Их нет. Никто, склонившись набожно над причастным вином, не помянет их, над могилой, которой нет, не разрастется герань. Какими были, с каким ликом, что за тайну крыли глаза их? Мне не удержать от них ничего, не ведавшие обо мне, расплываются в моем сознании, – забвенность, поглотившая Кукулино и крепость с живой тенью. Если и впрямь я живу по второму разу, стоило бы ухмыльнуться. С какой стати мне их оплакивать? Я был тем же, чем были они миг назад, а теперь они, и сакс и угодники божии, стали, как и я, упокойники. Встречусь с ними в магическом кругу невозможного. Как бы не так, и во сне не встречусь. Подымаю руки, скидываю паутину с ресниц. Ищу их. И впрямь ухмыляюсь. Борчило, проклятый прокаженник, расширь руки, пролети сквозь прорезь, сделанную для вельможьих стрельцов, грянься оземь, стань им оглоданным сотоварищем, не побрезгуют на крысиной трапезе и вампиром.

Стою. Не ухмыляюсь. Коли решусь на такое, рот мой расползется лучами, останусь до корней зубов голым, изнутри посинелым, черным, разъятым, тлелым, грудой костей и червей, вот они, всползают уже на меня и в меня, располагаясь живыми созвездьями в адской вселенной моей скорлупы.

 Днем. А ночью... Малые, темные, ушастые и хохотливые

твари, брюшко к брюшку спускались с серной части небес по веревке, выплетенной из волокон родителя их Сатанаила, и шастали по селу, протискивались в двери, переваливались через пороги, залезали к женщинам под одеяло: высасывали рожениц, а девицам вылизывали ступни, затыкали косматыми лапами ноздри старухам. И мужчинам чинили лихо: дыханием своим палили бороды, выцеживали семя у молодых, приманивая во сне белотелым теплом, сотворенным из теней; старикам подымали веки и терли солью глаза. И вот уже преставилась стужей упокоенная Василица Гошева, Серафимова сноха, богомолка, три года не встававшая с тюфяка. И побелели глаза у Галчо, старичка-старейшины, с рыбьей чешуей по лбу и рукам, похожего на огонек лампадный, что гаснет от дыхания младенца. И ринулись чада Сатанаиловы через ограды в загоны, от них разбегались псы, а овцы сбивались в кучу. И выслал к ним Сатанаил, их родитель, аггела своего с козьей мордой напитывать детищ своих комьями серы и напаивать отравной угриной кровью, дабы стали они еще неистовей, прославляя имя его скверностями неслыханными, от коих даже деревья застонут. И взобраться пытались на ветхие стены крепости, и унюхали мой полуторавековый дух, однако убоялись и убежали. И узнал я, что вампир не из их породы, хоть и неподвластен ангелу смерти. И чуть не околел со смеху – он ударил в стены каменного покоя и потрескал их. Я рычал, перешагивая из сна в явь и из яви в сон, засыпал, пробуждался и опять засыпал.

7

КЛЮВ

Я раздвоился: один мой глаз открыт, прислеживает из крепости за происходящим, другой спит и мыслит. Точнее – грезит. Прорастают в кругу созвездий подсолнухи, там восседают женщины с зыбками в руках. Мужчины четвертуют на граните огромную тень, в самом сердце ее, верезжа под ударами, издыхает чума. На голой земле, под солнцем и под месяцем сразу, назираю свою будущую могилу. Надо мною, упокоенным под плитой, запевают птицы, желтые и иных окрасов. Срастаются, превращаясь в огромный клюв.

Некогда, в моей первой жизни, были такие старики-толкователи, были и отошли пять, или шесть, или семь десятилетий тому. Пробавлялись они сухим козьим мясом и разгадывали

сны за горстку зерна и глоток молока. Теперь в толкователях – действия, сны становятся сбывчивыми.

С высоты спустилось косо белое облако и звучно разорвалось поверх домов и людей, после страха, наведенного крысами, новый явился страх, а потом, если не тотчас же, с неба пала надежда. Волшба колдовки и знахаря, брань и проклятья рудокопа-сакса, послушниково отчаянье, а пуще того молитвы игумена, оставшегося костяком под пеплом, призвали отмщение. И вызвали его. Пробудили и покорили еще в живых: боги владеют помыслом, умирает помысл – умирают боги. Туча птиц с желтыми и карминовыми глазами, многоклювая, тяжкая, страшная в своем множестве, туча-громадина цапель, аистов и журавлей высылалась судьбой для расчета с непредвиденным и нежданным – с крысами: пришла смерть по смерть, явилась белая, серая, черная, клювастая. Выпрядут острые веретена кровавые нити, спустится тяжкотканый покров на мертвых, на спаленные нивы, на крыс, собранных в безмилостные легионы. Выпрядут пряжу живые клювы, разверстые от бесконечья до Кукулина, до права человека на жизнь, до крови ее.

Целых сто лет призывал я смерть, если до того уже не был мертв. Даже больше. А теперь мечтал прожить хоть до сумерек, дабы стать свидетелем круговерти, приводящей сущее в равновесие, надбиблейского таинства, разворачивающегося и в длину и в ширь на тысячу локтей, врачующего боли и раны. Словно восставал над крысиным сонмищем Иезекииль из племени пророков: *И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу.*

Крысы вдруг прекратили напуск на людей и скот, на собак и прочую живность. Я исчислял жертвы тысячами по черепам – человечьим, скотьим, собачьим, скоро придется их один к одному. Защищаясь укусами от клевков, крысы увертывались и цеплялись за птичьи лапы и крылья, нащупывали под пером мясо и жилы. Трещали крысиные хребтины и вытекали глаза, и все равно оставались они легионом огромным с легионами за собой. В темном бурлении гибли, срываясь в гниль, птичьи стаи. И вдруг в мгновение ока надвинулась новая пернатая туча, низринулась, многокрылая, из круга замутненного солнца под дикие клекотные псалмы орлов и соколов, пустельг, бекасов, сорок, ворон, скворцов, удодов, сов и филинов и с ними долгоносых ибисов с Нила – я их видел сто лет назад в фараон-
 ском Египте, когда был беглецом пред ловцами вельможного

Растимира, заколовшего великого Лота, выпестованного в колыбели Ромула и Рема, обученного на холме Святой Женевьевы в далеком городе. За той накатила третья туча: сойки, коршуны, дрозды, галки, рябчики, дятлы, стрижи.

Чтобы уцелеть в стихии уничтожения, стаи опускались с высоты окоченело, на словно бы омертвелых крыльях, и крутыми рывками. А под ними корчилось в собственной крови и помете крысиное племя, убегало от клюва, но оказывалось в огне, увертывалось от огня, чтобы налететь на клюв. Наконец, ослепленные и без надежды, крысы кинулись друг на друга, не узнавая своих. Не считались ни родством, ни племенем. Лот, доучившийся до магистра, оставивший книги в моей крепости, был бы удоволен: всякий вид, по его разумению, сам себя истребляет в безумии – и потомство и семя свое. Зло из себя выделяло зло в обличье крысиного Арнольда из Амальрика.

Засыпаю. Без сна. Дух мой бродит по полю брани. И возвращается. Его место здесь, в незримой скорлупе моей призрачности, никогда не ложившейся в могилу и никогда не встававшей из гроба. Борода мне покрывает колени. Сзади волосы волокутся тенью – моя постель и покров.

А солнце меж тем на какой-то мертвый миг пропадало; убежав от чада, появилось на другой стороне, у городских боен. Ненадолго оставалось отмерять людям будущее. С верезжаньем и писком распадалось в призрачном лунном свете крысиное месиво, образуя петли и закру́чиваясь в узлы, забивало овражки, рядами или безрядьем вливалось в большие и малые потоки, растекавшиеся среди рощ и скал, уходя в песчаное забытье и тлен, отравляло травы зловонием разверстых, разодранных, насквозь проколотых крысиных утроб.

Огни притаились от загадочных криков сов и упырей. В болоте, за тростником и водяными цветами, покачивался челн. На песке возле него лежал один и еще один скелет. Собачий вой и плач покусанных людей не давали ночи уснуть. Уцелевшие падали изнеможенно где придется. Не настолько мертво, чтобы не скорбеть о мертвых. Завывали. Раскладывали костры, в их свете походили на подвижные известковые изваяния, изможденные и без лиц, без шепота, без молитвы и брани. Что будет дальше, не ведали – пошатнулся разум: небеса покоятся на столбах, они не обрушатся, оставляя за собой юную голубую кожицу нового неба. Плач по мертвым напоминал умирание. Петкан просил у молодого Тимофея воды – "ты с мечом теперь, стало быть, в главарях". "Возьми, – подошел к нему Тимофей, – в мехе есть вино". Петкан, напившись, вздохнул: кабы меч саксонца захва-

тил сынок его Парамон, походил бы на Растимира-князя, когда-то повелевавшего дедами. ”Нету тут никакого Растимира, дядюшка Петкан. А у птиц свой князь. Вон они, на подходе”.

Крысы устилали сухую землю покровом, готовя мертвецкое ложе для новоявленной смерти. Были всякие – вспухшие и раздутые, покусанные и опаленные, поклеванные и изувеченные, словно бы выползшие из кошмарных видений. Когда-нибудь милосердое время разгонит их тени. А может, ветер, ярко-оранжевый ураган, ударивший вихрем в вихорь рваных шкур и развеянных перьев. Буря вдохнула в пожарище каплю жизни. Притаившиеся огоньки зарделись, превращаясь в раны ночи и дня. И тьма, и восход, и полдень исцеляли раны, зализывая их по-собачьи росным или сухим языком, а месяц и солнце накладывали на них серебряные и золотые мази.

Потом буря воротилась в свою горную колыбель. На земле среди всяческого трупья остались мутные лужицы. Унялись и птицы, и крысы. Хлынул дождь, разбегаясь потоками. Небеса умывали землю, призывая ее дышать и грезить о хлебе. Порядок жизни, по Лоту, в его и в мое столетье таков: Ambitio – славолюбие, Diskardia – несогласие, Bellum – сражение, Caedes – резня, Mortis – смерть, всегда по тому же кругу и под тем же знаменем. И все-таки это была жизнь и надежда.

Не приходит сон, и я спрашиваю себя, бывают ли сны у мертвых и что им видится под покровом из заклеванных крыс и разодранных птиц. Сельчане бро́дят среди домов и угрюмых деревьев, подбирают то одну, то другую птицу, которые поцелее. Вот старейшина склоняется и подбирает бекаса. Взвешивает на ладони, насытит ли его, сваренный да подсоленный. Илларион, алчный или оголодавший. Держит в руке окровавленного бекаса, другой роется в месиве и находит сойку. Не только он. Еще двое-трое поспешают домой, каждый со своей птицей. Знамение смерти или что? Птица и человек были товарищами по жизни. И вот теперь птица и человек собрались на пир, где под винцо, глядишь, кому-нибудь и запоется.

Петкан, усевшись на камень, считает на пальцах. Семь или восемь дней во рту не держал мясного. Встал и пошел за своей птицей. Парамон со злостью за ним следит. Потом машет рукой, возвращается – про́клятое старичье, перестает слушаться молодых. Серафим присел за сараем. Старейшина помоложе завязывает ему гашник и опоясывает.

”Так и знал, – шепчет про себя, моргая глубокомысленно. – Не будет дождя, Давидица пересохнет. Слышишь, завтра будем вкушать камежник”.

Дооправив его, старейшина смерил глазами птиц в руках у Петкана. Зашелся злостью: "Прошлой неделей, как куры у нас от чумы поколели, Петкан пустомельный натрескался мяса. А нынче примется за мертвечину – почнет птиц раздирать на ножки да крылышки".

"Да, – поддакивает Серафим собеседнику про себя. – Петок нынче, надобно бы поститься. Меня вот что мучит, Мирон. Неужто и князья пост держат так же, как чернородье?" Мирон насчет этого сведущ: сын повешенного Деспота, и имя его припомнил – Фиде, отличился в сражении, сам князем не стал, зато попал в первые люди к кому-то из городских князей, пост держит не как простые, а по вторникам да четвергам. "Фиде тот хромал, так ведь? – попытался Серафим что-то вспомнить. – Белый такой, иссохший". Мирон ухватил черепашку, норовя двумя пальцами вытащить ее голову из твердой брони. "Нет, Серафим. Хромала и хромает Фоя, жена моего кума Гргура. А Фиде не белый и не иссохший. Белых да иссохших князья в первые люди не берут". – "Помню, помню – синий, с большими зубами и кулаки здоровые, а под глазами оспой изрыт. А у кума Гргура – знаешь? – нос восковой. Оттого он к огню и не приближается".

8

АДОФОНИС

Глупость не покидала Кукулино.

Вечером под звуки рога засновал по домам глашатай, оповещая всех, что первый старейшина после победы птиц, явившихся на зов его из святой земли, с одобрения старцев провозглашается князем Серафимом Терновенчанным и повелевает, дабы все, и мужчины и женщины, присягнули ему на верность. Сходились, не имея сил изумляться, бледноликие, потемнелые от дыма, у многих раны под льняными повязками, ждали, и ветру не удавалось отогнать сон с ресниц. Зазвенели бубенчики, отзывавшиеся ранее лишь на снежную масленицу. Из домакаморки с распахнутым ставнем на крохотном оконце появился новооглашенный князь, и не в портах завшивевших, как дотоле, а в женском наряде с пестрыми рукавами – из платья только это оказалось сохранным, – и вознес руку. Невнятный шепот, затихая, сошел на нет – отступил перед короной, сплетенной из веток, не из терна. На стариковом челе словно бы светились капельки крови, а нос его казался в лунном свете

посеребренным. И голос звучал серебряно, хотя неподалеку согбенные женщины голосили по мертвым.

"Ныне, в день седьмый четвертого месяца, в лето шесть тысяч восемьсот и какое-то великим изволением судьбы я, Серафим, от отца Никифора и матери Мендуши урожденный, нарекаюсь князем над людьми и птицами и призываю всех покориться и ступить под мою защиту: на огненной кобылице с хвостом изукрашенным поведу вас завтра в святую землю. Ладаном покурите да принесите питья пьяного – ради празднества столь великого жалую барана и бочку вина". Ему заметили, что барана у него нет и питается он не вспоможением родичей, а мирскою милостью. Он и сам вспомнил, что барана нет. "Отныне все, что ваше, будет мое, и я из моего вас пожалую. Женюсь, не оставлю вас без наследника". Спросили, в замке ли он будет жить, как подобает князю. Вздрогнул. Глянул искоса на бойницу, где невидимо притаился я, и обмахнулся крестом. Серебро на носу потемнело. "Везде буду жить, пребуду и в вас, и на небеси. Привиделись мне во сне птицы – и вот прилетели, привидится завтра, что крепость порушена, – и порушится она по сну моему". Он словно вздымался. Земля под его босыми стопами пропитывалась мочой. "Песню! Я князь ваш, Серафим Терновенчанный, и пусть пляшет предо мной нагая женщина, та, которую я возьму в жены. Быстрее, немедля, сей же миг, дорогие подданные".

Свитские его, старейшины, засыпали стоя. Сон перекинулся и на остальных. Не успевши сделать следующего сообщения, новоиспеченный князь мягко осел на землю и, утянув к подбородку колени, заснул. Промчалась над ним и сгинула летучая мышь. Кое-кто, присоединясь к старику, улегся, прочие разбрелись по своим норам.

У иных домов не осталось хозяев, а у иных остались пепелища вместо домов. Петкан забрался под чью-то бочку и опьянел. Перед ним встал Парамон. "Знаю я, батюшка, пошто ты старейшин подговорил напялить на придурка листвяную корону. Выведу-де в князья, упьюсь вволю. Заставлю-ка я тебя выкопать ямку да в нее улечься". И поглядел на погост. Там зарывали мертвых, мелко и поспешно, словно их могли отобрать. Не знал тогда ни он, ни Петкан да и никто другой, что позднее, в один из изнурительно знойных дней, зародится предание про оранжевый вихорь, что привеял женщину с облаком в руках. Излучала из себя серебро, затирая и следы крысиные, и их прах. Поначалу была одна, потом разродилась двойней, чтобы было кому на нее дивиться. Дело ясное, приметили ее только двое – Гргур с восковым носом да жена его Фоя.

Меж тем во время пиршества смерти стена крепости, необитаемой по общему мнению, треснула. Под трещинами в тени не было теперь ни бранящихся, ни обнимающихся, ни бондарей, ни горшечников. Все, вплоть до месяца за горным утесом, было запечатано ужасом. Мгновение – и смерть мертва. А я? Один в крепости. Без достояния, без дат рождения и смерти. Могилы и той нет. Склоняюсь над старой книгой, которую переписывал Лот, страницы под пальцами распадаются. Я – грамотей. Устоявший в морской пучине и в бескрайних песках пустынь. Между Сциллой и Харибдой обучившийся языкам. И знаю – все лишь повторение. Размножатся крысы, не станут они, подобно Онану, грешившему с женою братовой, бросать свое семя попусту. Думаю об этом, а колени у меня подгнивают. Четыре раза на день молюсь, вернее, простираюсь ниц – гниль на гнили. Безбожный богопоклонник или еще хуже – набожный еретик. Грешу, соприкасаясь с живыми. Одиночество не знает греха.

И вот – явилась. Какая-никакая живая душа явилась в крепость.

Я стоял возле узенькой прорези для стрельцов, осмоленные волосы падали на глаза. И видел тени от спаленных домов, и слышал ночное журчанье воды и плач, звериный ли, человечий, – смутный голос со смутного расстояния. Почувствовал, что не один, и оглянулся. В углу покоя (в нем когда-то давно Растимир, властелин кукулинский и окольных сел, голым плясал перед гостями-латинянами) поднималась на задние ноги крыса. Подползала к старинному византийскому шлему, с усилием утягивая хвост под себя, чтобы сделать его короче и незаметнее, голова вжата во взъерошенную шерсть.

Со дней моей грешной юности знал я колдовское уменье зверей сникать – белое в белом, темное в темном, – скрадывая движенья и голос, становиться комом снега и грязи. Крысе меня не обмануть. Я заковылял, поскрипывая суставами, нагнулся, чтобы убедиться в коварстве зверя – он сжался, пытаясь слиться с тенью шлема. И хоть глаза затянуты были пеленой усталости, можно было углядеть в них страх и злобу, вечных спутников поражения. Неслышно, подрагивая телом и пошевеливая передними лапами, зверек старался нащупать в камне под собой трещину, чтобы, забившись туда и набравшись крепости, дождаться своей Евы для нового, наиновейшего завета злоумышления, для возрождения и продолжения евангелия крысиного. У зверя не было сил бежать, он, впрочем, и не пытался. Я его прихватил за загривок и поднес к глазам. Зверь

заскулил. Вытянув лапы, искал под собой опору. И вдруг, весьма для своей изможденности прытко, кусанул меня промеж глаз. Зажал в челюстях кожу. Острота его зубов не причинила мне боли. Разозлила. Вытащив из-за пояса нож, я пытался разжать ему челюсти. Острие коснулось мякоти за зубами, надо полагать языка. "Адофонис! – Я решился его заклясть. – Даже если ты зовешься иначе, отныне будешь носить это имя – Адофонис, понял?"

На галере, где я плавал, укрываясь от чужого гнева, был один такой Адофонис; за неуемную ругань благочестивый араб с кольцами в ушах урезал ему кривым ножом язык. Араба на каком-то острове поглотил вихрь сражения, не дав напоследок повторить из пророка Мухаммеда: *Я был скрытым богатством, но возжелал быть познанным и для того создал мир*. Пал от меча крестоносца, не бранясь и не проклиная.

Стиск крысиных зубов ослабел. Только с порога, из соседнего стылого покоя с гробницей, доносилось жалостное верезжанье. Я выпрямился и сильным махом запустил туда окровавленного самца. Поспешай, Адофонис, ждет тебя твоя Ева. И заковылял следом, уверенный, что не увижу его размозженным о камень. Я не ошибся. В покое пусто, только гробница под плитой, на камне имя – Борчило. Много лет назад выдолблены эти семь букв. Гроб там, я тут, и повсюду плесень. И вдруг, прозрев истину, я ужаснулся. Последняя крысиная пара восстановит крысиный род. Крысы примутся распложаться и отомстят за поражение. Бросился искать их, чтобы истребить. Тщетно. В крепости, со многими покоями, большими и малыми, с сенями, очагами, пекарнями и поварнями, караульными, кладовками и молельнями, стиснутыми камнем, и быка не сыщешь.

Зашагал, тень без тени. Упал. Колени встретились с холодом истертого мрамора. Борчило, прорычал я из усохшей селезенки, из потрохов, из костей. Недостало тебе ума убить его: Адофонис завтра же явится в другой коже, в человечьей, ласковый и лукавый, еще лукавее будет его жена, придут вдвоем, и никто их не признает – только души у них будут крысиные. Да что там явятся, они уже здесь, в Кукулине, волосатость прикрыта магией, беленькие, суть их знает или угадывает лишь тот, кого избегает смерть, кто-нибудь из вампирского рода.

Кто-нибудь? Я, Борчило.

Лучина моя погасла с шипом, расстилая чад. Верезжащая угроза выползала из пустынного мрака. Растревожилась летучая мышь. Невинная тварь, несправедливо причисляемая к не-

жити, тоже уловила угрозу. Трижды пролетела надо мной и ринулась через бойницу к месяцу, к его мертвящему холодному свету.

В крепости из-под мрака выпластывался другой мрак, душный и задымленный – осязаемый. Натянуть можно, как капюшон. Сморщенными ладонями стискиваю ребра, чтобы не развалиться. Ведь, даже обратившись в скелет, я не сделаюсь упокоенным – без боли и без предчувствий в черепе.

Я понял твою угрозу, Адофонис!

9

ВОСПОМИНАНИЯ, ЛОВЛЯ

Не поклевывай, подобно птенцу, а борись.

Лот

Кто ее строил и для кого, не имеет значения, крепость лежит, окованная цепью теней, покорствуя времени. И умирает заодно с прошлым, умерла уже – гложут ее дожди и стужи, крошит ветер, время берет с нее дань.

Во дни моей забытой почти юности, перед побегом из Кукулина в далекие-предалекие края, крепость была вельможьим гнездом, прибежищем для воинов и блудниц, стылой камерой для непослушных. Сам я не из благородных, оказался только в их приближении, надо мною и над остальными высился Растимир. Обличья мягкого, с осветленными волосами, целиком погруженный в свои и чужие блудни, он скрывал в себе неукротимую грубость. Умных и догадливых не любил. Ученость приводила его в бешенство. Некогда он, а может, тот, чье имя и славу он присвоил, ратоборствовал с еретиками и с чуждыми племенами, потом предался порокам. Волосатый и жиром заплывший, с глазками без ресниц, он выглядел бы как должно с хвостом, и кто-нибудь угадал бы, что его имя – Предупреждение. Зло меня разбирает и гнев при мысли, что и без хвоста он уже тогда походил на крысу. На родителя Адофониса, галерника, которому араб отмахнул язык, или этого вот, окровавленного, затевающего нынешней ночью свадьбу. Растимир, с накладной густой бородой из конской гривы и с выбеленным, словно у каменной римской богини, лицом, всячески избывал людей: раздирал на куски, привязавши к хвостам двух коней, либо, обмазавши медом, прикручивал голыми к столбу посреди муравейника. А то, накормив до отвала, заставлял бежать и ловил. В этих краях чернолесья лучшие погибали, не дождав-

шись собственной свадьбы. Я терзался ночами в снах о его могиле. Просыпался и понять не мог, где сон, а где явь: в одиночках за окованными дверями гнили цепями подвешенные к стенам узники. Не мошенники и душегубы, не грабители и святотатцы – истреблялся род моего рода.

Растимирово свирепство подталкивало меня к адской пропасти, собственная же немощь доводила до безумия. Как помочь униженным, злобой и тиранством отринутым несчастливцам и страдальцам из моего края да еще ограбленным купцам из неизвестного города?

Сейчас все равно, был ли я заводчиком сельской смуты против лютости Растимировой (он тогда, в подражание где-то увиденной иконе, носил белую бороду и белую накидку, обшитую синим и золотым) или только умышлял ее. В ту пору после семнадцати лет безвестного отсутствия воротился из неведомых земель Лот, привез на трех мулах всяких книг и молитвенников. От него слышал я о битвах разума с силой, учился языкам, врачеванию, письму, истинам. Прошла молва, что Лот наставляет меня против Растимирова гнета и в науке Христовой. Сельчане, относившиеся к Лоту с почитанием, стали уважать и меня. Из-за того, что я охотничье копье променял на книгу, меня возненавидел вельможа.

Схватили меня внезапно, в осеннюю грозовую ночь, из постели, непроснувшегося и дрожащего от лихорадки, погнали ударами. Окровавленный, не готовый к защите ни мечом, ни словом, я угодил в оковы. Стал живым трупом в цепях под низким потолком, выцеживающим воду и страх, в подземелье без выхода, но со входом – в глубь земли на двенадцать ступеней. Сюда не достигало ни солнце, ни любовь жены. Позднее я узнал, что в одну из разгульных ночей пятеро женихов насильно справили ей новую свадьбу, рвали ее и кровавили впятером, обрачили ее вторично, отчего и пришелся мне Тимофей внуком от крови чужой.

Предначертание судьбы: целую зиму пролежал я, окованный, в темноте, заработал ломоту в костях, однако и тогда смерть от меня бежала, не признавая своим.

Весной, когда, всеми забытый, я почитал себя мертвым, явился вслед за ключником и в сопровождении стражника с факелом Растимир – запыхавшийся после одоления двенадцати ступеней в подземелье, как ни странно, с благостным ликом. Выпрямился под накидкой из багряного шелка, отделанной золотой шерстью, на ухе покачивался дубовый листок тоже из золота. Ни меча, ни ножа, только на поясе три побелевшие че-

репушки мелких зверьков – барсука ли, выдры или хорька. Приказал осветить мне лицо, вроде бы растужился над темничной моей изможденностью, а сам просто-напросто испугался. Спросил меня с изумлением, за что оковали. Слепой от многомесячной тьмы, я глядел на него. Молчал. Терпеливо, с участием, шуршащий и позвякивающий от кож, шелка и драгоценностей, он повторил свой вопрос. Ключник пнул меня ногой. Чтоб поднялся. Я попытался. Безуспешно. Сросся с соломой и калом. Растимир повелел на коленях просить у него прощения и поклясться в покорности. У меня же не было сил собрать слюну и плюнуть – чтоб, униженный, прекратил он мои муки петлей или секирой. "Сам знаешь, ты да господь, как я тебя любил, – покачал он головой. – И мертвого тебя буду любить. В покое наверху готовлю тебе мраморную гробницу". "Я еще не умер, – тело мое повело судорогой, – грызли меня скорпионы и глодали мыши, но я все равно живой". Он вздохнул. "Ты не будешь живой, коли не убежишь от моих людей. На тебя будет устроена ловля. Над этим потолком гроб, и он ждет тебя. На нем твое имя. Прощай же, ты – мертв".

В тот же день за мной пришли лохматые воины и слуги. Не были грубыми, казалось, им любопытно взглянуть на меня после стольких дней. Я оперся на них всем своим поубавленным весом. Ослабевший от голода, с отвердельми суставами, я учился одолевать двенадцать ступеней среди тесных заплесневелых стен. Подвели меня к столу с мясом, молоком и вином. "Подкрепляйся, – отодвинулись от меня. – Через две недели, в самый день Воскресения, будет лов". И ушли.

Обросший, словно хилый зверь на хилых ножках, я подковылял к столу и ухватил здоровый кус мяса. И тут до меня донеслась песня – веселились моей скорой погибели. И прежде чем зверски вгрызться в баранью лопатку, я сообразил: если кормежка не убьет меня сразу, я расхвораюсь от нее, сделаюсь неуклюжим и облегчу ловлю Растимировым людям. Я одолел голод. Привыкай, ешь полегоньку, уговаривал я себя, кусок за куском, чтобы выдержало сердце, кровь и каждая жилка. Приблизил кусок мяса к зубам. Жевал долго и осторожно. С того дня вышагивал от стены к стене, засыпая с мраком и просыпаясь перед зарей. Учился стоять на ногах, наращивал мускулы – поднимал дубовый стол, сперва с усилием и задыхаясь, а потом все легче.

"Плохо ешь, Борчило", – печалились лицемеры, освобождая меня от бороды и волос. Тайком, а может, и с повеленья лечили мне струпья топленым заячьим салом и зверобоем,

вместе с мясом приносили свежую и сушеную рыбу, творог, черепашью кровь, знакомые и незнакомые овощи, жареных куропаток, яйца, мед, кобылье молоко.

Шестой день был на исходе, когда под двойной стражей повели меня купаться на речку. От студеной воды легкие мои словно открылись. Я пил солнце, растирал тело песком, хотя на возвратном пути горбился и обманно прихрамывал. Знал, что за мной тайком наблюдают из крепости, лакомо ухмыляясь в предвкушении ловли. Моя тень для них – продолженный труп. Им хотелось видеть меня ослабшим, таким я и представлялся. Спасение мое было в хитрости, в умении их обмануть.

И тут я увидел его краешком глаза. Высокий, с лицом, удлиненным ровной бородкой, – мой духовный родитель Лот стоял перед крепостью и глядел сквозь меня в далекий, ему одному доступный мир. И сам он, вроде бы прощенный или забытый, был от смерти на волосок. "В обратную сторону от вчерашней, – промолвил он. – В обратную, иначе конец". Я не понял его, но разъяснения спросить не успел – он посторонился и уступил мне дорогу. Я не обернулся.

В обратную от вчерашней, иначе конец! Господи, что еще за загадка? Проникну ли я в эту тайну за неделю, оставшуюся до часа, когда меня будут гонять и ловить, точно борова, откормленного для пущей потехи человека с оружием? Разумеется, в загадке Лотовой упрятан совет, только понапрасну я вырывался ночью из мутных снов, совсем понапрасну. Днем я про то не думал – бегал от стены к стене, старательно изнемогался, возвращая былую силу костям и мускулам.

"Вставай, Борчило, – двери по истечении двух недель после Растимирова посещения открылись, – ты окреп, охотники ждут".

Я встал и молча пошел перед копьями. Меня встретили солнечное утро, любовные крики прирученных павлинов и зеваки. Я не спешил. Прихрамывал, уверяя, что ловцам со мной хлопот не будет.

Снаружи, в тени крепости, сидел за богатой трапезой Растимир (считался князем, и так к нему обращались), в новых по обыкновению волосах, лиловатых и кучерявых, с лицом неестественной белизны, наведенной с помощью ртути и трав. Рядом, в пестром левантийском шелку, тоскующе вздыхала Аксинья, жена Растимирова и ложа его наисквернейшая часть, желтая и белогубая, то ли купленная, то ли привезенная на седле из какого-то побежденного племени, лишенная морщин и души. По правую руку их восседали на добрых конях три

загонщика. За ними стояли начальники стражи, экономы, сокольники, советники и двое перепуганных купцов, менявших маслины, соленую морскую рыбу, белила и шелк на золото, серебро и меха. Поблескивали в весеннем солнце хорошо отточенные секиры. Таким оружием да на ретивых конях не мудрено посечь и самую проворную лисицу. Один из ловцов был мне некогда другом, Лексей, однолеток мой и наветчик, с потухшими глазами – казалось, они от мертвеца пересажены на жесткое его лицо. У всех троих кувшины с вином, однако прикладываться не спешили, надеялись выпить за помин моей души – выше их был только господь, но они вознеслись и над ним. Позднее понял я, что в тот день усилил ненависть их к себе, свою же к ним нет – она и так была велика. Втайне, краешком ума, я знал – ненависть крепит меня, помогает не сдаться.

И тут за слугами я углядел его, сухоликого Лота, с обширным челом, хоть лен на нем высевай. Между ним и мною все еще витала загадка: в обратную сторону от вчерашней, иначе конец! Мне не удалось разгадать шевеление старческих губ, подтолкнули в спину, и я, не медленно и не быстро, зашагал по земле, отверделой от конских копыт.

Охотничий рог голосом глухим и хриплым оповестил, что дичь пущена. Ловцы выжидали мановения руки властелина и нового приглашения рога, я же, не оборачиваясь, осваивал простор пред собой и видел словно впервые ласковые подножья бесснежных поверху гор и ниву с молодой пшеницей, где не укрыться и лукавой рыси. Распростертый среди колосьев ничком, я стану похожим на утопленника в мелководье. Как обычно во время подобной ловли, даже более, чем всегда, Кукулино казалось пустым, вымершим, без вздоха и голоса, хотя сельчане, наверное, наблюдали тайком, как я ускоряю шаг и мчусь, но не к горе (в обратную сторону от вчерашней, иначе конец – вот он, ответ на загадку), где ловцы всегда посекали добычу. В обратную! Именно так, в обратную! Я устремился в открытую котловинку, что сходила к мелкой Давидице и, убегая от речного течения, зарывалась в дубовую рощу. Я был уже далеко, когда снова захрюкал рог, по-свинячьи, с сипом. В котловинке, среди деревьев, остановился. Из рощицы на все стороны расходились прогалины. Я обернулся: двое, залегши над конскими головами, лицами в летящие гривы, взяли вправо от меня, к горе. То ли ожидали, что я сверну в ту сторону, то ли из причин, только им известных, не больно домогались моей головы. А может, хотели, сделав круг, погнать ме-

ня прямо к Растимирову столу, чтобы на его глазах в куски изрубить тяжелыми боевыми секирами.

Третий всадник, не разглядеть кто, гнал коня к дубняку. Я был частью Лексеевой жизни, он знал мои хитрости и уловки увертываться из беды. Он. Я разглядел его из-за ствола, к которому, задыхаясь, прижался. Алчущий, но не бесстрашный, он добрался до заметного следа и натянул поводья пегого коня, того самого, что отняли у меня вместе с прочим добром, когда забили в оковы. Застыл недвижимо, приподняв голову меж лошадиных ушей. На его месте я бы, честолюбие придержав, дождался остальных – от трех секир увернуться куда труднее. Посему я заспешил. "Лексей", – кликнул я. И подумал о наших ночных шептаниях, о поучениях и научениях богопокорников (ежели чувство умом овладеет, узришь бога в зерцале внутреннем) и еретиков-богомилов (свет божий – только энергия), а он меня обвинил в отпадении от веры. "Лексей, сюда!" – прокричал я. Он услышал меня и поднял руку с секирой, я же помнил, что честолюбие, хоть и вылупляется из яйца страха, бывает сильнее страха и обманутый только раз дается в обман, решающий и судьбоносный. "Где ты?" – слабо отозвался, в горле у него пересохло. "Скорей, – подзуживал я его, – опереди тех двоих, я здесь, ноги себе исколол". "Выдь, Борчило", – взмолился он, словно я смертью своей обязан был доказать наше дружество. Я в ответ изобразил немочь, заклинал его подарить мне избавление от поругания и мук.

А сам его караулил, незримый. Он выпрямился в седле и глянул на сплетение горных тропок, за которыми скрылись загонщики. Хотел было их позвать, чтобы вместе погнать меня к пиршеству и на видном месте посечь, но, видимо, побоялся, что они окажутся более прыткими и управятся без него. "Я здесь, Борчило, – шептал он, желтея. – Иду. Несу тебе избавление от поругания и мук". Насторожив уши и подрагивая ноздрями от своего какого-то страха, пегий тонконогий конь зашагал среди дубовых стволов. Я был в укрытии. Мог настичь их несколькими шагами. И настиг – неслышными прыжками, босой, кинулся на Лексея сзади и стащил, без труда отобрав секиру. Он упал на бок в сухую траву, в глазах полопались жилки. Удивил его голос – спокойный. "Убьешь меня, неужели ты забыл наши ночи?" А руку медленно двигал к запоясному ножу – надеялся меня обмануть. Не давал мне возможности оставить его в живых: тогда завтра по повелению жестоко-

го Растимира его самого гоняли бы, точно зверя. Я замахнулся тяжелой – в полмодия весом – секирой. Треснул лоб, брызнул мозг и вместе с ним надежда, что это еще не конец.

Я погнал пегача с диким криком.

В дубняке остался лежать Лексей, в смертных корчах, я же уходил от его дружков по лову, которые уже выбирались из кустарника у подножья горы. Их попотчует смертью Растимир. Их, а за ними Лота – сельчане считали его вестником божиим, он мог их поднять на бунт.

Дополнение.

Ныне, когда тринадцать десятилетий минуло со смерти Мануила Комнина, коему Растимир оказал непокорство в младые лета, ему или наследнику его Андронику, обратился я к тому далекому прошлому со смирением и по изволению судьбы, дабы пережить мгновенное избавление от смерти, но не от грядущего, что проницает кожу мою и кровь – пустоту, где когда-то ходила кровь.

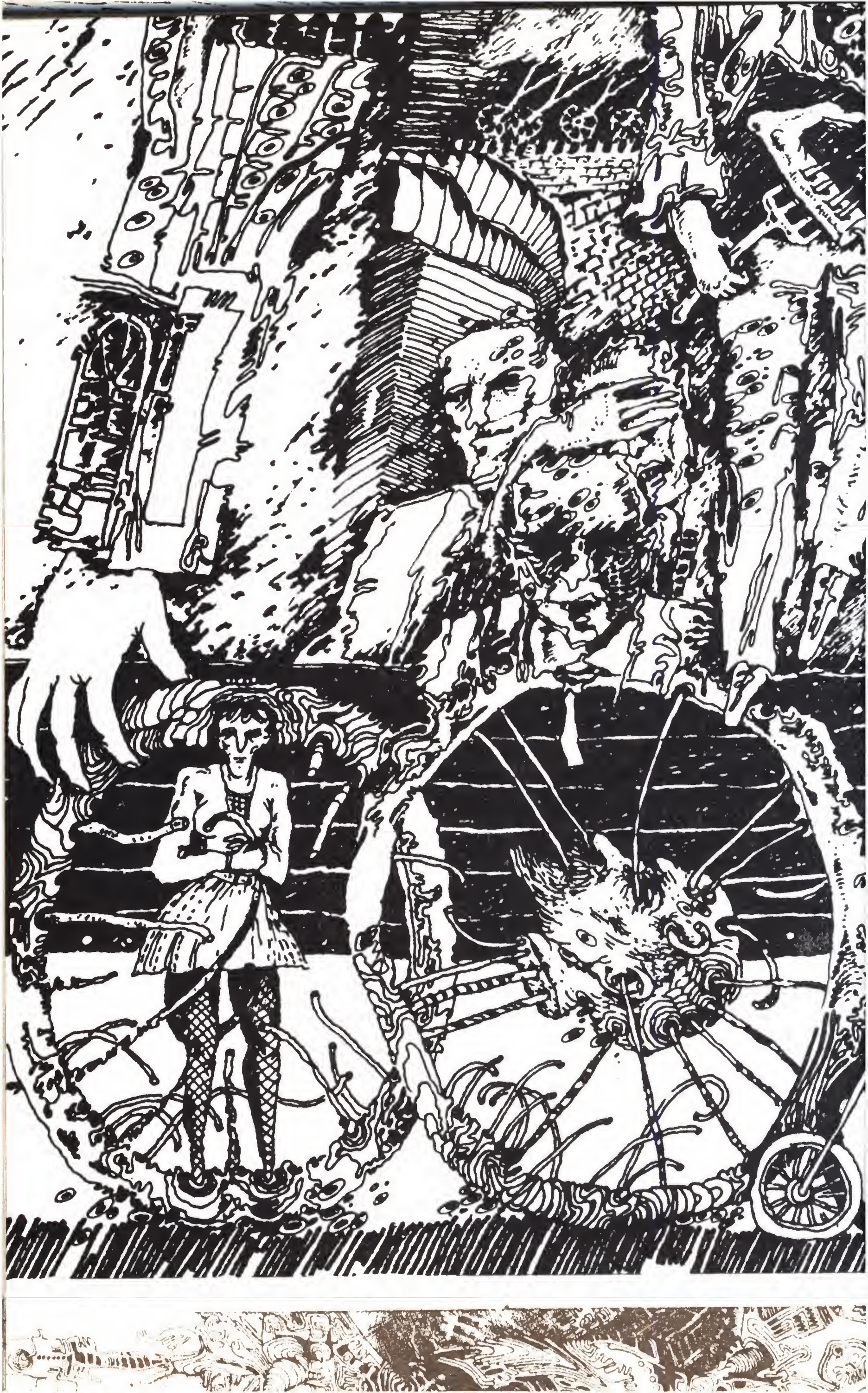
Ночь сегодня – женщина в странствии. На одном ее бедре Кукулино, на другом – крепость, где ползаю я вокруг гроба, уготованного Растимиром, не сумевшим меня в него затолкать. На плечи ей мягким влажным плащом опустилось облако, на темени взблескивает серебряным яблоком месяц. Обволакивает меня поступью и волосами, укрывая тенью своей восток и запад. За ночью следует ночь. Солнце дважды упускает свой миг рождения. Больше, если меня не обманывает сон и одно из тех безумных видений, коими меня одаривает временами судьба. Надо мной – нетопырь, выпрядает мне из тьмы черный нимб и каноном меня долбит – в девять писков. Я святой для него, он – мой бог. Налакаюсь крови его и воспряну, он во мне заживет своей плотью, станет частью моего сознания. Воистину, ночь – это женщина, я бросаю семя в нее, и она рождается и рождается, обновляя себя.

Лот, Растимир... Жизнь разделяла вас, неужто сблизила смерть? Безмолвие. Тоска.

Склоняюсь над своей гробницей. Вот он я, возлегаю на камне, скрестив руки на иссохших ребрах. Борчило, кол осиновый для тебя, вампир. В пупок. До новой кончины, до избавления.

А снаружи подходили с криком. ”Серафим, – орали, – старейшина, вознеси нас, княже, стань нам спасителем!”

Я снова корчусь без сна.



Наум, пророк:
И будет так, что всякий,
увидевший тебя,
побежит от тебя.

Я, Борчило:
Живым меня воочью не узреть.

ПЕСНЬ КРОВИ

1
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЛОДИТСЯ ЧУДЕСАМИ

Назирая пустошение и морок, учиненные крысами, старейшина Серафим и думать забыл про корону из терний и про женитьбу. Растужился, что у Кукулина нет своего святилища – обильное гробами злосчастие уразумел как наказание божие за прегрешения дедов, богомильским обычаем хуливших бога, хотя, правду молвить, кукулинцы и знать не знали, кто такой Богомил. Со сладостью душевной толковал старик о строениях с вечными сводами и алтарями, с ликами святых по стенам, кои суть часть земли и часть неба, а при том ни то ни другое, а некий третий, особый мир. И все это, запивая молоком и заедая хлебом: церкви строятся и освящаются, дабы корень человеческий держался в родной земле, дабы заступали они от сил тьмы, дабы коленопреклоненные и смиренные обретали в них прощение и утешение. Старцы старейшины пошевеливали вялым разумом и пустыми словами. Надобно, мол, строителям дома божьего иметь старшого, кто им будет? Кто-нибудь, хоть кто. Правнука моего без моей крови, ребрастого Тимофея, не выбрали. Выставили своего избранника, некоего Русияна. Он поведет строительство церкви. Дали благословение и забыли. Остальные строители, и Тимофей в том числе, обещались слушаться новоиспеченного зодчего и вожака.

И вот, в жаркое лето, когда крепла вера в то, что крест станет защитой от призраков, упырей и крыс, после долгой молитвы пришлого монаха с одним (другой прятался под повязкой) глазом, и для зверя великоватым, начали возводить церковь – четыре стены и алтарь. Не заготовили ни лесов, ни канатов, ни воротов для деяния, призванного восславить столетие. Величие оставалось в помыслах, за большой церковью не гнались. Перестали бочарничать и выжигать из глины горшки, в покосившейся кузне понавесилась паутина. Коз и скотину бросили на молодых, жать выходили бабы. Отыскали место, где легко добывался известняк, и на двуколках, запряженных мулами, подвозили этот пористый камень, днем и ночью, непрестанно, без передышки. По замыслу старого, невесть откуда взявшегося монаха строительство повели на высоком берегу Давидицы, вблизи древнего ореха без гнезд.

В этот день, серый, скорее желтый, с желтым небом и без радужных дуг, повсюду деялись чудеса, которым не находили истолкования, только крестились ошалело. На Город ударил

град и зашиб верблюда купца из Кавалы, потом обрушился ствол дерева с неведомым плодом, из-под коего показался череп величиной с кадушку. Утром, лишь только отозвались петухи, бородатые гусеницы оглодали в деревнях груши, а на южных холмах под обителью Пантелеймона на древесных ветвях повисли вздернутые собаки – оберег против зла – плод, волнами испускающий новую жуть. Олень носил на рогах ангела с потемнелыми крыльями; рыбы отыскивали чистый песок и зарывались в него; отродились со сросшимися бедрами близнецы; над мертвым городом Стоби, известным лишь понаслышке, небо разодралось, как высохшая кожа.

В изумлении великом позабыли про пост. Мясом упитывались и по пятницам, жрали по полмодия на дом. Спешили резать скотину: у той деревенели задние ноги, вспухали шея и челюсти, все равно поколеет. После солнечных закатов перед самыми звездами дули малоазийские ветры, в хвостах принося песок. От них арбузы высыхали под коркой, козы маялись глазной хворью – выдирали шерсть друг у друга. Пошло пьянство. Пили каждую ночь, будто она последняя. "Не беситесь, – рычали Русиян с Тимофеем, – никакая ночь не последняя". Дела, однако, не покидали. Уподобившись летним муравьям, люди суетились на стройке под недреманным оком пришельца в рясе, мошенника или монаха по имени Данило, Арсений, Сидор – когда как. А звали его Апостол Умник. На берегу, где колышками был отмечен фасад, копали землю, словно исполины дорывались до самого ее сердца. Черноризец подскакивал и требовал копать еще глубже. Спрашивали, не ищет ли он костяк родителя своего на козьих ножках. Придурковато хихикали, пытаясь освободиться от тягостных дум и предчувствий. Над ними нависали Тимофей с Русияном, грозились, что оставят без медовины. Те скалились – упьются ночью и без ихнего изволения, как прибудет смена. И, словно упившись уже, запевали глухо и несогласно. Кто-то крикнул: нашел! Его окружили плотным кольцом. Человек держал на ладони сережку из золота. "На этом месте быть алтарю, – торжествующе воскликнул монах. – Копайте. А сережку я схороню в своем кошеле. Завтра купим на нее ладану и чашу для причастий". Нашедший клад возмутился. За этот кусок римского золотца он получит меру муки. А ежели хорошенько над своей находкой подумает, а думать-то он горазд, может, и богачку себе в жены добудет. Человек этот, живший неприметно, – я знал, он и помрет неприметно – так виделся с крепости: одна сторона лица желтая, другая зеленая, долговязый и на ногах нетвердый, с улыбкой блаженно-

го барана, вспомнилось и имя его – Ипсисим, завтра кто-нибудь его помянет в молитве. Вдовствуя уже долгое время, мечтал он взять за себя богатую, хотя на него не льстились даже перестарки, без приданого и без огня в глазах. Баранья улыбка его растянулась по зеленой стороне лица: зеленое – цвет мечтания и радости, покров молодости и весны. Он расслабился, мечтательно вглядываясь в пустые дали. "Копай давай, – зыкнули на него. – Где нашлась одна, найдется вторая. На этом свете только старейшина Серафим одноухий". И щерились, показывали желтые зубы. Каждый надеялся сыскать вторую сережку и упрятать ее украдкой. Посему Апостол Умник пялился им в уста – кто не болбочет и не поет, нашел сережку с сапфиром и прячет под языком. Золотую сережку монах уместил под жеваной и штопаной-перештопаной рясой, а Ипсисим, уже без бараньей улыбки на устах, скрестив руки, возмущенно скреб себя под обеими мышками. "А другую ежели ископаю, тоже отымешь?" – спросил он. "Работай, – пристрожил его Апостол Умник. – Ископай сперва, а там поглядим".

В полдень притащился облезлый пес и выгреб из копанины темную кость старинного воина. Его отгоняли с бранью. Без успеха. Пес унес кость и зарыл ее, блюдя свою песью веру, за ямой, в которой гасили известь. И побежал к тем, кто на двуколках подвозил сосновые стволы и камень. Люди казались псу незнакомыми – от усталости все словно ошалели. Поделенные на группы, на четверки и пятерки, по кругу передавали камень из одной кучи в другую, а затем сызнова перетаскивали в первую. Обмороченье, колдовство? Не ведомо. Готовили балки для рам и подпоры для стен, а другие жгли эти самые балки и жарили на огне мясо. Некое дно кукулинцев, некая их глубь, куда забился старенький славянский Перун, противилась церкви. Мертвые от усталости и малость хмельные, сытые или заспанные, они – костистые, жилистые, косые, возбужденные и оглохшие – падали друг за другом на сухую землю – отдышаться. К ним подходили, поднимали тычками и бранью. А потом и те, кто их поднимал, крутились волчком и тоже падали.

Я был в отчаянии, видя, что никто не узнает никого. Проходят мимо друг друга, слоняются, забыв имя свое и род. С вытаращенными глазами, похожие в драной одежде своей на пугала, они странным образом умалялись, казалось, в сумерки совсем осядут на бедра, укороченные и со сплющенным теменем. Над стройкой закружила тень здоровенной птицы, орла-стервятника. Колдовство? Может быть. Не иначе знамение, опасное и зловещее, а ведь еще не смеркалось.

Суета, доселе невиданная, лишенная цели и смысла, заводилась снова и снова, весь этот нескончаемый день. С солнечным закатом, с появлением первой летучей мыши строители, избавленные от теней и сами обращенные в единую тень, уразумели свое полоумие. Из последних сил заспешили возвести хотя бы часть стены, чтобы было чем распрощаться с уходящим днем. Но лишь появилась в небе подрагивающая звезда, та, что бьется серебряным сердцем, разошлись, без дома все же нельзя. Остался на соломе монах Апостол Умник – глядеть в синеву да слушать подземные гулы. Я спросил его немо и про себя, готов ли он выслушать мой совет. Он вскинулся растревоженно. Слышишь меня? – упорствовал я. Но он уже расслабел и перевернулся на спину. Без пользы к нему приставать с советами. Да и сам я почти спал.

На заре, лишь запели первые петухи и застучали дятлы, явились строители и не нашли той части стены, что построили. Монах клялся: всю ночь глаз не сомкнул. Плакал своим единственным глазом. Ряса старее кожи. Не видел, чтоб кто рушил стену, зло не с этого света. Одни, и Тимофей среди них, заподозрили пугало под рясой и бородой, другие полагали, что на село пущены чары. Отрядили двоих отсыпаться под орехом, чтобы ночью караулить возле костра да с лютыми псами. Без пользы: на рассвете стены, возведенной вторично, как не бывало.

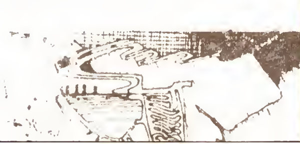
Чудеса устрашали, леденили кровь. Иные отходили от церкви, могли потянуть за собой других. Русиян пообещал, что сам постережет стену, выстроенную по третьему разу. К нему присоединились Тимофей с Парамоном, развели костер. Монах ушел на ночевку в сенник. Новая стена ростом была выше их.

"Батюшка мой Петкан предупреждал: коли имеете к богам уважение, выверните одежу – отведете чары".

"Расскажи нам бывальщинку, Парамон. А потом и мы с Тимофеем вступимся. Долгая у нас будет ночка. Надобно ее без сна просидеть да не теряя мочи".

"У деда твоего, Русиян, был на затылке маленький рог. Ей-ей, правда, слышал от моего Петкана. Расскажу вам бывальщинку, только не засыпайте. У Русиянова деда был на затылке рожек, а по ночам на нем разъезжала вила с большими грудями и после каждой девятой ли, десятой лунной мены приносила детишек с рожками и возвращалась обихаживать да откармливать молодца своего муравьиными яйцами на меду и поила его молоком от рыбьих самцов и...

...Однажды, на Великую среду, перед тем как тебе, Русиян, родиться, на этот самый дедов рог накинулись муравьи. Спасу



нет твоему дедушке, до гроба быть ему муравейником. Он, бедолага, скидывает муравьев с себя, а они знай наваливают на него травяное семя да житные зерна. Картинка – тысяча дырок, и на каждую дырку по тысяче мурашей, иные с крылышками. В полночь с Великой субботы на Воскресенис является к нему вила с оравой каких-то тварей одна пузатей другой и протягивает на ладони червя, вымоченного в меду..."

"Будет тебе болтать. Стена-то порушена".

Тотчас же, не успели еще коров подоить, тех, у которых не пропало молоко от крысиной напасти, сквозь трещины общего сумасходства просочился голос: все проклято – место, камень, сами они.

Совет, что же делать, переползал с человека на человека: стену можно удержать, ежели закопать под нее бабу с отметиной – с шерстью на груди и вокруг пупа.

Мужики, не доверяя друг другу, посокрыли жен: с бабой возишься по ночам, разберись поди, где у ней волосы, а где шерсть – на груди ли, возле пупка. Серафим поведал им свой последний сон. "Найдите велемощного мужа – одно око белое, другое лиловое. Он поможет. Такие сквозь стену видят по обету, данному матерью при крещении. А что касаемо жен, ищите некую с волосками на пятке". Не знали ни таких мужей, ни таких жен. Пришел монах Апостол Умник. Нос распух от укуса осы, из сивой бороды торчат соломинки. Стоял среди них, до костей пропитавшийся снами, пепел на бровях и морщинах, – загадочный. Ждали со стиснутым сердцем, прятали друг от друга глаза: неужто у чьей-то жены волоски на пятке? Ежились. Монах, потянувшись, расслабился. "Этакой жены нету, потому как на пятках волосы не растут. Дайте старейшине тюрю с перцем, пускай крепчает да видит сны. А я пойду за советом к живому святому. Строить будем, когда вернусь". Люди вздохнули с облегчением.

"Петкан, – горько сетовал Парамон, – ты ведь помнишь бедолагу с рожком на затылке. Как же так – нету женщины с волосами на пятке? Ты родитель мне, отвечай".

"Бывает и такое, сынок, что рожек проклевывается под темечком. И растет. На старейшину погляди. Я его в князья лажу, с короной, чтоб состоять при нем в первых людях, а он этакие несусветности во сне зрит. А у Русиянова деда не рожек был на затылке, а подо лбом бородавка. Рожек был у кочета дядьки моего Тимка. Так его и прозвали Висимуда. Куры Тимковы не неслись. Достань мне вина, и я тебе про того петуха расскажу. Поторопись, а то затомила жажда".

"Пьешь да врешь, батюшка. Вырастет и у тебя бородавка под темечком. Ты сам почище бывальщинки, селезенкой вещаешь".

2

БИБЛИЯ ПЬЯНЫХ

Проходят дни, и проходят ночи, близится еще одна моя тьма – рассвет, являются новые чудеса.

С высокого дерева упала безголовая белочка и окоченела возле колодца, со дна которого двое, жнец и гончар, вытащили нечто, что почли сгустком раскаленной молнии, и это самое нечто зарыли, будто грудного младенчика. На пальцах, жаловались они, волдыри вздулись. Тут пришла ведомая всем Велика (думали, она изводит детей), для смеху приказала им помолиться. "Вы ему оба родители, ваше то было семя". – "Почему это наше?" Оставили ее в платье, чистом и белом, зато с синяками. Сильно перепугались – врет, что выродилась раскаленность! Никому не проговорились. Русиян бы их изругал, Тимофей бы глядел сквозь них, завесив глаза ресницами, и не слушал, а Парамон сыт по горло отцовскими байками. Оставался Петкан, это – слушатель. Медвежья шкура впитывала в себя все.

С тяжелыми головами отправились к Петкану пить и слушать, как в поле дятел стучит в лоб живому козлу, как из стога сена сами собой выставляются руки с прозрачными пальцами, как на берегу Давидицы подскакивает башмак, выдолбленный из дерева. Знали они Петкана, было время, и верили, что носит он под медвежьей накидкой тайны. Он своих тайн не скрывал, раздаривал. И про медвежью накидку – намотал на руку толстый конопляный жгут и через пасть вынул кишки из старой медведицы. Ободрал ее и завернулся. Теперь у теплины в запечье спит с той шкурой, будто с женой. Жаловался на блох и на привидения. Верили: в село по соседству, в Бразды или в Кучевища, прискакал головастый подсвинок и окаменел под деревянной звонницей, уличные псы разлакомились и поломали зубы. На тот камень-подсвинок присел путник, чуть ли не гонец крестоносцев, и обратился в камень. "Слышите? – вопрошал Петкан. – Это у меня в дому волынка раздулась и пищит человечьим голосом". "Не в твоем дому, – возразили робко. – Подальше. И не волынка вовсе, а дитенок". Растужился над ними, как над малоумками. "Мед горечью взялся, масло отвер-

дело в горшках, – вещал Петкан. А они, жнец да гончар, глядели на него, разгораясь, наливались вином и сказками. – Могу, коли захотите, и на руках пройтись. Небо, ежели глядеть навыворот, желтое, облака зеленые. А еще я могу пить ушами вино. Раз позвали меня Македонские, Филипп с Александром Великим, родитель-кесарь и сын кесарствующий. В золотой одеже, а предо мной согнулись". Слушатели сомнительно поглядели в небо. "Когда ж эти двое жили?" – спросил жнец Кузман. "Столетья уж пролетели", – прикидывал горшечник Дамян. Петкан отмахнулся. "Да знаете ли, когда я рожден?" Не знали, он был из пришлых. "А кто здешних кур научил заклевывать змей?" – глянул на них с издевкой. "Случаются чудеса, – сдавался жнец. – Я вот корову видел, что пасла ежовую шкурку". "Да ну? – поперхнулся горшечник. – А мне баба снилась с ожерельем из пиявок. Глаза забиты смолой. Пупком на меня глядела". "Так, так, – поощрял их Петкан, подшепнув мимоходом, что родился он семь столетий назад. – Угодники вы мои, – обнимал он их чуть спустя. – Я вас научу. От этой моей пятки с крысиным укусом разлетаются мухи. Да что там, и мух-то уже не осталось. Сделались тем, чем были, – червями подкожными". – "А с Македонскими-то как было, Петкан, с Филиппом да Александром?" "Какие еще Филипп с Александром, – недоумевал он. – Я вам сказываю про лесок, что на богомолье ходил, деревья все как один потопали друг за дружкой в Иерусалим вымаливать избавление от гусениц. Вот послушайте, я вам про этот лесок спою, положу на мелодию". Он запел. И те двое тоже. Выбивался на уста разум. Были точно клепсидры, что не время меряют, день и ночь, а глупость. Внутреннее обличье засыпано золой слепоты. Не знали, что будет дальше, начиная с этого знойного вторника без облаков и без пожинателей жатвы в полях. В библии пророка в медвежьей шкуре псоглавые люди ратоборствовали с тенями и призраками, мчались с ревом потоки, от которых спасение было в винной бочке, распятия махали рукавами пустых риз.

К троице присоединился четвертый с собственной библией. Богдан, открыватель волчьих следов, умеющий тропить рысей, выдр и куниц. Следы оленей и вепрей случалось находить и другим. Богдан – кость да кожа да мутное око, словно только что снят со креста. А видели, как он перегрыз волчью глотку. Потому он ото всех уважаем, попивает себе. не ковыряясь в земле. "Свихнутые вы, мои любезные, но выпью с вами и я. – Сел и выпил. – Однажды в треснутой тыкве с горлышком я целый край увидал – и церковь, и пастбища, и овец". "И людей?" –

с почтением оглядели его. Он снова выпил, шумно, по-лошадиному. ”И людей, любезные мои. Ратников с железными раменами. Чад великого Самуила”. ”Какого Самуила?” – выжидательно замолчали. ”Такого, с крыльями. И ныне царство свое облетает”. Пялились в пустые небеса, ждали. ”Вам его не увидеть, – остудил он их. – Он с другой стороны земли появляется”. И запел, голосом обманным и каким-то охальным. В краешках его глаз, как всегда, поигрывала усмешка, остальные трое то пили, то плакали, распечаленные всем на свете и собой тоже.

Стойте, мог бы я возопить из крепости. Остановитесь, сынки. Вы не знаете завтрашних своих злоключений. И не знаете, вам того не дано, что уготовляется Кукулину. Кричи не кричи – не услышат. Вино, остатки из украденной бочки, служило броней, которую не пробьешь советом. Или угрозой. Им не дано предвидеть, в селении пророка не было.

Сохнут в горах звериные водопои. И Давидицу полегоньку выпивает земля. Громыхает, а небо ясное, без ласточек и без облаков. Лист на деревьях вянет. Ухом приложись к кочке или камню и услышишь – в отчаянии, жаждущая и перегретая, предупреждает земля: все скорбь, все боль, все смерть.

Под деревом с увялыми листьями спит Петкан, следопыт зевает, тоже уходит в сон, рои мух, мелких и прилипчивых, ему не мешают. Рядом сидит на корточках Велика, словно только что открывшая своего святого, отгоняет мух – следопыту нужны сон и спокойствие. Кузман и Дамян, перевитые паутиной взаимного уважения, пошатываются, им хочется петь и плакать, не жнец это и не горшечник, а два кесаря, новоявленные Филипп с Александром, кручина их разбирает, что в надстарейшинах у них человек с одним ухом да к тому же выживший из ума. Дивуются: чего это с молодыми сталось? Стаскивают дохлых крыс в кучу и поджигают. То-то, молодо-зелено, не растолковали им, что трупье сгнивает само собой. Вспоминают вдруг, что им ведомы чудеса, о каких Петкан с Богданом и не слыхивали. Только поздно уже, те спят. Спешат друг друга изумить былью-небылью. ”Мир рассеивается и умирает, а на место его падает с неба плита без конца и без края, и вьются по ней реки расплавленного железа. А в реках тех, известное дело, двуголовые рыбы – одна голова пищит, другая хохочет”. – ”Реки те, Кузман, опоясаны мостами из злата. И все там, за что ни хватись, из золота. И горшечники с их горшками. Даже у баб – и у тех глаза золотые и зубы. Вот это да. Подохнуть, кабы и в Кукулине так”. ”Знавал я еще одного такого вроде тебя, Дамян, из Бразды, – закачал головой Кузман. – Он тоже, братец ты мой, враль. По

правде-то, на той здоровенной плите, за которую ты ухватился, нету ни рек, ни мостов. Держится, может, нива одна с окаменелыми колосками. Эдакие царства обходятся без жнецов. И без горшечников, запомни это. Ежели всему веру будешь давать, набедуешься".

Теряются их голоса. И тени – каждая роет себе подпол под домом и забивается туда – плесневеть и открывать небывалые царства.

3

МЕСЯЦ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ БРОНЗЫ

Не покидаю крепости, но пребываю всюду, подчас и в людях этих, страдаю с ними, проникаюсь их упованьем, сердце мое кровоточит без меры. Даже поднявшись на ноги, вижу сны – ткутся из пряжи вчерашних дней, не имеют будущего. Я во тьме – нетопырь и волк, а вернее всего – труп с душой. С моей дороги убираются тени – в тень. Следом звери и облака. Не знают меня, не видят, только смутно угадывают: собаки завывают, а люди, даже те, что заснули с оберегом под головой, крестятся. И надо всем живым печалятся звезды. Спускаются на кусты, поят одуванчики росным серебром и вселенскими тайнами. Неубранные подсолнухи на миг даются в обман луне: высохшие и без семени, вскидывают к ней голову. Тщетна надежда смертных, царюет ночь, и завтрашнее солнце не вдохнет в них веры.

Во мне и вокруг меня, со времени пробуждения подснежников до сбора каштанов после дождей, до ледяных оков и опять до нового сенокоса, все смешалось – сон, явь, события, голоса, все, и даже больше, чем все, я не мертв и не умираю, я призрак с сердцем и тоской на сердце, слышу, как неизвестность отдается болью и в дереве, и в скале. Иногда, ночами, отыскиваю грибы и сушу, или ополаскиваю глаза живой водой, пытаясь вылечить их от свинцовых снов. Лбом припадаю к камню, вырываю из него длинными ногтями дикий овес и терн. Чтобы не завыть, землей забиваю рот. И лежу – подо мною полевой мак и ячмень, надо мной созвездья и тайны.

Ночной ветер навеял на меня соленый дух моря из моей юности. Десятки лет переживались мною подобные ночи – я не альфа и не омега, а знамение, знак того, что находится вне обычного и известного: спрутами расползлись по мне тени, засеяв лоб звездными крошками. Я капля тишины в тишине, плачу и не обретаю слез, чтобы омыть лицо. Поглядеть на меня – призрак, а нутро – плесень. И в молитвах моих соблазн. Господи,

если ты есть, пускай не будет меня, я есть, но пускай не будет меня, Борчилы, внука деда Маркуши и бабы Мины, сына Стражимира и Лены, тайного мужа всяческих жен и прадеда Тимофея, лишенного моей крови, меня судил Растимир-боярин и пытался убить Лексей, друг и наветчик, ставший покойником сто и не знаю сколько еще лет назад. А я – ловлю свернувшегося ежа и окунаю в лужу. Как откроется, раздеру ногтями, начав с живота. Из малины себе добываю воду, хлеб – из корней и лесных клубней. Зимой тяжело. Перебиваюсь горстью уворованного зерна, плодом сушеным, мертвой птицей. Я и есть, и нет меня, наполовину труп, наполовину душа. Только разум мой не знает забвения.

У меня есть дар помнить будущее – может, я оттуда пришел, – я помню то, что наступает подобно надежде и проклятию, как ночь из сердцевины ночи, из глубин, до каких даже призраку вроде меня не дотянуться ни ногой, ни оком. Ночи для меня не темны, а прозрачны. Потому я видел: бродят во мраке двое, он известно с какого света, косматый, тонкоустый и гологлазый, хромающий неприметно, она огневолосая, лоб белее скрытых зубов, обильная плотью, податливая, кровь (ох, кровь!) темная и горячая, – я видел такую кровь на клювах птиц, когда они защищали землю от крыс. В Кукулино ночные посетители не заходят, эти могли быть только злодеями. Я застонал. Здешний край перед новыми искушениями: под ухмылку мужчины женщина доведет до безумия голодных. Всех: Петкана, Богдана, Парамона, Русияна, Тимофея, Кузмана и Дамяна и даже надстарейшину Серафима, будут домогаться женской плоти, как домогались перед ними Растимир, Лексей, Лот и некий иной Борчило, а до того дед мой Маркуша и Маркушев сын Стражимир, и дядья мои по отцу и по матери Иван, Айгир, Стефан, Бойогор, и три брата мои – Еврем, Андон и Траян. Такие, как она, податливые да горячие, не упустят и лесного козла. Нет, не всех крыс поклевали птицы. Уцелела парочка – он в льняном одеянии, до ногтей укрывающем руки, и она, поводящая бедрами. Я окаменел. По спине поползли мурашки. Мужчина и женщина, на чей угодно взгляд безопасные, за собой имели словно бы тайные тени. Уж не хвосты ли? И вдруг ночные гости сгинули за грудой бочек, стали тем, чем были. Увидев это, я закричал, забился лбом о каменную стену покоя.

По всем кельям и покоям крепости ползали горбатые тени, скрещивались, оставляя за собой исчадия мрака. Призраки предощущения. Предрекающие: добру быть жертвой на собственном алтаре.

Никто иной, ни завтрашний, ни вчерашний, не смог бы заметить этого, глядел бы, оставаясь слепым кротом. Неучам оно и простительно. Я же только что при свете луны углядел в разложье женской груди блестящий месяц из зеленой бронзы с живым оком посередине – знак покровителя их Адофониса, это ему здесь, в этом покое, я оцарапал ножом язык, и он убежал, дабы вернуться в человечьем виде. И вот он – не один, с женой. Семенем своим зачнет легионы, способные покорить землю. Так. Попытка одолеть Кукулино была только пробой сил, завтра человек и журавль станут слишком слабы для отпора, черная их ожидает судьба.

Месяц из зеленой бронзы предупреждал, чтобы... Чтобы – что?

Я снова просунул голову сквозь бойницу и уверился в пустынной неподвижности мира без жизни и без обличья, но в тот же миг услышал шаги по стертому камню, что ступенями вьется к самому верху крепости. Как раз подошла пора для моей четвертой молитвы – она, если я и вправду не призрак, поможет мне распрощаться со своей скорлупой. Я щерился с отчаянием немощного пророка. Губы потрескались, но я не ощутил соленой влажности крови. Надвигалась апокалипсическая сумятица, скоро настанет погибель.

Воистину, или я утратил разум, или становлюсь свидетелем мора. В моей жизни пустота, темнота между двумя жизнями – мрак, куда не доходит сознание. Лежал в гробу и восстал, так ли? И неужто я останусь единственным и последним на этом свете, ожидающим, когда из червя разовьется новое человечество, для которого писание мое станет поучением и предупреждением, что когда-то, не важно когда, явятся и по них новые черные легионы, и для будущего, имя которому Парамон, Русиян, Тимофей и тысячи разных иных имен, повторится все, что я видел и вспоминаю?

Настанет, начнется погибель, все живое поляжет снопами, и младенцы тоже, вчерашние и завтрашние, вместе со своими крестными. Мрак в моих жилах съедает самого себя, обновляется новым тяжелым мраком. Я трясусь от озноба, а мрак застыл, морозит меня омертвелого, чтобы перестал я быть тем, чем себя считаю, – призраком, проклятым виденьем, вампиром страждущим, жизнью смерти. Успокойся, душа, придет погибель и возрадуется ад о пропадении человеческом, поначалу тут, в Кукулине, в Любанцах, в Бразде, в Побожье, а потом во всех неведомых селах и городах, от моря до моря, от царства к царству, дабы исподволь в мутное забвение уходило самое слово "жизнь" и имя

"человек", и коварство и благость, и все – боль, искушение, греза, надежда. А потом умрет само время, и будущее сделается пустыней без плача и смеха, без живых и без призраков. Начнется. Есть начало и у конца.

Может, уже началось. Если то был не сон, я видел кое-что с сомкнутыми глазами. Стояли на пороге между покоями, лицом повернутые ко мне, серый пушок на коже выдавал их. "Призрак, – шепнула женщина. – Неприкасаем". Мужчина скалился. Верил в свою силу. Но приблизиться не решился. Я вынул из-за пояса нож и показал ему. "На лезвии твоя кровь, – напомнил. – Подойди и лизни". Женщина схватила его за руку. Я к ним не пошел. И они отступили, повизгивая от страха, сползали по ступенькам в поисках логова подальше от меня и от своего конца.

Я помянул своих братьев, помяну их еще, и да простится мне, что я сокрыл их в той части моего писания, где выгребал из праха памяти погоню Лексея и тех двоих, для меня безымянных. Растимир, прежде чем нас рассудил мой нож, три смерти мне подарил: Евреме, девятнадцати лет, накинули на шею удавку и вздернули на ореховой ветке, младшего двумя годами Андона в болото кинули с жерновом от ручной мельницы на ногах, меньшого Траяна связанного затолкали в свинарник к голодным свиньям. Вот они сидят напротив меня и молчат – за своего не признают. Еврем отекший, на шее висельный шрам, из Андоновых глазниц выбиваются, расползаясь змеями по лицу, болотные травы, у Траяна свиные покусы прикрыты землей и молодыми крапивными листьями. Когда умирали, проклинали меня, наверное, прощаясь с молодостью. Возьмите меня к себе, тяну я к ним руки. Сидят неприступные. Вижу: не вампиры они. А в сознании вампира чад да греховные пятна, и кипит оно, взбивает из пузырей пену под черепом.

Я открыл глаза – никого нет.

4

ПСЫ С ЖЕЛЕЗНЫМИ МОРДАМИ

Преображение – мужчина и женщина оказались не тем, что я думал, не крысами. Но того же рода.

Поселились внизу, в бывшей конюшне проклятого Растимира. Они – люди, а кем были раньше, знал только я один. Никто их не звал, никто не приветил с радушьем хозяина. Прошли,

словно тени, через поляну, неся с собой колдовство, не иначе, не обойтись без него в такое время. Он объявил себя богомазом и после уединения написал икону в кроваво-темных тонах и в золоте, да так быстро, что поневоле думалось, будто он принес ее с собой под льняной рубахой. Может, в нем и вправду не было человечьей души, зато руки были умелые, пожалуй, даже слишком ловкие для бывших крысиных лап. На иконе, как показалось многим, был он сам, глаза золотые, держит на ладони крепость, протягивает ее женщине, а у той под распущенными волосами угадывается нагота и каждая жилка под кожей живая, сверху темное небо, а внизу земля кровавого цвета.

Жнец Кузман и горшечник Дамян привели их к нашим старейшинам: прослышали, мол, что тут возводится церковь и надобен иконописец, он готов оживить Библию и в гладком ореховом дереве, и на стенах божьего дома. "У нас есть церковь?" – спросил Серафим. Его ветхие соратники не знали, есть ли. "Будет, любезные мои отцы преподобные", – вмешался Богдан, испаряя из себя винный дух. "Будет, будет, – подоспел откуда-то и Петкан. – Завтра я возьму на себя водительство. Чувствую благость в сердце. И глубже".

Иконописец и женщина покорно стояли перед старцами, перед этим скоплением бород и костей, а в открытых дверях Серафимовой каморы небеса и впрямь были темными и кровавыми, только с одним облаком, похожим на расплывшуюся радугу. И в этой неясной дуге подрагивал вихрь. Я видел его глазами старейшины. Они же, он и она, стояли, ресницы, конечно же, смиренно опущены, а старцы между тем возжелали им заглянуть в глаза – в Кукулине они только у мертвецов закрытые. Увидели четыре желтых ока, никогда не виданных, не бывалых даже у утопленников восточной болотины, где обитает сто шесть видов птицы всякой, и местной и прилетной. Улыбнулась она, пояснила: "Йован Теориян был ему учителем. Изограф. Он Исайло, я – Рахила. Мы безродные, только и добра у нас – его дар". "Хочешь молока?" – попотчевали ее, чтоб не молчать. Она улыбнулась снова. Желтый лед ее глаз унижал и мучил заботливых старичков. Месяц из зеленой бронзы с синим камнем, загоравшимся по ночам живым оком, мутил их многолетнее разумение. Держались мертвыми руками за мертвые ребра, сложенные вместе, составляли воедино пять столетий – счетом их было восемь. Неведомо для чего, может, просто игра старческого слабоумия, Серафим тщился деревянной ложкой выковырять зуб. Чувствовал языком его оголенность, только зуб, хоть и оголенный, держался устойчиво на своем корне. Маленький даже для

девятилетка, ноги в хлюпающих опорках утоньшаются под портами, жаждал прикоснуться губами к зеленой бронзе, зарыться носом в теплую грудь. Вопросил, откуда пришли. Женщина: ”Из земли Моисеевой с садами из мандрагоры – есть такое былие с человечьими ножками, начнешь вырывать – пищит. Я принесла сухой корень. В вине растворенный убивает все боли и в плоти, и в душах”. Иконописец тоже шевелил губами. Пять столетий сморщенной кожи не могли разобрать сказанного. Будто язык его был порезан до крови.

Потом он сидел между старцами и с усилием расспрашивал про церковь, какая будет и какому святителю посвящается. Она, Рахила, повторяла, что он говорил. Стояла за Исайлом, опираясь ладонями о его плечи, напоминала старцам камень с двумя желтыми холодными каплями подо лбом без морщин. Богдан: ”Нынче утром, любезные мои, я шел по следу куницы и наткнулся на крысиный помет”. Изумленные, все сперва таращились на него, потом озлились – ну и что? Женщина: ”В земле Моисеевой слово ”помет” не произносится”. Богдан: ”И тогда, перед тем как явиться крысам, я нашел такой же помет”. Полегоньку, прихватив глиняную кружку, медлительный, серый, Исайло короткими глотками прихлебывал вино. Рахила, указывая на иконописца: ”У него была рана на языке, вылечился мандрагорой. – И склонялась к нему, втягивая губами винный дух. – Такие, как он, ваши милости...” Выпрямилась. Око на месяце из зеленой бронзы окоченело уставилось на старейшин, и те, поочередно отмахиваясь от желтого шершня, более робея, чем надеясь, вопросили: ”Такие, как он, – что?” – ”Такие, как он, – святые, благородные старейшины”. Он, скорее Адофонис, а не Исайло, намеревался что-то изречь. Губы покрывались темной коркой. От ржавой крови, не от винного осадка. Шершень упал на грань его кружки. И никто, хотя всех заняла загадка, не доглядел, сгинул ли шершень под согнутым ногтем или свалился в вино. Исайло как ни в чем не бывало пил. ”Крепость, – через силу вымолвил он, – станет мольбищем с моим ликом. Я и вправду кое-кому святитель”. Старец Серафим помахивал головой, не понимая его речей. Запросил вина, сунули ему кружку с козьим молоком. Супился: ”Позовите кривоногого Петкана. Достославных деяний ради обещался меня женить”. Петкан посмеивался, стоя сзади, из-под верхней губы растягивалась еще одна. Парамон придвинулся к Богданову уху: ”Не только помет. Нынче ночью верезжало что-то. Да так жутко”.

Снаружи каркает в пепельном мареве ворона, ведет счет зловещий моим годинам. Зной свернул и цветы и деревья,

а голос вещуньи таит в себе зимнюю стужу и отчаяние.

Будущее словно не обещало благолепных солнечных восходов. К чему? Краю здешнему красоты не суждены. Ворона, пролетев мимо моей бойницы, села на крепость. Каркнула еще раз, зловеще и коротко.

Старейшин, казалось, охватил озноб. Он, с тайным именем Адофонис, поднялся с можжевеловой треноги, а оказавшись на ногах, сгорбился. Вышли оба. Следом собиралась толпа, провожая их пьяным шагом, равнодушно и безмолвно. Подальше от этого крестного хода держались женщины и собаки – и те и другие обладают даром предчувствия в отличие от мужчин. Псы, самые разные, пятнистые, белые, бурые, малые и большие, тощие, с повисшими хвостами, облезлые, с кровью волка или лисицы в себе, затаив дыхание и голод, стояли или лежали на сухой, утерявшей весеннюю плодородность земле. Казались памятниками устрашенному зверю – ни блохе, ни грому не вырвать их из оцепенения.

"Лодырь этакий! – кричала кому-то Велика. – Теперь я плоха стала". Мужчины ее не слушали. Вышагивали сплоченно вслед за Исайлом и Рахилой. "Не теряй спокойствия, любезная моя, – посоветовал ей Богдан. Из-под оределых его волос заметно поблескивало темя. – Иди замуж достославных деяний ради, иди за князя Серафима Терновенчанного. Ступай в сенник, я тебе принесу приданое". – "Ты лучше муки мне принеси, а не приданое". Он смеялся: "Готовь сито. Принесу я тебе муки. И сухой рыбы. – Прокричал: – Эй, Петкан, сыщи-ка вина! Да позови любезных Кузмана с Дамяном. Расскажу вам, что я увидел в треснутой тыкве".

Горное чернолесье испарялось пепельно, словно утомленная душа огромного ощетиненного и в смерти не укрощенного зверя. Задымленное трепетание поднималось ввысь, обретало обличье. Это встревожило женщину, она покачнулась. Исайло схватил ее за руку. "Что с тобой, Рахила? Это всего лишь облако". "Нет, – затряслась она. – Из такого облака явились однажды птицы. – Она всхлипнула. Я слышал в крепости все, только я, эти глупцы, жаждущие жаркой плоти, стали глухими. – Птицы укрылись в лесу, – горячилась она. – Повелю его сжечь, и птицы сгорят в можжевельнике и сосняке". Он: "Люди убьют нас, Рахила. Лес – их божество". Она даже на него не взглянула: "Они покорятся нам. В бочки с вином я всыпала ночью порошок мандрагоры. Мои желания для них – изволение свыше. Дуб им уже не бог".

Они говорили без слов. Но я слышал их, я им расстегивал мысли.

Рахила с раскрытой грудью обернулась к мужчинам. Око в середине месяца из зеленой бронзы ослепительно вспыхнуло. Миг для нее был решающим – порушившим внутренние преграды. Глаза у глупцов до дна заполнились ее податливой грудью. В толпе закипали кровь и разум, превращаясь в голод, жажду, блудный помысл. Не отступали, но и не смели приблизиться к женщине, к вызову ее плоти.

До сознания молодого Тимофея слабой волной докатилось предупреждение: следом движется буря огромной силы, в общей сумятице обрушит она в мутные пропасти и утопленников, и надежды, все челны, все ладьи, какими плавает жизнь от берега к берегу изо дня в день. Волна впитывалась в горячий песок сладострастия, не оставляя ни капли предощущения, что зло именно таково – сперва приводит в блаженство, а через миг безмилостно истребляет. По лицу его словно таял воск, сливался тонкими бороздками потной влаги и мутного золота того, что было глазами. И Русиян такой же, тоже топится и качается, кренится на сторону, подобно свече из перегретого воска. Ни он, ни Тимофей вовсе не похожи на петухов, что за несколько дней перед тем, как задавит их ласка, становятся от злого предчувствия неуклюжими и, забывши кур, простаивают отсутствующе на одной ноге, свесив голову вбок. Толпа, как разбухшее тесто, растягивалась и сжималась с затаенным шумом, густела, превращалась в бесформенную глину с растворявшимися человеческими сердцами. Твердый круг почвы, который отметила она своим безумным топтаньем, оставался без пятен зелени, вечной затверделостью, годной лишь для поломки колеса и сохи.

А вокруг, и без бури, со скрипом на корню раскачивались деревья. Из конского черепа на тропинке темными струями вытекали букашки. И сызнова возвращались в дыры оголившейся головы. Кишмя кишели. Подползла зеленая ящерица, забралась в новооткрытое логово – сквозь черепную дыру. Оставила за собой кончик хвоста. Подсолнухи на закраине поля отрекались от послушания благородному свету дня, горбились, замирали. Голос Рахилы заколдовывал все – человека, растение, камень.

"Деревья ничтожны! – выкрикивала она. – Только огонь господин над ними. Пламенем исходят из него и ненависть, и любовь. Подожгите лес, и я стану вам святительницей и женой, словом ваших молитв".

И глупцы превратились в большого многоголового зверя. Двинулись к ней с вытянутыми руками, в каждом пальце – алчба. С утробным рыком. Она распоряжалась ими молча, чарами, покорявшими даже землю.

В глотках собиралась горечь. Мандрагора – это же с визгом выходящее из земли растение, с человечьими ногами вместо корня, шептал я в темноте старой крепости. Возможно ли?

И тут явился Апостол Умник, монах. Повязки на лице не было, с двумя глазами он был не похож на себя, к тому же взбудораженный и растрепанный, как отец всех ветров. На ремнях свиной кожи вел одного и еще одного пса, серых, с блестящей шерстью. Долгоногие, с острыми волчьими мордами, псы могли ударом лапы свалить человека.

"Псы железномордые, – выкрикнул монах торжествующе, – бабы с волосками на пятке нет, зато от них разрушителям не уйти! Будьте покойны, построим церковь. Веду их из тайного места, падите".

"Чего он морочит нас, любезные мои, этот пентюх голодраный?"

"Хочет, чтоб указали ему дорожку в ад, Богдан. Вишь, и на тебя щерится".

"Я – ваша святая. Хватайте его. Повелеваю всем, и тебе тоже, Богдан".

"Мне, любезная моя, не повелевай. Я считаю за грех руку подымать на монаха".

Зато остальные так не считали. Стискивали кулаки, сбивались теснее, готовые хоть на скалу идти. Монах сомкнул глаза, словно перед Страшным судом, перед неизбежной карой. Худой и бледный, силился через щелку протиснуться к своему раю – проклинал громко, во весь голос, чуть не с рычанием. Губы его перекрыло тенью вырванной темничной решетки. С раздробленными зубами, окровавленный, он кричал, пугая псов, рвавшихся у него из рук. Тесно сбитые, разъяренные, темные, вздымали кулаки кукулинцы. Будто скатываясь по крутизне, пронзительные, с неостановимостью эха, всей кровью своей и всей злобой принявшие Рахилино повеление, надвинулись, налетели на монаха и псов, придавили их своим дыханием. Монах не защищался. С мудростью, которая приходит к смертнику в конце последнего вздоха, как иногда приходит безумие, он охватил пальцами горло, чтоб не молить. Я знал больше, чем знали они, и вместе со мною узнавал он, монах: плита жизни тяжелее могильной. Для насильников ставший мертвым, лишь только закрыл глаза, для себя он оставался живым, способным усвоить истину и отойти навечно. Но не отошел. С первыми синяками на лице рухнул бессильно навзничь, скривился, плечом привалился к земле, одну руку вытянув к небу. Так думали они, а не я в своей темной загробной крепости.

Псы вырвались из обруча потных рук и скрылись за подсолнухами конским скоком. Глупцы выли.

"За что, проклятые?" – крикнул я.

Большой кузнечик тер свои крылышки с монотонным звуком, удерживая духоту вокруг беспамятного монаха, а под рясой его, запустив туда обе руки, Ипсисим нашаривал сережку, что выкопал однажды на том месте, где строили и не достроили церковь.

5

ПИР

Перед сумерками полыхнуло. Сперва сгорела разрыв-трава. И тотчас же словно бы треснула кожа земли, и из трещин выбились живые огненные завитки, набирая силу и делаясь всемогущими, отыскивали себе простор для пляса. Из крепости мне было видно, как в этом полоумном танце взнимались боязливые язычки, будто намеревались погаснуть в самом начале, но вместо того затаенно, а в сущности коварно и безоглядно, юркнули, разгоняясь, через чащу огненными потоками, двигаясь извилистыми дорожками, соединялись, сливались в реку, в огневое море с шорохливыми, искрами постреливающими волнами, испускающими вместе с дымом запах смерти, от которого сохнут ноздри. С пира, от разнузданной прожорливости огня, не успели ускользнуть три лисенка-однолетка да несколько рябчиков застряли в гнездах, а еще ежи, и улитки, и пчелиные рои. Пластаясь по горизонтали, трепетные огненные языки шли друг за другом среди стволов и крон, пламенные волны поднимали бурю, в которой гибли шишки, желуди, семена – все то, что по весне проросло бы и назвалось побегом, листом и плодом, сенью, жизнью, надобностью.

Силясь избавиться от пекла, деревья ширили свои руки-ветви и с гулом падали на легко воспламеняемые змеиные сплетения ежевичника и можжевельника. Огонь стал вселенной взвившихся хвостатых созвездий, вулканом разбушевавшихся бестий.

Старейшее дерево, дуб с истлевшей грудью, долголетний исполин в лиственном шлеме, мучился дольше всех. С кроны его взмывали синицы, обратившись в искры, возвращались в огонь или делались дымом под раскаленным небом. В жилистых переплетениях корня пытался сыскать убежище вепрь. Хрюкал, рыл землю резцами и клыками, всей своей кабаньей пастью, от кото-

рой несдобровать ни медведю, ни человеку. Даже молодцу из моей породы. Хребтина вепря горела, подпаленные клыки на рыле ослепили и без того слабые глаза. Убежища он не нашел — дуб накрыл его своим раскаленным телом. Не горели, были неуничтожимыми только вампиры. На лбу венчики из живых маков. Дымились. Над ними ширилась огненная кровля — взойдет луна и пустит по ней блики. Упырей видел один Петкан. "Потому мы лесок и подожгли", — пояснял, тяжело дыша. А ночью упыри душили меня, как кошмар, ездили на мне, давили, норовили утащить с собой. Вепрь больше не хрюкал — бушует пламя, не оставляет углей. Кузман и Дамян пели, и Парамон с ними: вошел в возраст, одногодки отца Петкана стали ему ровесниками. Костями расслышал я то, что разъясняло тайну. Исайло и Рахила переговаривались. Она: "Горит. Теперь они под нашими чарами. Все — и стар и млад". Он: "Ты возвысишься, будешь царствовать от моря до моря". Она: "Псы монаха, ктитора церкви без стен и алтаря, прячутся. Ждут своего часа, чтоб отомстить". Он: "Теперь мы для здешних святые. А псов изловят и бросят в известковую яму". И опять она: "У них и вправду железные морды?" Он: "И железо, будь то нож или морда, плавится в огне".

Этот ад, слишком малый для целого мира, для Кукулина, с отцами старейшинами, с глупцами и с убогими, был огромен: жизнь сдавилась непробойным кольцом. Ни гусеницы, ни змеи не могли выбраться из огня, ни дрозды, ни камышники. В вихрении разобрать было трудно, где пламень, а где тварь живая. Птица и барсук, повязанные одной судьбой, пускали дым через клюв и ноздри. В разные стороны разбегались тени.

Стемнело. Лопались раны ночи, плавились в огне. Кости и пни обращались в пепел, в серость, в боль. И медведю спасения не нашлось, и всем владениям его — малиннику и кизиловым зарослям, родничкам и тайным тропинкам. Огневое действо походило на взбесившегося Голиафа: в неистовом плясе раздирает себя на части, возвещая юбилей, новый и страшный, альфу и омегу проклятой жизни.

Из яйца страха вылуплялось сомнение: эхом отдавался во мне голос Лота, его вечное поучение. Если возраст, стосорокалетний, а может, чуть побольше, меня не обманывает, придется мне челом коснуться теней Исайлы и Рахилы — прощения ради. Навряд ли будет иначе. Они — крысы, ничего человечьего нет под их оболочкой.

Между тем, она: "Он нас караулит из крепости". Он: "Двуногое стадо изгонит его дымом из логова". Она: "И?" Он: "Ста-

нет пеплом". Она (на груди сверкнул месяц из зеленой бронзы): "Тогда – смерть". Он (лицо его сделалось волосатым): "Смерть, Рахила. И жизнь. Для нас".

Руками, сжатыми в единый кулак, я лупил себя по губам. На меня нашла немота, но я мог слышать чьи угодно мысли. И свои тоже. Хватит, Борчило, молил я об уходе в ничто. Лишь откроется для тебя дорога в небытие, сгинет с тобою и самый вместительный труп столетий. Я был-таки огромным оком со всеми зеницами мира, я многое видел и вижу: испаряется в глубине леса кровь листа, боярышника или каштана, лист морщится, кожа его темнеет, дырявится, лопаются частые жилки, он корежится и вспыхивает, пред тем как сделаться пеплом. Зеленая жизнь, темная смерть. Призрачное сказание: лист последним усилием пытается оторваться от ветки и, невесомый, поколыхиваясь от теплоты, тщетно тянется к звездам, ветка живет дольше его, ствол долговечнее ветки, их переживет только камень. Лист обращается в прах, а дерево оживает: однажды, когда расцветает, другой раз – когда горит. В цветении – жизнь весны, а в огне – жизнь смерти.

"Русиян! – кричал кто-то. – Небо свидетель, я его не нашел, клянусь".

"Кого не нашел? – На Русияновом лице, повернутом к месяцу из зеленой бронзы, поигрывает злой свет. – Никого я не ищу, чего болтаешь".

"Ты же велел найти преподобного монаха Апостола Умника и зарыть его. Так ведь, Кузман?"

"Дамян верно говорит. Я тоже искал преблаженного. Под камнем, под деревом – ничего. Испарился".

А он, преподобный отец, дотащился до входа в крепость, зарываясь в темноту поломанными костями, и только теперь почуял меня в верхних покоях. Захрипел:

"Кто б ты ни был, человек или призрак, не мсти за меня во имя отца и сына, умираю неотпетым, но избави кровника моего от... от... от..."

"От чего?" – крикнул я, прижав ухо к холодной плите. В ответ невразумительный хрип. Ладно. Я поднялся. Завидую тебе, святой мученик. Не стану переносить тебя к гробу с моим именем. Завтра они найдут тебя. Не стану тебя поминать в молитвах на Лазарев день, дабы, воскресший, порадовался ты солнцу и благодатной земле. Никогда. И новая жизнь будет тебе мучением. Отходи, завидую тебе, Апостол.

Лес горел всю ночь, с верхней части до корня. Может, лишь немного шишек да семян затаилось в потресканных скалах.

Начнутся в волчью пору дожди, попадет горсть земли на шишки и семена, и, может, снегу удастся вытянуть из них корень и жизнь.

"Так не нашли вы, что ли, монаха?"

"Не нашли, Русиян, мы уже тебе говорили. Нет его. Сдается, он нам приснился. Зато мы нашли Велику. Прохлаждает ноги в Давидице, поджидаючи Богдана любезного".

"Не нашли, значит. Так вот, пока не биты, сыщите мне его псов. Впредь наука. А любезный Богдан пусть поможет, возьмет след. Вы за ним идите шаг в шаг, слышите?"

Она: "Псы, эти проклятые псы, их тайком выкормила грудью девственная игуменья". Он: "Не дрожи так. Их найдут и убьют". Она: "Если найдут". Он: "Не бойся. Все под нашими чарами".

Внутренние голоса. Пробиваются ко мне сквозь взблески глаз.

"О чем это толковали Кузман с Дамяном, Парамон? Кто их погнал искать монаха, у которого, помнишь, повязка была то на левом, то на правом глазу?"

"Не ты. И не я. А вот и Тимофей. Может, он знает".

"Знаю. Монах, будущий ктитор непостроенной церкви, упал, как и раньше случалось, с пеной на губах. Теперь-то он небось оклемался. А мы про́клятые. Не нашлось никого из грязного сброда, чтоб помочь ему, водой лоб охладить. Да что с вами?"

"Мы не успели. На пожар спешили. Вышло повеление от блаженных отцов-старейшин загасить".

"Истинно. И дождь мы вымолили. Огонь сдает полегоньку".

Вот как. Если верить им, монаху сделалось дурно, он потерял сознание, ударился головой о камень, а лес загорелся от пастушьих костров, они же вовсю старались пожар погасить. Печально, и препечально.

Мешаются недоразумения и голоса, испускаемые грудой разогретого мяса, вокруг которой стягивается обруч колдовства и бессмыслия. Оплетенные тенями, люди изнемогают, собираются в группы, расходятся парами, всякий ищет собеседника по себе. Без лиц и без возраста, каждый каждому близнец и двойник. Выбивающая изнутри тьма уравнивает их с деревьями и кустами. Одно вливается в другое, становится плотной-преплотной тенью, коварно посмеиваясь, она пока что прикрыта безмолвием, но под этим безмолвием, под этой тенью – псалмы и брань. Осерчавшие жены отлучились от своих мужей – было время, перебиралась в сундуках свадебная справа, а ныне вытаскиваешь покров для очередного покойника. В Серафимовой ка-

море старцы уселись в круг и хлебают из уемистой миски тюрю. Жизнь и живущие шагом дальше их не касаются. Родили сыновей, дождались внуков, никто не может и не смеет взваливать на них новые бремена. Что такое крысы пред их вознесенностью? Ничего. Утопят их в моче да в плевках. Подпалят дыханием, пришибут проклятием. Вскорости им прибудет ума, старцы обновляются – завтра с ними будет заседать Петкан. У Серафима одно ухо, у Петкана зато губа двойная, как-никак равновесие, пуще того, ежели придут к согласью, даже и Ипсисим окажется среди них. Обоим подошла пора, к благу своему постарели и заслуживают почтения, из людей они, а старцам ведомы великие людские деяния, разбросанные по столетьям. Мученик Ферапонт глотнул змеиной слюны и обрел дар беседовать с черепахами да червями. Мученики Платон и Роман на дне морском в январе пекли рыбу на костре для голодных, кои им молились на берегу. Пророк Аввакум продырявил ветер и на нем свиристел. И Мемном творил чудеса – из дождевых нитей плел апостольские плащи. Петр Антонский пил песок. А у Давида-царя очи по царству летали, вымеряли реки и горы.

И вот, после всех оповеданных чудес, ничей голос больше до меня не доходит, не знаю даже, хрипит ли еще монах, в молитве своей день этот я помянул как день Апостола Умника. Так и братья мои меньшие, упокоенные столетье и сколько-то лет назад, могли бы иметь день своего имени. Евремов день, день утопленника Андона, Траянов день.

6

ГЛУБИНА МРАКА

Псов не нашли, не сделались им хозяевами, а насчет монаха клялись, что костей ему не ломали: он, бедолага, сам сомлел, видно пришла ему пора перестать падать наземь с пеной у рта. Над свежей могилой, мелко вырытой по обыкновению последних дней, женщина с месяцем из зеленой бронзы, взяв пяток зерен вареной пшеницы, подшепнула, что это он, покойник, пустил пал по лесу. Кто-то припомнил – вроде бы, когда горел лес, монах лежал белый и с вытянутыми ногами. Возможно. Но возможно также, что, подобно букашке, он лишь прикинулся мертвым, а сам потихоньку ожил. И еще шепот: Сам лежит, а дух его палит лес. Ежели труп пожечь на костре, ясное дело, сгорит и дух. Но монаха закопали, и только черви могли до него доползти, чтоб достаться ему в добычу.

Тяжко, и даже очень, я выпрямился на дрожащих ногах. Из моего дня, из темноты покоя доковылял до бойницы. С холодом в костях я походил на сбежавшего из могилы – рот словно землей забит. В глаза ударил солнечный луч. Он меня ослеплял. Глаз таки защищало вялое веко с ячменями – иногда мне приходилось приподнимать его пальцами. День для меня сделался ночью – я видел слабо. Встревожилась летучая мышь, повиснув вниз головой на сгнившей балке. Предупреждала, что солнце, солнце и день станут моей смертью. Которой – первой, второй? Да ведь смерть бежит от меня, крикнул я или только подумал, что крикнул. В сущности, я кричал про себя, с нетопырями я разговаривал только так и только так они меня понимали.

Всматривался сквозь муть. Рахила стояла, повернувшись ко мне лицом, искала меня взглядом. Показала на крепость, на мою слишком удлиненную прорезь. Теперь и остальные, напустив морщины на лоб, уставились на меня. Богдан: "Может, и жил. А теперь, должно быть, обратился в прах, любезная". Рахила: "Никто его не закапывал, нет доказательств, что он мертв". Петкан: "Те, кто его закапывал, сами давно мертвы". Рахила: "И все же я его видела, и не во сне. Вчера он вместе с покойником вот из этой могилы поджигал лес". Богдан: "Лес подожгли здешние, Петкан да Кузман с Дамяном. Сдается, и Парамон был с ними". Парамон: "Глупости говоришь. Не нашим огнем лес подожгся". Богдан: "Вашим огнем, несчастные. Вас обморочили". Парамон: "Что он такое плетет, милый батюшка? Взгляни, не проклюнулся ли у него рог на затылке?" Петкан: "Ты что, увидел в треснутой тыкве, как мы пал пускали?" Рахила: "Тот, кто защищает призраков, завтра сам превратится в призрак". Кузман или Дамян: "Призраки? Ведь это же..." Богдан: "Давай дальше, любезный мой. Это сказки для тех, кто не может считаться мужчиной". Ипсисим: "Меня прислал преподобный отец Серафим. Разрешенье всего даст нам столетний постник Благун. Надо пойти к нему, в его скит под Синей Скалой. Он отшельник, ему все тайны открыты". Богдан: "Идите. А он вас проклянет. Я туда не ходок. Мы с Великой пойдем куницу тропить. А ты, Парамон, свой затылок пощупай. Может, у тебя проклюнулся рожек. И на старших не налетай, мой любезный. Пошли, Велика. Пошепчемся, как бывало".

Я скорчился на полу. Слепая мышь надо мной успокоилась. Прижавшись затылком к старому шлему, я укрылся блошливой овечьей шкурой. Благун – отшельник и постник! Я тоже

пойду к нему. Один. Если он узнает меня, догадается, кем я стал. Крепость покину ночью. Мрак – свет для меня, мрак – мой день. При луне я другой, легкий на ноги и без боли в костях.

Была ночь, были обмороченные, и я был один.

Я поднялся и опять выглянул. Она, Рахила, пройдя тенями лесного пожарища, направлялась дальше, к зарослям дрена, куда не дошел огонь. Из-под камня высунулась лисица, подняла голову по слабому ветру. Учуяв добычу, зверя слабей себя, сверкнула зубами. В оскале было отчаяние. Ее мучил голод, мучила тоска по потомству, по трем мордочкам, что совсем недавно растягивали ей сосцы. Хвост лисицы был на удивление белым, как известь. Вдруг, прежде чем углядеть женщину с месяцем из зеленой бронзы на груди, она покорно согнула голову. Припала челюстью к муравейнику. По ее хребту до корня хвоста пробежала быстрая волна мурашек сторожкого страха. Не выпрямляясь, волочась по землю брюхом, поспешила укрыться в первой же впадинке. Зверь бежал перед преображенным зверем. И ветер потянулся в свою нору среди суковатых стволов, спрятался в сухой балке.

Женщина остановилась. Провела по бедру ладонью, словно согреваясь собственной теплотой. Не оборачивалась, лицом повернутая к горе. Сказала: "Это ты идешь за мной, Русиян? Забросил постройку церкви и топишься, словно воск". Русиян подтащился сзади, еще три шага – и повалит ее. Он: "Я учителя своего, Апостола Умника, не забыл. В тот день, как ушел я на жатву, ты его сгубить приказала". Она посмеивалась, на одно плечо упали тяжелые волосы, не светлые уже, а словно бы сероватые. "Ошибаешься, Русиян. И ты с ними был, а сейчас ты здесь и в моей власти". Он стоял позади нее, высокий, в расцвете мужественности, молодой. "Я его за отца считал, мне ли поднимать на него руку". Обернулась к нему, блудливо поигрывая глазами: "Меж мертвых нет отцов и сыновей, они мертвые". Око из зеленой бронзы в виде месяца слепило его. "Ты колдунья, навела на нас порчу. Вот мы и убили его, может, и я тоже". Она заметила его судорогу и за поясом кусок старого железа, быстрым движением высвободила грудь из-под льняной ткани. "Перед тем как повалиться на колени, бей, не раздумывай. Мое терпение бесконечно". Он приставил острие железа к ее гладкому животу. Ждал, что она его избавит от гнева, признав мужчиной и господином. Рука изготовлена для удара в теплую мякоть. Она оставалась неподвижной. Белизна зубов, лишенных остроты, странно освещала лицо. Усмешка была вызовом или обманом. "Я тебе подала совет, не раздумывай".

Он глядел на нее задышливый и ослепший, посиневший, с набрякшими жилами на шее, с дрожью плоти между кожей и ребрами. Долго, коротко? Слишком коротко, чтобы замахнуться. Слишком долго для плоти, жаждущей плоти. "Чья ты?" Она: "Чья угодно, но не твоя". Он: "Моя, значит, не чья угодно". Опять она: "Слишком у тебя корявая кожа для моей белизны. Возвращайся к своему боголюбу, он тебя ожидает в могиле". Опять он: "Блудодейка, прощайся с жизнью".

Сожженный лес вновь опалило дыхание пересохшего горла – из неведомого укрытия выполз слабенький ветерок, он силился вернуть жизнь затаившейся искре. Предупреждение – но кому?

"Повтори. Мне понравилось твое слово".

"Блудодейка, блудодейка, блудодейка..."

И снова стихло все – ни голоса, ни ветра. Ненадолго. Вдалеке, за подсолнухами, завыли монаховы псы.

"Шепчи, говори, кричи!"

"Блудодейка..."

Сперва острие железа, копье или что-то похожее, ударилось оземь, затем руки ее плющом обвились вокруг его шеи. Она выпивала его дыхание и предлагала свое для пущего опьянения. Судорожные, распаленные, отдаваясь сладостной боли, опускались они под ее укусы в угреватую бузину, на меже небольшого поля с хилым клевером.

Сомнение вылуплялось вновь, несушка страха трудилась неустанно. Не был ли я им, Русияном, я давнишний, живший сотню и еще много лет назад, числя до лета текущего и многоразличного? И со мной было такое же – тело к телу, укусы, а ведь не всякая женщина – крысиной породы, сладострастие выражается в укусах, мужчина на женщине, плоть на плоти, семя к семени, как говаривал Лот. А теперь я стар, ужасающе стар, и уже не знаю, чему еще надлежит случиться. И не примерещились ли мне хвосты из-под Рахилиных и Исайловых одеяний? Бесполезный, тоской испитый, в расколе с собственной душой, я как разветвленная река или источник с двумя рукавами, по которому утекает ночь.

Я пытался найти самого себя в себе, потому и недоглядел: в свете дня возвращалась Рахила. Повстречала двоих из тех, кто не убивал монаха, и указала им место, с какого пришла. "Помогите строителю Русияну. Он лежит на пожарище в ранах". И направилась к надстарейшине Серафиму. "Не позволяй им идти к постнику Благуну. Явится он, станет главарем в Кукулине, князем, ты же будешь ничем". Серафим ее слушал, не

пытаясь понять. "Три женщины снились мне. Господи, на что ж мне решиться, какую взять под корону?" Два других старичка глядели на него с надеждой: "Три? Не забудь про нас, преблаженный. На Введение, если не раньше, мы сделаемся вдовцами". Серафим сидел на припеке. Тень вяза, возвышавшегося над его каморой, ушла. Он зевал и дрожал. Да так и остался с разинутым ртом – окоченел. Старички тоже ошалели от зноя. Не отгоняли мух. Шептались: "Мы, Илларион, вроде бы как вдовцы". – "Думаем одинаково и тем связаны, Гргур. Но я бы не стал Введения дожидаться". "Опять вам придется могилы копать! – крикнула им Рахила. – Русияну да первому старейшине Серафиму". Подошел Русиянов ровесник, меч за поясом. "На этом свете рождаются одни дураки. Особенно в Кукулине. Старейшина, отныне святой, умер от старости. А Русиян – вон он, идет". Старички перекрестились: "Проклятье. Земля нас глотает, а Введение на носу". Она: "Ты ведь Тимофей, что ставил огненные засеки от крыс?" И, не дождавшись ответа, пошла прочь, покачивая бедрами. Илларион: "Нас двое теперь. Слишком мало для трех жен. Разве что – а? – разве что и Мирон поженится с нами". Гргур: "Верное слово. А ты, сынок Тимофей, женатый ли?" Тимофей глянул на них налившимися кровью глазами: "Что у вас подо лбом, отцы преподобные? Известка наслоилась, песок?" Старший, Илларион, волосатый, точно седой паук, хихикал, прикрыв ладошкой уста, и помаргивал то одним, то другим глазом, а Гргур – на темени плетенный из лыка шлем – наматывал ус на указательный палец с изгрызенным ногтем и, сидя на корточках, провожал водянистым взглядом Тимофея. "Слышал его, Илларион? Уважает нас, назвал преподобными. Пойдем поищем преподобного Мирона, а? Обрадуется небось, как услышит, что мы его берем в женихи. А у тебя правда, что ли, есть позволенье от Угры по другому разу жениться? Она ведь еще живая, а?"

Русиян, и впрямь покусанный, доплелся до них. С губ его цедились нити крови. Трясся, хотя в этом странного не было, людям, живущим возле болота, знакомы всякие отрясовицы. Но был он весь в поту, испитой и белый, прозрачный, словно кусок алебастра, повернутый к солнцу. И все же оставался заглядистым девятнадцатилетним парнем, по которому сохли деревенские девушки, во сне зарывавшие пальцы в его густые волосы. Попытался заговорить. Лишь захрипел. И упал. Собрались вокруг, не прикасаясь, уверенные, что в лес забрел бешеный волк. А может, псы железномордые мстят за монахову смерть. Илларион свое: "Свадьбы справим в один день. Я ба-

рана зарежу". Гргур следом: "Все село соберется. Я зажарю телушку. Жрите, сватушки, пришел мой денек".

Похоже, в том никакого сомнения, на свет, особенно возле этой крепости, рождались одни малоумки. А у старичков Иллариона да Гргура умишки были что пузырь в луже после капли дождя.

Из сарая вышел Богдан. Согнулся над онемелым Русияном. "Не волк, – оценил он. – Так мелко кусают крысы. Ничего, живой все-таки. Дайте ему отлежаться да позовите мать, мази пусть принесет. От этого не помирают".

Стемнело. Люди превращались в клочья мрака, мрак сомнений забирался и внутрь. Оглядывались устрашенно, спешили двери за собой заложить засовом. Может, не врет этот Богдан: опять набежали крысы и круг черного кошмара сомкнется в мгновение, долгое, словно вечность.

Я нашел брошенную палку, опираясь на нее, дойду – в путь, Борчило, к пустыннику Благуну и его священной норе. Шаг за шагом, невидимый и неслышимый, я уходил от крепости. Вокруг, до неопределимых далей, до небес и выше, до моря и глубже его дна, жила ночь, царствующая и всемогущая. Сухим дыханием стирала мне морщины со лба, а было им полтора века. С двух сторон, с востока и из южной долины, перекликались две совы. Обе маялись одиночеством.

Над мелкими водами Давидицы склонялись искривленные вербы, примериваясь к песку – пустить корень. На берегу, где пастухи поили скотину, лежала выкопанная из пашни мраморная женщина, властелинка либо богиня живших тут до нас староселов. С одной ее груди косо сливался свет луны. Женщина была словно бы подъедена крысами – половинчатая. А многим она снилась живой, из плоти. Я присел передохнуть, смирить шелест в ноздрях. Нечаянно, бесчувственной ладонью, коснулся округлости плеча каменной женщины. В пальцах ожило воспоминание молодости. Околдовывая меня, женщина словно бы потянулась с тайным вызовом – захотелось зарыться лицом в ее мраморную белизну. Я застонал.

Поднялся, превозмогая себя. Мне мешали корявые корни деревьев. Но я не дался им, не позволил уложить себя лбом в пепел. Прозрачная, бледная, одинокая и безнадежная, луна давила мне на темя, мешала подняться. Я спал, думая, что иду, и шел, думая, что сплю. Пальцами ног по-орлиному цеплялся за землю. С каждым шагом выдирался из какой-то смолы, полегоньку, пядь за пядью, оставлял за собой пределы пожарища. Карабкался на кручи без тропок, спускался в котловины и снова взбирался на кручи.

Ночь как любая другая. В бездорожье метнулась с моего пути тень. Лот, мощи святые, стань мне опорой, шепнул я. Вокруг меня сплошная бескрайняя тень.

7

КОСТИ ПОД СИНЕЙ СКАЛОЙ

Кентавр. Не человек-животное, а нечто совсем иное. Наполовину в прошлом человек, другой половиной – сегодняшний призрак, вот что такое, и с голосом Лота в себе: сомнение не обновляется, оно растет и становится чудищем со многими щупальцами. Будучи молодым, я видел во сне свой мертвецкий одр, огражденный свечами, на каждой свече – трепетанье пламени, похожего на голубую бабочку. И ни от кого, кроме себя, я не просил ответа, снится ли мертвым, что они живые. "Лот! – воскликнул я. – Если холмиками, твоим и моим, мы принадлежим одному миру и одной земле, приди и растолкуй, что меня держит на ногах и почему я жив или ожил из мертвых, стал вампиром".

Сова – прежним голосом, смутным, но уже без отзыва.

Я опять занемел, шел и падал, оскользался на голых костях, с каждым шагом, тяжким и до боли мучительным, оставлял за собой капли крови – нет ее во мне, а все же цедится!

Ночь тянулась, словно длинный хвост за сторожким зверем, щупальца передо мной, позади меня, во мне, я был как бы у зверя внутри: облизывает меня и давит, касается мягкой лапой лба. Если бы день поспешил, на месте, где я сейчас, остался бы пепел. А потом ветер и ничего, забвение, боль минувшего. И безвозвратность, вечный Лот. Безвозвратность, твоя и моя, Борчило, и все же твои сомнения воскрешают меня из скорби и боли. "Теологически?" – спросил я. "Сильнее, гораздо сильнее. Плоть истлевает, разум переходит от одного к другому". – "Но ведь разум, Лот, мышеловка". – "И баланс несовершенного духа", – послышалось в ответ. "Что же тогда совершенно, Лот?" – "Только опустевшая могила, Борчило. Глухая и слепая к несовершенству".

Я придушил в себе крик – Лот делался духом моего духа. От ежевичных колючек, забившихся в кожу, я походил на старого запаршивевшего ежа, на некую зверюшку, только изнутри благодаря неизбывной боли остающуюся человеком, если я могу таковым считаться, если я был таковым и теперь, под Синей Скалой, в самом святилище отшельников, обитавших

здесь в продолжение трех или четырех столетий, вплоть до последнего и нынешнего – Благуна, забытого родней и потомством.

Я позвал его, уповая на встречу с мудростью. Подождал и снова позвал с неясной надеждой в себе.

"Громче, – дошел до меня совет или насмешка. – Громче проси. – И затем: – Доподлинно, избавление плоти и костей от скорби в молитве, горе, когда вседержитель попускает нас сеять злодейства по питающей всех земле".

Его украшением было философское сомнение, возможно прораставшее из времен Александрийского священника Ария или кого-то другого, жившего раньше или позднее, конечно же раньше, во времена древних философов и во дни римских царей: Ромула, Нумы Помпилия, Тулла Гостилия, Тарквиния Древнего, Анка Марция, Сервия Туллия и Тарквиния Гордого. Основателей городов (Ромул – Рим), богопоклонников (Нума Помпилий – воздвигатель храмов), завоевателей (Тулл Гостилий – железные легионы), тиранов и фанатиков (Тарквиний Древний – тройственность небес: Юпитер, Минерва, Юнона), приверженцев моря (Анк Марций – укрепления на пристани Остии), расценщиков человеческого достоинства (Сервий Туллий – неважные, важные и наиважнейшие в его царстве), лукавцев (Тарквиний Гордый – великий римский плебс, сжатый в кулак).

Может, до этого мгновения во мне, словно в загадочной вселенной, мешались имена, дни и события, все то, что я пережил с отчаянием в замутненной крови, или выскреб из Лотовых книг, или услышал от самого Лота, теперь же я изнутри сам силился разглядеть этого Благуна, эти живые мощи под Синей Скалой, с которой ниспадающим лучом струилась лунная благость, разгоняя призраков, стремглав бежавших от меня, вечного вампира.

Я выпрямился и увидел его, похожего на огромный пень, обрушенный зимней порой лавиной и оставленный сохнуть на ветру да устрашать звериные стаи. Лицо было окаменелым. И борода, слишком длинная для человеческой жизни, простиранная десятилетиями соленых дождей, походила на сталактитовый натек. Он молился, хотя губы его были стиснуты: "Истребление, доподлинно, над нашими головами, вот-вот опрокинет нас в страдания и боли, спалит часть по части, и имя наше будет значить не более, чем крупица праха".

Над ним возвышалась знаменитая Синяя Скала, библейский приют отшельников – насилие и лицемерие лихолетий за-

гоняли их в одиночество. По преданию, здесь с крутого утеса первое пришедшее сюда славянское племя бросало в пропасть бесполезных старцев, не способных уже ни сеять, ни воевать и поэтому становившихся бременем для покорителей плодородных земель, вод и вожделенных выходов к морю. Кости, валявшиеся повсюду, усохшие и желтые, накладывали на это предание печать истины. Сквозь эту истину проросло по обыкновению еще одно предание: обреченные старцы были прокляты и умирали с открытыми глазами – в обледенелых зрачках запечатлелось, как они срываются в бездну.

Тяжелый даже в своей опустелости, с мыслью, что единственное мое пристанище крепость, я навалился на суковатую палку и преобразился в смирение. "Пришел за советом, отец Благун", – сказал я. И услышал, что алчность отворила человеку уста даже на темени, а такому, по истине говоря, совет не потребен. Он тоже, подобно своим ровесникам и подобно мне, был частью мрака и мраком. Перед костями в лохмотьях, что звались Благуном и постником, устрашилось бы даже пугало из конского черепа, вздетого на обтянутую рядном крестовину, – выдравшись из земли, скоком помчалось бы в преисподнюю. Обросший волосами, он цедил из скомканной своей души дух смолы, который разливался вокруг его тени. "В Кукулине и всюду, на каждом шагу прорастают зло и проклятье", – поспешил я сказать, а он: "Кто ты и как твое имя?" Мы переливали из пустого в порожнее. Я назвал ему свое имя. "Борчило!" – крикнул я, а он опять, не шевеля губами: "Помню тебя, и помню, что ты воистину мертв еще со дней моей младости. Ни из библейского кубка, ни из иудейской каменной чаши не напиться тебе вина – ты не воздаешь небесам любовью. Возвращайся в могилу, если есть она у тебя, дай мне досчитать, когда человек и зверь обратятся к покаянию и посту". Я силился не упасть – от огорчения, что понапрасну одолел такой путь. "Печально, но я жив, святитель. Прикоснись ко мне и уверься".

Из пустого в порожнее. Продолжать ли? Я продолжил, чтоб придать смысл своему приходу: "Предчувствую новое нашествие крыс, отец Благун. Ратусов в легионах. Ныне, в губительном преображении, предводители их явились как мужчина и женщина – Исайло и Рахила". На миг в нем будто пробудилось что – из далеких лет: "Исайло, мой внук?" Я вздохнул: "Какой еще внук? На самом деле его зовут Адофонис, он крысиный святой". Процедил: "У меня нет совета, я не утешаю заблудших. В крови глупцов и вправду живут легионы, жажду-

щие серебряных динариев, статиров, дидрахм. И латинских златниц. А кто они, эти ратусы?" Я пояснил: "Крысы, серые и злые. Согласно Лоту, их другое название – ратусы. Вот его рассказ: *Лопнут почки на древе жизни, и трапезы наши станут обильны золотыми яблоками, и в бокалы на наших ладонях станет цедиться с лозы причастный багрец, но придут крысы, а с ними искушение.* Ты помнишь Лота, отче?" Я слушал его с закрытыми глазами: "Я одряхлел, а мироточного Лота доподлинно помню. Его закололи палачи, оголтелые, иного слова нет, за то что он взбунтовался против князя Растимира. Поругания ради его за ноги повесили заколотого на грушу, семь дней оставался без погребения. Я пощусь на этом вот камне – Лифостротоне, доступном лишь избранникам божьим, а он стал эхом в пещерах Синей Скалы, давно, во времена тяжкие, не покорясь коварным наветам. Теперь уходи. И прощай".

Можно было повернуться и пойти назад, а я стоял и исходил мукой. Зачем я здесь, какого совета жду от этого призрака и моего двойника? Окажись тут третий, свидетель невероятного, он бы нас почел встретившимися мертвецами, а сам зашатался бы и, треснувшись о камень, стал бы нам сотоварищем.

"Благун, выслушай меня, – пытался я выдраться из глухой тишины. – Благун..."

"Уходи же, мученик, – прохрипел он. – Возвращайся в свою могилу к злодейским снам. Мир не жалует тебе подобных. Слышишь грохот? Близится потоп, он унесет всех, и нас с тобой, мертвых для всего живого, избавленных от славолюбия и вековой боли, прощай, несчастный смутьян, я помолюсь за душу твою, загубленную в повадливости и злострастии".

Тоска бросила меня на колени – чтоб не глядеть свысока на эту заросшую бородой немощь. Лунный свет сгущался и, спускаясь, превращался в зеленоватый покров для камня – Лифостротона, затвердевал, его можно было отколупнуть ногтем. Свет улегся щитом между нами, между его и моей потерянностью. Может, унижая собственное достоинство, я спросил у него, случаются ли возвращения из царства мертвых и придет ли новая Лазарева суббота. Он сидел и раскачивался взад-вперед, на коленях держал черепаху – символ отшельничества и смирения. Были у него свои истины: "Корень мертвого дерева живет и пускает отросток. И отравная смертоносная икра усача преображается в рыбу. И у угря отравная кровь, но угорь той кровью живет, и растет, и питает нас. Камень, даже раздробленный, сохраняет жилки под лишаем. Человеческое воскресение в его потомстве".

 Я коснулся стариковской руки челом – придя за чужой мудро-

стью, я обрел свою: и у крыс бывает потомство. И снова из пустого в порожнее переливалось духовное наше касание. "Кто ты и как твое имя?" Снова: "Моя имя Борчило". Вздрогнул: "Помню тебя, и помню, что ты воистину мертв. Уходи".

Я ушел, забился в ближайший распадок – подумать о нем и о себе.

8

НЕМОЩЬ ВЕРЫ

С покривившегося дуба, в это лето, столь богатое желудями, что в окрестностях Кукулина прижилось стадо диких свиней, отозвался дрозд, за ним рябчик. Неслышно, немо надо мной пролетела сова и пропала в чаще. Ночь была, и не было ночи. На востоке начиналось солнечное рождение, чреватое зноем, зато утро обещало обильный свет, неведомо почему наполняющий душу печалью, конечно же не мою, – такое ощущение возникает после радости и доступно только живым.

Укрытый камнем, похожим на магму, я видел, как к обиталищу отшельника Благуна подошли люди. Можно поклясться, что их из себя извергла гора – лица словно поросли лишаями: Петкан в медвежьей накидке, бездумный и беззлобный, как всякий пропойца, живущий сказаниями, в которых, словно ползучие стебли, переплелись столетья; сынок его Парамон, избежавший уборки подсолнухов, потерянно пялится на свои ладони, дивуясь, с какой стати его занесло в эти горы; Богдан (а говорил, не придет), задымленный факел из костей и души, ростом выше первого, пониже второго, с тайной мощью в себе – звери его пугались. Подошли и остановились, не приближаясь к постнику, поджидали задышливого Карпа Любанского, из соседнего села, в свою долю потрудившегося в битве с легионами святого Адофониса. Они явились, исполняя волю старцев, уже день как сиротствующих без старейшины Серафима, принесли горшок молока и ржаную лепешку.

В себе, в малом шаре собственной вселенной, я загодя назирал то, чему надлежит случиться: станут перед утренней тенью Синей Скалы и позовут отшельника, и он, знать о них не желающий, откликнется из темной ямы, спросят его, и спросит он, и подождет, пока его снова спросят, а затем сдастся – и не будет уже святыми мощами на завтрашнем алтаре. За ними внезапно появилась она, Рахила, по такому случаю в блистающей белой одежде, волосы увязаны на затылке, скромная, с молитвенно

сложенными руками. Если б пришли только мужчины, постник Благун отослал бы их назад, в Кукулино, он давно уж отмахнулся от этого мира, не исповедник он им, не утешитель. Мать его выплетала рогожки, кормила дитя перегретой грудью, от работы не отрываясь. Выкормила – давно. Теперь же он постящийся пень. Без сомнения, он предпочитал голоса, не желал, чтоб на него глядели, живые лица мешали ему. Весть о смерти первого старейшины его не тронула. Прохрипел: ''Серафим, что ж, человек далекий и не Лотова ума, чтоб помнить долго. Чего надобно?''

В этом краю дуб называли его именем – благун. Такому, как он, хоть и с повыщербленным стволом, пошли бы на имя и другие названья дуба – острогон, плоскач, крастун, белик, гожлак, сладун, клецер, горун, черник, стеж, платичак, крастун, доброцвет, и еще – баднилист, огнешник, ложник, котолист, дробник, цер, желадец, громоплодник.

Вши под лохмотьями зарылись глубже в корни волос, привлеченные приливом крови. Он чувствовал, он не ошибся – под Синей Скалой стояла женщина. ''Не подступишься, небось без памяти'', – послышался Рахилин голос. Сдерживая волнение, сообщил: ''Борчило принес мне известие об Адофонисе. Могу выслушать и тебя, преблаженная''. В ответ, однако, раздался мужской голос: ''Мы Борчилу не знаем, любезный мой. Пришли звать тебя в старшие, на постройку церкви''. Другой, Петкан: ''Начали, да не закончили, преподобный мученик. И правда ли, что лес подпалил монах?'' Третий, Карп Любанский, опытный в возведении церквей, вызвавшийся помогать кукулинцам: ''Отведи проклятье от чернолесья, спаси нас''.

Во всем этом словно было какое-то поругание для отшельника, словно некий многобожец расставлял ему ловушку. Долго выплетался из паутины старости, слишком долго. Забытье прихлопнуло его, он не понимал, чего от него ждут. Вылез из конуры, похожий на букашку, колдовством поднятую на задние ноги. Из полинявшей рясы, из льняной кожи, натянутой на кости, вытащил руку, безжизненную и словно чужую, протянул ее к далекому сну, лаская прозрачно-синей ладонью ему одному видимое видение. ''Нестория, – неожиданно мягким голосом позвал он. – Нестория, я знал, ты вернешься ко мне''. Рахилин голос тоже зазвучал мягко: ''Не прельщайся, благочестивый. Меня зовут по-другому''. Парамон: ''Какая Нестория, что с ним?'' Петкан: ''Призывает небесную мученицу избавления нашего ради''. Богдан: ''Не похоже, что так, богоизбранная дружина. Поглядите на его глаза – он размечтался о живой''. Карп Любанский: ''И все равно он поможет нам. Под

его благословением поднимем церковь". А Благун, сплошной трепет костей и кожи: "Что ж ты, Нестория, дай мне руки, я муж твой". Отшельниково сладострастие перекинулось на других. Зашумела кровь. Стояли, прижатые друг к другу, восемь рук, как восемь лопастей мельничного колеса, жаждали женской плоти. Того гляди смелют не только оказавшееся рядом зерно, но и самого постника разотрут в прах, не оставят мокрого места, чтоб неповадно было старику пробуждаться и призывать лебедиц из юности.

"Подождите, – солнце загляделось в месяц из зеленой бронзы. – Он видит во мне мученицу из своих молитв. Оставьте меня с ним. Я его уговорю".

"Но он..."

"Не надо мне ваших баек".

"Он же вознамерился..."

"Я тоже вознамерилась. Идите".

"Он вознамерился попользоваться твоей молодостью".

"Вас послали привести его в первые старейшины, с вами он не пойдет. Я беру ваше дело на себя".

"Оглупели мы, мои любезные, стали рабами слабосильной веры да соблазнов. Чего ждем, кого? Пошли, я вам покажу в треснутой тыкве будущие наши деяния, вы увидите, что никуда от нас постник не денется. Умные ног по горам не ломают. Пьют да поют".

Вдруг Парамон, вспыльчивый и простоватый, схватил за руку Рахилу и поволок ее за собой. Остальные, смущенно посмеиваясь и пряча глаза, ушли, а постник долго, до самых сумерек выл, покинутый и одинокий. Ушли с помутненными взорами, каждый в гневе на самого себя – изгнание процветает гневом. Отшельников вой звучал псалмом, и слышался в нем небывалый призвук. Было словно бы само время, ходом столетий обращавшее порядок в безрядье, чтоб из этого безрядья взращивались возможности нового порядка и смысла: за уходившими в небытие людьми приходили другие с чем-то от предшественника в себе, излучающем далекие устремления, преображаемые в творения мыслителей и зодчих. Ничего странного: вой – это песнь человеческого состояния, эхо гнева и немочи, но ведь и восхищения и негаданного открытия также. Ничего странного: во мне освобождаются от забвения мысли старого Лота. Не набатом к бунту. Успокаивающе и предупреждающе: во всем, от лица до события, просматриваются глубины – истины человеческие и божеские обманы в нас, и только в нас.

Выбравшись из покинутого волчьего логова, ищу в небе и

не могу отыскать своей звезды. Предчувствую: Благуну не укрыться от кукулинцев за стеной забвения, знаю также, что и я буду поминать его имя не злобы ради, а с недоумением. Благун! Остался ли он тем человеком, какого я знал, и есть ли в этом краю еще кто, переваливший за сто лет? Вон он, выпрямился, вышагивает, не дает ногам каменеть. Высокий даже в согбенности своей, в Кукулине, может, только я чуть повыше его, на длину пальца. "Благун", – зову. Не откликается. Поворачиваюсь и тоже горблюсь. Мой дом и пустой гроб в том доме ждут меня, покинутость их наполняет тоской. Крепость и все, что в ней, похоже на каменный призрак, на котором столетья густо отложили свой страх и свою скорбь.

На возвратном пути, проходя мимо Синей Скалы, я не перекрестился. Прощай, преподобный постник! Ты тот самый Благун, о котором я, обращаясь в далекие лета, могу рассказать многое – из юности твоей и своей, и да простится мне, что я уподобился рудокопу, усеивающему землю незатягивающимися ранами и тоской.

...Еще до того, как крысы черными потоками нахлынули на Кукулино, колдовка Яглика (божились, что девица) дождалась, когда луна наполовину вынырнет из земли, и выдоила ее. Облегченную, с пустыми сосцами пустила ее наверх, а молоко в бронзовом сосуде снесла на погост и молоком тем промыла себе там глаза, чтобы узреть жизнь мертвых. И узрела. Ей многие верили: тысячи усопших кукулинцев сидят у подземной реки, растираются песком, скидывают с костей мох и могильную землю, готовятся к свадьбе, в свой день, в свой праздник – дело было на радуницу. Покойные Никифор и Мендуша вновь примут благословение как муж и жена, сыну своему Серафиму родят братца, не одноухого, а здоровенького и прямого, настоящего князя Терновенчанного, достойного и без упросов стать первым старейшиной на селе. Без лукавства, как уверяла всех Яглика, новенький Серафим перешагнет из одного мира в другой и, объятый сладострастием, найдет себе супругу. Никифор и Мендуша ожидают от него внука и дождутся, в один из поминальных дней внучек зажжет на их могиле свечу и оставит кувшин вина, чтоб мертвым было с чего запеть. И тоже поищет себе жену. Так оживали забытые предания о чуме, которой давала жизнь женщина, оплодотворенная семенем упыря. Как полагали самозваные близнецы Кузман и Дамян, следовало раскопать погост и всем преставленникам возле преисподней реки размозжить кости, вычищенные песком, особенно новоявленным молодоженам Никифору и Мендуше. Родят они

еще одного Серафима, осеменит он свою жену, девицу или вдову, ахти тогда Кукулино: острозубая чума, по деду Никифорова, истребит все живое. Дотла. И Яглика не будет уже ведьмой на доброй славе, а, как все прочие, обратится в ничто, а то и в зловонный труп. Страшное отродье обдерет ей волосы черными зубами, высосет ее соки, залезет под кожу, и не поможет тут даже всесильный крест. Всех и все погубит чума. И травы, и скотину, и некому будет завтра подоить луну, которой старик Гргур пообещал одежу – студено по ночам между землей и небом...

Небылицами проводили скудное лето и встретили засушливую осень. Гргур ткал рубаху Серафимовой снохе Василице Гошевой, отчасти из уважения, отчасти за обещанную половину барана. Согбенный, с отяжелевшими веками, он любопытствовал, правда ли, что у гордого Серафима ожидается братец возле подземной реки. Такая работа одежи не обещала. Василица Гошева, вся мучнистая из-за белесых волосков по коже, была схожа с разросшейся бабочкой без крыльев, которая медленно, но неизбежно возвращается к своему гусеничному обличью, сохраняя какое-никакое человечье лицо. Не дослушав Гргура, она неспешно, словно зачиная языческий пляс, принялась скидывать с себя лохмотья и всяческие амулеты – низку мелких улиток, орехи, дешевые медные монетки с ликом кривоносого кесаря – и устроилась голая на червивой треноге, клянясь, что останется тут сидеть до тех пор, покуда не получит рубаху, плевать, что Бадняк может ее так застать в чужом доме. Гргурова Фоя, даром что узколобая – недоставало морщин для определения годов – и слегка согнутая в пояснице, но по-мужичьи сильная, в пору камни ворочать, бросила несколько охапок сена корове, здесь же, в единственной горнице хозяев, жевавшей жвачку, и скинула свою рубаху. Прикрылась чужими лохмотьями, а ткачу пригрозила, что отгрызет ему нос. Длинные зубы ее были влажны и крепки: с восковым-то носом придется Гргуру ткать от огня подальше. Не важно, было это исполнено или оставалось угрозой. На рассвете, сонный и разобиженный, ежась от холода и проклиная спотыкливые кочки, Гргур переселился к своему куму, чтобы порасспросить у него, могут ли рожать мертвецы и вправду ли текут под землей реки, какая водится в них рыба и питаются ли покойники, Никифор и Мендуша и другие тоже, рыбьим мясом, икрой и еще чем из тех рек...

Гргуров кум Шурко Дрен, по виду сущий гриф, клювастый и с гривой, мастерил одежу из кожи, а нрава был молчаливого,

не желал знать более, чем узнал за свои четыре десятка лет. Щелкал зубами орехи и слушал, глаза оцепенелые – промчавшееся лето оставило в них пшеничные отсветы. Все знают, Яглика ему доводится теткой и он мог бы попросить у нее малость лунного молока. Промоют глаза и двинут вдвоем на кладбище поглядеть, что там творится под землей и как обстоит дело у молодоженов Никифора да Мендуши. В зеленоватой коже Шурко, покрытой как будто мхом, а не волосами, казалось, не было крови, а под кожей – костей. Склонив голову набок, он внимал деревенским петухам и словно бы набухал, словно перегревалась в нем какая-то пустота. Гргур мог, заострив сухой прутик, проткнуть кума и, отбежав к дверям, наблюдать медленное оседание и уменьшение его тела до кучки сморщенной кожи. Но сделать этого было нельзя: хозяйка Фидамена с аккуратно увязанными на затылке волосами, как постную похлебку, стоявшую на огне, караулила своего грифа. Она была молчаливее мужа и вроде даже не слушала, о чем говорят в доме. И снова, с торжественной строгостью, в свидетели взяв Иоанна Крестителя с иконы на белой стене, Шурко Дрен пообещал, что оба они промоют глаза лунным молоком. А Гргур вдруг стал слабеть и совсем сомлел. И словно бы сам превратился в перегретую пустоту и страх: с какой стати он, на селе столько народу, пусть себе молоком промывает глаза кто-нибудь не такой полезный, к примеру Петкан, от него-то покойникам несдобровать...

Полоумный день перешел в сумасшедшую ночь, когда сокрушительному Петкану надоело отбиваться от блох – предоставил неблагодарным тепло медвежьей шкуры, они же покушаются на его кровь. Он бродил по селу, поворачиваясь спиной к холодному ветру, от которого попрятались даже собаки, и вдруг столкнулся воочию с дивом: на гумне Денисия Танчева русалки-болотницы в травяных накидках молотили сухую листву; шли одна за другой по кругу и грозили хозяину, что дом его, выстроенный этим летом, вскорости полыхнет. Нечистая сила не могла простить Денисию Танчеву, что он взглядом придвигал к себе треногу, обращал змею в камень и валил дерево, даже не сам он, а дядя его по матери. Не оборачиваясь, словно ничего такого и не было, Петкан припустил к Богдановой берлоге. До макушки ощетиненный и съежившийся под медвежьей шкурой, во все горло пел, орал, прикидывался, что ни чуточки не боится, отпугивая болотниц, мол, они для него без значения, он сильнее их и подобных им окаяшек.
 Из рук не выпуская суковатую палку, перешел с шага на бег,

пока головой не трахнулся во входную дверь Богданова дома. Криками поднял приятеля с тюфяка. Богдан спросонья поинтересовался, что с ним, уж не зашибло ли его дверью, а то, может, решил прилечь между ним и Смилькой. Онемевший Петкан лишь придерживал ладонями сердце, шепелявил и отдыхивался по-звериному. Из-под его ног, рядом с брошенной палкой, скрипом отзывалась рогожка. Смутная усмешка растягивала ему обе верхние губы. И Богдан усмехался тоже, догадываясь, в чем дело: выпить надо Петкану, видать истомился, а приложится к домашнему винцу, хлебнет хорошенько и засмеется во весь голос, с грохотом. Но Петкан требовал, чтобы следопыт заглянул в треснутую тыкву и установил, дано ли покойникам рожать. Уселись под огонек жировой плошки, мухи в прокисшем вине им не мешали. Искуснейший следопыт с затаенной мудростью в нижнем краешке левого ока согнулся над тыквой. И ошеломленно выдохнул – под землей такой свадьбы, о какой толкует Петкан, не будет: Никифорова Мендуша спуталась с другим, Серафим останется без братца, зато подземный братец или сестрица появится у Дамяновой жены Петры, ее покойный родитель и под землей остался козлом, каких поискать...

Испощенная более, чем требовалось близкому Рождеству Христову, доброхотствующая собакам и нищим, Петра долгое время верила, что покойники ее караулят, подсчитывают на пальцах ее грехи – в наказание за какое-то девичье баловство. В ту ночь привиделся ей во сне родитель, Гоне Голопятник, свой сон через несколько недель она оповедала Кузмановой Звезде: покойник, тяжелый и бородатый, кожа тесна для здоровенных костей, шарахался по горнице, топотал, шарил по узлам и корзинам – это ж надо, выдраться из могильной плесени, чтоб сыскать жениховский значок для своей женитьбы. Пока она глядела свой сон, Дамян украдкой жевал сухое и пересоленное козье мясо и наливался водой, своей бочки с вином у него не было. А что такого? Днем он постится, а ночью грех не в грех, попробуй разгляди в потьме. Эта мудрость ему очень понравилась, жалел только, что нету рядом Кузмана, пощелкивал бы тоже языком и слушал, как он ловко удумал – днем благочестивый и скромный, ночью лукавый и мудрый...

На самом деле, хоть это и без значения, не стал бы Кузман скоромиться ночью – в нем своя созревала мысль. Исполняя задуманное, в продолжение трех побелелых январских (монахи из монастыря Святого Никиты зовут этот месяц Богоявлением) дней он каждое утро повергался на колени перед тем самым

священным дубом, что позднее, когда в Кукулине явились Исайло и Рахила, рухнул, спаленный полоумным пожаром. Посиневший от холода и мечтаний, просил у выщербленного ствола содействия – пусть возьмут его к себе старейшины. Зимняя мгла скрывала его от глаз односельчан, храня его тайну и покорство его перед дубом. Молился он на коленях, слезно, до жалости к самому себе. Не мог добиться от людей уважения, хотя подобало ему стать больше того, чем он был. Дуб угрожающе тянул к нему свои ветви, шуршал отверделыми резными листьями, собравшимися дожить до весеннего солнца: Уходи прочь, непутевый, твоим молитвам недостает божественного усердия! Отяжелевшим шагом, с инеем на ресницах, таявшим и мешавшимся со слезинкой, выбитой стужей и ветром, а может, и горьким чувством, что никогда ему не превзойти Серафима, нынешнего и будущего, уже небось полеживающего в зыбке возле подземной реки, возвращался он, сгорбленный, собственным следом назад, каждой жилкой своей сознавая, что карлик он никудышный: не пахал на баране, чтоб сравняться с соседом своим Ипсисимом, не катался верхом на борове, как когда-то давно Чако Чанак, и рыбьих пузырей не умел увязывать в гроздья, чтоб возвыситься хоть на пядь над хиленьким Мироном, сотворившим такое в молодости. У всех троих бороды и белые волосы. Ну и что? Он тоже седой, а бороду отпустить не трудно. Он, бедолага, даже брата не имел в первых старейшинах, а вот Даринко, хоть и калека, такого брата имел...

И правда, мало что имел Кузман, но и другие имели не больше. Тот же Даринко, вопреки пожилым годам полагающий, что вчера только – у его дней было только "вчера" – он перескочил межу отрочества. Иногда он неприметно уходил на Песье Распятие, садился на пень в редкой дубраве, с каждым годом редеющей все больше. Синевато-сивые волосы торчали у него из ушей, отпугивали дроздов, однако он не замечал птиц – орлов, исчезающих в вышине, и едва слышных сорок и дятлов. Зажав сухие ладони в острых коленях, целыми днями просиживал он на своем пне, мечтая сделаться ратником в шлеме из золота, железа или из черепашьего панциря, из чего угодно, и мечта эта оставалась в нем затаенным желанием. Оттого и пошли у него нелады с братьями, родными и двуродными, и со снохами...

Одна из снох, Урания, вся истянувшаяся в усилиях прокормить ребятишек и живность, с удлиненным, словно от вечного изумления, лицом, понесла Яглике горшок масла с просьбой поколдовать над замечтавшимся Даринко и привести его в разум. Но скоро забыла, зачем пришла, слушала с разинутым ртом

про подземную свадьбу, после которой родится могучий и умный старейшина, он расширит Кукулино, растянет его, словно тесто, от моря до моря. Что такое море, она не знала, не знала и где находится. Ее мир тулился вместе с ней в глинобитных стенах, под низким провисшим потолком, в доме с одним оконцем, повернутым к яблоневому саду затаенного блудника Иллариона. Панда ее сколь раз упреждала, чтоб держалась подальше от старика, не попадалась ему на пути, больно уж дурен глаз у свекра, хотя знахарка Наумка уверяла, что дурной глаз имеет Илларионов сын Гулаб, известно всем, из-за него роженицы остаются без молока, и только она, искусная в знахарстве, за две серебряные монетки может скинуть с его глаз злую силу, она, а не Гора или Велика или Долгая Руса...

И голодные, роженицы в Кукулине могли в то время выкормить хоть двойняшек. Посему Долгая Руса советовала Урании не якшаться с Пандой, за две монеты, да хоть бы и за медяшку, она глаза с ресницами вместе вырвет своему Гулабу. А не знает, что ее саму все боятся. Чако Чанак видел, как она сидела ночью на грушевой ветке, караулила, когда луна проклюнется из земли, чтоб ее подоить. Панда, не Яглика, шептал кое-кто, а кто именно, умному лучше не спрашивать. Ибо всякий, оказавшись чуть подальше от остальных, превращался в своего зловещего безликого двойника: Боян Крамола подковал козла по указке чокнутого богатея из Города; Кузманова дочь Лозана и Дамянова сноха Пара Босилкова поменялись тенями, чтоб дьявол их не распознал ночью, когда они ходят по воду; следопыт Богдан и Парамон, подученные Каноном, бондарем и седельником, спали у реки Давидицы с мраморной бабой, выкопанной из пахоты, и оттого-то Парамон не женился. А мог бы. На Гене или же на Борке. Затаскивал время от времени то одну, то другую в чужие сараи, отнимая у них то, что могли ему дать безответные сиротки, тоскующие по дому с хозяином. Сестры потом вышли замуж за братьев Захарию и Жупана, жили в доме, поделенном на две части, на самом краю села у чернолесья, у первой уже имеется сынок, шустрый и конопатый в отца, вторая, Борка, скоро родит; три женщины с единым прозванием Вейка – бабушка, дочь и внучка – Деспа, Войка и Фила – переселились к ней в ожидании родов и хозяина прихватили с собой, желто-зеленого Уроша, сына, отца и мужа, пускай тут и ест и пьет, на их глазах, где они, там и он. Урош этот, подстрекаемый глухим Цако, своим двуродным братом, пытался обженить Петканова Парамона на меньшой Вейке, Филе, но без успеха. Парамон обошелся без жены...

Тогда, в те полумертвые дни и мертвые ночи, Кукулино жило под защитою небылиц и никто постника Благуна не поминал. А голод уже пытался выползти из своей ямы: у многих не хватало муки, нечем было кормить скотину. Боян Крамола по мягкосердию своему не смог, как другие, взять под нож корову и в одно мглистое утро нашел свою кормилицу окоченевшей, с заледенелыми ноздрями. Над ним сжалился старик, что не мог жевать хлебные корки, и принес их целую торбу, чтобы кузнец сготовил детишкам тюрю. Это было по-людски, и даже очень, и Богдан, превозмогая гордость и стыд, поблагодарил его. Сам он ел все меньше, оставлял свой кусок домашним, стараясь малость муки, полученной за топор или косу, дотянуть до следующей жатвы. Не застонал, только сжал кулаки, когда хоронил двухлетнего сына, и прямо с кладбища поспешил в Город искать работу. Все тогда ели два раза в три дня, люди оголодали пуще волков в чернолесье, остервенело накидывались даже на падаль. Дни делались все длиннее и все мучительней ночи. Сморщенные и одичалые, молодые худели, а старые ждали конца, призывая смерть. А она не спешила, знала, что в любой туман доберется. Все в Кукулине потонуло в серости, до того небывалой, — небо, дома, люди. И в людях самих, изнутри, все посерело: мысль и надежда, воспоминание о зелени и медном отблеске весенних и летних нив. И только погост обещал утешение и избавление.

И все же многие выжили, дождались, когда вернется к ним постник Благун и даст им благословение.

9

ВОСПОМИНАНИЯ, БОЛЬ

Любовь — необходимость,
ненависть — неизбежность.

Лот

Рождение его произошло на недоплетенной рогожке в шагу от болота: пуповина перерезана серпом ли, зубами ли и связана задубелыми пальцами, крещение принято в тростниковой тине, послед закопан в мягкий торф. Имя: Благун, дуб тогда буйствовал листвой и синицами. В первую же ночь явилась сучка и выкопала послед. Мужчины посмеивались, а женщины пророчили, что из него вырастет князь и имя его возвеличится в писаных книгах. А то и святитель получится — Благун Безгрешник.

Родился в волосах, привыкал к жизни и рос, а на тринадцатом году влюбился. Звалась Нестория и была сперва моей женой, а потом, как сбежал я с Растимировой ловли, пошла замуж за некоего Романа, но и ему тоже пришлось бежать от долгов. Моложе меня на шестнадцать лет и старше Благуна на девятнадцать, да еще прикинуть сюда годок-другой – тогда ей перевалило за тридцать. Ее назвали Несторией, а могли бы назвать Нивой, Рыбой, Орешиной – волею судеб ей было предопределено размножаться, метать икру, давать приплод. Мальчишка и взрослая женщина, свадьба! Мужчинам на несколько лет хватило смеха. И как иначе: пятна по лицу, отяжелевшая поступь выдавали беременность – на подходе невесть чей ребенок (позднее он станет Тимофеевым дедом, помянутым в моем сочинении). А ведь не желательно, чтобы зналось. Зелен Благун, зелено его семя, можно так сказать. Насмешки прекратились, как только пополз шепоток, что Растимир, грозный вельможа, собирается одарить Несторию дубовой зыбкой – окована серебром и покрыта дорогими мехами да шелком. Значит, и он успел, уличали исподтишка.

Позднее, когда я тайком воротился на одну ночь в Кукулино, она, жена моя и чужая, нашептала мне о том, как было. В лето шесть тысяч семьсот двадцатое, в первый месяц третьей осени после бегства моего от ловцов Растимирова гнева, Благун повенчанный стоял, лицом обернувшись к стене, голобородый и перепуганный, а Нестория, освещенная боязливо подрагивающим свечным пламенем, раздевалась. Перед тем она выносила шкуры на двор, чтобы блохи с них переползли на собак, вернула их обратно без блох, зато с клещами. Он глядел на нее тайком, краешком глаза. Может, напоминала ему удлиненную тень с позлащенными гранями, словно излитая в темноте из молока и малинового сока, голая и теплая, напитанная материнством – через пять месяцев кормить ей чужого Благуну сына. Протягивала руки. "Иди, – шептала она, – теперь ты мужчина". Он оставался неподвижным, блюдя достоинство зрелого и умного человека, безголосый и без желания в руках. Она же знала, что он растревожен, с кипящей кровью и жаром в костях, в пустоте которых диким криком нарастало желание. Выпрямилась, обнаженная, волосы распустила по спине. Через незримую щель пробрался луч месяца и лег на ее груди, увенчанные лиловатым цветом. "Я твоя, ты муж мне теперь", – тянула к нему руки.

Он дрожал – в такое мгновение можно только тонуть все глубже и глубже в бездне нарастающей слабости. Она шагнула

и притянула его к себе. Ее грудь матерински прижалась к его губам. Вырваться он не мог. Женские руки, по-змеиному ловкие, стискивали его раскаленным железом. Десять пальцев как десять обручей на затылке, в них кругами ходили молнии крови, женской, не вечной, но способной на обновление, переливающейся в новую плоть, выходящую из утробы. Тащила его, истаявшего и прыщавого, к вороху шкур на земляном полу и казалась еще обнаженнее, чем была: любопытные, подглядывавшие за ними, клялись, что сквозь молодую женскую кожу углядели нечто, невидимое глазу, не кровь и не жилы, а совсем иное – эмбриона, обличие будущего существа. А в стороне, за речкой Давидицей, называвшейся когда-то давно Скупицей, глубина ночи оглашалась ором. Распевшиеся сваты потеряли путь под ногами, вино завертело их по кругу. Ночь, прозрачная и голубая, с вызревшими каштанами, была как громадная раковина, составленная из земли и неба, приоткрывшаяся, чтоб в безвыходном ее пространстве ожили тени и выкрики и с ними вместе мягкий, хорошо знакомый ветерок, с осени ощутимый здесь каждой клеточкой кожи: ползает по траве, греет малых зайчишек, опахивая их ароматом фиалок, который выпускает лисица из своей железы, чтобы перекрыть звериный дух и обмануть добычу. Верхняя часть крепости держала на каменных своих плечах луну. И там, в покое за огромной трапезой, обитали сами по себе песнепойцы. Совсем другие, богатые и всемогущие. Их песнь доходила до горницы молодоженов. И гасла – Нестория уложила молоденького Благуна к себе на ложе из шкур. Ни этот ворох, предназначенный для любви, ни все другое в горенке не имело имени – в такие ночи не имеет имени и сама страсть. Может, он в ней тогда разглядел чудовище или ужаснулся, почуяв чудовище в себе, но не закричал, только голову откинул на спину. С молодой силой рвался из рук женщины, ему назначенной в жены, в прыжке ударился обо что-то, о стул либо посуду, и чуть не обрушил дверь. Она осталась сжатыми пальцами стискивать пустоту мрака, голая, с голыми глазами и с оголенными зубами, длинная и длинноволосая, и на устах – зов.

Свадьба была, когда наливались яблоки, и он, Благун, сделался отцом чужого сына в ту пору, когда в Давидицу кидали серебряный крест – парни соревновались в его доставанье, в награду за то получая золотую монету. Среди голышей, молодых и как один неимущих, в ледяной воде оказался и он. И лишь только крест упал в воду, первым бросился в заходившие волны. Он не плыл. Волочился по песчаному дну, чувствуя,

что летит под водой, но как бы и на облаках, он был недостижим, он будет недостижим, когда поднимется раньше всех с блистающим крестом в руках, подобно новоявленному крестителю. Поворачивался спиной к ледяному ветру, ворона сшибающему на лету, и людям, глядящим на него, казалось – сейчас он расплывется, станет водой в воде и, переходя из течения в течение, уплывет навсегда, чтобы когда-нибудь после, когда зрелой пшеницей покроются нивы, испариться синим из синей воды – так на заре отлетает сон от ресниц. Хоть краешком ума да предчувствовали они, что этот юноша, бросившийся за крестом, отличается чем-то и от своих сверстников, и от них самих. Ждали, затаив дыхание. Дышали, казалось, только кожей, стужа пробирала все глубже, а с ней и ветер из чернолесья. Благун схватил крест и поднялся нагой, к влажной коже лепились снежинки. Стал воителем веры – каждый дом его будет одаривать, дивиться или завидовать.

С первыми подснежниками, не раньше, со свадьбы прошло шесть или семь месяцев, он стал мужем своей жены. Палками принудили братья и родичи. Да и он тоже, с пробившимся возле губ мужским пухом, не уступал родне ни статью, ни норовом – такие же цвета топленого воска волосы и такая же кожа в мелких прыщах.

Годовалые ягнята догоняли шерсткой и мясом блекочущих маток, охромевших почти поголовно от какой-то хвори, когда ему объявили, что он станет отцом. Он же подкармливал тайком горного постника и выучивал жития мучеников из прошедших столетий. Натягивал на себя новую кожу. К жене не подходил. Ударила его ниже пояса сжеребанная кобыла, догадался кто-то – так и останется с двумя чадами, Богородом да Кристиной, вторая только его семени. А в его молодой плоти уже вызревал будущий отец Благун.

Я прибыл тогда тайком, ввечеру, кажется, второй раз, со свадьбы уже прошло несколько лет, а еще больше с ловли, когда стрелки Растимировы гоняли меня вместо дичи. До того я где только не скрывался: по котловинам, над которыми ныне поднимается монастырь Святого Пантелеймона, по теснинам реки Трески, по селам возле озера Лихнидис, что, по преданью, принадлежало Ноеву сыну Яфету, и все рыбы в озере том: лососи, налимы, форель, сазаны, плотва, пескари, лещи, усачи, карпы – и птицы: лебеди, дикие гуси, утки, голуби, нырки, камышницы, цапли – и все берега и лодки. Нестория, теперь не моя жена, переспала со мной до полночи, затем помогла мне пробраться в крепость, взойти по каменным ступеням и одо-

леть сонного стражника перед опочивальней его господина.

Я мог все и делал то, что хотел. Негодяя застал спящим на мягких пуховиках: белый, с выбеленным лицом, одрябшим от блудодейства и жажды насилия, мягкие руки с сапфирами на слабых пальцах, сало под шелком. Когда ему не спалось, сидел за чашей вина или же с факелом мотался по крепости, пересчитывая мертвых в своем владении. Сейчас он спал, я мог его резать, разнимать на части или же убить единым ударом, возвращаясь к анатомии, к которой я, с Лотовой помощью, подступался однажды не без страха. Почувствовал ли тогда я, всемогущий, бесцельность своих намерений и могли ли они быть правдой, хотя бы только моей? Мучился ли я предстоящим шагом, который преступника освободит от греха, а меня обременит страданием, а в старости неизбывным страхом пред тем, что ждет меня на том свете? Тяжко. Для меня существовал один только свет, этот. К тому же в беглецах я поднабрался суровости, стал добычей лютости превеликой. И мертвый, вдали от хаоса жизни, Лот мог бы мне подсказать, что не Растимиру я мщу, а себе, мог предупредить, что после властелиновой смерти я останусь пустым, без цели и без желаний. Но все это было лишь мигом, который отступил перед планетой Сатурн – влияние Сатурново на мою вспыльчивость предсказал еще некий возвышенный Алкибиад Лихнидисский, на самом деле его звали Эразм Снегар, рыбарь и святитель, с живой пиявкой под кожей на лбу. Проклятая планета, покоряюсь тебе, ты совсем мне помутила рассудок! Сын этого Растимира будет считаться Благуновым чадом, выкормленным моей женой, вскормившей до того моего сына. Князь и червь. Но червя мне раздавить тяжелее, куда тяжелее. Сатурн старался не для червя, он имел дело с людским расколом и нетерпением, с избавителями от зла, ретиво сеющими новое зло. Я коснулся ножом его горла, разбудил: "Хочешь помолиться, Растимир? – Он не мог вспомнить, кто я такой, трясся в тумане оборванных снов. – Та ловля, Растимир, была последней ловлей на человека". Узнал меня – ему тоже покровительствовал Сатурн, бог, жрущий своих детей: "Не убивай меня, Борчило. Я богат, все станет твоим". Я покрепче нажал на нож, под ним проступила кровь: "Сильно ты пограбил здешних мужиков, князь". Его глаза побелели. "Я все им верну, – унижался он, – а сам уйду в монастырь". Я спросил, чего он от меня ждет. "Избавления", – промолвил он. Я ему подарил избавление. Остался лежать с ножом в горле, на серебряной рукояти мое имя – Борчило. Украшения на пальцах я оставил ему, зато взял от изголовья меч –

для него он слишком тяжел отныне. Наконец-то мы с ним поладили, как полагается умным, – нож за меч.

Я ушел.

Еще до снега дорога отвела меня к морским берегам, а затем по пенистым волнам – к земле скорпионов и фараонов, слишком далеко, чтобы я узнал: настала пора помолиться за душу Нестории, трижды венчанной. Мы с Благуном остались вдовцами, он отшельник, я волею мачехи-судьбы бездомник, хотя в Кукулине, вспоминая меня, полагали, что я давно лежу на кладбище широкого мира, где-нибудь на припеке или под липой, первой оборачивающей листья, напоминая живым, что уходит лето. Далеко и вдовец – Сатурн уже не приближается к луне по ночам, – я был один из многих мучеников в том столетье.

Шаги воспоминаний отзванивают по исхоженным дорогам, теряясь в далях времени, в глухих глубинах, где сотни скелетов, с которыми я встречался и расходился. По поверхности краткой человеческой жизни плавает пена горечи: кипит сперва, потом становится знамением бренности. Трещины в стенах крепости возвращают эхо вчерашнего века и осыпаются полегоньку. Слышатся вздохи камня. Он умирает. Его призрак – пепел, под чьим наносом затаились тени, им дано пережить и дерево, и человека. Паутина. На ней повисли сухие скелеты, из пустых уст до меня доносится их тоскливый зов: Борчило, к нам приставай по велению своей судьбы.

Моей судьбы? Какой судьбы? Не шутите, любезные мертвецы. Вместе с человеком умирает его судьба И не воскресает. У вампиров не бывает судьбы, и нет судьбы у моего сына Димитрия, светлоликого, златоокого мальчика, что пришел на свет с лихорадкой в костях и ушел в тринадцатый год после бегства моего к морским бурям и жарким пустыням, и я с ним даже не смог проститься.

Дополнение.

Продираюсь в тумане минувшего, сквозь пределы и время. И думаю о завтрашнем дне. Кто развяжет узлы? Взойдет черное солнце. Из-под него снопами – искушения и тщеты надежд, моих, а может, и тех в Кукулине, кто не поражен слабоумием, и еще: вызревает дикое просо, но не подлетают к нему ни дрозды, ни трясогузки. Предчувствую почему. И все же подожду. Когда понадобится, растолкую, ведь то, что назначено, случается только раз.

Один в крепости, жду. Было и у меня потомство, теперь вместо него гроб забытый, припасенный не мною. Никто не приходит ко мне с утешением, не спрашивает, жив я или мертв, – обновляюсь силой подземной реки, не успевшей засохнуть.

Некий Бабун:
С проклятьем в союзе всякий богосоздатель,
бог – это ты в своем деянии гордом.

Я, Борчило:
У лишенного плоти нет ни бога,
ни деяний.

ПЕСНЬ ВЫСЕЙ

1

НИ БОГ, НИ МОГИЛА

Ничего. И надежды нет.

Воротившись от Синей Скалы, из святого убежища постника Благуна, Петкан и любой из остальных, Парамон, Богдан, Карп Любанский, мог бы перекреститься: Идите и закопайте его. Преподобный постник преставился.

Закапывать не пошли, еще не настало время. Минул день, а может, два или три, и я, дождавшись луны, воротился в крепость. По Кукулину промчался ярко-желтый ветер, похожий на зыбкую прозрачную и мутную ткань с развихренными малыми рыбками – знать бы, – поднятыми ураганом с берегов мелкого моря на краю пустыни. Это будто развеселило кукулинцев. Рыбы падали на крыши, на землю не столь густо, чтобы накормить голодных, но и не были из бесполезных преданий, их можно было потрогать руками и взять на зуб. Лишь только ветер понесся к Городу, не иначе содрать с него кровли, с болота нашли тучи и гром. Спасение от тяжкого зноя. Но словно бы и угроза. Все вокруг, от звука до очертания, от предощущения до страха, казалось прорывом новых таинств из кратера видимого спокойствия.

Пока большинство, в первую голову ребятня, бились из-за сухоглазых рыбок, Кузман и Дамян, от превеликой близости схожие и в дури, и в мудрости, пялились на горы, а что можно было там углядеть, досмотрел только тот, кто постарше, Кузман: ”Идет, мои глаза не лгут”. Подошел Петкан, гнал перед собой овец и коз. ”Осень?” – спросил он. Кузман помянул имя постника Благуна, и он закачал головой. ”И я вроде бы преблаженного видел, во сне”. И погнал свое стадо на чахлую травку, жалеючи самого себя – прошлогоднего вина нет, до нового ждать да ждать. Кузман: ”Он и вправду идет”. Дамян: ”Благун, да?” Кузман: ”Подождем, чтоб он благословил нас. Подсолнух оберем после”. Дамян: ”Опять тебе дома будет выволочка. Третий день забираешь мула на уборку, а ворочаешься ни с чем”. Кузман: ”Закапало. Дождь да рыбки. Пошли, посидим под орехом. На кой они нам, подсолнухи, если он идет?”

Он и вправду пришел с дождем, с неизбежностью дождя, оборванный, от волос тяжелый и, на диво всем, после стольких лет выкупанный в Давидице. Опирался на кизиловый сук и еще на какой-то предавний случай – черпал из далекой юности силу.

Более того: он уверовал, что снова юн. Под частыми порывами ветра за спиной его трепыхался обрывок кожуха стягом воина, под чьими стопами простирается поприще побед и поражений, неизбежной доли судьбы. На лице его выписалась целая жизнь, особенно последние ночи с мечтаниями и ловушками снов о Нестории, его и моей жене, давно уже ставшей тленом, над которым ни ему, ни мне не молиться.

И как будто нельзя иначе. Все случается с той стороны, где прорезана бойница для стрельцов, возле коей я пребываю. Благун словно и не шагает, а земля скользит из-под него, приближая село и людей. Сух и, несмотря на высокий рост, легок. Ветер в него не бьет, проносится мимо, стараясь не помешать игре, которую судьба спешит навязать Кукулину, заклятому моему селу.

Утверждают, если всякому можно верить, под взглядом его расцветает сухое дерево, про одну такую вишню знали многие в Кукулине. Охваченные волнением, выскакивали из домов, тянулись с подсолнуховых полей. Благун не был богом, зато был вечен, навряд ли удастся кому-нибудь выкопать ему могилу. Собирались с обеих сторон на его пути, под дождем опускались в лужи, больше женщины, мужчины слишком были для этого неловки. Он над поклоняющимися не сгибался. Глаза спускал словно на паутинных нитях до женских лиц. ”Нестория, где ж она?” – повторил дважды. Его не поняли. Думали – молит набожно, призывает явиться миропомазанную святую. Всхлипывали, тянули к нему руки. Десять лет назад от прикосновения рук его прозрел слепой. ”Благослови нас, преподобный отче”, – молили его и мольбой очищали души свои от взаимных злобств. Лбами падали в грязь, поднимались, глаза вытаращены неясным страхом или надеждой. С лиц цедилась вода: ливень, теперь без рыбок почти, не унимался. Он, доподлинно он принес дождь, а и такое было – творя чудо, без труда прошелся босыми ногами по углям на общее благо: козы тогда принесли двойнят. Тут он увидал ту, которую считал Несторией: стояла, выпрямившись, под косыми нитями дождя, прислонившись плечом к иконописцу. Оба серые в сером, готовые слиться с туманом, что завтра, без сомнения, выползет из горных впадин. Словно он для того и выбирался из отшельничьей ямы под Синей Скалой, пожаловались – все еще нету церкви. ”Будет, – утешил он. – Начинайте строить”. Боялись, как бы не отлетел. Кузман и Дамян подхватили его под мышки, вытянув шеи, что-то ему шептали. Вели его с набожным видом. Из луж поднимались женщины, сгорбившись уходили. И под дождем ухранили проникновенную на-

божность, находились словно посреди солнечного круга, а само солнце пребывало в круге из радуги, источающей мед и вино.

И впрямь, на горные вершины водопадом хлынуло солнце, зелень сделалась прозрачной. "Старейшина! – раздались восхищенные крики. – Преблагой отец станет нашим первым старейшиной". Не поминали, но помнили о рождестве смерти, о нашествии крыс, верили, что старец послан им в избавление от будущих зол.

И он, в этом бескорыстном кукулинском самообмане, оказывал себя как не надо лучше – пришел и привел с собой дождь. После дождя солнце словно набухло, превратилось в живое яйцо вселенского паука, принявшегося высасывать полегоньку и нивы, и разум.

2

МИР В КАПЛЕ ДОЖДЯ

Между душой и чувствованием протянут хрустальный мост, по нему ходят и расходятся сомнения и истины, те, что нас окружают, и те, что сами мы сотворяем в трагическом неведенье повседневья. У таких мгновений нет ни свидетелей, ни судей. Просто в меру своей способности к созиданию мы из прошлого вытягиваем предпосылки для будущего. И только ли предпосылки? Если так, придется отказать во внутренней силе даровитым, что под каменистыми берегами отыскивают золотую жилу, ведущую к открытиям, нас обогащающим.

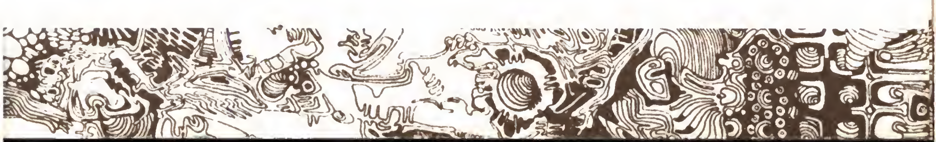
Согнувшись перед своей бойницей, я держал на ладони каплю дождя. Ничего особенного. Приблизив ладонь к глазам, я узрел в капле некое завихрение, возникшее из туманного забытья, и словно какая-то магия утянула меня в события столетней и более чем столетней давности, во времена, когда крестоносцы подкапывали основы Византии, Македонии и Фессалии, дабы подпасть под власть Бонифация Монферратского. В прозрачной вселенной на ладони открывались мне пределы с реками и горами и с бунтами старожилов против возросших даней и против чуждой веры, что не хуже и не лучше своей. Я тогда был беглецом и знал очень мало о насилии, которому понапрасну пытался противиться первый Ласкарис Теодор со своей Никеей, не мог об этом знать и маленький кукулинский деспот Растимир со своими поборами поверх византийских и латинских даней. Ограбленный народ голоруким бросался в схватку и, окровавленный, не желал признать, что попадает из одного рабства в другое.

Во мне, в самой утробе моей, роптал некто, оставшийся от жившего некогда (столетье да еще осевшая в костях часть другого столетья) Борчилы Грамматика, обладавшего иной точкой обзора: не вселенная на ладони, а он на ладони подлинной вселенной творит в ширь земли порядок иных отношений между человеком и человеком, между зверем и человеком, между растением и зверем. Я чувствовал – я это действительно сотворил: все, что было до этого дня, станет сном, исчезающим безвозвратно, и тайна его покроется буйным житом, омываемым то дождем, то солнцем. Но я, Борчило доподлинный, желчью давлю в своей утробе обманщика, норовящего пролезть в идолы. Порядок, какой ни на есть, составляется из хаоса – лживый рай с туповато улыбчивыми толстенькими человечками, утерявшими все, что знаменует настоящую жизнь. Земля, своевольный рай и своевольный ад, возгнушается ими и иных породит людей, суровых, с ненавистью в крови к скользкому сладковатому обману. Вечный рай, с вечными плодами в садах (обман, покорство и власть над возможными возмутителями), все равно, какие бы головы его ни придумали, под коронами и под шлемами завоевателей или под камилавками, – этот рай недоступен, зато мечтание о нем смягчает толпы: покоритесь, и вас ждет утешение.

Надо мной висели головой в отвес затаившиеся нетопыри. Их рай был другим, чем у голубей, омываемых солнцем и лазурью неба, даже днем украшенного луной, похожей в синеве на лепешку.

Я придвинул вплотную к глазам ладонь с дождевой каплей: пределы окрасились кровью, заполнились трупами взбунтовавшихся бедняков, а поверх раздавленного, распадающегося месива лежит, развалившись, огромный Растимир, славянин-византиец-латинянин, а на самом деле ни одно, ни другое, ни третье, жует себе козье мясо, испеченное в пепле, и дивится собственному деянью: Лот, хоть и выученик латинский, поднял села под горным чернолесьем – и вот, в лето шесть тысяч семьсот девятнадцатое, заколот единым взмахом во время послеполуденного сна, а может, сожжен или повешен или... А с ним, без сомнения, и еще кое-кто; исподволь, в новых преображениях возвеличенный Растимир становится землею и камнем под вереницей могил, протянувшейся до сего дня, до выхода истинного постника Благуна из таинственной ямы под Синей Скалой, святого и грешного места, где обитают отшельники по соседству с костями стариков, ставших бременем для сыновей и внуков.

Изо всех сил я старался увидеть грядущее. И? Узрел? Может



быть: опять на Кукулино собираются легионы черного святителя Адофониса, серые и сильные крысы, преемники орд, вкусивших живого мяса и на время оставивших сражение с птицами и людьми. Я пытался увернуться от ожившей и страшной картины в капле дождя, но вместо того, вкамененный неведомым колдовством, изыскивал и сотворял новые видения. И думал – или я прозорлив, или безумье прогрызает мне чувство и разум: крысы и взгромождение трупов с голосом в окровавленных глотках, голосом, подобным крику моих полых костей – возьми заступ, зарой меня, – вот что наполнило каплю.

Может быть, я не прозорлив, но и безумен навряд ли. Избыток счастья и праздного довольства превращает людей в размягченных слабаков, а покорность перед насилием создает смиренную обезличенность с ложной и скорбной верой в райские сады под благой защитой невиданных и, по Лоту, вымышленных божеств, предоставляющих деспотам возможность уверять нас, что голод – это сытость души, а почитание суровых божьих законов – набожность, за которые небеса, принимая нас в объятья, утешат всяческой благодатью.

И тут я увидел в капле себя: живые мощи, а вокруг умирают, за умершими следуют новые рождения для новых смертей, все повторяется без конца и без края, и в этом кружении только я один без веры и без божественного обмана. И все-таки я молюсь – выдумал себе псалмы и молитвы, – проклинаю судьбу. Божества нет, и я призываю смерть зачислить меня такого вот, перевалившего за сто сорок лет, в список своих жертв.

Сжав пальцы, я раздавил вчерашний и возможный завтрашний мир в капле дождя, а вместе с ним и все смены людского рабства и людского покорства насилию, одолимого только насилием, из которого всегда, будь то смерть жестокого Нерона, обман или самообман Цезаря, деяния нынешнего Андроника Второго Палеолога или иного восточного, южного или северного властелина с золотым прахом на пальцах и черными солнцами над челом, где свирепость и похоть угасила мудрость, вырастает новое насилие.

Я открыл ладонь и вгляделся. Линии кожи сделались реками, по которым плыли моноксилоны. В каждом, а их десяток, сидят по двое, и каждый в уменьшенном виде Исайло. За ними наползают ощетинившиеся крысы, переваливают через ладонь, вплавь одолевают пустоту покоя, где нахожусь я, спускаются через бойницы, ищут путь к домам и селам вокруг крепости. За собой оставляют зной.

Знаю, меня лихорадит. Перепонки разума раскалились. Бодрствующего, меня одолевают сны и сомнения. Предвижу – смерть поначалу замахивается: первое нашествие крыс было вступлением к кровавым завтрашним оргиям, я же буду за ними следить в бессилии, и уже сейчас я могу их живописать кановером и углем. Остается только томиться и ждать со слабой, мертвой почти надеждой, что я обманулся.

Когда, словно туча из тучи, опустилась ночь, в Кукулино въехал Фиде, волоча за конем на веревке пленника со связанными руками. Кроме меня, не было свидетелей тому, что случилось. Фиде соскочил с коня и приблизился к согнутой жертве – с лица его даже лунная благость не могла стереть гримасы ужаса.

"Макарий, так ведь тебя зовут, а? – спросил Фиде. Съеженный и со страхом в глазах пленник что-то процедил тонкими губами. – Ты повесил моего родителя Деспота, а у него не спросил, может, он, убиваючи, защищался от проклятого Русе Кускуле". Пленник опять что-то пробормотал. Не кричал и не вырывался, когда вокруг шеи затягивалась удавка. Луну покрыло небольшое облако и ушло как раз в то мгновение, когда на дереве, где повесили Деспота, закачался его судья. Выпрямившись на коне, Фиде уехал туда, откуда прибыл.

Назавтра, не зная, кто повешен и кем, Богдан с Парамоном закопали висельника подальше от кладбища и долго терли руки мелким песком и полоскали в Давидице.

Мертв Русе Кускуле. Мертв Деспот, его убийца. И судья из Города, что его повесил, мертв. А меня с ними нет в земле.

3

ПСЫ И ПЕСЬИ НРАВЫ

Вся жизнь сводилась к нравоучению. Как только мужчины, загрузив в амбары малость ячменя и ржи и вспахав землицу под паром, полегоньку взялись за строительство, нивы и пастбища перешли к женщинам. Новый старейшина освятил фундамент церкви, и она, стенка к стенке, поднялась до предполагаемой кровли, став иной, чем была, словно вырастала сама собой. Днем строили. Ночью при факелах и звездах двуименный Исайло-Адофонис черным, багряным, синим и желтым изнутри расписывал белые стены божьего дома житиями библейских святых. "Строил я в Волкове, Кучевище, Кучкове и над Любанцами и даже в Городе строил, – уверял всех Карп Любанский,

пришелец столь благостного лика, что созерцание его вгоняло человека в сон. – Купол останется на весну". Тем временем церковь заполонили крестители, воскресшие и грешники. Адофонисово изгнание безбожников из библейского храма заняло северную стену: он сам – желтоглазый Иисус, проклятые – Тимофей, Парамон, Русиян, Богдан, Петкан, а с ними Кузман и Дамян убегают от молний, вкруг них лежат с окровавленными крыльями журавли. Я спускался из крепости ночью, глядел: сквозь одеяние Иисуса назиралась черная линия. Хвост? Кукулинцы принимали это за тень, а то и вовсе не замечали.

В одну из ночей с двумя лунами Рахила пошла на реку сполоснуть от краски горшки. Ступала неслышно. Еще неслышнее ступал я. Следил за ней, ждал, когда уснет село, чтобы взглянуть на роспись. И тут за Рахилой появился он, Тимофей, мой правнук без моей крови. Нагнулся, схватил ее за плечи, но не повалил, а выпрямил. Тяжело дышал, и она тоже, молчали. Вскипевшая, пузырчатая, шумная, кровь их шла к взаимному пониманию, прокладывая дорогу плоти, чтобы обоих затянуть в омут, узлом увязывая огненные нити страсти, я же, стискивая руками распаленную утробу, опасался, что парня покалечат укусы. И вдруг окаменел: к ним исподтишка устремлялась косо удлиненная тень. Одна и еще одна. Псы проклятого монаха! Она упала, Тимофей сверху, чтобы защитить, пес накинулся на него, другой с оскаленной пастью ожидал своей очереди. Живой клубок лап, челюстей, когтей, криков и брани, звериной вони и людского страха и похоти, черное месиво в пятнах лунного света, и в звериной пасти и на молодых зубах оставляющее горячий привкус крови и желчи. Внезапно, скрытый за вербой и слишком слабый, чтобы вырваться из оцепенения, я услышал скулеж звериной боли. Распоротый мечом, некогда принадлежавшим саксу, пес с вывалившимися липкими потрохами полз, не в силах подняться на ноги. Тимофей, зверее зверя, размахивая мечом, ждал, когда и другой подвернется ему под удар – рана и кровь, еще рана и черная кровь. У псов не было железных морд и брони тоже не было: один издыхал здесь же, другой убегал от смерти.

Тимофей выпрямился, поднял Рахилу. И впотьмах сумел углядеть свидетеля – догадался, что тот сюда притащился не ради псов. Я услышал: "Спасенные остаются должниками своих спасителей. И женщины тоже". Тимофей: "Ясное дело. А ты что, Парамон, убиваешься по собаке?" Парамон: "У этой собаки была цель. И у той, что убежала, тоже". Тимофей: "Конечно, у каждого есть своя цель. И у тебя, раз ты оказался здесь".

Парамон: "И у меня. А уж у тебя тем более, если ты кроешься в темноте". Тимофей: "Русиян потерял дар речи. Кабы мог, рассказал бы тебе, как его драли псы. Когда-нибудь ты тоже отведаешь".

С меча в Тимофеевой руке капала песья кровь. Он и сам сейчас, да и Парамон тоже, походил повадкой на пса. "Иди своей дорогой, Парамон. Не то мы разойдемся по-другому, двое останутся без одного, пойми это, коли уж меня не уважаешь". Парамон: "Понял. Только мне помирать не к спеху". Вынул что-то из кожаного пояса, нож, косарь или коротенькое копье.

У молодых кукулинцев острое железо – продолжение рук. И сами они нередко делаются частью безумья и зла, ведь в конечном счете зло не просто тень смерти, а сама вторгающаяся в жизнь смерть. Горели на раскаленных подошвах, оба жилистые, на головах шлемы из лунных нитей, прозрачная броня на плечах. Но это не защита от удара: железо обмана не признает. Смерть была с ними, жаждала навалиться ребрами на их ребра. Всего пара взмахов, удар и удар, миг – и двое без одного, и еще раз без одного, убитые рядом с подохшим псом.

Не замахивались, примерялись, стиснув глаза и зубы, чада смерти, похожие на саму смерть, и я выкрикнул из глубин своего старчества: "Безумцы, вам еще рано гнить!"

Мой крик вледенил их. Не знали меня, не знали моего голоса. Отодвинулись друг от друга, объятые страхом перед жутким, призрачным, небывалым. Не обернувшись, Тимофей ушел первым, словно волокла его упряжка издевки и страха, за ним Парамон, шаг за шагом, неспешно, быстрее, бегом. Не оборачивались, про Рахилу забыли, и напрасно она призывала их воротиться и сыскать меня, чтоб расправиться. Уходили в разные стороны, словно две стези, которым никогда не встретиться, а между ними от бескупольной церкви разматывалась невидимо третья, по которой двигался иконописец – ни светлое пятно, ни тень – серое мутное, неясное шевеление. Я увидел, что он старее, чем мне казалось. С трудом ворочая неуклюжим языком, неразборчиво подбадривал ее, мол, идет. Побежала к нему. "Он тут, этот призрак, – промолвила и зарыдала. – Я его слышала". Он пытался ее успокоить. "Мертвые всегда превращаются в прах, а не в призрак", – шептал он. "Он грозит нам, – она тряслась. – Знаю, в нем наша смерть". Взял ее за руку. "Успокойся, Рахила. Что с тобой? Он прах, и ничего более. Пойдем, не бойся. И запомни – прах, всего только прах".

О, если б я был прахом. Я следил ослабевшим взором, как

они удалялись, не две, а единая тень под сенью недостроенной церкви. По моему сознанию прошли горячие волны, вестники предощущения, но не было собеседника, чтобы ввести его в истину, – жестокость молодых кукулинцев осенью, которая близится, обернется непредвиденными злодействами.

Я вышел из-за вербы. Возле мертвого пса что-то поблескивало. Я нагнулся. В свете месяца на моей ладони лежал еще один месяц, маленький, из позеленевшей бронзы.

Стою и спрашиваю себя, какую волшбу скрывает этот кусок металла. Посередке синий камень, словно глаз со зрачком, окаменевший, а все равно живой. Мне кажется, он взблескивает угрожающе и вдруг начинает потрескивать, с коварной насмешливостью всемогущего божества. Металл горячий. Засовываю его в пояс, жар ширится по моей коже, захватывает утробу. Меня пронимает жажда. Нагибаюсь к Давидице и долго пью. Вода вялая и безвкусная, не гасит огонь внутри. Ложусь в воду, но, чувствую, лишь усиливаю ее теплоту. Вдали завывает пес. Теперь, с этой ночи, он будет походить на меня. Днями маяться во сне, по ночам пугать людей. Услышав его завыванье, люди примутся задвигать засовы, креститься, сны их сделаются жуткими и кошмарными. Будет походить на меня, а моим двойником не станет, песья жизнь коротка, в десять крат, если не больше, короче той, что прожил я до сей поры. Я поднимаюсь, ноги оставляю в воде. С меня стекают струи – луны, звезд, воды.

На рассвете – я уже был в крепости стародавних византийских бояр – пес вернулся к мертвому своему собрату, чтобы взвыть до боли, от которой затаилась земля.

Через неделю-другую, еще петухи не пропели, с гор, на диво всем, подала голос волчица, хотя до снега было еще далеко, зазывая одинокого пса в неприступные скалы по тайным тропам. Так и сталось. В берлоге у Синей Скалы уже выветрился многолетний дух отшельника Благуна, постника и святителя белоокого, принявшего чин надстарейшины. Его место заняли пес и волчица, не далек и день свадьбы, когда знамением их любви запестрят на снегу пятна овечьей крови, а то лошадиной или человечьей. Я увидел их вместе при первых слабых снежинках. Выживший пес, с железной мордой, как все полагали, следовал за волчицей прыжками. Зверел и с пенистой мордой бросался на всякого волка, пытавшегося включиться в свадебную игру, и снова, ловко избегая хитрых ловушек, прикрытых сухим листом, бежал по следу волчицы, проложенному в снегу. Но даже наверху, в чернолесье, снег долго не задержался.

Был столь же недолговечным, как молоденький дикий козел, который, убегая от пса, налетел на тень и под зубами волчицы хрустнули его шейные жилы. Кровь сблизила диких любовников. Насытившись теплым мясом, обнюхивались, чтобы сызнова повести игру, ночью и при луне, и пропасть из виду с солнечными лучами. Снежинки я мог и выдумать, но пес с волчицей были доподлинными. Не только для меня: от них спасался бегством медведь и прятался в ежевичнике лис. Поедь, остававшаяся за ними, недоглоданная дичина, привлекала орлов, да и меня тоже – время от времени я выбирался из крепости и питался остатками их добычи. Может, они считали меня своим божком за то, что я, находя ловушки, закапывал их в землю? Возможно. Затаившись, они приветствовали меня воем, долгим и скорбным, словно оплакивали, не меня, когда-то бывшего и живого, а пришельца из могилы – ни человека, ни пса, а может, того и другого, потому-то и сам я завыл. Когда я опять отдался безмолвию и почувствовал прикосновение мглы, то решил, что меня предупреждает Лот словами, которые были во мне: собирайся, Борчило, земля зовет. "Зовет, меня? – спросил я с надеждой. – Меня ли зовет, Лот?" Сам себе отвечал – я – из себя самого: "Нет, Борчило. Ты станешь свидетелем нового пришествия крыс. Они уже недалеко. Придут, идут. Смерть далека лишь от тебя, она свое не берет дважды. Запомни это, Борчило".

Я знал это и знал также, что пятнадцатилетнему парнишке по прозванию Черный Спипиле, молчаливому из-за сильного заикания, не верили, что он ночью слышит в крепости волчий вой. Случалось, я ловил себя на том, что зову его – пусть придет и закопает меня. Черный Спипиле по своей воле закапывал кости и косточки, которые находил в пахоте или в остывшем пепле кострищ. Выкатив на двухколесном стуле свою матушку, у которой отнялись ноги, он оставлял ее возле Давидицы, постирать, а сам отправлялся на кладбище, где выпрямлял покосившиеся деревянные кресты и, насколько возможно, устранял бурьян и колючки. Мертвым желалось, чтобы он был с ними: как раз перед тем, как отправиться мне к Синей Скале, они выслали к нему змею – чтобы отблагодарила. Не пришлось бы ему больше костей зарывать, да помог Карп Любанский, спас от смерти: острым ножом вскрыл на ноге кожу, отмеченную точками змеиных укусов, и высосал отравную кровь. Потом долго лечил его отварами трав, что принес из Любанцев в Петканов дом. Когда напомнили парню, что на погосте он был с киркой и мог бы ту змею пришибить, Черный Спи-

пиле без всякого заикания отчеканил, что никто ни у кого, даже у гада ползучего, не имеет права отнимать жизнь. Я молил, чтобы он пришел и закопал мои кости. Не пришел, в крепость живой не входит. И все же у этого парня было со мной что-то общее. Он обшаривал чернолесье и уничтожал ловушки, выкованные Бояном Крамолой. Пес с волчицей тоже его отблагодарили: задрали корову на горном ничейном, и, стало быть, общем, пастбище. "Подавался бы ты в святые, – злобно советовала ему родня. – Твое место у алтаря". Но он так и остался в Кукулине пахать свою ниву, а по праздничным дням собирал кости да косточки и закапывал их там, куда не заходит соха.

4

ЗОВ КРОВИ

Словно бы истекаешь сквозь невидимые трещины плоти, капля по капле, увертываешься от невидимой петли, спрашиваешь себя, кто ты и, если ты кто-то в этой пока что твоей коже, какая у тебя истина и какая будущность. Вот что происходило с двумя молодыми кукулинцами. И со мной, когда мне было, как и им, двадцать, случалось такое: отчуждаешься от себя и в себе, а вдвоем от всех прочих, гнев испивает лица, затягивает их морщинами и жилками злобы.

Понедельник, седьмой день уже, как в село пришли три монахини – Матрона, Аксилина и Ефимиада – поклониться живому праведнику Благуну, две молодые, а первая, Матрона, старая, безгубая и со строгим взором. Старец обращался ко всем трем одинаково, называя Несториями. Протягивал руки, приглашая с ним возлечь. Аксилина и Ефимиада хихикали и приседали, а Матрона, конечно игуменья, укоряла их: "С живым мучеником и возлечь не грех". Потом две монахини удалились. Третья же, Ефимиада, с баловливо растянутыми губами и украшенная зобом, осталась с Ипсисимом и тотчас скинула монашеское одеяние, чтобы лезть на свой новый дом перекрывать кровлю. Вон она на кровле, поет и изводит соседок, тех самых, что нашептывают, будто она дьявола привела в Ипсисимов дом, кому-то уже и слышалось по ночам из дома козлиное блекотанье, а ведомо всем, что у новоиспеченного молодожена, бывшего до того вдовцом, ни козы, ни козла нету. Илларионова сноха Панда, развеселая бабенка, не устрашась дьявола, подхватила песню на своей кровле. Песня и солнце, старички слу-

шают и пытают Пандиного свекра, есть ли у него жена. "Ты же не вдовый?" "Не вдовый. Жена Угра поутру была жива", – крестился Илларион. Его с укором осматривали, словно подсчитывали морщины. "Чего ж ты тогда болтаешь о завтрашней свадьбе?" На лоб его волной набежала скорбь: "Куда ж денешься? Всю плешь мне Угра проела – женись да женись".

В понедельник, оказавшийся не бездельником по пословице, а злодельником, в день, которому не прибавлял величия даже трепет мелких цветиков по имени от-двух-братьев-кровь, зашагали, примериваясь друг к другу заспанными глазами, Тимофей и Парамон, снарядившиеся на последнюю косьбу, с отточенными косами на плечах, одинаково рослые и статные, с одинаковым не совсем проклюнувшимся коварством в себе – дикие петухи с орлиными когтями, глухие и слепые для жизни. Разойтись, не сшибившись друг с другом, они не могли. И все знали это, собирались неподалеку, чтобы доглядеть окончание опасной игры, от которой недолго и под могильную плиту угодить.

Под крепостью шагах в десяти от них кузнец Боян Крамола разжег уголь, но отвернулся от бледной его раскаленности. Не стал молотом заострять железо для копий и докаливать его в яблоке, не стал плавить руду в глиняном толстом сосуде, а, привалившись спиной к сухому дереву, с усмешкою ждал. Он отправил вестника к тем, кто посмышленее, и они уже приближались – Русиян, слабый, хотя и с заросшими ранами, а с ним Богдан и Карп Любанский. Востроносый, бородка клином, словно только что вышедший из-под точила, Богдан попросил любезного кузнеца объяснить, с чего это на селе только и разговору что о копье, которое будто бы для него куется. Он, Богдан, не обещался сыскать уцелевшего пса покойного монаха: "Мое дело, Боян, открывать следы, я не убиваю".

Кузнец врос спиною в сухое дерево. Махнул рукой, пробормотал что-то о почитании крови, голосом, словно бы выкрученным из дыма, хриплым, неясным, и замолчал – двое, Тимофей с Парамоном, двинулись друг к другу, тяжко отдирая ноги от земли, как от смолы или вязкой глины, неспешно, но неизбежно приближая лезвие к лезвию.

В воздухе струился, расплывался, густел, перед тем как совсем растаять, непонятный запах. Будто от гнилого арбуза. Сладковатый гнилостный дух вдруг изменился. Теперь запахло паленой шкурой и горелым мясом, как в те дни и ночи, когда крыс палили огнем. Тогда руки Тимофея и того же Парамона продолжались можжевеловыми головешками, а зем-

лю покрывали раскаленные угли цвета предветренного заката. Жажда уничтожения снова ожила в них, только стала иной – какой-то крысиной. В один миг оба глянули на верхушку крепости. Не заметили меня в бойнице. И не могли заметить – глаза перекрыты тенью ненависти. Перед тем как скосить друг друга и пасть окровавленными на свои тени, вышагивали навстречу медлительно и осторожно – можно убить, а можно и стать убитым. Как знать, не с подобной ли осторожностью шестоного движется паук к угодившей в сеть бессильной букашке.

Деревенские псы полегли в тень, а те, что поменьше, выискивали предосенний припек. Куропатки перекликались из тайных своих укрытий, словно звучно острили клювы о затверделый воздух. Чуть дальше паслась кобыла, хвостом отмахиваясь от шершневой страсти. Две крохотные голубые птички перескакивали в речке с камня на камень. С тупым звуком, похожим на удар кирки о твердую землю, упал с груши румяный желтый плод. Ничто из живущего, кроме человека, не было тронуто враждой к себе подобному. Золотыми глазами, сгрудившимися на удлиненной грозди, цветок дивины загляделся в небо, в невинность прозрачного облачка. В зарослях ежевики шуршали черепахи. Укрывались колючей ежевичной броней. Их ловили и выпивали кровь от утробных хворей. И улитки оредели, расползлись по норам. Их мясо тоже считалось укрепительным. Округлые холмы с желтой шерстистой травой походили на половинки волосатых яиц, солнце ощипало тени на их макушках. Луна с рассветом убрала свои отражения из колодцев, но над землей бледность ее еще витала. Воистину, лишь человек мог пригласить смерть на пир в столь благостное утро, только он. Вот и куропатки перестали перекликаться. Искали друг друга и нашли, залегли по незасеянным пашням и стерням. Кобыла казалась искусно вырезанной из дерева. Стояла опустив голову. Шершни сгинули. На грушах вызревал оставшийся плод. Запах паленой шкуры и горелого мяса вместе с черепашьим шуршаньем заполз в трещину, проделанную тишиной. Луна, дневная и слабенькая, растаяла, исчезли из реки две птички. Затишье пыталось хоть одним из своих щупальцев уловить неслышную поступь смерти. В Давидице выдрался из сна голавль, сверкнул белизной и с размаху снова бросился в воду. Это могло быть и вызовом – пора бы пускать в дело косы.

Я не стал того дожидаться. Вытянул руку в отвор своего мертвого обиталища и, подобно сеятелю, кинул месяц из зеленой бронзы – он упал между ними. Ни Тимофей, ни Парамон не нагнулись за куском металла с похожим на глаз камешком

посередке. В обоих затлелся огонек стыда. Под ресницами мраком копилась злоба, молодые глаза отсвечивали не звездным блеском, а похотливым голодом. Люди ждали, что они побросают оружие и нагнутся за бронзовым украшением, стукнутся лбами, упадут и, забывшись, заглядятся на Рахилу – усмехающаяся, она скромно остановилась поодаль, но Тимофей и Парамон остались недвижимы. Словно вытесанные из известняка богомильские изваяния.

До сего дня Богдан, хоть и жил иначе, чем остальные, ничем особо не выделялся: работал в городской плавильне с металлом и с тугоплавким стеклом у сына беглеца из германского царства, где за корону бились тогда Фридрих и Отакар, потом сделался следопытом, пил да пел. Оттого и воззрились на него с удивлением, когда двинулся он к молодцам с хорошо наточенными косами, нет, не к ним, а к разделяющему их пространству. Нагнулся и выпрямился с украшением в пальцах. Стройный, хоть засовывай его в колчан вместо стрелы, заготовленный на решающий бой.

"Проклятое мы племя, любезные мои, – вздохнул он. – Проклятое-распроклятое". Вернулся на свое место и швырнул безделицу из кованой бронзы в огонь. Задумчиво уставился в жар, подождал и снова пошел к тем двоим, ни к чему не приглядываясь и словно бы двигаясь ни к чему, хотя шел он по следу, весь составленный из острых углов – локтей, колен, носа, бороды, пальцев. Может, он мог и так: левым глазом глядеть в моего правнука без моей крови, в Тимофея, правым – примериваться к Парамоновым волосам. Становился страшнее их. Позади в огне раскалялся месяц из зеленой бронзы, огонь отдавал украшению самого себя. Петкан вроде бы понимал, что происходит. Стоял за кузнецом Бояном Крамолой и дивился следопыту Богдану. Русиян с отрешенностью молодого святого, обращенного душой к небесам, молчал, как и остальные. Говорил только Богдан: "Возьмите этот кусок бронзы, любезные мои. Голыми руками возьмите, изъявите доблесть".

Тимофей и Парамон тупо на него глядели, спрашивая себя, какую ловушку готовит им Богдан. Лоб покрыли блестящие капли пота, словно ладони уже держали раскаленный металл. Волосы утеряли угрожающее свечение. Это можно было счесть и прикрытым лукавством. Богдан указал на огонь: "Пусть каждый прилепит на свой лоб по куску раскаленной бронзы. А потом Рахила выберет одного из вас". Они оставались недвижимыми, словно затверделое тесто. А он, Богдан, другой, не тот, которого все знали, шагнул к кузнечному очагу. Его опе-

редил Русиян, сунул руку в горящие уголья и вынул раскаленную бронзу. Она пришкварилась ему в мясо. Он же будто не чувствовал боли, будто болью обожженной ладони одолевал иную некую боль в себе. На него глядели с напряжением, не у него, а у них судорогой взялись лица.

"Вот, – заговорил он впервые после стольких дней. – Это – ваше. – И бросил раскаленный месяц на место, где тот раньше лежал. Повернулся к кузнецу Бояну Крамоле. – Для меня не копье, – показал изуродованную ладонь, – выкуй мне железную руку".

О боль моя, свидетельница чудес. Не измерить моему племени глубин вселенной и не выцедиться светляком, дабы осветить людские дома. Слабы люди, сжаты обручем бледных мыслей и от чахлости их рано гаснут.

Не успела Рахила нагнуться к остывшему бронзовому месяцу, зеленому, потом белому и черному, как бородатый кузнец, слишком мягкий для человека, одолевающего огонь и железо, тяжким молотом расплющил бронзу, лишая ее обличья.

"Покажи им", – обратился Русиян к Карпу Любанскому. Тот вынул из-за пазухи дохлую крысу и, ухватив за хвост, поднял над головой. Из полуоткрытой пасти зверька капала кровь. Люди съежились: припомнились схватки с разъяренными тварями, перед такой угрозой свары их теряли значение.

Рахила прикрывала ладонью белизну на груди, место, где мог бы сверкать, но не сверкал месяц из зеленой бронзы с каменным оком посередине. Она побледнела, судьба вырвала живой кусок ее силы, знак магии – для малоумных и над малоумными.

Услышали, как отозвалась куропатка, а кобыла гораздо живее принялась отмахиваться от шершней. Тимофей и Парамон разминулись, не глядя друг на друга. За Парамоном шел Петкан, убедиться хотел, как сынок управит косьбу на лугу – часть сена желательно было обменять на вино. Держа крысу за хвост, Карп Любанский раскачивал ее, точно заглохший колоколец, потом зашвырнул в огонь. Люди расходились. Русиян шел стиснув губы.

"Пойми ты, – разводил руками Богдан. – Не заставишь их опоясать село можжевельником да чурбаками, чтобы защититься огнем, если те явятся снова".

Русиян не слышит его. Смотрит вслед Рахиле, удаляющейся к церкви. Одна его бровь приподнята. Над ней морщина. Знаю, он пытается вспомнить что-то, и знаю что. Но не может. Время, когда его покусали, ушло в забытье.

Так вот и разошлись, в несогласии каждый с каждым. Кузнец Боян Крамола остался один, потянулся и прилег у огня. Он умел долго обходиться без сна и умел, если оставался без дела, засыпать мгновенно.

В Кукулине время от времени появляется Павле Сопка, сын старейшины Мирона. Ходит из села в село, из монастыря в монастырь, на спине таскает тяжелый деревянный крест. Встречных купцов и монахов просит, чтобы распяли. От него бегут. Вот он, согнувшись под крестом, спускается с чернолесья.

"Люди, я ваш Иисус. Дайте я распрямлюсь на новой Голгофе". За ним следом стайка ребятишек. Близко не подбегают, боятся. Юродивый весь в поту, в коросте. Оставив крест возле кухни, укладывается в ногах спящего Бояна Крамолы. Потом сноха Илларионова маленькая Панда накормит его, напоит. А сама пойдет к своей соседке Ефимиаде – попеть вместе.

5

КОВАРНАЯ ВЕНЕРА

Новому надстарейшине пала на плечо голубица счастья. Оболокли его в новую рубаху, волосы заложили за уши, усадили на ворохе мягких шкур. Подмолодили, и лицо его умягчилось от смутных мечтаний. Не желал в отличие от покойного Серафима вкушать пахту и молоко – укрепляли его орехами в меду, коровьим маслом, болотной рыбой. Сельчане, мужики и бабы, если не все, то большая часть, окружили его почитанием: с тех пор как распалось Растимирово владение, наистарейший старейшина, стоящий во главе старцев, становился в Кукулине верой и разумом. Никто поначалу и внимания не обратил: следопыт Богдан не разлучался со вчерашним постником. Люди свыклись с его распорядительностью – что и когда дать старцу на обед или ужин, когда уложить и когда поднять, кому вести его на Давидицу купать, мыть и оглаживать оредели волосы. И бороду, длинную и запущенную, старичку уладили, прямо хоть икону с него пиши. Богдан от Благунова имени созывал на сбор винограда, определял дни, в какие поднимать пар, указывал, из какого леса брать на зиму дрова. Кукулинцы, особенно молодые, понимали, что Благун – живой труп, стручок опустелый, без забот о будущности села. Его мозгом мог быть и был только Богдан, охваченный тайными умыслами. Многие полагали, что главная беда старика в забывчивости. Восседает себе

в каморе облупленной, но вполне достаточной для того, чтобы в ней прорастали всякие мысли, даже невозможные: старости не мудрено грезить о плотских радостях, сама старость, утомленная, истощенная, выморочная, не все о себе знает. Новый старейшина с восторгом, приводившим в немоту, уверовал, что он прежний Благун, имеющий жену Несторию и двух чад, Богорода и Кристину. Богдан пытался рассеять соблазнительное наваждение, открыв истину – у любезного надстарейшины нет ни жены, ни чад, были когда-то, а теперь обратились в прах. Как это ни жены, ни чад? – поражался старец. Разве не ему доподлинно советовал Растимир не разлучаться с Несторией? Но Растимира никто не помнил. Это приводило старика в гнев: "Чтоб вам закопаться живыми! Прочь с моих глаз". И тотчас же отзывался Богдан мягким голосом: "Мы тут, чтобы слушать тебя, мой любезный, а не чтоб обманывать". На это старец: "Слушайте небеса, а мне служите покорности и уважения ради. Не обманывайте меня, приведите Несторию". Богдан доверился своему дружку в накидке из медвежьей шкуры: "Беспокоит он меня, Петкан. Обженю я его". Петкан изрек наставительно: "Поглядел бы раньше на одряхлевших петухов. Колеют, пропади они пропадом, не добравшись до курицы. Да и кто ж ему этакому даст невесту?" Богдан усмехнулся: "Я, мой любезный. А когда мы пристроим к нему эту пришлую, Тимофей и твой Парамон задираться бросят". Петкан: "У нее же муж есть, Исайло косноязычный". Богдан: "Еще неизвестно, муж ли он ей. Пошли, братец. Надстарейшина у нас один-одинешенек, давай ему станем сватами. А не то и все другие перегрызутся. К жене старейшины не очень-то руку потянешь. Такую руку отсекают ножом".

Зашагали как будто вслепую к недостроенной церкви, принакрыли тенью животворителя святительских житий, недобрый свет в их глазах заставил его стушеваться над горшками с краской. Позднее они не скрывали, что и как говорили, особенно Петкан. По три раза на день повторял он, что было да как было, да еще себе самому рассказывал то же самое, когда не находилось слушателей. По правде говоря, за своего сына Парамона он вовсе не беспокоился, надеялся, тот сам вылезет из Рахилиных чар и со сверстниками поладит. Просто словно бы на амвон попал – вещал и вещал.

Если б не зловещие предчувствия, временами накатывающие на человека, все это можно было бы почесть деревенской блажью: виноград собрали, а пока доходит вино, каждый волен передохнуть и подкрепить себя шуткой. Меня тоже затягивала эта игра, потому что...

...Исайло вдруг перестал походить на Адофониса, может, он никогда и не был тем, кем я его посчитал. Глядел на пришедших с небывалой тоской, слушал: "Она, мой любезный, не жена тебе. Пригляделся я к ней, вижу – ищет мужа и будет его искать, перессорит нам весь молодняк".

От глухой тишины, от решительных лиц мужиков разум его воспалился, он побледнел, словно покрылся известью. С клекотом отступил к своим библейским мученикам. Хоть предчувствие обещало ему зло, не сразу смог их понять. "Почему, почему, почему?" – "Потому что она станет женой нового надстарейшины". – "Но почему, с какой стати?" – Он и вправду, видать, не понимал их, надеясь на милость, отступал дрожащий. Охваченный страхом, заходился мукой. А сердца пришельцев покрылись корой суровости. "Рахила не жена тебе", – задышали жарко. В решимости оженить надстарейшину и тем избавить молодежь от ссор обретали согласие. Словно бы вырастали – святилище без крыши стало тесным, вот-вот треснет от их усердия. Пораженный в сердце, побелевший, затем зеленый, Исайло корчился, умоляюще тянул к ним руки, перепачканные краской. Богдан с Петканом казались ему Голиафовой ступней, явившейся из черной адовой бездны, чтоб безмилостно раздавить его, как червя. "Рахила, любезный мой, теперь божия и наша и потому принадлежать должна преподобному отцу Благуну". "Но я тоже ваш. – Он силился говорить, умилостивить их. – Я рожден в Кукулине, и матерью моей была Кристина, дочь Кристины Благуновой". "Не придумывай, – возражали они с угрозой. – Нам обманщики не по нраву".

В этой затее, в глубинах ее, мутным осадком залегло византийское вероломство, от которого славянин, и не только он, терял жизнь или имя, а зависимость от вероломства порождала жестокость. Венера обреталась не столь высоко, чтоб не плести коварных петель и венков дурманных для людей, ползающих под ее небесами и медленно погружающихся в трясину порока и поругания.

В отчаянии небывалом, от которого на меня накатила тревога, жуть, пробирающая до костей и крови, Исайло сунул руки в горшки с красками. Одна ладонь его стала кровавой, другая черной. Унял дрожь. "Этот пурпур – кровь моя, моя честь", – и коснулся одной стороны лица. Глядели, не понимая его, их сознание привыкло перекраивать мир по своей мере и своему закону. Мыслители с мутным разумом не вызывали у них восхищения. После нового прикосновения другая половина Исайлова лица стала черной. "А это станет моим поруганием, моей

гибелью". Прыжком наскочил на них и, располовинивши их, вылетел из церкви и мира святителей, покуда не потребовали Богдан с Петканом привести Рахилу в подвенечном наряде.

Тоска. В крысе бунтовался человек, или в человеке оживала крыса для защиты рода своего и племени, внешнее обличье не имело значения, имя тоже, Адофонис или Исайло, не плоть, не душа – кипела кровь, того гляди вырвется из ноздрей и ушей, ударит густыми потоками, заливая и круша все на своем пути. Когда схлынет, ночи и дни сделаются кровавыми с кровавыми звездами и солнцами.

Я следил из крепости. Исайло шел покачиваясь, как бы уплывал, уносимый волнами невидимой муки и горечи. Продирался сквозь теплоту предвечерья, солнечные лучи с запада освещали небо – без птичьих стай и утешительных знаков. Исайло сдерживал крик или умягчал язык в горячей челюсти, вознамерившись поведать такое, от чего у псов дыбом поднимается шерсть. Его пурпурно-черное лицо испаряло серу, от запаха ее угорело падали мотыльки. Перескакивая через заросли иван-цвета и одуванчиков, всхлипывая горлом и кровью, Исайло скорбящий, а может, Адофонис, великий крысиный вождь, добрался, задыхаясь, до обиталища надстарейшины. Но лучше бы он пожаловался первому встречному камню.

Позднее, в миг прояснения разума, Благун обо всем рассказал Богдану, а тот передал дружку своему Петкану. Исайло вроде бы исповедался: "Я сын Кристины и внук Кристины, рожденный тобой и Несторией, Рахиле довожусь отцом. Я твой правнук, преподобный дедушка, и Рахила от твоей лозы, а как минуло ей девять лет, потеряла разум от насилия, учиненного над ней городскими негодяями. Постник, неужто ты возьмешь в жены свою кровь?" На горе, за селянками, что спускались с охапками сушняка, последняя солнечная румяность запуталась в рогах одинокого оленя, напрасным рыком призывавшего самку. От надстарейшины тоже пошел серный дух, весь он точно затлелся серой – кожа его синевато поблескивала. Старик дымился и не спешил поверить, ждал, когда в нем созреет мысль об убийстве, он воистину мог бы убить, мог крикнуть, что Богород (Тимофеев прадед) не был его сыном, так почему б и Кристине не быть боярского семени? "Та, что доводится тебе дочерью, не моего семени, – вздымал он для проклятия руку. – Несторию я и вправду взял под венец тяжелую за несколько сребреников, ради коих и Иуда без соблазнения предал учителя своего Иисуса Назарянина".

 Все превращалось в запутанный узел липучих нитей, каж-

дый каждому приходился сродником и никто никому никем: Карп Любанский оставил в селе жену, меньшую сестру Петкана, тот в свою очередь доводился кумом мужу Богдановой тетки и дядей девице, на какой хотели оженить бледного Русияна, внука Кузманова или Дамянова отчима, а тетка одного из них была матерью Велики, тайной любови следопыта Богдана, и свояченицей кузнеца Бояна Крамолы, он же приходился родней многим в Кукулине – отросток разветвленного рода покойного Серафима и еще кого-то. Пока Благун поднимался с теплых кож, дабы стряхнуть душевную кутерьму, бабы с охапками сушняка принялись вопить – за чернолесьем в горах они заметили крыс. Олень сгинул, может, он кричал от боли, а не призывал самку.

Услышанное, разумеется добавив кое-что и от себя, Петкан доверил неразлучным Кузману с Дамяном: Тимофей, оказывается, отросток ствола Богородова, а Кристина, сестра того самого Богорода, приходилась Исайле бабкой и, стало быть, прабабкой Рахиле. Ежели прикидывать осторожно, Тимофей с Рахилой получаются одной крови, и не важно тут, были ли покойные Богород с Кристиной Благунова семени. "Послушайте, что я скажу, – разливался Петкан перед свояками, жнецом Кузманом да горшечником Дамяном, близнецами без общей крови. – Коли мой зять Любанский Карп не станет ему поперек дороги, а он на такое способен, Богдан преподобному отцу нашему старейшине приведет Рахилу да приследит, чтоб ротозеи вроде вас не подглядывали в горницу, готовую для брачного таинства". "Ты ведь сам, Петкан, говорил вчерась, что у дряхлых петухов нету силы", – упирались они. Он на них, побледневших, поглядывал свысока: "Не все же петухи прозываются Висимудой. Попомните, Благун окажет себя мужчиной".

Павле Сопка, тот самый, что таскал на спине крест, приковылял откуда-то босой, в истлевшей рубахе. Водянистые глаза затянуты кровавыми жилками, мухи липнут к лицу. Не один год прошел, как не дали ему в жены Велику. В отчаянии он сбежал из дому и с тех пор в Кукулине появляется временами, никому не угрожая и не мстя. Остановился, вглядывается в Рахилу, по ту сторону Давидицы. "Велика, – шепчет. – Ты придешь ко мне на поклон, но я уже вознесусь на Голгофу и тебя прокляну с презрением".

На поваленном стволе посиживают Илларион с Мироном. У обоих бороды и волосы тяжелее костей. Первый локтем подталкивает однолетка. "Не сынок ли это твой Павле, Мирон?" "Он самый, – вздыхает другой. – Но я его перестал жалеть. С

тех пор как успокоился премудрый Серафим, вестник милосердия божьего, я совсем остарел. Может, Павле мне теперь заделался внуком. А вправду, Илларион, стану ли я великомучеником в царстве мучеников, где за трапезой восседает на почетном месте Серафим, благословляя новых старейшин нашего Кукулина?" "И впрямь остарел ты, – соглашается Илларион. – Уж и не знаю, дотянешь ли до свадеб, свата Гргурова да моей".

Между ложной славой и заблуждением тянется шаткий мост, по нему снуют зыблющиеся тени. Когда сознанию удается побороть обманы, находится сознание иное, готовое их принять. В ночь Исайлова плача я увидел во сне себя молодого. Я плыл на пентеконтере, прославляя Венерин свет, далеко отсюда, я бывал там когда-то, в водах Керакосора, плыл на веслах в сотню рук, ибо я был раздроблен на пятьдесят гребцов, и каждому было по три года, и у каждого мой теперешний лик. Вдруг пентеконтера превратилась в огромную крысу, наполовину пурпурную, наполовину под черными волосами, и я проснулся с огнем в желудке, со страхом утробным за завтрашний день Кукулина, моря пыльного с человекоподобными пеламидами и моллюсками, неизбывной боли моей маающейся души.

Огонь в себе я загасил нетопырьей кровью. А где-то в сарае поскуливал малоумный Павле, Миронов сын.

6

ТЕНИ ДЕВЯТИ ПРЕДСКАЗАНИЙ

Карп Любанский в своем добродушии вовсе не был безоглядным, хотя давлению поддавался легко. Несмотря на упросы, если таковые были, он не пошел уговаривать Рахилу стать женой надстарейшины, дабы успокоились молодые петухи Тимофей и Парамон, а заодно с ними и Русиян: пожелать жену первого старейшины – то же самое, что пожелать во сне преблагую мать Иисусову. Сон является частью жизни, ибо родилась пресвятая и осталась девицей; страшный грех, даже во сне, коварно и похотливо посягнуть на бесплотность. От такого греха и потомкам не отмолиться.

Невыспавшийся, с синевой под глазами и сердитостью на челе, умалившийся от отчаяния, что придется стать вершителем Богданова замысла, Карп Любанский перекрестился, покидая дом шурина Петкана. Его медлительность усугубляла колебания, и в неуклюжести своей он ощущал, как Парамоновы глаза прожигают ему затылок. Повстречалась Велика, прямо налете-

ла на него, белая, румяная, плоть жаркая, веселая, но вроде бы и зловредная. Выскочила внезапно из полутени. На груди таилась невидимая змея, а глаза словно промыты лучами. ”Шел бы ты себе домой, Карп. В Любанцах тебя небось спит да видит Петканова сестрица Косара. – Наступала, заставляя его уменьшаться. – Когда ж это вы, проклятущие, перестанете землю поливать дурью?” Он не понял ее и замер. ”Что с тобой?” – спросил. Она же ладонями уперлась в крутые бедра, ноги словно из плечей вырастали, приблизила к нему лицо. ”Оставь в покое Рахилу, слишком она молода для своего преподобного дряхленького прапрадедушки. Ты б за собой-то оглянулся, и не на тень свою. Мы, бабы, все видим, ежели что, живьем тебя, сквернавца, закопаем в землю”.

Он покорился. Сущая правда, карой могли стать ему восемь баб, с Великой девять, наказанием судьбы, Пифии не Пифии, сущие ведьмы: сухопарая Долгая Руса, Тимофеева приемная мать, дочь пряхи, по слухам с третьим глазом либо ухом на темени, и еще читала она судьбу по звездам, а по отдаленным раскатам грома угадывала беду; Богданова Смилька, следопыт успел подарить ей трех птенцов, но в меха золотых куниц не одел – семь лет, со свадьбы, носит одну и ту же рубаху; Божана, вторая жена своего второго мужа Даринки, брата покойного надстарейшины Серафима; Наумка, мужеподобная вдова без потомства, травщица и ворожея – видели, как она пила кобылье молоко из собачьего черепа; Гора, Русиян у нее единственный сын, за то и считают ее бесплодной; Гена, с младенчиком на руках, – мужа сгубили крысы; Звезда и Петра, мужья их Кузман с Дамяном вон на ниве, не спешат на подмогу Карпу Любанскому. Вразвалочку подошли, взяли в кольцо, бабий круг собрался судить: сперва тяжкий и темный допыт, а там уж суд и расправа – деяние богоугодное. Карп Любанский подрагивал от неясной вины, подавленный и изумленный, вспотевший до корней хребтины. Бабы казались ему ненасытным драконом. И ведь не станут ногтями драть. Устрашат до вкоченения и, опалив жарким дыханием, сожрут. Вспомнил с горькой усмешкой жену свою Косару, сварливую и во время бодрствования, и во время сна, из-за нее-то и сбежал из Любанцев. Я видел ее, она заявлялась в Кукулино, повоевать со здешними бабами, а возвращаясь обратно, рассуждала сама с собой. ”Некрасивые завсегда злые”, – растягивал обе верхних губы Петкан и советовал зятю бросить пакостницу и насовсем переселиться к нему. А теперь вот целых восемь Косар, с Великой девять, напустились на него и осыпали бранью.

Я слышал их разговор из крепости. С грустью, выжатой из очерствелости, принял сторону Карпа, хотя восхищался бабами — у каждой готово слететь с губ сказание.

Первой начала вещать Долгая Руса:

"Уж девять дней, и каждый раз перед светом, из столетней орешины, что за нашим хлевом, выхлестывает вода отравная, с головастиками. Да видели б вы с какими — пегие, а ноги твердые, как у кузнечиков. Худой знак — болотом заволочет наши нивы, плодные и неплодные. И воды той отравной нынче поутру напилась моя коза и сей же миг околела, рога у ней растопились и вылились на травушку горячей смолой. В таковой смоле все мы, и Карп Любанский тоже, погрузнем, ожидаючи, да только дождемся ли, дня воскресения из тьмы и плесени. Девять нас тут, согласливых да памятливых. И девять же лет прошло, как тут вот, неподалеку, померло в одночасье девятеро, а с ними муж мой и детки. И тогда тоже из орешины хлестали струи с головастиками, пятнистыми да волосатыми. Думали тогда, вот-вот мир провалится в огненные тартарары. Чисто побесились все, кто молился, кто блудодействовал".

"И мне тоже явился знак, — поспешила встрять Богданова Смилька. — На зорьке, промеж первых и вторых петухов, из могилы монаха Апостола Умника, того, что привел псов с железными мордами, забил зеленый огонь, а наверху — огненный крот с человечьим голосом. Упредил меня, и меня ли одну, чтоб не отметались мы от преблагой Варвары и Богородицы Троеручицы. Подошла я к могиле, вижу цветок, как раз в маленькую ладонь, а на пальцах — птенчик росточком с росную каплю. Слышьте-ка, птенчик-то был в рясе. И одноглазый".

"Не видали вы, не всякий сподобляется, чуда, — перекрестилась Божана. — Над землей пролетел раскаленный камень и пал под Песьим Распятием, позади того дубнячка, где живет медведь с головой орловьей. И как есть покрыл тот жаркий камень болотину и на девять сторон раскидал опаленных рыбок, пиявок, кости, черепа да ребра утопленников. Пошла я поглядеть, что там такое, и вижу — болота нет, только земля горит да горит. Доведется и нам в огне пожариться, и колодези-то наши с завтрева пересохнут".

"И я тоже кой-чего сподобилась, только мне явилось другое, — вспыхнула Наумка. — Месяц ударил в месяц и ледяным жаром покрыл даль с той стороны Города. Диво дивное, мелкий камень на мелкий камень да пластается по домам и нивам, а над этой белой скаменелостью те два месяца, что после удара превратились в голову о двух ртах — один для покойников, не

будет им воскресения, другой – для живых. Сущая голова, только что без ушей. Не услышит она завтрашний визг таких, как вот этот Карп".

"Голову я не видела, потому как спала, – смиренно склонилась Гора. – И мучил меня в глотке сухой огонь, кабы можно, в колодец бы залезла. Приди, вода, напои меня, прошу я, а сама не просыпаюсь. И вода пришла, но эдакая горячая да сухая, хоть тки из нее покров для выходцев с того света, куда вскорости попадут все живые. Проснулась я, перед тем как совсем проснуться, и что же – лежу я, развалившись надвое. Та вода, горячая да сухая, располовинила меня на две Горы, и стало у Русияна две бесполезных матери. Долгая Руса не даст соврать, она своего Тимофея двухлетком усыновила, так вот тогда как раз от такой воды сгибли его родители".

"А мне нынче ночью снился Карп Любанский, – прижимала младенчика к груди Гена. – Да как полезли из его ноздрей живые травы, да как кинулись на меня, а я немощная, двинуться не могу, чтоб оборониться. Открываю рот, крикнуть, – голоса нет. А травы те обернулись пиявками с волосатыми головами. Переплетались и на меня наползали, требовали молока. Я завизжала, выдралась из этакого страха и увидала взаправду, уж не во сне, кучу пиявиц, только они вдруг куда-то сгинули от моего глаза да пред силой небес, где не единожды видела я собственный лик".

"Меня не спрашивайте, не найду речей, – дождалась своего мгновения Звезда. – И сама не разберу, что было. Ручка у моего серпа выпустила отросток. И какой бы вы думали? С невиданными колючками-липучками, цепляется, чего ни коснется, обвивается, гнет железо. А на отростке том тьма плодов, приложишься ухом – и едва на ногах стоишь: плоды те порожние и в них устрашенно воют полоненные ветры да ветерки, и не находится добродея на свете, чтоб помолиться за их тоскливые души".

"Дело статочное, ветры – они твари живые, – отозвалась Петра. – А вот спросили б вы моего Дамяна, чего мы с ним нагляделись. Его тут нету, а я вам все открою по правде. Котище наш ходит на двух ногах и огладывает с ясеня ветки. И такой ли куражливый сделался, ощетинится и над нами хохочет. Вчерась, нет, третьего дня, стрескал кочан капусты да унес тишком два меха с вином, без возврату. Подступались мы его поучить палкой да веревкой смоченной – никакого проку. Битье ему нипочем, закаменел под шкурой".

"Я про чудеса хоть до Судного дня вспоминать могу, – вы-

молвила и Велика. – Видела я бабок махоньких – пожирают зерна из колосьев, а волосы у самих зеленые, темя все как есть заросло мохом. По муравьиным следам и ячмень и овес находят. А еще видела я коня с беличьими лапами. Взобрался на верхушку осины и спит. Только все это мелкие чудеса, докучные. А не знаете вы того, что поделалось недавно ночью, и если есть у кого терпение, я вам сердце открою, расскажу про страшное диво".

Терпение у всех нашлось, и Велика открыла сердце.

"Две ночи назад из недостроенной церкви выскользнули неуглядимые тени и вереницей потянулись в другой мир, какой и во сне не видыван. Тени те оказались святыми с Исайловых картин. До солнца еще вхожу я в церковь. Тоска глядеть. Стены голым-голы, кое-где осталось по пятнышку". Одна из баб: "Стены изнутри?" Велика: "Голым-голы. Пошли со мной, и этого полоротого Карпа прихватим, и вам придется крест сотворить перед чудом. Побожиться могу, что Исайло, добрячок божий, только наполовину человек". Одна из баб: "Как это наполовину?" – "Потому как наполовину он мертвец, сущий покойник". Карп Любанский: "А Рахила?" Велика: "Сохнет, глаза ей соль разъедает". Одна из баб: "Отвязался бы ты от Рахилы, Карп. Сколь раз тебе говорить, отвяжись". Карп Любанский: "Отвяжусь, я с вами пойду поглядеть на чудо, на эти самые белые стены. Но и вы моих чудес послушайте, может, у вас мозги на место станут. Та вода соленая, что вытекла из твоей орешины, Долгая Руса, лжой отравила сердце земли. От соляной жилы, что продралась в могилы, у покойников запалились кости. Их колдовской огонь срывает камни да на сдвоенных месяцах оставляет меты, огонь тот высушил бы колодцы и реки, да робеет пиявиц, скинувшихся серпами, косами, из чьих ручек так и лезут побеги, и не побеги вовсе, а хвостищи собак да кошек и прочего зверя. Все они норовят дать деру от бабок, что глотают ячмень да овес, да рожь да пшеницу, да мясо живьем да песок, отчего за ними тянутся сжеванные ваши тени... Осточертело мне вас слушать. Продеретесь ли вы ото сна хоть раз в жизни?"

Тишком, прикрытый десятилетиями, я разглядывал их из крепости, они и впрямь казались изжеванными тенями, сжимаются и растягиваются, покрывая траву и камень, неспособные изменить ничьего обличья, угрожают, а не обладают силой, вялые и незначительные, переливаются из пустого в порожнее, соединяясь же, образуют круг, чьей осью служит вечная их бесконечность. И вправду, хотя солнце било им прямо в лоб, тени

их откидывались вперед и увлекали в сторону церкви, – живые тени. Они ползли, оставляя за собой пустоту, на которой не прорасти даже чахлой травинке.

Бабы бросили Карпа, словно и не стояли с ним, не позвали с собой, дескать, пойдем с нами, а он и не ждал, что позовут и признаются, мол, чудесам, про которые толковалось, еще предстоит случиться: они всего лишь заглянули в будущее. И он сам зашагал к ним, к этим теням, тоже превращаясь в тень, родом не из близкого села, как дотоле, а тутошний, кукулинский.

Истинно стены церкви изнутри были голыми, Исайловы святые исчезли. Всех это ошеломило. Напрасно Карп Любанский уверял, что Исайло, будучи не в себе, замазал святых известкой. Женщины, у каждой на челе знамение скорби, его ровно не замечали. Словно перед воскресшим Лазарем, все как одна белые до сини, повалились ниц перед иконописцем. А у бедняги Исайлы вся левая сторона тела, от глаза до пальцев ног, как есть окаменела. Он что-то говорил больным языком вполовину рта. Не понимали его, так ведь святых понимать и не надобно, полагали они. И все же стали упрашивать, чтобы воротил он библейские таинства – отче наш, и отче наш, и отче наш, пока тот не упал с перекошенным взглядом. Здоровая нога оказалась слишком слабой, чтобы удержать перегретую голову. К нему склонился Карп Любанский. "Где Рахила?" Тщетно. Исайло неопределенно указал рукой на землю и потом на небо. И лег лицом в камень, словно уменьшившись.

А под орехом нашли малоумного Павле Сопку, с разинутым ртом, без дыхания. Петкан и кузнец Боян обмыли его и, закопав в землю, трижды большими глотками выпили за помин души. Старец Мирон пережил своего сына.

"Пожил бы, кабы дали ему в жены Велику, – припомнил Боян. – Жаль, правда?"

"Не можно было дать ему в жены Велику, братец, – промолвил Петкан. – Так и быть, открою тебе. Велика и Павле родились от двух сестер. Ну и намучил же он нас, не земля, а камень. У него ведь свой крест был. Давай ему на могилу поставим?"

"Подожди, – дернулся Боян. – Мирон будто говорит что-то".

"Воды, – шептал Мирон. – Напоите сына. Отец Прохор из монастыря Святого Никиты даст вам святой воды. Может, он поднимется".

"Так и сделаем, – успокоил его Петкан. – Только завтра. А сейчас живых замучила жажда, дядюшка Мирон. Иди к себе

да выставляй на стол. Мы о твоем сыне поплачем".

Глядел на них с недоверием. Ладно. Выкопали могилу и за душу покойного помолились. Попа не было. Петкан проговорил молитву. Но к чему тут вино? Святая водица и ихнюю плоть подмолодит. "Нету у меня вина, – заскулил он. – Хотите выпить, несите сами. А я наварю пшеницы и расскажу вам о житиях святительских с первого лета первого индикта, когда круг луны и круг солнца вместе осветили лик великого Константина, кесаря византийского".

"Кесарь нас не станет поить, – не понял его Петкан. – Доставай нам вина и потчуй. Живее, покойников не обижают".

Того не видел никто. Убегая от петли, завязанной то ли Богданом, то ли судьбой, Рахила укрылась в крепости, не в покое, где стоял со времен Растимировых мой гроб, а ниже, в помещении для стражников. Я не пытался звать ее и расспрашивать. Любопытство мое истаяло. Теперь мною владело предчувствие, будто во сне вижу я то, что начиналось въяве, – отовсюду спускались к Кукулину тени, простираясь ширью земли. Псы растревожились. И скотина. Только они и я, но вовсе не те, кто защитился пентаграммой или чем другим. Летучие мыши над моей головой тоже чувствовали. Как тогда. Между людьми и тенями, этими сызнова нахлынувшими легионами, предстояла решительная и немилосердная, кровавая, грозная, судьбоносная

7

СХВАТКА

с воскресшей смертью, не той, что призываю я из ночи в ночь, и не с ее двойницей, через которую она обретала второе рождение, а с третьей уже – чтоб после многих схваток с крысами-людьми воротилась она в бездну небытия. Новую схватку непрозорливые посчитают частью предсказаний, где закабаливший сознание мрак эхом отзывается первому, раз и навсегда оторвавшемуся крику растопленного и безжизненного мозга костей. Стены крепости крошились в челюстях страха.

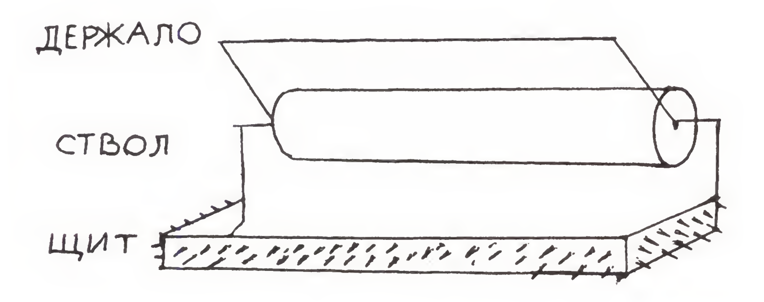
Угра, старуха Иллариона, возжаждавшего молодой жены, окликала из своего двора бывшую монахиню Ефимиаду – ежели она и вправду привела в Ипсисимов дом дьявола, пускай спросит у него совета, как наставить человека на разум: этот петух ощипанный Илларион затеялся идти в монастырь за своей монахиней, а она тут его обихаживай. Сноха ее Панда
 оставила лохань и, приглаживая волосы мокрыми ладонями,

приступила к ней. ”Ты, матушка, чуток постирай, а я уж от Ефимиадиного дьявола добьюсь совета на нашу напасть”. Ее муж, здоровяк Голуб, словно только и ждал, чтоб отшвырнуть чурбак, который ему не удавалось расколоть. ”Господи, – простонал он. – Сейчас запоют. – Родителей он называл по имени. – Нельзя же так, Угра. Все над нами смеются. Придется мне связать нашего Иллариона, не то он и вправду отправится за молодой женой”. Откуда-то притащился Мирон. ”Снился мне преподобный Серафим. Указал, где зарыт горшок с золотом”. В новом приступе отчаяния Голуб сжал кулаки. ”Значит, тебе снился преподобный Серафим?” Старец попятился от него. ”Ты мне, Голуб, не грози. Все равно не открою тебе места. Сам копать буду”.

Карп Любанский пропал. Из Любанцев за ним притащилась жена Косара, накидывалась на каждого, кто попадался на дороге. ”Удачи тебе, сестрица, – осенял себя крестным знамением ее брат Петкан. – Муженек твой ушел к Синей Скале, дабы нас от грехов наших избавить. Поспеши туда, застанешь его. Да только хлеба ему не носи. Карп собирает ужей, варит их с крапивой и щавелем. Постникам голод нипочем, гляди, чтобы не переел”.

Она, показав ему спину, пошла прочь.

А под дубнячком между Кукулином и болотиной без цапель и журавлей, без бекасов и диких селезней, без желтоклювых нырков и русалок мужики, поверившие, что крысы вернутся, мастерили под надзором Карпа Любанского некую штуковину, для непосвященных весьма мудреную:



ствол, если прикинуть на глазок, толщиной в локоть и шириной в шесть, ореховый, очень тяжелый... *держало* железное, воткнутое с обеих сторон ствола, от толкания ствол движется и давит

перед собой все... *щит*, высотою в две пяди, с внешней стороны три ряда острых клиньев – защищает идущих за подвижным стволом от возможного соприкосновения с живыми крысами.

Сие невиданное доселе чудо нарекли Карповой *давилкой*, таких давилок смастерили уже четыре, каждую поведут двое: Русиян и Тимофей, Парамон и Богдан, Боян Крамола и Петкан, Кузман и Дамян. Четыре, на большее не было ни сил, ни людей, да и многие почитали их пустым баловством. Трудно, очень трудно каждому дому иметь такое, сетовали лицемерно, а про себя смеялись: держало, ствол, щит.

Смех переходил в судорогу, судорога в страх. Крысы шли густыми ордами, занимали пространство уже в верховьях Давидицы. Избегали прогалин, крылись по низинкам, где вызревало дикое просо. До решительного удара не показывались, собирались грянуть разом. И тут я догадался. Птицы перестали клевать зерна бесполезного доселе растения, и оно, даже под инеем, не выкинуло семени для весеннего возобновления.

На грани конца жизнь последних свидетелей призрачного действа стала кошмаром, а сами они живыми тенями. И с ними я.

Пока крысы собирались в гущине дикого проса, легион за легионом, для первого, второго и третьего удара, семена начали осыпаться от малейшего трепета. Словно бы в поисках влаги забивались в оголенные крысиные глаза, и те закрывались пеленой, слепли от болезненного колотья.

Наблюдая из своей крепостной бойницы, я уверовал, что растения, как и птичьи стаи, объединились с людьми – за жизнь. И еще я знал: крысам даже слезой не избыть липкого семени и боли слепоты. В своей немощи они сшибались, визгливо призывая богов на помощь, грызли друг друга. Накидывались на любое прикосновение, оскалив зубы. Серое месиво рвало само себя тысячью своих челюстей. Потерпев урон от невиданного доселе врага, бесполезной травы высотой в локоть, часть легионов все-таки одолела простор с диким просом. Ослепшие, с глазами, затянутыми пленкой, растянулись полчища, хлынув из чернолесья и со стороны Песьего Распятия на село, окруженное заслонами сушняка и легко воспламеняемых сосенок да можжевельника.

Навстречу им бежали люди с головнями. Пламенем полыхнуло дикое просо. Синевато-румяные челюсти жара набросились на слепнущих крыс, и те, не прекращая взаимной грызни, отхлынули к прогалинам и Давидице. Оголтелые, продирались

сквозь горящий сушняк, отыскивали в нем проходы, пытались добраться до людей, заскочить в село.

И вдруг на ослепшие почти легионы со скрипом устремились Карповы давилки. Так же внезапно между крысами и давилками вынырнул из дыма Исайло, живая сторона лица искажена злобой, другая оставалась неподвижной – окаменелая собственность смерти, кусок с ее трапезы, сквозь которую проходит столетиями все сущее, с первого червяка до последнего нашего предка. Если я и сейчас не ошибаюсь, он пытался возглавить легионы и вести их на дома и людей. А может, я заблуждался. Видевшие его полагали, что он пытается преградить крысам дорогу своим полуживым телом. Если это был Адофонис, князь или царь бесчисленных челюстей, то крысиные орды с сатанинской злобой в черных сердцах своих провозгласили его презренным изменником: нашего рода, но будь ты проклят, тебе не выбраться из людского обличья! Крысы настигли его и зацепились за мертвую ногу, начали карабкаться к живому телу. Никто даже не пытался ему помочь – было невозможно. Женщины, Долгая Руса, Гора и старуха Угра, держали Рахилу, чтоб она в безумии не стала добычей крыс, явившихся из ниоткуда в новой попытке завоевать землю, кусок за куском, люто ненавидя все на этой земле – человека, растения, зверя. Исайло опамятовался, но слишком поздно. Здоровой рукой сдирал крыс с себя, со своей кровоточащей плоти, умирал оставшейся в живых частью. Упал, обессиленный, наземь и покатился, подобно давилке Карповой. Лежал ничком, зажатый челюстями и ощетиненными хребтами, шевелясь все слабей и слабей. Крысы рвали ему шейные жилы, залезали внутрь, и через миг от него остались лишь безымянные кости да оголенный череп. Дым с полыхающего дикого проса накрыл скелет. И крыс возле него. Вместе с дымом подходили новые зубастые отряды, вслепую спешили под Карповы давилки, чтобы превратиться в бесформенное месиво костей и мяса.

Справа и слева от движущихся стволов бежали с головнями мужчины и женщины, били ослепшее зверье по хребтинам, поливали кипящим подсолнечным маслом. Женщина, не знали еще, что это Богданова Смилька, выбилась из ряда и угодила в темный верезжащий вихрь, закрутилась с головешками среди осатанелых бестий, вскрикнула от первого укуса. Под ветхой рубахой зазияла рана, над коленом или чуть повыше. Повернула назад, к тем, кто старался помочь ей смутным советом. Слишком поздно. На нее, одна через другую, кидались крысы, зловещие ратусы, как называл их Лот в дни моей забытой молодости.

в долю мгновения покрыли ее шевелящейся, щетинистой и зубастой броней, подбирались к груди и горлу, она задыхалась от боли и от сознания гибели.

Вот и она скелет, как Исайло, а раньше, в первом нашествии, двое рыбаков на болоте и сакс Людвиг из кратисского рудника, священник Устиян Златоуст, послушник его Андроник Ромей и еще многие из Кукулина и окрестных сел.

К двум жертвам прибавилась третья: полусонный старец из старейшин, в молитвах помяну его как Мирона, промедлил на той стороне погоста – по лицу морщин на двоих, молитвенно сложил руки и поднял глаза к пустому небу без знамений и птичьих стай, да не успел помолиться. Был Мироном, стал грудой костей. Не жалея за одного чужого тысячу своих, а то и более, может три или пять, серая волна прокатилась по старцу и, минуя огненные заслоны, выплеснулась на село, на давилки Карпа. Под самой крепостью предводимые кривоногим Петканом и Долгой Русой люди катили впереди себя бочки, тоже давилки. Только плохо они защищали без острых клиньев. А давилка Кузмана и Дамяна подоспела на подмогу слишком поздно. Когда она подкатилась, Петкан был уже увешан черными гроздьями. Попытался обмануть судьбу, помчался к Давидице. С трудом перейдя реку, оказался в огне, который ширился и вперемешку с дымом и вонью горелого мяса поднимался к небу. Петкан в огне освободился от смертоносных гроздьев. Однако вспыхнула его накидка из линялой медвежьей шкуры. Парамон ринулся ему на помощь и споткнулся, упал лицом в живых и дохлых крыс. Нога его угодила в ствол движущейся давилки. И в это мгновение, в этот краткий отрезок страха, Тимофей, правнук мой и Благунов, без моей и без его крови, выпустил держало давилки. Подскочив к изувеченному Парамону, вырвал его из челюстей, оттащил за огонь.

Сквозь напластования дыма я следил за огневыми волнами, за каждой догорающей подымалась новая, ширилась, наступала на людей. Огонь мягкими лапами ухватил Рахилу – она вырвалась от женщин, Велики и Горы, и вмиг стала головешкой, не успев добраться до опаленных костей своего родителя, если и вправду Исайло был ей родителем.

Ни родителя нет, ни чада – в пепел обратились Исайло и Рахила. Были, были у них свои чаяния и свои тайны, свои откровения в жизни и своя судьба. На границе их жизни и смерти осталась дымная тень мраколюбия и мутных надежд. Теперь лишь земля могла им стать утешением. Отошли. То, что осталось от них, уже не они, и там, куда они попадут, если попадут, их не

будут одолевать ни искушения, ни злоба, ни жестокость крови, ни жаждание плоти. Ни страх перед неизвестностью. Ни обман. Ни скорбь, ни боль, ни мечта. Были непонятными, Исайло и Рахила, Адофонис и Ратусия, и за собой не оставили песни. Стены церкви белы (они были и не были иконописцами, были и не были людским отродьем, были и не были крысами). Запечатаны седьмой печатью безмолвия: бежали от меня мертвого, были живыми, теперь не принимают меня живого, стали мертвыми. Отошли. Не запечалятся над поражением крысиным, не порадуются человечьей победе. Подойдет осень, пластами уляжется на их кости листва, оплачут их женщины и оплачут вороны, будет плакать вода по ним и по старику Мирону, по Петкану и по Богдановой Смильке и, может, еще по кому-то. Горько оплачут их Долгая Руса, Гора, Божана, Гена, Наумка, Большая Петра и Звезда. И мужчины тоже – Тимофей, Парамон, Русиян, Богдан, Карп Любанский, Боян Крамола, Кузман и Дамян. Оплачет, испаряясь, болото и небеса без дождя. Отошли. Коснись меня, господи, бесплотной рукой, научи, что есть человек, а что крыса. Не будь ты, не было бы и меня, нет тебя, я живой мертвец с бранью вместо молитвы на устах. Среди крысиных скелетов заведут свой пляс ветры и призраки.

8

МОЛИТВА НА СОН ГРЯДУЩИМ

Сны, когда находились им толкователи, по мнению одних, предсказывали будущее земли и воды, стало быть, и человека, по мнению других, были предостережением перед вспышкой коварной болезни. Становились жизнью кажущейся смерти, двигаясь по кромке подлинного таинства, которому предстоит с неизбежностью наступить. Но сны были и будут загадочными властителями уснувшего – пробуждаясь в неурочное время, человек не может понять, что из пережитого было сном, а что частью яви. Для старых, хоть никто и никогда моих лет не достигнет, не существует снов: познанное ими, высказанное или невысказанное, полагают они пережитым, хотя самое пережитое представляет собой перепутанный ворох теней и существ, в основном человекоподобных, собранных в ходе подлинных и измышленных десятилетий, сгустивших временные расстояния в пирамиду единой ночи и с единым свидетелем – тем, кому все это приснилось. Заглядевшись в пределы, где обитают люди его мечты, и не в тумане самообмана, а озаренный недостижимым блажен-

ством, этот свидетель вовсе не думает, что заблуждается. Труд напрасный избавлять его сознание от обманов и глаза его направлять на путь истины. Для него, пребывающего в блаженном состоянии обманчивой бестелесности, семь худых коров непременно сжуют и заглотят семь тучных. И нет смысла думать иначе – прожорливость библейских коров сном считали одни грамотеи. Да и сам я в порушенной крепости не являюсь ли пленником снов и сказаний, перемешавших прошлое и настоящее?

Гора, что высится над Кукулином с севера, подрагивает, монолит вытягивается в острозубую морду. Принимаюсь убеждать себя – из столетней затаенности пробуждается исполинская крыса. Рушатся деревья и каменные утесы, тяжелые лапы оставляют за собой кратеры, зверь с разверстою пастью подползает к крепости, подрывает когтями ее фундамент. Камень трещит, валятся на меня тяжкие обломы, задавливают, однако сознание мое остается неодолимым, возносится, дабы стать свидетелем чуда – превращения трупа в труп. Радуюсь своему концу, высоко надо мной, далеко от крепости, глаза мои следят за этим кошмаром. Прощай, Борчило, шепчу. Счастливая получилась смерть: нет меня, нет Кукулина, часть по части все становится прахом пред всеобъемлющим ратусом моего сна.

А стоял я перед бойницей и дивился своему сну, то ли сегодняшнему, то ли столетней давности, моему ли, проросшему ли во мне или слышанному от кого-то в какой-то из дней пролетевшего столетья. Сны, не заботясь о своем источнике, прочерчивают извилистый ход неизбежного устремления в бездну. Увлекут тебя – перестанешь с открытыми глазами встречать рождение солнца. Не будет их – твои глаза закроются для ранних зорь и для румяных закатов. Сны – часть твоя, но избегай их, когда наполнятся мраком и страхом, не так ли, Лот? Прегради дорогу мраку и страху, как сделали кукулинцы, дав крысам бой: погосты расширились, могилы заступили в нивы, дымится ладан, не хватает ни слез, ни голоса для настоящего погребения, нет плакальщиц. Сплошное безмолвие. Вместо прощальной песни крови, расстающейся с обуглившимися и обглоданными костями.

Их схоронили. Петканов гроб венком украшать не стали, не такое время, чтоб лицемерить, водрузили только кувшин с вином, а надстарейшина Благун, пока Велика набрасывала на крест Богдановой Смильки новую рубаху, молился за всех, от умерших из первых Смилькиных лет до погибших в этом

 сражении с крысами, и сам себе растолковывал сны живых и

покойных. Даже озарился изнутри, под кожей, магией, доброй или недоброй. А я сам в себе перечитывал строки великого Лота: *И многобожцы и христиане, соприкасаясь в продолжение столетий с разными культами, поощренные снами, преклонялись перед всяческим волшебством. И святые тоже, Петр в Иоппии или Павел в Люстре, чудеса творили – оживляли мертвых, снимали порчу со слепых и увечных. Со временем чудотворения, сии благородные сны, облекались в мантию мрака, становились магией многоликого зла. К постели недужного вельможи подводили невинных отроков, дабы горло их, взрезанное ножом, приняло в себя его хворь, а то бросали на костер женщин, обвиняемых в ведовстве, – да сгорит вместе с ними душа предводительницы их, некой Мойры. Случалось, убивали заглазно, сотворяли человечье подобие из воска: брошенный в огонь, воск топился, стало быть, сгорала и жертва, осужденная на смерть чародеями. А еще совершали помазание идола, маслом или кровью девственниц. Заодно с совой жаба и крыса делались знаком магии, голубь же был знамением снов...*

Я часто себя спрашивал в крепости, какой сон привидится уцелевшим в сражении с легионами святого Адофониса, мне же хотелось сна чистого и невинного: белых коней, скачущих по волнующемуся житу под обильными облаками, цветных вихрей и благочестивых песен перепелок.

Я пытаюсь выкопать из своей потьмы молитву для сна и на сон грядущим, из алхимического единения человеческого во мне со мраком, одолеваемым милосердным светом, исходящим от Кукулина и обитающих в нем. Сладостные сны недоступны мне. Попытайся я их иметь, прикоснуться к ним духом и плотью, я бы не был Борчилой, томящимся в нескольких шагах от своего пустого гроба, где на плите Растимиров мастер выдолбил в виде креста слова:

Костяк и Борчило
и раб божий при том

смерть мати черная не берет — *боже всеблагий помилуй*

скорбью движима кровь
по застывшим жилам

и, как ни читай эту надпись, выходит всегда одно и то же: *и стал вампиром, Борчило, раб божий, скорбью движима кровь по застывшим жилам, помилуй, боже всеблагий, смерть, мати черная, не берет.*

Сны мои глубоко. Ногтями начну рыть землю – докопаюсь до моря. До них, до этих снов, никогда.

Собранные в большую кучу, политую смолой и маслом, горели дохлые крысы — вчерашний враг завтра мог обернуться призраком под названием болезнь. Дым от костра убегал прямо вверх, словно бы ветер остерегался его. Небеса отодвинулись. Звезды стали недостижимы для глаза. Явился ветер — залечить чернолесью раны. Где-то в балке за Синей Скалой выл забытый монахов пес, закопавшийся в мелкую яму, звериный сын звериной Каллиопы, не воскрешающий покойников, а провожающий их в темные недра.

Вот и осень. Дождливая. Хмурый день, не спастись от влаги ни уснувшему дереву, ни домам — лезет сквозь невидимые трещины, забирается всюду, находит людей и в поле, и под одеялом. Тяжелые, не серые даже, а скорее черные, облака захватили простор над землей. Похожи на огромную ладонь, грозящую улечься на крепость и сплющить ее, чтобы в придавленности сравнялось все — нива и дорога, крутизна и падь, человек и зверь. Изо дня в день нарастает скорбь: человек одолел зло, но зло, подобно стоклювому ворону, все равно излетит из своего пепелища, и не ведомо никому, когда и в каком обличье.

В неопределенной высоте надземный ураган колыхает знамя — летает по кругу ряса монаха — он был в Кукулине, сквозь него прошел и исчез. Из ткани точится чад, то исходят дымом воспоминания, ищут лежбища в облаках. Слышите ли меня вы, кому дарю я это свое писание? Доходят ли до вашей смятенности плач и песня тех, кто явится после великой битвы с Адофонисовыми легионами и все же задолго до вас? Тяжко. Вы и дедов своих не будете знать, как не будете знать, чьей лозы вы отростки — Тимофеевой, Парамоновой, Русияновой. Вам не заглянуть в прошлое, нутро Богдановой тыквы не откроется вашему взору, и не подпоет вам Петкан, и не появятся на стене вашего дома святые Кузман с Дамяном. Броню времени не пробить. Заживете в собственном мраке искушений и в собственном свете надежд. По-другому, не как жили вчерашние и сегодняшние кукулинцы. Летит ряса монаха, пустотой левого рукава защищается от буйного ветра и от проклятья. И проклинает. В правом — пустота обращена к вам, грядущим. Благословения ради? У меня нет ответа. Предвечерье глотает рясу, заря накинет ее на земные раны. Залечит землю и оставит вам. Если надобна вам — храните. Откажетесь от нее — не ищите ни могилы, ни плода. Брошенная земля — царство крыс.

Ночь, день, ночь. Все нижется на нить прошлого. Осенний туман окутал и меня, только с угасшим сознанием можно убежать из него в промозглую яму, увенчанную крестом.

 Ночь, вечная ночь.

9

ВОСПОМИНАНИЯ, СКОРБЬ

Не сговаривайся со смертью.
Ты до нее не дорос.

Лот

Я не был безумцем и не считал, что дорос до судьбы. Или что постиг размеры ее справедливости и суровости, а тем паче насмешливости. Смерть подчинила себе жизнь, став ей черной и злобной мучительшей. Если я умер когда-то, в крепости живет только мой призрак, последняя мудрость или безумье истлевшей плоти. Я плавал на галерах, я странничал в песчаных пустынях.

Мое имя Борчило. Ищу хлеба.

Хлеб тебе даст это море. Ты убил?

Мои руки еще в крови.

Будешь бунтовать или ты покорный?

Я не трус. Но старейшин слушаюсь, и на суше и на морях.

Мы ведь грабим, ты это знаешь?

И я буду грабить с вами. Без устали.

Подымайся. Отныне галера твое отечество.

Когда я увидал Растимирову кровь, ветер погнал меня на галеры к безымянникам, украшенным шрамами, к убийцам за горсть сребреников, звездочетам, мошенникам, грабителям, богослужителям без веры, там, на галерах, оседала муть с человечьим обличием – гребцы, сбежавшие из оков, колдуны, родоотступники, притирчивые плуты, сварливые смутьяны, продавцы лоскутов с одежды святых целителей Симеона и Даниила, обитателей высоких столбов, подточенных, со столбами вместе, язвами, которых не залечить земле. Галера, гнездо сатанинское, одними именуемая Аспидоцефалис, другими же – Змееглавая, убегая в тумане от грабителя посильнее, врезалась в ураган, вызванный магией раскаленной Бородатой звезды, проходившей тем часом над морем. Каждая впадина в волнах могла сделаться нам могилой, каждая волна – могильным холмом. Остроклювая, под броней из смолы и соли, галера наша под ударами ветра перестала покоряться кормилу. Мачты с жалкими остатками парусов трещали и с грохотом валились на палубу, разрывая канаты и дробя кади с солониной и маслом, а заодно и кого-нибудь из гребцов. Какая разница: нам, не пришибленным мачтами, было еще страшнее. Некоторые сходили с ума. Без хозяина (кормчего поглотила пучина) кормило

стало неуправляемым. Мы не могли к нему приблизиться и вырвать призрачную галеру из лап урагана. Деревянный остов трещал, под палубой позвякивали тяжелые цепи.

Беда не приходит одна, хотя следующая напасть принесла нам некоторое облегчение: галера врезалась в невидимый коралловый остров, ребра ее разлетелись на части, а утробу с пленниками и добычей затопило. Великая паника распалила разум. Все вопили, словно безумные. Борясь за свою жизнь, мы накинулись на единственный челн, и на нем среди десяти счастливчиков оказался и я со вспоротым боком. В то время как мы удалялись от галеры – претерпевая новую кару, она полыхнула пламенем, – вокруг нас плыли трупы. Оставшиеся в живых и нашедшие спасение в челне веслами отбивались от настойчивых пловцов, тянувших в мольбе к нам руки. Из бурлящего моря выныривал ледяной призрак, знакомый по старинным сказаниям, закидывал нас сосульками, вызывал дрожь, отнимал силу и разум. Мы и предположить не могли, какие страхи нас еще ожидают, меня особенно, мы боролись за свои бедные жизни, хоть и были коварными и прожженными злодеями, попадавшими на галеры то пиратами, а то и гребцами в цепях. Нас набилось в челн слишком густо, двое оказались лишними. Сперва в море полетел изувеченный латинянин, без крика, с шепотом на устах – Ad absurdum!* – затем один из гребцов с кривым ножом устремился ко мне и, вглядываясь в меня, скорченного, с кровавой раной меж ребер, неосторожно нагнулся. Я напустил его на свой нож. Он, побелев, закачался, лицо исказилось, словно бы не от боли, словно он хотел засмеяться, но не стал, чтобы не вызвать смех у других, и лишь обрушился на колени. Не кричал и не вырывался, дал схватить себя и выбросить из челна. И тут нас подхватили ветры и стали заталкивать, казалось, в самый ад. В смертельном урагане, разыгравшемся при беззвездном небе, вздымались из морской пучины все проклятия мира.

Спустя несколько дней обедом нам стало мясо негодяя нашего же разбора, а потом буря выбросила челн с уцелевшими, в том числе и меня, на песчаный берег без плодов и без пресной воды. Обезумевший, ковылял я по пеклу, оставляя за собой умирающих спутников, покуда не наткнулись на меня разбойники, промышлявшие здесь. Вместе с другими пленниками меня связанного отвезли на земляные работы возле фараоновых гробниц – искать змеиные гнезда, золотые посмертные маски и украшения.

*Абсурд! (*лат.*)

Ночью мы лежали под тоненькими одеялами прямо на песке, меж скорпионов и звезд, вокруг собирались пятнистые звери, невиданные собаки с горбами. Дождавшись, когда мы погребем мертвеца, они разрывали песок, и перед солнечным восходом от покойника оставалось лишь оглоданное костье. Наши хозяева охраняли копьями только живых, мертвые мы им не годились. Ночи и дни проходили в голоде и сводящей с ума жажде. Несколько раз меня возвращали как беглеца и избитого оставляли на африканском солнце, но умереть не давали, и не жалости ради, просто я выгоден был живым, мертвый я обогащал только пустыню – своими костями, жаждущими успокоения в глубинах раскаленного песка.

Случались у наших хозяев, укутанных в белую ткань, большие праздники, и тогда мы могли передохнуть. Для души это были благостные мгновения: недвижимый, прикрыв глаза, я мысленно путешествовал по дубравам с прозрачными родниками, по зеленым лугам, по городам с реками и фонтанами. Время проходило быстро. После таких снов обманного счастья солнце усаживалось нам на затылок, и мы, придавленные зноем, переходили от одной фараонской гробницы к другой, подпекаемые до волдырей на коже, до кровавых ран.

Минул не один год, и меня, не по возрасту младоликого, продали толстому купцу, торговцу шелком, любителю блудных игр: имя – Селим, обличье – распрямленная гусеница на коротких ножках, торчащих из-под длинной грязной рубахи, душа – черная и ненасытная. Улучив момент, я удавил его без всякого сожаления. Добро его поделил между слугами и пошел жить к погонщикам верблюдов. Даже поторговывать выучился, за что был ограблен однажды и вздернут на конопляной веревке. С виселицы сняли меня паломники под черными капюшонами и, по благосердию своему, повели на святительские могилы. Как-то раз на дороге повстречался нам человек с Аспидоцефалиса, или Змееглавой, стал скалиться на меня. Широкогрудый и опустившийся, с густой бородой, поблескивающей в отсветах костра, вокруг которого мы сидели, мерил меня глазами – так и вспыхивали в них клинковые лезвия. А во мне, в моем сознании и крови, под взглядом его топились все тайны, вытекали из невидимых ран, опустошая меня. Сидящие вокруг костра молчали. Он же, с головой спрута, достаточно поместительной и для мудрости и для безумия, что-то неразборчиво с клекотом бормотал, пытаясь поведать какой-то случай, и вдруг совершенно отчетливо произнес мое имя. Я тоже знал его имя, конечно ненастоящее, – Шандан, он мне открылся однажды, что происхо-

дит с латинского побережья, к пиратам пришел как Иеронимус, хотя мать его родом из какого-то славянского города, он, хоть и крещеный, от креста отрекся, сменивши меч на кривую саблю с лезвием, испещренным золотыми узорами арабских молитв. Теперь рассказ его зазвучал яснее: пока он молился в челне после гибели галеры Аспидоцефалис, я, дескать, обжирался. И громко пояснил – чем: человечиной. Потому как он был свидетелем, не прошло двух-трех недель, я бросил его, изнуренного, на песке, и напрасно он умолял меня о помощи. Нагнувшись над костром, я выхватил головешку и жестоким ударом направил ему в глаза. Накинулось на меня несколько человек с суковатыми палками, поломали ребра, нос и челюсти.

Я лежал на песке – рот забит песком – и ждал, когда стервятники осмелеют и накинутся на меня, хотел ощутить, как рвется живое мясо, сгорал на солнце, прикидывая, не опередят ли голошеих орлов пятнистые псы, я и их призывал – в конце концов не все ли равно, как подохнуть. Бескрайняя пустыня, бесследная и безжизненная, показалась мне вдруг единственно возможным одром для костей, которым ветер станет набожным плакальщиком и могильщиком.

Нашли меня какие-то всадники, вернули в жизненный омут, а потом на одной пристани меня взяли в кормчие на галеру с пряностями люди Эл-Идризи, высокого молодого человека с кудрявой бородкой, обходительного и благочестивого, служащего господам из Сицилии. Тогда в последний раз увидел я прыжки дельфиновых стай и летучих рыб. Неведомая хвóрь точила меня, разливая под кожей столетнюю желчь. Я был болен с головы до пят. Не злые, но и не особенно пекущиеся обо мне, люди Эл-Идризи, отпрыска лозы Авиценновой, оставили меня на берегу, вблизи Солуни. Я выкрал пегого коня и пытался сыскать дорогу на Кукулино, и тогда тоже, как в это лето, смутно связанного с туманным перстнем скорбного и зловещего, бесплодного, вероломного, одинокого Сатурна. Ехал я ночами. И хотя с восходом луны выпивал по девять капель воды Авиценновой, которую мне дал Эл-Идризи, не мог совладать с лихорадкой в теле. За мной, вросшим в хребет коня, из нор невидимого зверья, из каменных трещин ползли, растягиваясь до проклятия, пустые и темные вскрики и отзвуки моего смятения: Борчило, не торопись, тебе не избежать злобного поругания. Голос вымышленного привидения. Я отвечал кровавым рыком: Приди и забери меня из этой постылой жизни. Я умирал и вновь оживал, хотел стать безымянным скелетом в могиле, а все-таки дышал, напитывая свою желтую хворь.

Одряхлевший и очерствевший, ставший не по зубам даже призракам и разбойникам, приближался я к Кукулину. После стольких промчавшихся лет, в промежуток между двумя небесными походами Бородатой звезды, я увидел крепость, опять был тут, среди родной красоты, убогой и дикой, только люди мне стали чужими: от моих ровесников, кроме Благуна-постника, обитавшего под Синей Скалой, не осталось даже могил, их заполняли кости покойников помоложе.

Прихватили меня в овраге – я высасывал козу, стиснули живым злобным кругом. Хорошо, подумал я без всякого противления. Почему бы не погибнуть мне от своего племени? Пегий конь с окровавленными ноздрями лежал рядом.

До орлов, а они не так уж высоко, заберут свою долю мухи – и те и другие нацелились на меня. И тут Серафим, не старейшина еще и не старый, на семьдесят лет моложе меня, отпрянул. Лицо его побледнело.

"Этот человек мертв, – промолвил он. – Давайте помолимся". Так меня и оставили – бродить от села к селу, от страдьбы к страдьбе, и сам теперь не упомню, когда и как поселился я в этой крепости.

О том, что следовало за этим, я уже поведал.

Дополнение.

Потянулся туман долинами, у всего, у куста и могилы, отнимая облик, сравнивая берега, затирая стежки, и человечьи и песьи. А я опять все в том же покое среди мертвых теней, собираюсь улечься в гроб с моим именем, выбитым на плите. В руке моей осиновый кол, на устах клятва, что свершу положенное и, выпросив прощение у живых и у мертвых, добуду успокоение, оно мне подобало давно, более сотни лет назад, после погони ловцов Растимировых. Зима, горные венцы побелели, в череп мой черви не заползут. Все равно, совсем все равно. Для червей на мне нету мяса.

Кто-то где-то поет, вместе с дымом скорбь расходится из очагов кукулинцев. Петкан, может быть, из могилы:

Из-под камня поднялся Борчило,
возьми заступ, зарой его.

Пора, бабочка-морозница начинает плодиться. Расплодятся и крысы, я знаю. Если вправду поет Петкан, песнь его не доходит до Черного Спипиле. Но он ищет и все еще находит кости. Захоти он, из найденных костей можно было бы возвести храм отчаянья.

ВОЗДЫХАНИЕ ТРУПА

Снег, девятый пласт за девять дней, одна, две, три и четыре лютых зимы миновало после сражения с крысами. Пусты гнезда на пустых ветках. По ночам слышны крики диких гусей и куликов, днем ледяное солнце вызывает блистанье кристалла. И снова — облака, ветер, снежинки. Земля, вседержительница огня, воздуха и воды, сердце вселенной, помещенное в сердце загадочности или в стручок иной непостижимой вселенной или надвселенной, встретила зимние праздники, тишиной возблагодарив небеса за недолговечность жутких чудес. С утра до ночи пределы под чернолесьем покрываются ржавчиной старости, ржавею и я в покое старой порушенной крепости, где стоит гроб, и имя на том гробу — Борчило. В девять строк толкую молитву или проклятье, выдолбленное на мраморной доске назад тому девяносто девять и еще девять лет и, может, еще трижды по девять месяцев. Подходит мое пятнадцатое десятилетье. Я жизнью своей прихватил три столетья, девять раз сталкивался со смертью, и вот опять — не то живой, не то призрак. Тоска разъедает меня. Хотел бы, а не могу сделаться прахом. Делаюсь обманом и скорбью. Опустошенный, без будущего, и в настоящем отсутствую. Сатанаил — порождение мрака и страха, но и боги тоже всего лишь тени скользких надежд. Искушение толкает меня согнуться над знаками Сефер Йецирь, не без колебаний истолкованными стародавним Лотом: не выходя из души, путешествуй по звездным пространствам поверх девяти небес. Меж тем все, что могло считаться трепетом и движением, окоченело: птица на орешине и снежинка, дым над бревенчатыми и каменными строениями, человек, идущий к дому или из дома. Под бременем десятилетий и перед смертью от осинового кола, всаженного меж ребер, я стал свидетелем величавого света — тысячи размягченных солнц сотворили вокруг Кукулина кольцо. В золотом потопе заодно с тенями умирали обманные чары — их плодили страхи пролетевших столетий, теперь им конец.

Над чернолесьем трепетал усыпительный звук надежды, словно благостное знамя победы человека над легионами подлинного или придуманного Адофониса. Я знал, что посеянное осенью семя пробуждается в теплых недрах земли, впитывая невинность снега, чтобы с первым весенним солнцем порадоваться ветерку, ласкающему всходы своим животворным дыханием, перед тем как в колосьях вызреет хлеб насущный, а вместе с ним и дикое просо и все, что имеет корень и жилы.

У каждого мгновения своя вечность. Возле могилы Смильки под солнечным снопом, в который, как на диво, запархи-

вают реденькие снежинки, выпрямившись стоит вечным мучеником следопыт Богдан, вдовец и молодожен. Задумчивый и недвижный, такими когда-то бывали пророки. Смилька была ему женой, была матерью и заботницей – лишенная собственной воли и женских желаний, тихо прошла она сквозь его жизнь и в битве с крысами очутилась, она, а не он, по ту сторону. Не увидеть больше Смильке зеленого огня на могиле монаха, и Богдан не откроет в треснутой тыкве диковинные края и события.

На полпути между селом и погостом остановились Кузман и Дамян. Ждут, когда вернется Богдан и подаст знак рукой – выпить за помин души и попеть. Блюдут благочестие – недостроенная церковь будет построена. Крикнуть бы. Но не решаются. Любой голос ранит безмолвие. А Богдан вспоминает покойницу, доброту, с какой провожала его на ниву и в горы, и как встречала его ночами, пропахшего вином и медовиной. Одинок я, одинок, любезная моя, хотел он шепнуть могиле, снежному бугорку с крестом, но промолчал. Нет, он не одинок, мертвых нельзя обманывать. В его доме, к югу бревенчатом, а к северу из камня и глины, стоит у окна Велика, ждет его. Полыхающие дубовые поленья ширят из очага тепло, ее ладони на головенках двух Богдановых и Смилькиных сыновей, третий, отнятый от груди после материнской гибели, спит в старенькой колыбели, из которой вышагнул когда-то сам Богдан и сразу напал на барсучий след, а лютые псы погнали зверя из ямы на сетку из конопли.

В теплой, хотя и убогой горнице сидят на треногах перед очагом Парамон и Тимофей, первый – сын покойного Петкана, ставшего человеком из сказки и для сказки, второй – пасынок Долгой Русы, пряхи, выкормленной пряхой же с третьим глазом или ухом на темени, а по правде сказать, подслеповатой и глухой: однажды ее укусила змея под Песьим Распятием. Молчат. Завтра вместе с другими пойдут к Синей Скале проверять капканы, что выковал Боян Крамола. На стене позади понурившегося Парамона висит меч саксонца. Плутал сакс от рудника к руднику. Доплутался. Его меч теперь принадлежит Парамону. Никто из них, хоть горе их изукрасило морщинами, а может, именно оттого, не поминает Рахилу. Парамонова нога, по которой проехалась тяжелая крысодавилка, зажила, молодость залечила треснувшую кость. У Тимофея рана в сердце – сохнет он, тайком выплевывает кровь из горла. Тени его ресниц на желтом лице сделались слишком длинными. Посягнул на Рахилу, правнучку Нестории, которой и сам он, если верить Исай-

ле, приходится правнуком. Нет житья ему в Кукулине, хорошо бы замкнуться в монастырской келье.

А я проклят – не хватает сил взять смерть за глотку, и она, как ни взывай, не хочет в меня запустить когти. Раздробить бы ее. Кости разбросать окрест. Или самому ослабеть в ее объятьях. Проклят я, уйдет раньше меня Тимофей – воистину проклят.

Погоняя осла, груженного валежником, спускается с горы Русиян, единственный Горин сын. Топор, воткнутый за пояс, в крови. Таким, как он, впору небо держать на темени, тяжелое и холодное, сеющее белых бабочек. В порывах ветра осел с трудом пробирается по сугробам. Сверху, на валежнике, лежит серна, Русиян выдрал ее из волчьей пасти, одним ударом прекратив ее муки. Он женат, нынче вечером будет с кумовьями пирушка богаче свадебной, а в кумовьях у него Кузман с Дамяном. Трех дней не прошло, как они все вместе вернулись из монастыря, где пред алтарем брачующихся благословил старый игумен Прохор, лишь с помощью костылей держащийся на ногах. Ничего с них не взял, сам подарил им мех вина и пергамент с бесполезной молитвой о покорности перед божией всемогущей силой, перед судьбой и перед царями. Какой прок, читать они не умели. И вот капает в снег кровь зверя лесного, из Русияновых губ, из ноздрей осла выпрядаются мглистые пасмы, крохотные облачка, расплываясь, возвращаются в свое лоно, в острый и крепкий воздух, в дом, где за прялкой ждет мужа своего Русияна молодка, приведенная то ли из Любанцев, то ли из Побожья.

С комом неодолимой горечи в горле и с обетом завершить по весне новую церковь, Карп Любанский воротился в свое село. Кукулинцы дали ему проводного – икону, оставшуюся от Исайлы, и взяли зарок – день крысиного одоления отныне да наречется Большой Просов день. В родных Любанцах он застал свежие могилы, помолился за души знакомцев, ощущая с горечью и печалью, что забыл свой дом и свое село, что силой какого-то волшебства предался Кукулину, во дни, в жуткие дни крысиных нашествий и смерти. А может, он просто сбежал тогда от Петкановой сестрицы, с которой слишком молодым обвенчался, от Косары, пребывающей в ссоре со всеми селами, в какие ступала.

В своих домах, более похожих на дремотные могилы, чем на обиталища, старцы Илларион и Гргур с женами Угрой да Фоей вместо вожделенных невест из снов покойного Серафима каменеют пред очагами, подобно другим старейшинам, бесполезным для дела. Надстарейшины они лишились. Пытались его удержать, обещали и венец, и послушание, но не смогли. Бла-

гун воротился в каменную впадину под Синей Скалой. Вон он, лежит, открывши глаза, холодеет, к нему приближаются зверь и зверь, пес и волчица. Может статься, завтра кости его соберут дровосеки, закопают до того еще, как зацветет кизил и Давидица разольется вешними водами. Закопают отца преподобного. И именно любезный Богдан найдет его кости. На могиле Благуновой вырастет дуб, крепко станет держаться корнями за землю, как держался за нее сам постник. Вон он, еще не совсем остыл. Руку протягивает к псу и волчице, безгласно, под бровями ни благословения, ни проклятия. Почувствовал приближение ветров. Покорные его внутреннему зову, они появились между ним и звериной парой – люди нашли его нетронутым и закопали с молитвой. Излетел из себя. Легкий, направился к теплым высям, к единственной и праведной жизни. А лежал неподвижный и с открытым ртом – мертвый. Последний вздох его коснулся бодрствующей большеглазой сойки, и она, криком провожая исход из живого трупа искушений и мук, разнесла на все стороны весть: постник довершил свой столетний пост. Поют в Ипсисимовом доме бывшая монахиня Ефимиада и Илларионова сноха Панда, а муж ее Голуб пытается словить петуха для завтрашнего праздничного обеда.

Угадывая или наблюдая все это из крепости с гробом в холодных стенах, я предощущал приход весны с первыми ласточками: ветки отяжелеют от цвета, спустятся голуби на кукулинские кровли, гора станет потягиваться на припеке. Недолго. Опять снег. И завывание ветра, удары его ледяных щупальцев, выбивающих из земли белый прах и заворачивающих на юг хрупкую, однако жилистую молодь. Холмы и горы как волны смерзшиеся, с неподвижной темно-зеленой пеной можжевельника и сосны, тут и уцелеть можно лишь в норе. В небе кружит серая тень, сама превращаясь в тень. Хотела бы охватить в оковы солнце, его вечную юность, да только солнца нет, дожидается дня воскресения. В этом великом чародействе природы, во всех чародействах, что я узнал или измыслил сознанием, расплавленным душевными муками, я утерял дар предвидеть и слышать внутренние голоса людей. Стал изнуренным старцем. Позади меня в глубинах мрака нет ни воспоминаний, ни грехов – ничего нет. Из дубравы переплетенных теней сбегает моя тень, оставляя за собой змеиную кожу без обличия и без имени. И все же под челом у меня яснеет: жизнь, какая она ни будь, достояние тех, кто приходит. Земля высосет мозг из моих костей, напоит корни трав – более буйных, чем вчера. И услышал я, что с Ефимиадой и Пандой поет кто-то еще. Из глубины.

О, этот Петкан! Неужто и под землей хмелеет, почуяв близость следопыта Богдана и неразлучных Кузмана с Дамяном? И о чем поет в могиле кукулинский радетель? Обо всем, тепло ему под землей.

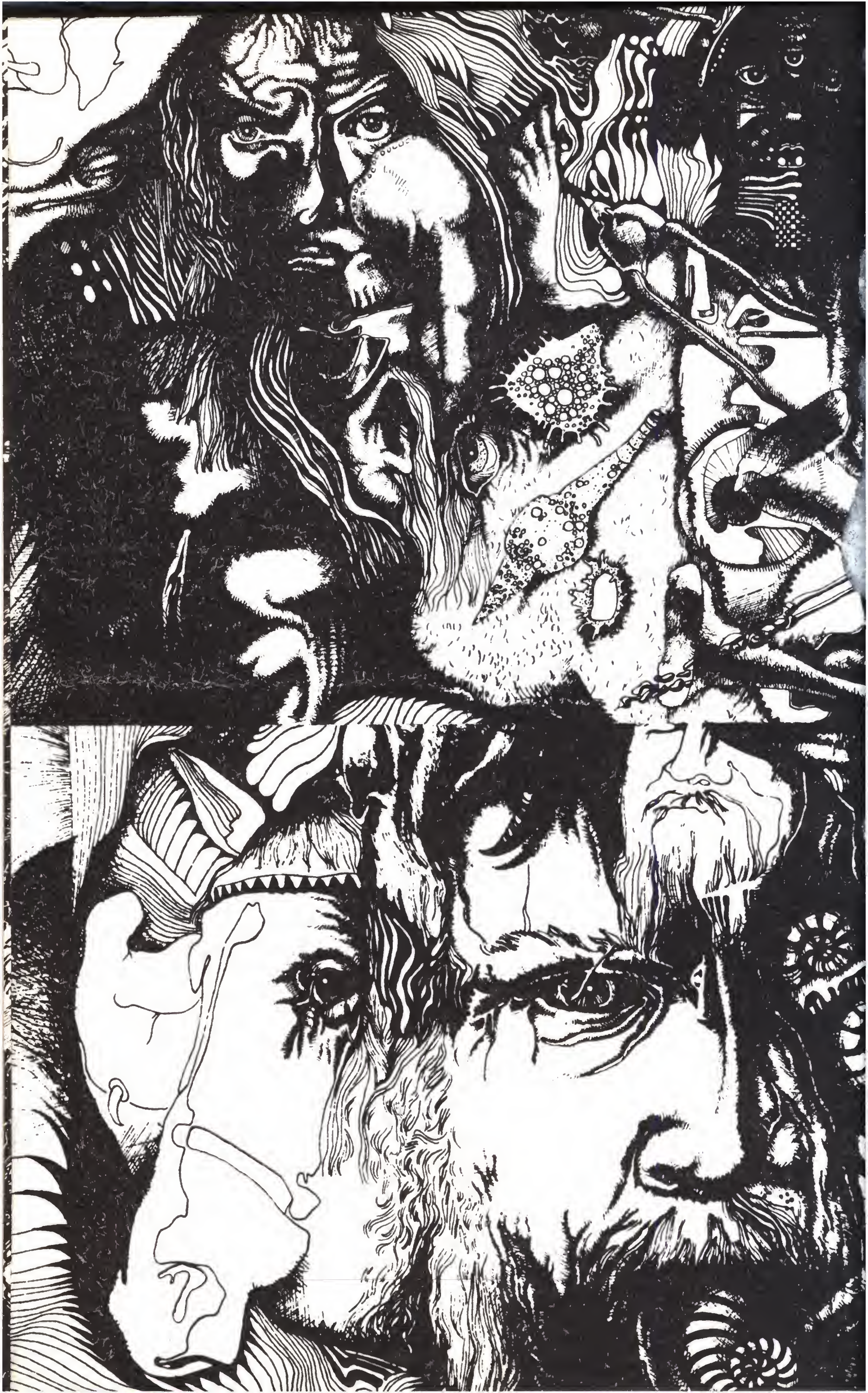
На другом берегу Давидицы рядом с Песьим Распятием голод преобразился в кобылицу, дикую и изможденную, уместившую на скрипучей хребтине огневицу, лютую хворь: желтозубый коварный всадник снарядился на гостьбу в Кукулино — подкормиться людьми. Ветер оттолкнул кобылицу, подхватили ее воды. Забрав в свои мягкие, но могучие лапы, изнабив-

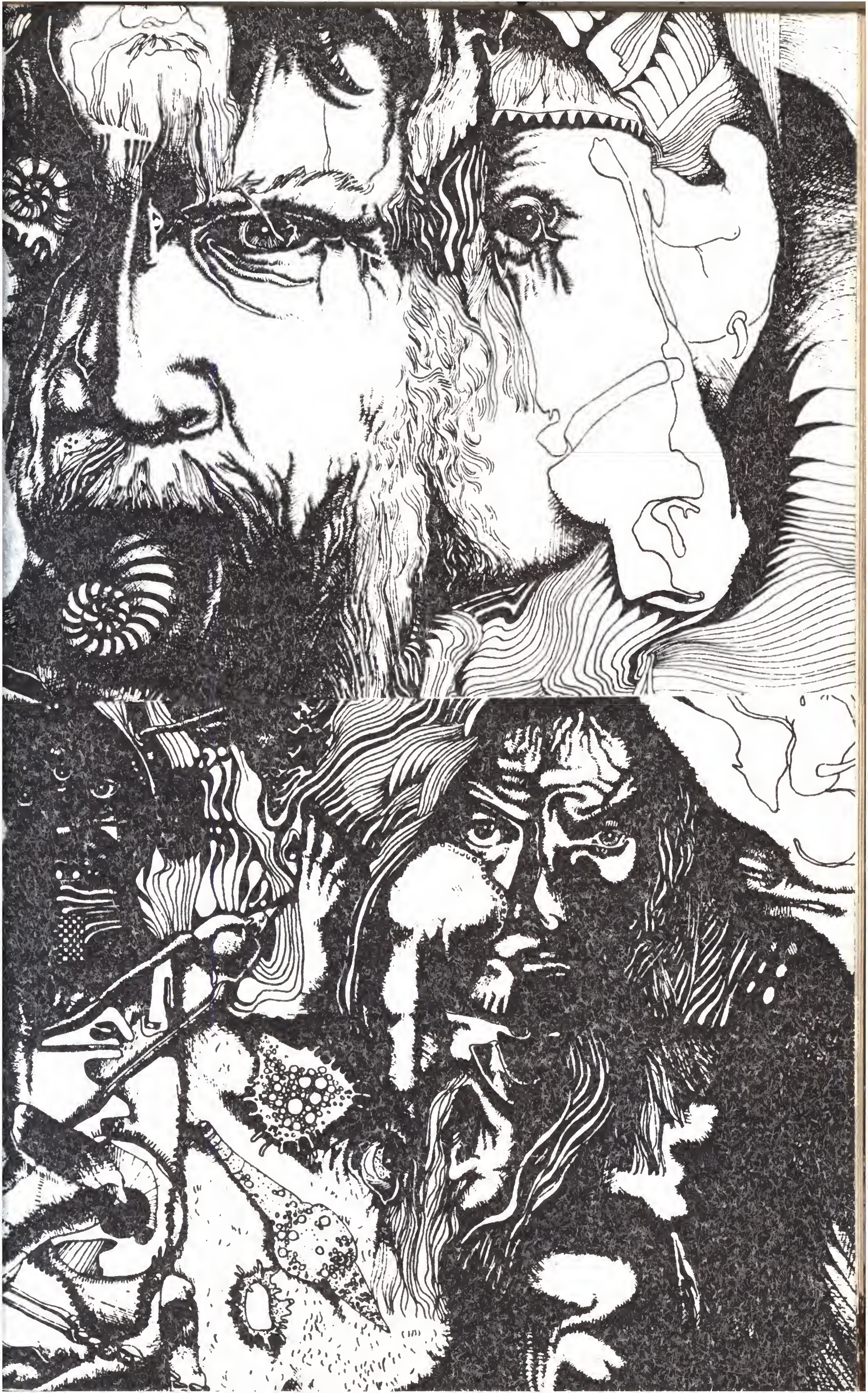
ши ноздри льдом, Давидица прочь унесла ее вместе с коварным всадником. Голая верба пустила корень из-под земли и, словно в пылком объятии, забрала ее шею в обруч. Потащила, помогла льду ее подковать и сковать.

Издавна в такие вот дни вокруг села собирались вороны, в криках жаловались своим богам на судьбину. Сейчас их не было. Ни их, ни даже их призраков. Ни лисиц в можжевеловых зарослях у подножия горы. Их пугала пьяная песня Петкана, долетавшая из-под земли.

ПЕСЬЕ РАСПЯТИЕ

КУЧЕШКО РАСПЕТИЕ





Богочтители: благость ваша есть
безумие одиночества до скончания.

(Псалом покоренных)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДАВНЫМ-ДАВНО

Ни дальше. Ни ближе. Точно тут, где проходит для них мировая ось, в Кукулине, в могиле, что меня исподтишка караулит, я распрощаюсь с мраком: раб прощается с солнцем, когда перестает видеть сны. У меня нет снов, нет желаний. Никому не нужный старик. Не грежу о смутах и бунтах, не грежу о солнце. И о смерти своей не печалюсь: по покойникам плачут живые. Но и ты, кто бы ты ни был, не смей выкапывать мои кости, дабы сквозь мою оголившуюся лопатку разглядеть собственную судьбу. Укрепись, не ожидай поспешения. Ты один. Борись или умри. Укрепись и посади вяз над моим челом. Предвижу: птица воспоминаний совьет гнездо в его разросшейся кроне. Сделай это – убей ее, дабы понять: у тебя нет судьбы. Запомни, кто бы ты ни был, вчитывающийся завтра в мое писание: сотри прошлое его, Кукулино лишится будущего. Запомни: судьба – это будущее.

Лот

ДАВНО

Дальше. Среди морских разбойников, под гробницами фараонов, в пустыне искал я свою могилу. Ищу и теперь – под чернолесьем, в некоем Кукулине. Приближаясь ко второй половине второго столетия, я не знаю, что ожидает грядущих после меня. Мертвец не прозорлив, предсказывать не умеет.

Борчило

НЕДАВНО

Кукулино – забвение самому себе. Вчерашнего раба не помнит земля. И небо тоже не помнит его. Мертвый раб не имеет имени.

Отец Прохор

ГЛУБИНЫ

(Аттила – Милутин)

И гунны, и они тоже рушили этот город.

Те, что не сгибли от орд Аттиловых, бежали из Скупи в сто-

рону северных гор. Возможно, тогда и зародилось Кукулино. Или позднее, в пору бегства перед аварами и еще перед печенегами, узами, куманами, норманнами. Кукулино, славянское уже, делалось становьем племени берзи, от временных глубин до Тимофея, проклевывалось и загнивало, обитало под тенью смерти, всхлипывало и пело, грезило раем и сотворяло ад или позволяло другим сотворять его для себя. Люди из Кукулина не имели своей короны, зато имели над собой множество кесарей: византийского окопийцу Василия Второго, норманнского предводителя Бемунда, царя Стефана Неманю, болгарского властелина Калояна (а потом Ивана Асеня, Калимана, Михаила Асеня, Константина Асеня Тихого), византийского императора Теодора Ангела (и Михаила Восьмого Палеолога), царя Милутина. И всяких иных меж ними и до них.

И кукулинец грыз кости брата своего, ежели брат ему оказывался по зубам.

Но и его тоже грызли.

Неизвестный летописец

*

*   *

Из глубин прошлого, из некоей мглистой старинности, жилистый ломонос обвивает Кукулино и села вокруг него. Когда первые Христовы вестники покрестить пытались диких славян, встретили отпор. Ради покорства своего пред Перуном, громовержцем и подателем плодородия, кукулинцы распяли собаку на большом деревянном кресте на той стороне Давидицы, она тогда называлась Скупицей. Учиненное надругательство заполнило их мутноватым блаженством. Но христиане, не менее дикие, ответили мщением – возвели на крест кукулинца. Пес и человек гнили несколько дней на солнце. Затем исчезли с крестов. Воскресли. Три ночи пламенело небо. На нем при луне, тоже словно бы раскаленной, можно было углядеть собаку и человека. Зверь, Иисус вознесенный, был в золотой шерсти, кукулинец же распадался. С тех пор место на той стороне Давидицы зовется Песье Распятие.

1

ПРОХОР

Из дали, той дали, до какой мысль добирается быстрее, чем любопытство, находила желтая мгла, поднимавшаяся из сухих комьев или из густо разросшегося одуванчика. Может, это была обманная мгла, привидевшаяся усталому глазу человека, который лишь на миг распрямился, вынырнув из неизбывных тягот.

Этот человек я, послушник и монах уже, Нестор, несколько лет назад – Тимофей из Кукулина, ни молодой, ни старый, зато зрелый и перезрелый. Неважно со здоровьем, я лечусь. Бывает, сотрясает меня кашель, но кровь я уже не выплевываю давно. Суровость относится к недужным с презрением. Но не ко мне: я оказываю покорство игумену монастырскому отцу Прохору, когда силы есть, работаю за двоих, немощный, замкнувшийся в башне своего одиночества, никто не дивится мне, никто не одаривает ни презрением, ни восхищением.

Шесть тысяч восемьсот двадцать шестое лето, кизил вот-вот зацветет, золотистые рои ос покидают свои гнезда под стрехами.

Внизу, рядом с болотом, утрами укрытым мутно-серыми испарениями, три дня пахал я монастырскую землю, что была ни скуднее, ни обильнее сельских нив. Днем, словно захлебнувшись солнцем, невидимый селезень щелкал твердым клювом. Из верб вторили ему сороки и дятлы, да изредка с межей отзывались куропатки. Резво перелетали коноплянки и дрозды. Перепелки еще не появились, и цапли тоже не показывались. Тихо посиживала нежить в большом бучиле. По воде плавали утки.

Борозды, взбухавшие за мной, ровные и с вывернутым пыреем, испаряли тепло. По дернине с путаными муравьиными переходами не шире полой соломины сновали черные проворные стайки, собирали свои беловатые яйца, чтобы их воротить в темноту до того, как губительное солнце истребит будущее потомство. Вдали, по-над горным чернолесьем со звериными норами и костями безымянных отшельников, небеса менялись. Делались то голубыми, то розоватыми, то рябыми.

До сумерек, протянувшихся между днем и ночью, пара монастырских волов с соком мартовской молодой травы в крови была послушна. Там я освободил их от упряжки и пустил пастись. В монастырь не возвращался, ночевал у поля в шалаше, сплетенном из ореховых прутьев. Перед тем как свернуться под одежонкой, увидел над собой трепещущие звезды, похо-

жие на серебряные птичьи сердца. Невидимые линии от одной звезды до другой могли быть тропкой пролетевших миров. Как знать, может, на каждой звезде имеется свое Кукулино и свой пахарь Нестор?

Эти три дня я пахал не только монастырскую землю. У многих не было волов. Я вспахал бывшую свою ниву, пропитывающую теперь мою приемную мать Долгую Русу, и кое-какие еще. Для всего, что я намеревался сделать, весенний день оказывался недолгим. Ночи, наоборот, тянулись нескончаемо. Чуть поперекликались совы, и уже окунулась в болотину вызревшая луна. На погосте и всюду по округе стояла тишь. Только земля словно бы постанывала. Корни репейника и душицы с жадностью высасывали ее влагу.

На четвертый день я проснулся, когда еще не побледнели последние звезды. Острота влажного воздуха проходила сквозь меня, как через решето, изгоняла сон. Поеживаясь от холода, после ночи закостенелый, я вышел из шалаша и, сразу все поняв, едва устоял на ногах – прервалось дыхание. С пересохшей от жара глоткой метался туда-сюда, перешел Давидицу, спросил у первой встреченной пары пахарей, не видели ли они монастырских волов. И не слушая их, знал ответ. Эти двое, Кузман и Дамян, с детства неразлучные побратимы, отводили глаза. Растерялись, под ресницами залег недосып.

"В горах шныряют грабители, – толковали они, разводя руками и тряся лохмотьями. – Чтоб их дьявол на тот свет уволок". "Волы", – задышливо твердил я им в лица. Отступали перед моим смятением. И они, и все, кого я встречал, – пахари, ранние косцы, козьи пастухи – не находили ответа.

Из-за поваленного суховатого вяза бесстыжими губами усмехалась мне сноха сопатого Дамяна. Возле босых ее ног лежала охапка тростника. К ней подошла еще одна, с непокрытой головой и распахнутая, что-то ей прошептала. Захихикали.

"Эй, постничек! – нахально прокричала та, что постарше. – Не желаешь ли оскоромиться? А то мое сало зазря на солнышке топится".

Ни муж, ни свекор не мешали ей шастать по чужим сеновалам. "Пара Босилкова, – одобряли мужчины, – всем жизнь красит". Тут и Лозана, крупная конопатая девка, набралась смелости:

"Может, исповедуешь меня в тростничке? Или голую окунешь в воду, как Иоанн Креститель?"

И опять хихиканье. Я пошел прочь, и своих мук довольно. До сумерек я бродил по дубраве, шарил по хлевам и стой-

лам. Безнадежно. Люди отвечали мне бестолково или равнодушно. Твои волы, ты и ищи, говорили немо, одними глазами. Псы мне не уступали дороги. Лежали себе на припеке, избывая холод ранней весны. Над Кукулином, от чернолесья до южной горы Водно, поблескивала туча-гусеница, словно под слюдяным намордником, не иначе знамение нового зла, предсказание неба.

По каким-то приметам, может, по движению листьев или по необычности тишины, я определил, что весть о потерянной животине уже пришла в монастырь. На дворе, сразу же за воротами, монах Антим, коварный и молчаливый, ко мне не питающий симпатии, сидел на треноге и резал из дерева ложку. Ответил кивком на мое приветствие, не подымая хмурых бровей, прикрывающих любопытство – как встретит меня монастырский старейшина отец Прохор. Я прошел мимо него равнодушно, только теперь припомнив, что и соха брошена мной возле болота. Рядом с подправленными ступенями странноприимницы набухало под крышкой тесто. После заката, золотисто-кровавого, сумерки не наступили. Я остановился, в испарине.

"Говори", – опираясь на костыли, поджидал меня отец Прохор. "Меня ограбили", – я понурился. "Волы?" – скривил он голову набок – чисто птица, только не соловей, у соловья нет иголок в глазах. "Все знаешь уже, преподобный отец Прохор", – я оставался согнутым. Он не расширил рук, чтобы полететь и ногтями вонзиться мне в затылок. У меня же не было сил пасть на колени и умолять о прощении. Я знал порядок: поднялся по ступенькам в узкую келью с покрывалом на деревянном ложе. Ждал, оголенный до пояса, лбом прижимаясь к стене, завороженный и немой, словно перед причастием, попросту же говоря, согласный принять заслуженное, без слабости пред наказанием и без сил сопротивляться и отрицать свою вину в пропаже монастырских волов, нарушая установленный старыми монахами чин. И с какой стати сопротивляться – я обеднил монастырь и любая кара будет мне поделом.

В келье густела непроветренная духота, тяжелая, как оковы. Под полом, под моими ступнями, невидимые мыши, привыкшие к человеческому присутствию, грызли балки, ширили жилище для потомства. Я стоял неподвижно – приходи, преподобный отец Прохор, исполняй свой долг строгого управителя.

Пришел сперва монах Антим с горящей лучиной, а за ним и отец Прохор. Я их не видел, стоял к ним спиной, но знал, что происходит. Только душа, или дух, или что-то в нас, что есть

доподлинно мы, подлежит божьему суду, плоть освобождается от грехов по земным законам. Отец Прохор прислонил костыли к дверям и уселся на высокий стул, который подтащил монах Антим. "Господи, дай мне силы, – прошептал он. – Вот, я рука твоя. – Прихватил протянутую вымоченную веревку. – Господи, – прошептал опять, – во славу твою, а не моего утешения ради". Размахивался сидя, постанывал. Змеистая плетенка из конопли падала на мои плечи, и я, сгибаясь от жгучей боли, чувствовал, как лопается моя кожа и из пораненного мяса цедится кровь.

Монаший господь, Прохоров и троицы остальных, Антима, Теофана и Киприяна, всевышний ихний, а стало быть, и мой, ведает наверняка, молил ли я о прощении или выл от боли и сколько борозд пропахало мокрое вервие, просмоленное и покрытое сверху сгустившимся в камень песком. Только когда боль меня повалила, отец Прохор и Антим оставили меня – павший ничком, я горел от боли и унижения в темноте.

Через порог кельи, дверь которой оставалась открытой, перекинулась тонкая полоска света. "Брате Несторе, – с придыханием позвал меня монах Теофан. – Я тебе водицы принес". И другой, что постарше, отозвался: Киприян завтра, мол, отправится за волами, может, плутают где-нибудь в горах по оврагам. Я им не ответил, не было сил. Кости мои пустошила огненная лихорадка, обволакивала быстрыми мутными снами и испариной. Снова я был один, и если спал, то проснулся от прикосновения – чья-то рука гладила ласково мои волосы. Я лежал неподвижно, ослепший от темноты. Чьими были те пальцы, распутывающие мои слепившиеся на темени пряди, я не знал. Из темноты, тяжелой и липкой, пробивались один за другим в мои стиснутые ресницы лики монахов, уменьшенные, но необычайно ясные. Первым увидал я старейшину Прохора. Два десятилетия назад, может, чуть побольше или поменьше, порушенный ствол придавил ему обе ноги, а когда он перемогся, одарил его костылями, дабы, опираясь на них, он надзирал за монастырским добром, наказывая и благословляя. Румяный и с белою гривой, в словах сосредоточил он свою силу. С монахами не советовался, насчет всего имел собственные решения, распоряжался один. И на костылях стройный, чистый лицом, юношески тонкий в стане, без бороды он бы выглядел доступнее и моложе. Совсем другим был Антим, жилистый, с подвижными морщинами на лбу, по виду ему подходило быть в старейшинах. С заостренной бородкой, без капли белизны в глазах и на устах, с отверделой поступью, словно испытывающий под собой землю, он

напоминал оживший дуб. Теофан старался от него держаться подальше. И всегда-то тихонький, он совсем одряхлел от последних холодов да хворей. Распухал, кожа над бровями покрылась лиловатыми пятнами. И хотя всякий день пил отвар из цвета мяты и липы, не мог совладать с одышкой. Плел корзины, кашеварил, лил свечи, и только ему, свечнику, покорялись медоносные пчелы. Целитель скотьих болезней и куриной чумы, знаток древних сказаний, он, пройдя половину субботнего пути, задыхаясь, укладывался на спину. В такие мгновения его подменял Киприян, работая за двоих. Высокий и жилистый, похожий на старого воина и сохранивший молодое проворство, Киприян сон имел неспокойный, а днем загадочно вглядывался в людей и животных.

Пальцы, забравшиеся в мои волосы, затаились, словно кончиками своими прослушивали мои мысли. Дыхание быстрое, аж искры летят. Теперь я знал, кто надо мной. Старый Прохор, хоть и присудивший мне неделю воды и хлеба, все же почитал во мне человека, сеятеля и жнеца, да к тому же, благодаря стараньям его, грамотея.

"Нива под монастырем осталась невспаханной. – Казалось, из стариковского горла подымается тьма. – Укрепляйся и приготовься, соху за тобой поведет Антим. И запомни, Нестор. Тяжкие наступают дни. Урожай с поля повезешь на двуколке, с божьей помощью".

Не Нестором меня зовут, Тимофеем, пытался я прокричать наперекор старику. "А ныне осенью то ли дождь ледяной, то ли хворь неведомая в одночасье сгубила нам несколько пчелиных роев, – продолжал он, – волк на самый сочельник порвал семерых овечек, теперь и волы пропали. Божья воля, ведомо, бог!" "Нету его, – выдавил я из себя. – Во всем обман сплошной. – И скорчился. Я горел. И дыханье мое раскалилось. – Нету бога, нету", – повторял я.

Перед тем как длинной волне утащить меня вглубь, к подстерегающим призракам сомнения, я почувствовал на своем голом плече горячую каплю. Строгий отец Прохор от печали или от обиды не сдержал слез, я видел сквозь пелену полуопущенных век, как он над бурлением безмолвия, над сплетением шелестов и шорохов распростер молитву. По ней, как по струнам серебряным, пробежится ветер, и опоит меня звук, белый блеск, теплота утешения: человек, будь то безбожный монах или набожный грешник, все в нем и вокруг него – только бренность. Все. И боль, созидающая возвышение, откуда легче падать в

 бездну неведенья, на самое дно, где гордый орел превращается

в скрюченного стервятника, убегающего с высот ради гнили, от которой кости высвободит страшный клюв или время, более постоянное, чем свет и мрак. Чем надежды, умирающие в немоте, даже если зарождались в крике.

2

ТЕОФАН

Неожиданно, от слабости крови или от грязи, раны на моей спине загноились. Это мало что принесло мне новые боли, из-за которых приходилось лежать ничком, но вогнало меня в пущий жар. С дозволения отца Прохора, разумеется, хотя более по добросердечию своему, иногда на заре, а иногда после службы в келью ко мне приходил старик Теофан. Одолевая вечную свою одышку, мазал мне спину мазями из топленого заячьего сала и зверобоя в масле, выжатом из подсолнечного семени. Сокрушенный хворями, он лечил себя ведомыми и неведомыми травами и растениями, распознавая их по цвету и запаху, отыскивая по прогалинам и под камнем. Для него всякая травка имела свое имя – заячья лебеда, волчье яблоко, богородичное око, песий лук, бузина. Побарывал одну хворь, а на него наваливались две новые – только и на них находились травки. От болей своих он убегал в вымышленные миры с диковинными людьми и зверями, в утешительные сказания, возвышающие его – ему были зримы и доступны тайны, пред которыми другие немели.

Я ему поведал о Паре Босилковой и Лозане, рисуя соблазнительную картину доморощенного Содома, в котором мы с ним представляли кошмар божий и любострастие земное. Он, опечаленный, поднимался с треноги, крестился, скорбно опустив брови.

"Бред у тебя от хвори".

"...И тут мы подминаем их под себя, – дерзостно рассказывал я. – И вот мы уже не монахи. И пост нам ни к чему. После такого-то действа понадобится ли нам исповедь, брат Теофан?"

Уходил, похрипывая. И снова возвращался на цыпочках, на шее серебряный крест.

"Травы людей лечат, плоть да кровь, – толковал он. – Но дерево или плод подземный не освобождают от наростов и корок, ни овес, ни ячмень не спасают от головни. Травы одному человеку избавление приносят".

Его травы меня опьяняли. Засыпая, я слышал хриплое дыхание и гудящий наставляющий голос.

Иногда он приносил мне козье молоко в глиняной миске. Усаживался рядом, скрестив руки на округлом брюхе, глядел на меня, неровно дыша и подрагивая губами. Расплетал в полумраке что-то неясное, поддерживая во мне жизнь и бодрость. Потом от слабости или от терпкого духа трав, а может, и от птичьего пения я погружался в сон. Как долго спал, определить не мог. Пробуждался в горячке, где Теофан был частью моего неясного сна, но, открыв глаза, видел вокруг себя снадобья в плошках. И, окончательно выдираясь из сна, поджидал его.

"Плохи твои дела, брате Несторе, – склонился он надо мной однажды. – И отец Прохор жалеет. Сохнешь ты, на спине расплодились черви. Я не смею, не подобает мне, а знахарка, может, и отвела бы беду". "И сглаз", – пытался я пошутить. Он сокрушался. "А знаешь, чего я надумал – полью-ка я червей ракией, упою их. А потом истреблю. Только ракия тебя жечь будет, подпалит мясо. А то, может, ладаном покурить, чтоб нечисть от него угорела?" "Покури, брат Теофан", – соглашался я. С болью он расплывался туманом и, задыхаясь, появлялся снова. Рвал с меня червей, словно нити мяса. Распрямляясь и сгибаясь с трудом, подмащивал мне под голову прошлогоднее сено в льняной наволоке.

"Тревожится отец Прохор, костыли грызет, – вытягивал он из сипоты голос. – Овцу бы отдал, чтоб тебя на ногах увидеть. А чего ради? Закон есть закон. Виноват – терпи. Вон нынче вместо тебя Киприян с Антимом соху тянут. Опозднимся с севом. Кормильцами нам были волы. И мы им тоже. Никак нам не обойтись друг без друга. Ни в кои веки".

"Мог бы и я вспахать, – поднимался я на локтях. – Киприян с Антимом не должники мне".

"Все мы должники друг другу. В том и единение наше. Наше и сельской голи, под чернолесьем этим. Через лишения мы приближаемся к свету, иначе нельзя. Но и таких, как мы, подстерегают чары. Разные бывают монахи, иные от Сатанаила ставлены. С таким вот бесовским послушником поссорился однажды монастырский старейшина Макарий Огнежог. И поди ж ты, весь лоб его усыпался бородавками. Вглядишься в них, дрожь пробирает: бородавки те – лики малые померших грешников, были средь них и кукулинцы, Серафим, Петкан, Благун. Скалятся – сморщенные, морды синие. Брате Макарие, советовали ему иные, ты волосы-то на лоб напусти, и пущай себе щерятся, под завесой не видно, да ведь кабы только это..."

"Пустое говоришь, брат Теофан. Этакие бородавки да морды только в старых сказках бывали. Нынче монаха грабят – не глядят, кто там с его чела ощеряется".

"Погоди, сейчас заговоришь по-другому. Посреди Великого поста принялся Макарий Огнежог резать монастырских коз. Сам-то он смиренный, постится, а своими устами, хоть и не своею волей, упитывает бородавок мордатых. Мясом. Понятное дело, не станут грешники хлебать деревянной ложкой толченый в уксусе лук. У них постов не бывает. Вскочит старик ото сна и ну жрать жареное мясо. Ест, а бородавки те его изнутри пожирают. Длилось все это, старики подсчитали, до Маккавеев горячих. Козы перевелись, остались бородавки мордатые. Перебросил Макарий торбу через плечо – и побираться. Я тогда мал был, не разумел. А теперь знаю. И тебя, по старому свычаю, обнюхал Сатанаилов послушник".

"Да что ты, неужто и у меня под бровями щерятся бородавки?"

"Зачем бородавки! Легче разве, когда по тебе ползает всякая нечисть? Макарий тоже мог бы, как я, ладаном покурить. И не спрашивай, знаю, что тебя мучит – послушник адов, колдун. Так вот, Макарий-то Огнежог ему таки отомстил. Ходил он от села к селу, христарадничал, а за ним, особенно по ночам, таскалась тень. То человеком скинется, то псом о двух головах. А только к нему приступит нищий, видит – куст. Да предивный эдакий куст – косматый. Дышит, и от листьев потом несет. А нагнешься да оторвешь листок – застонет".

Теофановы губы взбухали, и глаза и весь он расплывался от удовольствия изумлять тайнами и дивесами. В такие мгновения, несмотря на одышку, он делался значительным и торжественным, возрастал. То ли от болей в горле, то ли от возбуждения и восторга, что он иной, не как монахи, и не только наши, и не только монахи, он раскачивался, ширя руки, и словно желал меня обнять. Из омертвелых его волос вылетали искры: разгорятся и осветят множество всяких чудес, известных только ему. Я спросил:

"А слышал ли ты, брат Теофан, о следопыте Богдане из Кукулина? Он по треснутой тыкве читает прошлое. Веселый такой вдовец, любит выпить. И Велика при нем, про нее-то ты не слышал, ро́стит ему детей. Он и вправду видывал чудеса".

Удивленно, глазами только что пробудившегося человека, возвращаемого в обыденный мир, Теофан вглядывался в меня. Затих, стушевался, без дыхания и без сиплых всхлипов – словно собирался, распахнувши все двери в прошлое, вкатить меня на серебряной повозке в удивительные видения, а это почему-то не получилось. Усмехнулся печально, от глаз отлетели искры.

"Ладно, смейся, коли охота. Только выслушай до конца.

Стал Макарий Огнежог прикидывать. Как такое возможно, чтоб всю дорогу за ним тот же куст был? И решился он его подпалить. Загорелся куст, и вой от него пошел. Листья съежил и выдрался из земли. Только поздно. Огонь есть огонь. И для дерева, и для мяса. И для самого себя. Огонь, угли, потом пепел. Разворошил Макарий Огнежог пепелище нищенским посохом и в ужас пришел – чьи-то кости там догорают. Пошел к родничку, нагнулся. И глядит – стал он совсем другим. Нету больше на лбу бородавок с оскаленными грешниками. Но и лба тоже нету. Смотрится на него из прозрачной воды песья голова. Тут и понял: в огне том сам он и сгорел, Макарий, а над родником склонился адов угодник. Дед мой потом его видел. В овражке пес завывал в монашеской рясе. Слинялый, все ребра видать. И нищенская сума на нем".

"Мрак, брат Теофан. Нам тоже завыть впору".

Боль в моей спине затихала, позволяла заснуть, и я бы заснул, кабы во дворе не послышался наказ отца Прохора: "Киприян, поставь на посевах прошлогодние пугала. А то воронья налетело".

Голос старца, требующий послушания от другого старца, выпускает невидимые отростки, один из них добирается до меня, обвивает, так что не двинешься, не дает уснуть, выпивая соки смутного сна. Со стен кельи неслышно выцеживается смола. Это и есть тот мой смутный сон. Стены на самом деле белые. На них кровью можно выписать боль. Сопротивляюсь мыслям, как обычно неясным, пытаюсь что-то забыть, сам не знаю что, какую-то горечь в себе или унижение, в которое меня заковали. Я голоден.

"Странный он, этот Антим, брат Теофан. Всю ночь на ногах, до зари. Ищет тайком волов".

Я, сам того не ведая, направил его через мост дорожкой, прямиком в хрустальную башню, от которой только у него есть ключ, отмыкающий недоступные другим неумирающие сказания.

"Антим? Мой дед знавал одного с таким именем – Антим Проклятник. Был он полевым надсмотрщиком у сельского старосты. Мужика нашего ни транжирой, ни обжорой не назовешь. А этот Антим сеятелям да жнецам разводнял похлебку, прислеживал, чтоб в муку побольше попадало песочка, чтоб поменьше елось. Мужики терпят. Не таковские, чтоб руку подымать на порядок, муравьишки, старосте возводят дом с тремя очагами. А надсмотрщик, стало быть, виноват, что они постоянно голодные. Староста их питает, дает им часть урожая. Без него им ни

пахать, ни жать. И землица его. Отличился перед кесарем в битвах, выслужил. А надсмотрщик, понимаешь ли, и жито-то с фальшью мерил. Испольщикам чуток перепадало, до половины не доходило того, что полагалось. Ну, они и надумали, отсечем, мол, надсмотрщику одну руку, чтоб у него в голове прояснело. Другой будет нам отмерять жито, и правда на нашу сторону перейдет. Так и сделали. И что же? Антим исчез, а та рука некрещеная живет сама по себе. Лазит к мужикам в горшки за маслом да за мукой, волосы им дерет, к бабам забирается под одеяло".

От дыма ладана Теофан зашелся, раздыхивался и кашлял, растроганный судьбой стародавних испольщиков. Тужил.

За стойлом на монастырском дворе кто-то, Антим либо Киприян, тяжело раскалывал сучковатый пень. Над монастырем пролетела голубиная стая, петухи отозвались, один хрипловато, другой пронзительно.

"Не вовремя кукарекают. – Теофан поднялся. – Последний срок подошел заканчивать с севом. А то зарядят дожди. После дождей в эту пору лета всегда сушь настает. Виноград осенью жаждой не затомится. А вот пшеница да рожь – горе им, и нам вместе с ними".

3

АНТИМ

Кипарис – вместо соков кипящая кровь, головня с живым жаром под тонким пеплом, притыка в ярме для впрягания чудищ. Жизнь прорезала его лицо бороздами сомнений. Монах, черный, неразгаданный, земля сникает под его стопами, дикая энергия завязана тысячью узлов – нет, то не луч духовности, в молитвах вознесенной к высям. Я мог бы на ладони поднести ему Содом с разложенными по постелям голыми Парой Босилковой и Лозаной. К соблазнам он, разумеется, равнодушен, они нас не сблизят. Чего доброго, посчитает меня грязным недоумком. Захоти он, и без меня сыщет женщину, может быть, даже кого-то из них, Пару Босилкову или Лозану.

Припоминая услышанное или сопоставляя предположения, неважно, мне не трудно из разноцветных кусочков составить некоего Антима, не грубого, а скорее дикого, спружинившегося в себе, каменно неподатливого к чужим мыслям.

Сын ратника, он рано обучился искусству орудовать копьем и пускать в дело меч и щит, даже голоруким не отступать пе-

ред неприятелем. Силой и храбростью он превосходил сверстников. Отцовские заслуги и собственная воинская зрелость обеспечили ему удобную и, как полагали многие, богатую жизнь. Однако он, приспешник отрицания, искал в будущее свою дорогу. Его считали обособленным. Таким он, конечно, и был. Не обшаривал свалки повседневья, чтобы украсить себя жемчугом мимолетной славы и с презрением поглядывать на голодных и обесправленных, голь, босую и безвольную, в лохмотьях и полинявших шкурах, народ, лишенный права на землю и на собственную жизнь. По его разумению, скудную землю с редкими нивами и водоемами деды их купили кровью и, стало быть, внуки должны защищать от византийцев и латинян. Не трудно предположить, какую опасность он представлял и для властодержцев, и для покорных. Те, что предрекали ему большую будущность, замолчали. Он впал в немилость. Бродил по рудникам и городам, искал сторонников, чтобы завести кузни и тайники с оружием, призывал к бунту. Без успеха. То ловец, то беглец, и всегда особняком. Усталый, а может, затаившийся до решительного мгновения, натянул рясу. Из опального вельможи Владимира стал монахом Антимом. Гонимый сильными и не принятый слабыми, он был и остался неприязненным и к тем, и к другим.

Между днем мученика Агапия и Вербным воскресением боль и агония отошли. Как только покинул келью, меня встретил Теофан и передал повеление отца Прохора выкосить лужок за монастырскими каштанами. Сам отец Прохор, угнетенный мыслями и чувством вины, уединился в своей келье. Ждет, думал я, что стану просить, мол, ослаблен, косу не удержу. Ему бы полегчало от любого проявления жизни во мне. Я знал, что он прислушивается. И потому молчал. Кабы мог, да только не мог я, не умел, я бы избавил его от малейшего чувства вины. Нахлестывая меня вымоченной веревкой, старец той сотней ударов лишь поддерживал заведенный порядок. Он стар и немощен, заслуживает сожаления.

Теофан, ризница сказаний (казалось, он повествует их для того только, чтобы люди под его личиной не открыли другую, может, с грехами молодости), вроде бы меня понял. Убрав с глаз прядь мертвых волос, доверительно сообщил, что за старейшиной прибыла повозка – поедет исповедовать и причащать кого-то в дальнем селении.

Вышагивая с косой на плече к монастырскому лугу, я силился уразуметь шепот монаха Теофана: ”А ты, брате Несторе, не забывай про куст Макария Огнежога да про бородавок мор-

датых. Остерегайся всякого человека по имени Антим".

Мы, монахи, могли бы любить друг друга и сделаться близкими. Но не любили, хоть и ненависти не питали, и не были вроде бесчувственными к бедам и радостям. Понимали: в нашей совместной жизни друг без друга не обойтись. Нас не разделял эгоизм. Или ненужная нежность. У всех нас, как нам казалось, не было прошлого. А если и было у кого, зависимое от соседей, родичей или господ, оно нам уже не принадлежало.

На лугу, прохваченном первым зноем, выкошенном как бы во гневе, с косой в руках меня поджидал Антим.

"Оправился, молодой монашек, – он взглянул куда-то мимо меня. – Признаюсь тебе по чести. Веревку, которой тебя стегал преподобный, вымачивал я. Чтоб стегала больнее и хлестче. Молчишь, а небось не прочь узнать, зачем же я это делал. Исповедоваться не стану и прощения не попрошу. Просто подвернулся случай тебя помучить. Глядишь на выкошенный лужок, дивишься. Я тебя обогнал. Хотел унизить, выставить бесполезным. Земля, моя, и твоя, и всех прочих Несторов и Антимов, окована всяческими цепями, из края в край. Стонет и проклинает. Иные, слыша ее плач, страдают, иные глухи. Живут себе поживают, их чужая боль не касается. Один из легиона глухих – ты. Сор ненадобный".

Я словно перед ним расплывался, бесплотный, незначительный и дремотный, зыбкость, сквозь которую, как сквозь тонкий дым, проходит и ветер и моль. Но и во мне кровь текла, я вспылил.

"Сор? Не расслышал тебя, повтори".

"Глухая соринка, монашек. Повторить еще?"

Его коса была недалеко от моей головы. Передо мной стоял воин, не косарь. Не ухмылялся, только краешек крупных губ кривился. Походил на камень, даже ряса не трепыхалась по ветру. Ряса – броня, думал я. Ударю в него – поломаю косу. Я, как и многие моего племени, смертельно ненавидел сильного.

"Считаешь меня птахой коноплянкой?" – выцедил я пересохшей глоткой, чувствуя себя ничтожным и слабым, недоросшим до отпора жестокости. Мои ноги, да и руки, вцепившиеся в косу, окоченели. Может, я и вправду из тех, кому страх легко становится господином, бедолага, но вместе с тем и обманщик, готовый якобы к подвигам, во имя защиты своей земли. Таким я не был, если когда-нибудь был. А может, меня размягчила монастырская жизнь, постная и суровая?

Антим запустил руку в льняную торбу на левом боку и мед-

ленно, однако слишком быстро для меня, сбитого с толку, вытащил за шею серую ядовитую змею с тупым рожком на крохотной голове. Рогатая гадюка извивалась, хвостом выискивая опору. В ее пасти подрагивала черная молния.

Наши предки и кое-кто из стариков в Кукулине называли змею – каменица. Настоящего имени не поминали, боялись, как бы не отомстила. Под чернолесьем каким только именем ее не величали – лазинавка, черная зуница, пепелница. Если прикоснуться к водяной змее, она примет на себя лихорадку хворого. Но коснуться змеи ядовитой, кроме как на день Святого Иеремии, когда она бежит и умирает от дыма, для одних означало вечное проклятие, для других – сухое лето и голодную зиму. В Кукулине и в селах окрестных, Любанцах, Бразде, Кучкове, некоторые верили в святость ползучего гада. Не убивали. Да и наш старейшина отец Прохор поучал, что змея вестник божий.

"Пыталась меня укусить, – мирно промолвил Антим. – Не по злобе, а защищаясь. Я ей дал погрызть краешек торбы. Лишилась отравы".

Вскинул змею над разинутым ртом и сжал ей зубами голову. По-звериному. С хрустом. Выплюнул ее предо мной – лупоглазую, мертвую, но с живым языком.

"Ты тоже, брат Нестор, без отравы, – вытер ладонями губы. – Таких много. Головы не теряют. Ярмо да вериги – вся их жизнь. Одна цепь проржавеет, затискиваются в другую, покрепче. Покрылись плесенью, довольствуются охапкой сена да коркой хлеба. Такие горазды натягивать конский волос на гусли да распевать о геройстве дедов, чтобы и им, внукам, повеличаться".

"А ты чего же пошел в монахи, не разорвал цепь зубами? Не знаю, кто ты и кем ты был. Но сейчас, здесь, ты всего лишь монах и смиренник".

"Ошибаешься, – не принял он моего вызова. – Не важно теперь, кем я был и шагал ли от гибели к гибели. Важно, что я по-своему борюсь. – Бросил под ноги обезглавленную змею. – Сжимаешь косу, так бы меня наполы и пересек. Стало быть, хоть и не совсем, а разбудил я в тебе кого-то другого, настоящего. Замахнись, и я тебе покажу, как увертываются от смерти. – И чуть погодя: – Пошли со мной, я тебе кое-что покажу".

Надо было отказаться и воротиться (к чему мне это?), но я уже вышагивал за ним, будто волокла меня невидимая волшебная нить, и при том не мог оценить, то ли монах Нестор теряет веру в себя, то ли к прежнему Тимофею, каким был я девять лет назад, возвращается вера в силу человека. Нет, меж-

ду нами, идущими один чуть впереди другого, хоть и были мы оба с косами, не разгорелась ссора во славу человеческой гордыни. Мы шли неприметными тропками дровосеков и охотников, ставивших капканы, перескакивали через стволы, поваленные лавинами, и молчали.

Я следовал за ним по морю пепла, простиравшегося до усыпанных пеплом холмов, до испепеленных городов и гор, катился за ним пепельным шаром, в испепеленной вселенной, вдыхал пепел, давился пеплом, и глаза мои затягивала пелена пепла. На самом же деле день был чистым и теплым, испещренным солнечными кристаллами. Пепел был внутри меня – мутный ураган унижения, его не было в природе, наполненной шорохом зелени и шелестом птичьих крыл.

Под Синей Скалой, святилищем, где закопаны кости моего прадеда (это узнал я из записок отшельника Благуна), привязанные к буку, стояли монастырские волы, равнодушные и смиренные, как положено животине, продолговатые белые звездочки на лбах, лиловато-золотые глаза; величавые, будто сейчас из святых преданий, – влажные ноздри испаряли дух молодой травы, опьяняя небеса.

"Смотри, не потеряй их опять".

Совет? Или насмешка: волов я искал везде, во сне плутал подземными тропками, укорял небеса, а он, Антим, нашел. Он промолвил без гнева и без издевки:

"У отца Прохора уж не стало сил размахивать веревкой. Так что поберегай их, брат Нестор".

Я коченел. Во мне словно бы выпрямлялся прежний Тимофей, песьего нрава, неустрашимый кукулинец, бившийся с полчищем крыс. Даже не выпрямлялся, а выдирался с усилием из мертвила.

"Значит, ты. Ведь это ты, брат Антим, спрятал их?"

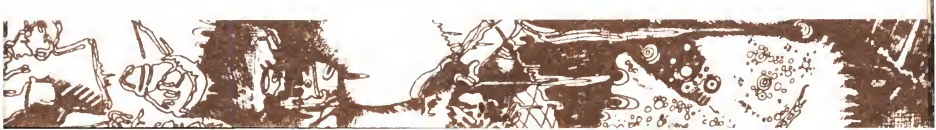
"Не все ли равно, монашек. Прятались в тени кукулинской крепости. У стога сена. Запомни: монах тоже воин. А настоящим воинам секут головы и за оплошки поменьше".

И ушел. Забыты былые битвы, я размяк, лишился песьей повадки и волчьей челюсти.

4

КИПРИЯН

Растревоженный неразгаданностью Антима, смущенный смущением хромого старейшины после возвращения волов в мона-



стырское стойло, дни свои я встречал и провожал в молчании. Раны на спине зарастали, хотя боль оставалась, ушла вглубь. Монашеская жизнь протекала однообразно, до нас не доходили ни веселье, ни свары крестьян из Кукулина и других ближних и удаленных сел. По своим ровесникам я не скучал, но и здесь, окруженный монахами да скотиной, не мог временами отделаться от путаности и недоумения – кто мы и что мы и в чем наш долг перед жизнью. Люди не ведают, за что они любят или ненавидят эту землю, по чьим дорогам блуждают, согнувшиеся от усталости, в поисках хлеба и утешения, от смутного одушевления переходят к покорности, ищут выгоду и, силясь обрести обеспеченность и довольство, теряют и то малое, что имеют, – привязанность к близким, чувство милосердия, предвидение грядущего дня. И в конечном счете судьба для каждого остается тайной.

Монах Киприян, похожий – поступью и осанкой – на вельможу старых времен, однажды ночью прочитал мне судьбу по звездам. Окуная взгляд в черноту над нами, сгибался над развернутым пергаментом, где затаились, подобные промерзшим букашкам, точки в кругах и сетках. Толковал о моем лике в круге солнца, за неясными происшествиями провидел миропомазания и отречения, пристрастие к бунту и крови, тяготы, переплетение ползучих стеблей, сквозь которое, как он полагал, протянута устремленность к смутной цели, загороженной дикими пределами и отравными болотами, которые не отзываются ни вздохом, ни мыслью, ни благодушием, смиряющим сердца.

Киприян, как можно было догадываться, явился в монастырь из племени иноверцев, из неведомых далей. Для звезд и для мест земных имел он свои названия, что падали с языка точно капли пряной кизиловой ракии, – Макпели, Сукот, Мигдол. Он окапывал монастырский сад и подрезал виноград спозаранку на Святого Трифона перед солнцем. По цвету заката предузнавал погоду – ветер ли, дождь ли. По падающим звездам определял, какая будет зима, какие хвори подстерегают людей и яблоневые стволы. У него можно было научиться оладить бочку из тутовых плашек и смастерить затычку для той бочки, он знал, как защитить стены и хлебы от плесени. Его трудолюбие устраивало отца Прохора. Прикрываясь неведением, он помалкивал, что монах в своей келье под тюфяком держит книги неведомого письма, а в субботние вечера склоняется над широким медным сосудом, испещренным желобками, идущими от центра к витым краям равномерными продолговатыми треугольниками, с разными знаками и осью, с верха которой свисает на проволоке золотой перстень: Киприян, дер-

жа этот сосуд на коленях, поворачивает его с закрытыми глазами, чтобы привести в наклонное положение, тогда перстень останавливается над каким-то знаком; проделав такое девять раз, он, правда не всегда, пояснял тайны – где-то начиналась война, где-то кесари договорились о скончании битвы.

Он умел втянуть меня в эту свою игру. Я стоял, освещая факелом провидческое его усердие, и усматривал в узорчатой меди конные легионы, груду поломанных костей и шлемов, распоротые лошадиные утробы, мертвые глаза и разинутые рты, смертоносные катапульты, костры, виселицы, трупы в потоках крови. В такие мгновения он старался меня увести от страхов: заверял, что перстень взошел над знаком, обещающим всяческую благодать – обильные жатвы, свадьбы, мягкие зимы. Утешение? Оно не смиряло растревоженность плоти. Я слышал удары мечей, крики и плач. Кошмар распалял мой разум. Я словно исчезал из настоящей жизни, предавался страхам, вызываемым ночными тенями и шорохами вокруг. ”Этот астрограф, брат Нестор, таит в себе множество отгадок нынешнему и грядущему. Тем, кто верит ему, как верю я, открыта неведомая жизнь. Медь, да будет тебе известно, содержит в себе корни магии и они способствуют прозорливому”.

В весенние или летние субботние ночи на пустыре за монастырем, как только умолкал Киприян, отзывалась сова или иная зловещая птица. Он сидел сгорбившись, казалось, тень его покрывала весь мир, тот самый мир, который он узрел в медном сосуде с резными знаками, кругами и линиями. А я? Я был под его влиянием: токи его предсказаний уносили меня в мутные дали, откуда исходил дух знакомой толпы ротозеев, полагающей себя властительницей моей жизни и смерти. Я убегал. А где-то, не ясно где, поджидал меня Киприянов голос и окатывал новыми предсказаньями. Пытаясь истолковать волшебство мгновения, позволяющего мне разом быть и на пустыре, и в незнакомом крае, я испарялся, оставляя человечью скорлупу в монашеской рясе. Терял ли я сознание? Ни в коей мере. Я только менялся. Монотонность монастырской жизни уходила в забвение. Я был и не был монахом. Теофан, Антим, Киприян, все монахи, кроме разве что отца Прохора, дробили меня. Становилось три Нестора: странник в небывалом адовом мире монаха с одышкой, слабак перед суровым взором Антима, незначительная пылинка в звездном мире третьего.

Дни, нескончаемые от одиночества, проходили в полевой страде, трудно и медленно. Лето тянулось, немилосердно сгибая нас над нивами и садами. Ложились рано. Кузнечики, пере-

хватив монотонное чириканье воробьев, навевали сон на ресницы, уносили куда-то в легких повозках. А с солнечным восходом возвращали, чтобы после молитвы и куска хлеба мы вновь склонились над ячменем и овощем. Или грузили на мулов чурбаки и ветки, достраивали тесаным известняком монастырскую стену, подлатывали на сарае кровлю. Ночи – субботние – были особыми.

"Радости остались позади, брат Нестор. Были они? Да, конечно. В той другой, непосвященной жизни, когда я был просто Исаак, а не Киприян. В ткацких мастерских да плавильнях, где я работал, многого не узнаешь. Зато потом мне встретился старец, от которого я выведал тайны звезд. Апшалом или Ашкенез, не помню точно".

"Он был иудей, брат Киприян?"

"Какая разница? У старика был свой бог и свои праздники".

Набирался Исаак ума и поживал себе беззаботно. Так бы и дальше жил, да в родной город его с разными людьми и разными верами заявилась черная чума – принялась немилосердно косить да устраивать общие гробища для друзей и недругов. То, что люди имели, достояние и честь, гордость и набожность, благодушие и надежда, – все рассеялось, точно мгла перед неуемной бурей. Убоявшись мора, немощные и смертники покидали свои дома, убегали в горные норы, прятались по святилищам, а то и просто укладывались где придется – ждали смерти. Во все стороны ширились мелкие могилы. По ночам, конечно же в основном по ночам, псы и волки раскапывали могилы, пожирали мертвых, а затем, околевшие и зачумленные, своим собратьям шли на снедь. Молодого Исаака смерть обминула, но за большую цену: унесла у него родителей, братьев и родичей. Вчера еще живое поселение, со свадьбами и благочестивыми погребениями, с христианскими и иудейскими праздниками, опустело. Те, кого не приняла земля, рассеялись кто куда, унося волоком, в упряжках, на ослах, а то и на собственных плечах все, что могли унести, – постель, ткацкий стан, подсвечник, меч и щит, чтобы обменять на хлеб-соль или на ткань. И Исаак тоже, прихвативши старинные книги да медный сосуд со знаками, кругами и линиями, побрел по холмам и равнинам, по нивам и копям, по пустошам и святилищам. Ни грабители, ни дезертиры, ни убеглые из вельможьих темниц не настигли его и головы не скинули. Так он и угодил в монастырь, сюда вот, под чернолесье.

"В жизни моей хватало и скорбей и радости, брат Нестор. А ныне все покрыто прахом забвения. Да только сохранил и я

малость любви – к звездам, вестникам наших судеб".

"Но ведь ты посвятился богу. А звезды лишь часть всеобщности, что находится в его руке".

"И нивы и луга тоже в его руке, – он нежно провел по меди ладонью. – И что же? Мы их засеваем семенем, жнем или косим. Он дал нам, если дал, разум. Чего же еще? Разумом можно проникнуть и в завтрашние деяния".

"И чей будет завтра мир, станет ли нашим?"

"Я тебе объяснил. Если не растопит его безумие, все окажется во власти разума".

После таких субботних бесед сон долго не шел на мои глаза. Я лежал недвижимо в келье, вопрошая себя, какова она и где истина об окружающем мире, в Кукулине, в этом монастыре – пребывалищах, где я сталкивался и с добром, и со злом, я, крестьянин, послушник, а ныне монах и грамматик, если смею украсить себя таким титулом. А когда засыпал, не добившись ответа своим мукам, попадал в кошмары: лопались звезды и лопалась земля под ужасный грохот в своей утробе, откуда вырывалось пламя, тени мертвых и костяки воскресших.

Киприян по-другому использовал травы, чем старик Теофан. Питался охотней всего крапивой и луком. Кур тоже кормил крапивой с отрубями и мягкой водой, и, несмотря на малое число монастырских кур, у нас не было недостачи в яйцах. Его звезды носили имена цветов: фиалка, цикламен, лютик или нарцисс. Если он знал название звезды, присваивал его цветку: цветы в небе и звезды на стебельках! Пил отвары из опасных трав – одурника, диких ноготков, полыни, ятрышника и горечавки, умея их обезвредить от яда. Он не показывал виду, но втайне надеялся на мое восхищение. Я и вправду им восхищался, его благость притягивала меня и пленяла.

"Брат Киприян... две звезды завертелись по кругу".

"Тише, брат Нестор. Это предупреждение. Беды собираются над Кукулином".

"И над нами?"

"Мы от Кукулина недалеко и от звезд тоже. Погляди, вон с той вот-вот закапает кровь".

Бледность с меня сошла, Теофан с Киприяном радовались, что я крепну, не выплевываю кровь, как раньше. А я себя ловил на том, что, засыпая, думаю про Пару Босилкову и Лозану. Кто-то ровно меня наущивал: не томись, отыщи их.

Днем я про них забывал. В монастыре роздых разве что во время трапез да кратких молитв.

5

РУСИЯН

До нас, в последние годы невидимой стеной отгороженных от окрестных сел, даже от былых вестников из Кукулина, не доходили слухи о происшествиях, если и впрямь где-то что-то происходило. Кроме престарелого отца Прохора, монахи, в том числе и я, брат их по тяготам и по богу, сознательно ли, случайно, друг от друга таясь, прислеживали за жизнью вокруг монастыря. От весьма редких встреч с богомольцами и дровосеками, странниками и погонщиками скота, нищими, гуслярами, страждущими оставались обрывки – значительные и незначительные, яркие и мутные – мирской сутолоки. Из перемешанной груды пестрого прядева с запутанными узлами я вытягивал нити, пытаясь выплести или составить картину происходившего, особенно в Кукулине.

Кукулино зависело от бурь, коих страшились малые и большие царства, кроме своих законов и порядков, не признававшие чужих границ, прав, имуществ, сеявшие пожарища и пустошенье, отчаянье, страх и трупы. К здешней не плохой и не хорошей земле, то и дело попадавшей в руки иноземных владетелей, в ту пору с севера подступали завоеватели, как некогда подступали они из восточных столиц окрещенных ханов с конскими хвостами на копьях или с юга, от алтарей за Святой горой. Битвы на севере между братьями Милутином и Драгутином за царскую корону и власть увлекли из Кукулина, силой или богатым посулом, молодых людей – за славой, за ранами, а кого и за безымянной могилой. Учились биться, не разбираясь, на чьей стороне. Вестники и беглецы сообщали, что суровый Милутин взял за себя четвертую жену, совсем молоденькую на сей раз, но и в юных объятиях не смягчился. Оставался злым и суровым к любому, кто не был ему покорен. Царская тень надвигалась и на монастырь.

Среди прочих из подчернолесья Милутиновым ратником стал и сверстник мой Русиян. Когда девять лет назад на Кукулино обрушились тысячи тысяч крыс, Русиян отбивался огнем и руками, а после победы, оплаченной людскими жизнями и пустыми домами, внезапно женился и замкнулся в себе. Два года спустя, я тогда уже был послушником у отца Прохора, его жена, тоненькая и бледная, приниженно-безответная в жизни, растаяла незаметно и безмолвно, с созревшим плодом, потерявшим в утробе жизнь. После похорон Русиян вовсе перестал го-

ворить с людьми, опустился, нива его заросла дурниной. Наш с ним одногодок Парамон находил иногда молодого вдовца на свежей могиле с двумя крестами, большим и маленьким, дружески предлагал ему помочь по хозяйству. Не получал ответа. Русиян, и всегда-то молчаливый, его не слушал, ни его, ни других – следопыта Богдана, кузнеца Бояна Крамолу да и прочих всех, – ни старых, ни молодых. Напрасны были их старания вырвать его из мрака, никто не заметил, когда и как он сгинул. Оставив в Кукулине мать, понес свою тоску незнамо куда. Односельчане, поеживаясь под сухим снежком, похоронили старушку следующей зимой, а по весне поделили Русиянову землю и пограбили добро, что оставалось в его доме. Было чьим-то, зачем быть ничьим? Всем казалось, что даль проглотила Русияна.

События без заметных следов всегда понуждают людей строить предположения и сопоставлять их с истиной. Однако истина об исчезнувшем Русияне сама состояла из множества истин, и каждая была иной, а сложенные вместе, они еще больше путали и темнили дело, где не было ни начала, ни конца: добрался до моря, угодил, окованный, на галеру гребцом, пристал к разбойникам, атаманил, обженился в городе, добыл богатство и возлегает на куче фиолетовых аметистов, сардониксов, сапфиров, прозрачных топазов, яшмы, агата, золота и серебра. Подлинная правда о нем, не многим известная – Русиян отправился ратником на братоубийственную войну за корону, в пределах с похожими селами и похожими людьми, – пошла осадком на дно, на поверхности же мутной мешанины догадок плавали кристаллы и темные пятна вымысла, расплывались, замещаясь новыми, напоминающими знаки на старом пергаменте.

И вот до монастыря дошла весть, что Русиян воротился, и не один, а с шестью конниками. Новоявленный властелин, не признавший правления скукоженных старцев. Воротился под звон копий и поставил свои законы, сперва неясные для разрозненного сельского люда, затем угрожающие: законы брали сельчан в оковы.

Над Кукулином, будто над раной открытой, зароились мухи, по ночам на кровлях, не устрашаясь и света молний, хихикали зеленые призраки голосами побитых собак, болтали спущенными ногами.

Русиян первым делом воротил свою землю, которую после смерти его матери Горы поделили односельчане, а через день или два принялся за чужие наделы. "Девять лет минуло, как отвеяли его ветры, – шептались люди, – воротился совсем другим, бородой оброс, шрам на шее, уставясь в пустоту, глушит

хмельные пойла. Из плена, где его мучили, сбежал недорезанный и воеводой стал в победившем Милутиновом войске".

Очевидно, битвы и бури людских несогласий, мгновения, когда засматриваешь смерти в пустые глазницы, резня, в которой жизнь человеческая теряет значение, изменили этого некогда замкнутого, но не злого парня. Теперь он никого, даже соседей, даже свойственников и родственников по крови, не признавал и не хотел знать. Взяв в услужение за малую плату безземельников, прочих обложил данями и оброками – откуп пастбища, провиант Городу, право на дрова в обмен на вино, молоко, мясо и масло, пропитание для шести своих ратников и для слуг. С одобрения невидимого людям князя, царя или бога заграбастал обширные земли рядом с Песьим Распятием, длиною и шириною в субботний путь, – тяглом и страхом загнал под ярмо окрестные села. Непокорных он не ставил под меч, кровью был слишком сыт, а как рабов продавал на отдаленные рудники, где сохли они по кротовьим норам под хилыми дубовыми подпорками при тусклом свете сосновых факелов с флажками черного дыма, где гнили они, заваленные, в слепых шахтах.

На монастырское добро Русиян руку не налагал. Святые обители и монахи были под защитой власти, земной и небесной. Потому мы, пятеро келейников Святого Никиты: изнуренный отец Прохор, травщик Теофан, Антим неразгаданный, звездочет Киприян и я, даже не пытались – да и как, мы были бессильны – что-либо изменить. Угнетенным мы предлагали не избавление, а утешение и молитвы. Однако я чуял, что Антим умышляет бунт. Один, без людей? Я не знал, он не доверялся мне. В другие времена, в прежние будни я бы и не заметил углубившихся морщин на его лице и пальцев, вцепляющихся во все, к чему прикасались. *Одна цепь ржавеет, они втискиваются в другую, покрепче.* Именно так, он знал больше меня, больше всех нас, направляя меня к возможному завтрашнему отпору. Против кого, как и какими средствами, он, видимо, предоставлял мне открывать самому, словно зверю, ищущему спасения: не сыщет – сгинет в железном капкане.

Для таких, как я, Русиян высился непробойной крепостью. Упрятанный, как за броню, за своими ратниками, жестокий к зверю на ловле, он делался еще жесточее с человеком. С собой он привез жену. Закрыл ее в горнице с застеленными полами и изукрашенными стенами, где чего только не было – от ламп в больших перламутровых морских раковинах до богородиц с высеребренными руками. Сам же время зачастую проводил

в одиночестве, в своем покое. Пил из старинных уемистых чаш. А стоило ему захотеть, мог переведаться с любым и со многими разом. Не сам. С помощью своих ратников.

От первой до последней межи человеческой жизни несколько шагов. На временном пространстве, где соседствуют колыбель и могила, два ложа судьбы, остаются деяния, благие и злые, остаются беды. Битвы, недуги, раны, лихорадки, сушь и огонь грызли и заглатывали кукулинца. Теперь его грыз, обдирал на голую кость свой – кукулинец. И эта голая кость сделается безымянной, как безымянно все под чернолесьем, точнее, все, носящие имя пáрик.

После лунной мены в четвертый месяц от Рождества, одни его зовут травобером, другие цветником, спозаранку одолел меня прежний кашель. Сотрясал со дня мироносиц уже две недели. Опять я плевался кровью. И хоть не было в этом ничего зазорного или унизительного, я не стал жаловаться монахам, не попросил помощи у травщика Теофана. Моя хворь, моя и забота, буду пить черепашью кровь, верну здоровье. Выдавалось время, я уходил к Синей Скале, сидел под старой сосной. Оттуда, издалека, я и углядел его: Русиян на коне возвращался с ловли, за ним двое его ратников, один верхом, другой вел под узду испуганного коня с рядном, накинутым на глаза. На коне, привязанный за седло и подгрудный ремень, лежал некрупный медведь, выпотрошенный уже. Отбитое копьями ратников солнце ослепляло меня. Я выпрямился в сосновой тени, невольно ожидая, что Русиян повернет коня ко мне. Чуть обернувшись, он увидел меня. Узнал ли или принял за дичь, не ведаю. Не подъехал, нас разделяла межа в девять лет и все его мрачные тайны. Он исчез в овраге, остро вытянутом к Кукулину, и воины вслед за ним. Исчезли их тени, конский топот, позолоченные солнцем копья.

Я не разглядел, был ли Русиян таким, каким я запомнил его, – белолицый, скорее бледный, с ранними морщинами возле губ, со вздернутой, будто от удивления, левой бровью; может, теперь это одебелелый воин, у которого гордость заменилась высокомерием, жестокостью к зависимым и беззаступным. Я застыл неподвижно, словно созерцал, склонившись над глубокой водой, лицо утопленника, изменчивое по прихоти играющих солнечных лучей, лицо смеющееся, нахмуренное, искривленное – всякое, а более всего дробное, и никто, уж я-то ни в коем случае, не составит из колышущихся частей своего знакомца.

"Эй, монах, – услышал я за собой, – даже и не пытайся, у меня муж есть. Босилко с тобой разберется".

Я поднял глаза – Пара Босилкова. Возвращаясь с гор с полной торбой душицы, стояла в снопе солнечного света, крепкая и прямая, молодая. Я спросил ее, чего это я не должен пытаться. Она придвинулась ко мне с вызовом:

"Сам знаешь, греховодник. Только не на ту напал, понял? Не на ту. Пожалуюсь вот твоему старейшине или свекру Дамяну".

"Иди-ка своей дорогой. Кто-нибудь тебя подберет – и пожаловаться не успеешь. Кто-нибудь, не я".

"Кто-нибудь, это уж верно. – Она засмеялась дерзко. – Монашеская ряса, видать, не лучше женской рубахи. – Уселась под бузиной. – Босиком ходила, в пятку забила занозу. Может, вытащишь?"

Словно ошпарила, проклятая. Но я собой овладел. Оставив ее, удивленную и горячую, припустил сквозь кусты, убегал от возможной ловушки не без раскаяния в своей нерешительности учинить то, что кошмаром мучило меня в келье.

6

БОГДАН

Год божий отец Прохор всегда именовал по старым монастырским записям: богоявлений, исповеданий, благовестний, воскресений, вознесений, тройний, соборний, преображений, строгопостний, равновестний, митромочений, пречистений. Крестьяне делили год по-другому: голожог, сечко, окопник, цветник, бильобер, черешнар, српец, коловоз, потположник, маглен, двооралник, постник. Ныне же весь год мог именоваться постник.

Понапрасну Киприян, вглядываясь ночами в светлые точки от севера к югу и от востока к западу, пророчил богатый урожай и сытость. После первой жатвы две трети ячменя и половину пшеницы увезли для царских конников, судей и прочих разряженных городских бездельников.

Перед тем как житу созреть, сельчане собрались у заброшенного недостроенного святилища. Сговорились воспротивиться всем миром – не давать с гумен зерно для увоза. Тихий бунт продолжился и ночью, вокруг огня. А назавтра прибыли из Города конники, разогнали бунтарей, несколько овинов спалили. У потухших костров остался лежать один побитый – Парамон, мой и Русиянов сверстник, остальные же, покорно согнутые, испитые, побежденные, без ропота отступили. Ма-

лый бунт, малая кара – а кабы и убили кого, ни перед селом, ни перед царем ратники не в ответе.

С темнотой Парамона в свой дом тайком оттащил следопыт Богдан с сыном Вецко, у парнишки чуть пушок на лице пробивался, и беднягу принялась лечить, как умела, Велика, вторая Богданова жена, Вецкова мачеха. Помощь эту, поданную смутьяну, несмотря на ее маловажность, Русиян посчитал за бунт.

"От Богданова темени черное воссияние, – толковали через день-два в монастыре. – Сгубится, в прах сотрет и плоть и кости. Был кем-то, будет никем". Симонида, Русиянова молодая, единственная дочка влиятельного городского вельможи, спасла Богдана от рудника или могилы. Сжалилась над прислужницей своей Великой, а может, тронулась подарком – грудой золотых куниц и мраморной фигуркой богини, выкопанной на берегу Давидицы, когда-то такие фигурки ставили на последний крестец – божебрадицу – прошлогодней жатвы для упроса дождя и будущего урожая.

Новый властелин Русиян прощал нелегко. Шесть его воинов ли, слуг ли, а может, призраков, каким мог оказаться и он сам, привели следопыта. Кто слышал, укрывшись за стогом сена, запомнил, о чем говорили Русиян и Богдан, господин и парик, без волос на темени, ставленник сильного князя и полный бесправник.

"Из треснутой тыквы, Богдан, если я не забыл твое имя, открываешь ты, что было и будет. А сможешь ли ты углядеть собственную судьбу, увидеть себя таким, каким ты вскорости станешь, сегодня, завтра, потом?"

"У нас, голышей и покорников, судьбы нету. И у меня тоже, любезный Русиян".

"Верно, Русияном меня крестили. Но для тебя, мошенник, у меня нету имени, для тебя я – господин. Вот тебе треснутая тыква, говори, что в ней видишь. Углядишь себя вздернутым на ореховый сук – не замалчивай".

"Видел я себя в треснутой тыкве, когда пил. Теперь не пью, бочки мои опустели..."

"...Господин, не забывай, гос-по-дин..."

"...Опустели бочки, господин. Затянуты паутиной".

"Вот тебе. Потяни. Да начинай. Очень мне любопытно".

"Не смогу. Мог, до того как крысы пришли, до того как ты вернулся с войны... Глаза плохи, не те, что девять лет назад. Пеленой затянуты, слепнут".

"Перестали служить, не годятся?"

"Не всегда годится то, что служит".

"Может, вырвать их? Кликнуть ратника? Или хочешь, чтобы это сделал я?"

"Делай, что твоей душе угодно..."

"...Господин..."

"...Именно, господин. Я под твоим ножом".

"Ты делаешься покорным, Богдан, очень покорным. Меня это радует, но и внушает презрение. Хватит, гляди в тыкву, мне не терпится испытать твою прозорливость".

"Ладно, раз настаиваешь... господин... Вижу, бросают люди тайком свои дома... бегут от голода и бездолья, от лютости, что пришла в село... нету мочи терпеть... сходятся, сами себе становятся войском и знаменем".

"И ты с ними?"

"Не знаю... Вроде нет. Маленькие, лиц не разглядеть, да и одежи. Только вилы да косы, ничего больше. Голосов не различаю, а слышу – стоять до конца, нашей будет землица или могила".

"Бунтуют против меня, своего господина?"

"Кто бунтует, у того нет господина... господин".

"Верно. У таких нет ни господина, ни разума. Ничего. Даже могилы. На солнце гниют, брошенные на потраву псам. Недоумки вроде тебя не хуже и не лучше их. Думаешь, ты хитрее всех, а? Не хитрее ты, если не дурее тех, кто будто толчется в твоих тыквах. Кабы знать, что твоя выдумка для тебя смысл жизни, что завтра ты подымешь против меня людей с вилами да косами, я бы тебя зауважал и пустил на волю. С такими я честь по чести – воин. Тебе этого не понять. Отвечай же – тебе и кукулинцам что легче: быть покорным и живым или месть к врагу унести в могилу?"

"Тут легко не выберешь – быть живым рабом или костяком, не сумевшим отомстить супостату. Ты прав, кукулинцы на свою голову получили то, что заслуживают, больше даже, чем филистимляне из небылиц монастырских монахов. Ты прав..."

"Можешь не прибавлять "господин". Не дается тебе насмешка. Так в чем же я прав?"

"Погнутых палка не выпрямит. И все же ведь по твоему повелению взбунтовавшемуся Парамону под ногти забивали колючки. За покорство нас ненавидишь, а за отпор казнишь, любезный".

"Я и тебя казню, хоть и считаю тебя врагом скрытым, может, именно потому. Дни и ночи будешь висеть, привязанный ко

кресту на Песьем Распятии. Без воды и хлеба. Видел ты себя таким в треснутой тыкве?"

"Я себя всяким видывал в своей жизни".

"И мертвым тоже?"

"Ежели от меня пользы нет, а ее нет, кажись, я так и так мертвый, мертвей покойников на погосте".

"Тогда помирай взаправду. По шею закопать его в песок. Если сумеет выбраться, пусть сидит дома и глядится в тыкву".

Богдана закопали. А наутро дыру нашли пустой. Сам или с чьей-то помощью Богдан высвободился перед светом – вороны не обклевали его и псы не ободрали до черепа.

Из-за того, видать, и рассохлась свадьба, что затевалась между Богдановым сыном Вецко и Лозаной, подружкой Пары Босилковой. "Не будет свадьбы, сынок, – расслышал кто-то голос следопыта сквозь хилую стенку его покосившегося домишка. – На кой мне внуки, холопы Русияновы?"

Такое услышал Босилко, Дамянов сын, неказистый из себя мужичонка, только ему никто не дал веры. Кузман, Лозанин отец, предвидя над своей головой тучи Русиянова гнева, тайком заглянул к свату несуженому и выпросил у него прощение – девка молода еще, Вецко может и подождать. У третьих имелась своя легенда. Лозана, дескать, забирает повыше, норовит войти молодухой в Парамонов дом.

Так вот и сплетаются догадки – люди силятся убежать от тягот собственной жизни, находя утешение в тяготах чужой. Текут дни и слухи о том, что бывает, чаще же о том, чего не бывает, а на ночь закладываются двери – в темноте каждая душа охвачена страхом.

Монах Киприян, припомнив кое-чего из времен, когда был Исааком и убегал от чумы, в субботу пригласил следопыта поглядеть на звезды.

"В тех или иных бедах, что препинают человека до его последнего вздоха, до поминального вина, льющегося на могилу, время останавливается и каменеет. И мы вместе с ним, Богдан. Стоим стреноженные на множестве тропок и не знаем, на какой свет податься. Во все стороны ловушки да обманы. Птица нашей мечты хиреет, рушится беспомощно в бездну. И мы тоже без утешения и надежды оказываемся в той пропасти, черви среди червей".

(Богдан одно только и промолвил, перед тем как меня покинуть, брат Нестор: мы уже в пропасти.)

Дни превращались в погребальное шествие. С мукой волоклись друг за другом и, похожие на перегруженных лошадей,

вот-вот из ноздрей хлынет кровь, затягивали мгновения надежд в неволю и, вертясь по кругу, вытискивали из себя беды и скорбь.

Мы уже в пропасти! Господи, неужто Богдан смирился перед силой? – спрашивал я себя.

7

ПАРАМОН

В ночь с Петрова дня на Апостольский собор внезапно, без причастия преставилась моя нареченная матушка Долгая Руса. Если это имеет значение, помяну: в село я добирался по зною на стареньком муле, успел к самому погребению, отпел у открытой могилы, не пролив слез по старушке, в последние годы покинутой и одинокой и все равно независимой от чужих милостей. Она умела принимать жизнь такой, какая есть, хотя перед кончиной ушла в себя и грезила о каких-то пролетевших днях благоденствия, днях мне неведомых – нива нас прокармливала с трудом, я ловил рыбу и обменивал ее на муку. "Некоторым и того хуже, – поучала она меня. – Такие, как мы, выживают". Когда я уходил в монахи, она предрекла свою смерть: как на село навалится новое зло, воротишься меня закопать, через девять лет и месяцев, считая от сражения с крысами. Случайность? Не важно, какая разница. Она, как и многие старики в нашем селе, придавала девятке магическое значение. Ее святой за девять лет девять раз становился постником; мертвая вода зажурчит, если девятью кристалликами покропить ее девять раз; девять угольков, загашенных в козьей крови, оберегают от хворей. И вот, увитая в белое полотно, лежит, как немой язык в мертвой челюсти.

И все же в этом моем писании имя "Долгая Руса" я выписываю кановером. Выкормила она меня, перебарывая, как могла, нищету. Не девять лет, а столетье целое я у нее в должниках. И я, и черви мои в моем трупе.

Земля под моими ногами, потрескавшаяся и сухая или омоченная дождем, скрытая снегом или заросшая сорняком, кроет тайны и хранит остовы кукулинских столетий. Сровнялись могилы, деревянные кресты взялись гнилью, над их останками рок вытрясает из торбы новые могилы и новые кресты. Похороны отошли, медленно исчезает четкость послеполуденных теней. Вороны не оплакивают Долгую Русу. И небеса. С них точится мрак и серость, я же стою, не зная, куда направить свой

путь – в монастырь или к старому дому – проститься со щелястыми стенами, с забытым детством под кровлей, разъеденной дождями, солнцем и призраками.

Я на краю погоста, чую, откуда-то меряет меня зовущими глазами Пара Босилкова с неясным желанием утешить, вырвать из одиночества женской лаской. Не укоряю себя. То, что не было грехом для отцов и дедов, и для меня не грех. Недужного ее Босилка мне не жалко, он бродит сейчас где-нибудь по селу, замахивается палкой на линялых псов, уговаривает ребятишек поиграть с ним в жмурки или скачет на врага в вымышленном сражении.

С меня капает пот.

Перед заходом солнца как бы рассеянно меня позвал Парамон помянуть покойницу. После бунта он стал иным, чем я его знал, – отяжелел, жил на авось и постоянно в пьяном чаду. Неженатый, для кукулинца его возраста редкость, с крупными и туманными глазами, утерявшими молодую веселость, он, может, и хотел бы довериться людям. Но они, занятые собственными заботами, не сходились с ним.

Как только мы уселись под виноградником у дома, он вовсе забыл обо мне. Его настроение перекинулось на меня, смешалось с болью в утробе. Мы были как пришельцы, явившиеся под чернолесье из неведомых миров или, напротив, попавшие внезапно в неведомый мир, полный загадочных шумов и чужих запахов.

Мы были в Кукулине, в этом горе-селе, гневном, больном, скорбном, в селе-корче, никаком и всяком, коварном, пьяном, упрямом, блажном и еще придурковатом и мудром, злобном и противящемся злобе, голодном и жилистом, в таком, каким я знал его в юности и раньше, в годину или столетие, когда пребывал в другом обличье, благоразумного верующего или разнузданного грешника.

Густо залиствевшая роща на северном склоне покорялась предвечернему солнцу со сладострастием женщины, жаждущей горячих мужских ладоней. В жнивье, уходящем к болоту, или еще дальше стонал заяц, вероятно под зубами дюжего лиса. Над кровлями, с которых сливались румяные тени, бесформенное небо бледнело, перед тем как одеться в ночную синь. Монастырский мул в глубине двора пощипывал скудную травку, отмахивался хвостом от мух и рано появившихся комаров. На Давидице стирали бабы. Мимо проезжал нарядный всадник, из бездельных Русияновых храбрецов, что-то крикнул им с громким смехом. И, разогнав коня, проскакал по выстиранному белью, расстеленному на песке.

Я бессильно согнулся. До дна погружался в то, что было или что я считал душой в себе, – не находилось отпора. В этом скрытом моем унижении Парамоновы глаза, хоть и без остроты под ресницами, разоблачали меня, не насмешливо и не укоряюще, а, скорее, с грустью – из-за нашей общей покорности.

"Прав Богдан, – ощерился он, под верхней губой недоставало передних зубов. – Судьба выделила нам таких господ, каких мы заслуживаем. А ты, наш отец Нестор и наш Тимофей, думаешь, что молитвами спасешь это проклятое село. И не только ты. Мужики тоже делаются богомольными, набрались страху, ждут монашеского утешения. Ровно я, бывало, когда батюшка мой Петкан, обернутый в медвежью шкуру, глушил меня сказками о призраках да о козлах, что пасут бороды мертвецам, да о малых зеленых бабках, выклевывающих селянам жито".

"Бывало? Теперь ты стал другим, Парамон?"

"Не знаю, может, я поглупел. Это только монахи думают, что стали умней, чем были, пусть кто из них и зовется Тимофей".

Не мог он освободиться от себя вчерашнего, крепкого озорного парня с отзвуком горького смеха в каждой капле своей крови. Я спросил его, чего он от меня ожидает. Он сидел, зарыв ногти в ладони, морщинистый, скорбно подурневший. В волосы заплелся паук. Даже не поглядел на меня.

Перед нами был глиняный кувшин не то с медовиной, не то с вином. Он к нему не притронулся. Сидел недвижимо. Кончиком языка ощупывал оголенные десны под верхней губой, толковал шепеляво словно бы для себя или для кого-то, кто незримо, но с одобрением внимает ему, усваивая новые азбуки-веди.

"Почитатели святых – мертвецы, сор под грузом насилия. И мы тоже мертвецы, ты, Тимофей, и я, Парамон. Жизнь проходит сквозь нас, решетит".

Я пытался вытянуть из него – то ли он меня, с терзанием для себя, укоряет, то ли зовет на бунт против Русияна и царя, о котором мы не знали, слышал ли он про нас и считает ли за людей.

"Завтра все с голоду околеем, некому будет бунтовать. Да погоди ты, я над тобой не смеюсь. Оставайся монахом. Твое право. И все-таки не всех ставит на колени судьба перед испытаниями".

"Не всех или не тебя? А потом? Порушишь царство и из забытых Деткановых сказок приведешь другого царя и друго-

го Русияна, добреньких к таким, как мы? Свои евангелия мы видим во сне, ничтожные мы, ничтожные, как никогда, Парамон. Муравьи. И даже хуже. Мякина мертвая, пырей в огне".

Стиснув кулаки, хотел было он меня ругнуть или проклясть, бледный, сморщенный, с кровавыми белками. Но сдержался. На лбу простерся закатный луч – знамением мудрости. С нами теперь сидел и следопыт Богдан. Протянул руку к кувшину и, не дожидаясь расспросов, сообщил: дом Долгой Русы, а стало быть, и мой забирают Русияновы конники и бездельники. "Закон грабежа, проклятье. Явились на наше добро новые господа".

За ним следом пришли еще двое, Кузман и Дамян, неразлучные с колыбели, близнецы по своей охоте, не по матери.

Каждый другому был словно тенью – серые, оборванные, жаждущие. Мы пили (в кувшине оказалось прокисшее теплое вино) и молчали, я знал: как и раньше, в такую вот закатную или ночную пору нам предстоит тащиться сквозь путаные мысли. Принялись за второй кувшин. И вот Кузман: "Богдан в треснутой тыкве может увидеть все, что было и будет. И завсегда правду. У царя одного ослепили целую рать. И расползлася эта рать по тыкве, всей тыщей, от ступней кровавый след остался. Так ведь, Дамян?" – "Так, Кузман. В целом свете лучше прорицателя не сыскать, чем наш следопыт. Расскажешь нам, Богдан, о своих дружках, Филипше да Александре Македонском, как ты с ними выпивал из золотой посудины? Или как русалки плясали вокруг черепа одноглазого великана по имени Галгалсфиравесалий, из города и из земли с похожим именем?"

"Ты мне скажи, Дамян, чего свою сноху не окоротишь? – встретил его вопросом Богдан. – Только и дела ей пялиться на мужиков. Погляди, сынок твой Босилко ездит на палке и думает, что он Филипп с Александром, а Пара... Эх, малоумный..."

"Мой сын – что тебе до него, Богдан? При чем тут Филипп с Александром, когда он слабенький у меня, грыжей мается да заушницей? Вот уж неправда божия, что здоровый да крепкий, а пуще того умный родитель такое потомство имеет. А Пару оставь в покое. На ней и пашня и дом держится. – Он словно бы разозлился. Щурился и сопел. – И для моего Босилка она добрая. Что ни день, моет его, меняет одежу".

"Моет? Неплохо, любезный, очень даже неплохо. Только как ты не поймешь, что Босилко ей не сыночек? Муж он ей, она перед алтарем клялась".

"Знамо дело, клялась, сам ты прыгал на ихней свадьбе да выглядывал им в треснутой тыкве счастье".

Я не застонал. А мог бы. Волнами, вспененными неясной угрозой, разнузданно и нескладно из дома упокоенной Долгой Русы выплескивалась песня. Две черные старухи, две тени в тени мрака, возвращались с погоста, проходя мимо нас, быстро и испуганно перекрестились. Где-то вспыхнул огонь, горели стерни, искры и появившиеся светлячки были как волшебное отражение ранних звезд и моего пылания.

До первой полосы лунного света, ломавшейся над пожухлыми листьями винограда, нитями протянувшейся к лицам тех, с кем я поневоле пил, выдирался я из реальности, силясь вернуться в прошлое, в дни, отмеченные сиянием, разумеется ложным. Это не отвлекло меня от тяжелых мыслей. Парамон все так же держал стиснутые кулаки на грубом ореховом столе и молчал. Богдан пытался вырвать его из трудных, неразгадываемых мыслей. Без успеха. Парамон каменел, расплывался в тумане возможных несогласий со мной, с другими, с жизнью. Последнее, что я успел заметить, был его беззубый оскал. Потом и на меня навалился туман, и я уже не мог припомнить, ни на следующий день, ни позднее, как взгромоздился на мула и добрался до монастыря, погруженного в глубокий сон или мнимую смерть, что после поры полночной забирала к себе живых монахов. Тайком от отца Прохора и мрачного Антима меня встретили травщик Теофан и толкователь звездных тайн Киприян и, словно свершая святой обряд, пьяного и отяжелевшего отволокли в келью.

Сросшись с тюфяком, я впотьмах словно бы углядел оскал – Парамонов. И заснул, уносимый потоками горя, собранного под чернолесьем в этой не благословенной, а скорее проклятой малой Склавинии или вчерашней Византии. Господь, тот самый, от которого я отрекся перед старейшиной Прохором, да поможет он Кукулину.

8

СИМОНИДА. КРЕПОСТЬ. КОСТИ

Между сбором винограда и первыми криками улетающих журавлей, едва утих проливной дождь, грянули горячие ветры и посреди осеннего равноденствия высушили землю. И снова нашли тучи и громы, предвещая нескончаемые дожди. Надо было спешить. На пашни вышли с сохами женщины и молодняк:

мужчины, по повелению властелина, четыре или пять недель мастерили из дерева столы и скамьи, постели на ножках, сундуки для хранения одежды, украшений, святых записей и других потребных и непотребных вещей. Русиян, впавший ни с того, ни с сего в неуемный раж, решил, якобы с одобрения царя, самое позднее до следующей весны перебраться в старую кукулинскую крепость. Очевидно, он, хоть и опасался явно объявить себя князем – Город мог не одобрить то, что не оспаривало село, – мечтал устроить себе маленькое царство вокруг крепости, с высот которой удобно надзирать. Больших воевод и войско он снабжал плодами, добытыми сельским потом, этого царским наместникам пока было достаточно – пускай себе поцарюет, таких, ежели забудутся, не хитро лишить головы, а вместе с головой имени и достояния.

Отец Прохор, чуть прекратились дожди и снова установилось вёдро, а вершины, поросшие мятликом, покрылись нежданным инеем, собрал нас после совместной молитвы в трапезной, чтобы сообщить обязанности на следующую неделю – обмолот ржи и пшеницы, сбор земляных плодов на северном поле, починка кровли на хлеве, отделение воска от меда для предрождественских свеч. Меня одолело зло, захотелось напомнить старцу, мол, мы и без него знаем, каковы наши обязанности и что делать, дабы заслужить свой хлеб. Это желание прекословить изумило меня – я не вполне разделяю стремление монаха Антима и сверстника своего Парамона рушить силу силой, а тут вдруг захотелось оскалиться, дерзко, по-сатанински, скрывая свою неготовость, с той же дерзостью воспротивиться Русиянову своеволию, стать мертвым бунтовщиком, а не живым покорником. Зловредность моя или ехидство, или просто-напросто пакостность. Отец Прохор усмехнулся, словно угадывая мои мысли и прощая их. И сообщил нам то, чего мы не ждали: Русиян, через конного гонца, потребовал, чтобы по возможности он, самый старый и почтенный в монастыре, освятил крепость, окурил ее ладаном и окропил святою водой – свершил ритуал богоугодный, коим утверждается дом и крест.

Грешным, кто склонится завтра над моим грешным же писанием, не трудно будет догадаться, кому довелось отправиться в крепость: отец Прохор со дня своего увечья редко покидал монастырь, Теофан задыхался и падал, пройдя несколько шагов в гору, Киприян путал молитвы, смещая их порядок и смысл, Антим мог отказаться. Итак, оставался я, самый младший и всем покорствующий по уставу.

Я не склонил головы, да отец Прохор и не ждал, что я при-

ложусь губами к его усохшей руке, усыпанной серыми пятнами. Сидел, подбородком опершись на костыль, навсегда срастив с ним свой укороченный стан, костистый и светлый, румянолицый, с серебром в бороде и волосах. Чело его орошали звездочки пота.

"Будь осторожнее, сын мой Нестор, в обхождении с главой кукулинским, – тихо говорил он, а на стене за ним в неподвижности застыл солнечный луч. – Порядки там иные, не наши. Все находится в воле женщины высокого рода. Крепость хочет Симонида. И получит. Хотя Русиян не потребовал от нас ни рабской покорности, ни земли, ни жита, он легко может нам навредить. Много лиха чинит сельчанам, до неба поднялся плач".

На следующий день, когда я ехал на Русияновом коне позади его плечистого ратника, посланного за мной, я спрашивал себя: уж не хотел ли отец Прохор надсмеяться надо мной, показать, что выстоять перед мечом ратника – совсем иное дело, чем перед крестом старейшины, его голос, когда он призывал меня к осторожности, казался даром неоценимым, значение и пользу которого я открою позднее. И еще: может, он предупреждал, чтобы перед любым старейшиной, даже перед духовным, я оставался таким, какой есть, пожизненным послушником, но не рабом в невидимых оковах. Расстриженный – непослушание и беззаконие: грех, – я мог сделаться рабом и скелетом без могилы и без креста. Забытым прошлым.

Броня молчания, сжимавшая меня всю дорогу, заставляла ратника, придержав коня, поглядывать на меня искоса и исподтишка, покуда наконец он всем лицом не повернулся ко мне. Неспрошенный сообщил мне свое имя – Стоимир. Острые сдвинутые брови под низким лбом, большой рот с малоподвижными губами, крупные ровные зубы, широкая нижняя челюсть под кудрявой бородкой, плечи, на которые можно погрузить камень, какой не под силу двоим. Но была и у него мука: под левой мышкой вздулась опухоль – давала себя знать незаросшая рана на боку. От меча. Он вверился мне и попросил совета. Я пообещал помощь – монах Теофан, травщик и исцелитель, избавит его от гнилого нароста. Тогда он мне открыл, что это Симонида, Русиянова жена, с ранних лет приученная к роскоши и удобствам, требует переселения в крепость. Чувствует себя княгиней. Новый властелин, еще недавно голодранец, во всем ей потакает. В плену женских прихотей и капризов, больших и малых.

 "Тебе можно довериться, молодой и мудрый монах. – Он

накренился в седле, из-за старинного колчана со стрелами более похожий на ловца, чем на воина. – Ведь ты, как и все церковные люди, заодно с нами. Я тебя научу. Войди к госпоже в милость, тогда и Русиян станет тебе защитником, будет считать своим. У нас только Симонида равна ему. Запомни, только она".

Симониду я увидел в новой пристройке Русиянова дома – просторном покое с мечами и щитами по стенам, со светильниками из серебра и больших морских раковин, кругом расстелены шкуры, на окнах прозрачные ткани. Встретила меня сидя перед столом, заваленным украшениями из золота, кости и рога: серьги, браслеты, чаши, бокалы, драгоценные ожерелья, нужности и ненужности, без коих кукулинцы обходились столетиями. Эта женщина, лет на десять моложе меня, а значит, и Русияна, округлая, белая, с очень густыми волосами, удивленно вздернула брови, словно не ожидала увидеть такого монаха – молодого, рослого и на вид весьма крепкого. С ее мягко склоненных плеч ниспадала пестрая накидка, надо думать, из заморского шелка, о котором редко кто в Кукулине и слышал. Мрамор, согретый жизнью и подцвеченный розоватым сиянием, ослепил меня своей красотой, околдовал. Даже когда вошел Русиян, я не сразу понял, чего он хочет, охваченный словно ознобом, бедный монашек с закипевшей кровью. Посчитав мою смятенность и молчание за скромность, так я, во всяком случае, думал, Симонида встала и, поднявшись на цыпочки, приблизила губы к уху мужа. Я не слышал, что она прошептала. Его лицо оставалось в тени.

"Ты ей кажешься слишком молодым для монаха, – с терпкой усмешкой на устах обратился ко мне Русиян. – Ты уже не Тимофей?"

"Ныне я Нестор, слуга господень".

"Ты знаешь, зачем я тебя позвал. Ты будешь сопровождать нас с Симонидой в крепость".

Келья. Бесконечная ночь, в тусклом свете склоняюсь я над своим писанием, припоминая тот день... В крепости, в верхнем покое, подле пустой мраморной гробницы лежал скелет – меж пожелтелых ребер воткнут подгнивший кол, рядом беленые овечьи кожи исписанные, палимпсесты, покрытые пылью и изъеденные мышами. Я перекрестился вяло и небрежно, поглядывая тайком на Симониду, и, покропив вокруг себя святой водицей, затянул молитву и стал курить ладаном. Увидевши скелет, Симонида прикрыла ладонями глаза, сделавшись вдруг робкой и беспомощной. Отступила на шаг, зашаталась. Русиян

ее подхватил. И сам я, ошеломленный и устрашенный, вынудил себя устоять на ногах. Голова скелета была повернута ко мне. В глазницах скопился осевший мрак цвета затверделой крови, муравьям сподручно точить в нем извилистые лабиринты для зимовки. Рот, разинутый в мертвецком усмехе, должно быть, забит дерном, в нем увяз мертвый после смерти мысли язык. Редкие и словно бы восковые зубы кажутся тяжелыми, таящими угрозу в себе. Ребра опутаны паутиной, тем и держатся. С одной стороны гроба, не выше локтя, лежала крышка. Я нагнулся и провел ладонью по пыли. На мраморе выдолблено имя, я прочитал: Борчило. Выпрямившись, я заспешил за Симонидой и помрачневшим Русияном к каменным ступеням, в несколько заворотов они спускались во двор крепости, в сорняки и камень.

Русиян поджидал меня внизу.

"Этот костяк с колом, ведь это ж вампир? Или монахи считают таких неотпетыми мертвецами?"

"Не знаю. Это место не для живых".

Симонида почувствовала себя уязвленной.

"Кому и где жить, решаю я, монах. А теперь добро пожаловать. Будь гостем на нашем ужине..."

Глаза болят, слишком долго склонялся я над грубым столом в келье. Лягу и долго стану засыпать, храня лик Симониды под ресницами в переплетении грешных мыслей и грешных снов: костяк в крепости – Русиян, в шаге от него я, Тимофей, живой, лицом уткнувшись в густые волосы женщины, прильнув к ее голой груди, из ночи в ночь исхожу потом, рядом Симонида, я открываю ее, горячую, и растворяюсь в ней. Наутро поднимаюсь пустым: сны меня выпивают.

Днем бодрствую, а все во мне перемешано: давние и вчерашние лики и звуки, обрывки снов и еще что-то, имеющее обличье и смысл, – пустота во мне, что остается тенью ли, светом ли, онемелостью крови, печалью или бесчувствием. От этого не умирается, даже не обмирается, однако и не живется богаче и лучше. Укрепись, слышишь? – этот голос, этот строгий совет во мне – он не мой. Наверно, эхо какого-то далекого дня и кого-то, чей лик стерся из моей памяти. Я бы укрепился, да не могу. Слишком слаб. И наяву слышу Симонидин голос: что-то шепчет на неведомом языке, на удивление мне до конца понятном. Зовет меня, ищет меня. Скорчившись, выдираюсь из себя и иду к ней. Вот он я, шепчу немо. Я твой, предлагаюсь ей, вечно твой, клянусь. И сразу же понимаю, что нахожусь под пеленой сна. Хотя и сон этот не всегда от-

четливый, часть действительности.

Я мучился, затянутый водоворотом мечты.

Тоска, соблазнительное сладострастье. Не монах, а скот.

9

ОКО

Прошлое, настоящее.

Когда-то, давно, построил ее неведомый царь. Шестигранная, множество бойниц, три восьмиугольные и три шестиугольные башни, соединенные с внутренними строениями. Время ее подгрызло, в развалах башен гнездятся вороны. В покоях для господ и слуг, в кладовых, конюшнях, кухнях – повсюду лишь скорпионы да тени. Вся громадина обросла черным мхом, в ней поселились нетопыри и призраки.

Тесаный известняк привозили из Кучкова, укладывали кусок к куску, так, по старым преданиям, у реки Сарандопор под горой Осогово постник Иоаким возвел монастырь, в ту же пору выстроили свои монастыри и Прохор над Пчинией, и Гавриил и Иоанн, первый в дебрях лесновских рощ, второй под тенью Рилы-горы, во времена царствования, или немного раньше, Мануила Комнина, а может, и Калояна или какого другого, третьего, князя ли, царя ли с востока или с севера. Я не ходил на богомолье в святилища четырех отшельников, но крепость знаю: ее надвешенность над Кукулином страхом вошла в первый взблеск моего сознания. С весенними дождями в северных ее тенях сгущаются отравные грибы, перед осенними туманами тоже. Над башнями, вернее, над остатками башен летом небо пустое, без звезд. Зимой вороны собираются стаями, облетают вокруг, хоронятся в темных трещинах. Порушенная поясная стена зияет широким отвором к нижней части села. Старые ворота разъели черви, доконал огонь крестоносцев или разбойников. Неведомо, кто и когда жил в крепости. Десятилетиями этот вход без порога или видимой межи не переступала нога человека.

На селе верили, что в крепости предаются ночному плясу некрещеные души и каждый, кто забредет в ее каменные покои, а в прошлом такое бывало, становится добычей нечистой силы. Следы попавших в плен плесневелого мрака затирались навеки. Что потеряно, то потеряно, ни молитвой, ни колдовством к жизни не воротить, зато о пропавших, если они и вправду были, оставались сказания, изо дня в день, из года в год менялись

их имена и похождения: старожилы или пришельцы, латиняне, саксы, купцы иудейские или проповедники с далеких островов из отшельничьих пещер, белые и черные, остарелые мореходы, мечтающие о собственной ниве, беглые, прокаженные, маньяки, изгои.

И вот в это каменное пугало поселяется Русиян с Симонидой, может, чтобы показать подданным свою неустрашимость, свое могущество, пред которым отступают даже силы подземные, чтобы навсегда прослыть властелином.

Зло близнецом имеет только зло. Оставшись в одиночестве, ищет и находит сопутника, добывает новое зло из камня, из людской души, одно, два, сотню. Умноженное знает и умеет единственное – оскорблять, обесправливать, губить человека и его достояние: жито и виноград, животину, близкого по крови. У зла когда есть обличье, с цветом и запахом, а когда нет. Зато всегда есть имя, и чем тяжелее оно произносится, тем обильнее и ловчее проникает из своей личины в сознание, напаивается кровью, чтобы вдруг, словно мотылек из гусеницы, обернуться болезнью, страшной сушью, мором, пустошащим хлева и стойла. Зло – это и призрак, рассеивающий чуму из крысиной упряжки, не минуя ни единого села и ни единого дома, раскаленный вихрь, заглотивший летние облака. Или ураган и густой град, побивающий хлеба на полях. Мрет скотина, пропадают посевы, гниют или полыхают дома, вспухает земля гробами и заравнивается, покрывая забвеньем кости. И только на крепость зло не посягало – каменное чудище, знамение века, стало ему ночлегом, храмом и домом. Старость подгрызла камень, но не сжевала, а, изуродовав, заставила приютить скорпионов, змей и призраков, которые на свету превращались в притаенную тень под лишаем, в желтых выбоинах или в трещинах. Крепость пережила много поколений, была и осталась свидетелем людских бед и злосчастий, скорби и ненависти, отгороженная от них невидимой, но непроницаемой стеной магии.

Когда-то в бойнице, если можно этому верить, люди видели старика, то ли с язвами по лицу, то ли с плесенью до самого черепа. Его считали вампиром. Зеленоликий, он появлялся в каменной раме, всегда внезапно и на мгновение, потом таял. И сразу после того, особенно если день был хмурым, с нависшими облаками, либо кидался на человека пес, жалила змея, либо валило ветром деревья и Давидица уходила в землю. А то – самый дурной знак – из туч выпадал клубок молний. На Кукулино наваливались болезни, суши, крысы – погибель.

И ныне, спустя столько времени, памятуя о тех ужасах,

свершавшихся без свидетелей, кукулинцы и днем не заходят в крепость, даже скопом. Рассказывают, что из трещин в стенах ночью слышатся вздохи заплутавших душ. И сон не служил защитой от страха, выпускавшего щупальца из крепости, из шести ее изувеченных башен. Спасались всяк по-своему, кто луком да амулетами, добытыми за морем, только страх, пред которым и тень убиралась под землю, не отступал, а менял обличья. Со временем, подобно воде и земле, страх сделался частью жизни, стал понятным, зримым и ощутимым – без него нельзя. Страх – неизбежная нить в сказаниях у очага: то подползает конским волосом к задремавшему, по-змеиному укладывается на груди и обнюхивает, то живым огоньком приманивает, а то скинется диковинной тварью, рыбой с головой козы или улиткой рогатой. За селом, всего в пяди от крайнего дома, подскакивал козел, зелено-желтый, и тотчас же превращался в пень или в камень, громыхая издевательским смехом. Не касаясь земли, неслышно плясала голая женщина в волосах из пиявиц, а потом возвращалась с дымом в обличье столетней старухи, и ногти у нее были как крючья. Призрак, задрав к месяцу волчью морду, выл, метался вокруг домов, вырывал старые стволы с корнем, ездил верхом на скотине, покуда у нее не лопалась утроба. Ужи высасывали молоко у коров и рожениц, утки высиживали ящериц, с лозы свисала гроздьями саранча. Исподволь, в ходе десятилетий, притиснутые другими бедами люди обвыкались со страхом: незаметный, как жизнь, он делался самой жизнью. Шумные водопады и потоки зловерия всегда доливали сказания новыми водами страха. От него болели глаза, болело тело, болела душа.

Свидетелей нет, а передается из поколения в поколение: по ночам, когда в человечьем сознании завывают вампиры и под спущенными ресницами вихрем кружат призраки, невидимая сила распахивает погосты, оставляя за собой пустошенье – разбросанные черепа, кости, неистлевшие трупы, перевернутые известковые плиты и пепел деревянных крестов, средь сухого дерна – оглоданные ящерицы и куропатки, обрывки лисьих шкур да пустые черепашьи панцири. По дороге от Песьего Распятия к болоту попадаются пашни, засеянные семенем мандрагоры, травы человечьего вида, с головой, руками, ногами, на ступнях корешки живые; ослы и мулы остервенело набрасывались на мандрагору, поднимающую писк до неба, и здесь же подыхали, обедняя село, над падалью собирались псы и тоже вскорости дохли – раздутые, оскаленные, с вытекшими глазами.

Страшные сказания менялись, к моему времени или безвременью они стали привычкой и ежедневием. Для костистого Парамона и для следопыта Богдана, особенно для нового властелина Русияна и шести его конников страх потерял свое подлинное значение. Хотя кто-то, и монах Теофан тоже, ночью в бойнице углядел огромное око. Человеческое и не человеческое. В белке переплетались жилы, а посреди зрачка трепетали сотни зеленых и фиолетовых звезд.

"Не было звезд, – сердился монах Теофан. – В око всажен меч с золотой рукоятью. Только он. Око крепости, брате Несторе, станет свидетелем наших несчастий. Слышал ты – Киприян по звездам предсказывает сплошные смерти. Уже несколько дней Цвичиматорица – звезда Денница, делится надвое. Половинки удаляются друг от друга, за ними остаются черные нити с петлями на конце".

В око крепости я не верил или полагал, что не верю, и все же истайна, краем сознания надеялся хоть раз с ним встретиться, как встретился в крепости с костяком со всаженным в ребра осиновым колом, с костяком, называвшимся некогда Борчило, – проклятым грамматиком, свидетелем чудес или безумцем с тяжелой долей.

Око в бойнице, в дыре, за которой копятся мрак и стужа? Крепость и вправду походила на череп Голиафа с тремя маленькими рогами – источенными и порушенными шестиугольными башнями. И какой череп! Желтая кость, составленная из сотен и сотен кусочков, между которыми пустота глазниц, зодчий словно не знал, на какую сторону лучше обратить дыры, и, то и дело признавая, но не скрывая своих оплошек, делал все новые и новые дыры. Исполинскому оку, и теперь и позднее, все равно, среди этих дыр оно облюбовало одну, откуда и появляется, – самый верхний отвор, обернутый к Кукулину, к бедам его и скорбям – туда, где трава и листья древесные безвременно жухнут и умирают и без дождя, и под ливнем.

Как и люди. Пожухлыми проходят они сквозь жизнь, испуская чад, который магически относит их в ту сторону, где, не теряя терпения, немо поджидает их смерть, без хитрости торгаша и без родственной радости.

"Око? – посмеивался отец Прохор, с недавнего времени величаемый старым Теофаном владыкой. – Сила измышленная, чада мои. Однако потребная. Верующие в него устрашение получают и воздерживаются от греха. Вам, над коими я возгласил однажды: *Постригается раб божий*, дабы после каждый из вас изрек имя, избранное в отречение от искушений, и стал Теофа-

ном или Нестором, – вам не лицезреть сего ока. Воистину, надобно знать: лицезрение ока сего ведет к погибели, как легкомыслие и как грех".

Я чувствовал себя до ноздрей погруженным в горячую и чадную серу грешных мыслей. Тот малый грех – Пара Босилкова или ядреная Лозана – проструился сквозь меня бесследно, пустоту заполнила сладострастная плоть Симониды. Несколько лет назад, когда кончился срок монастырского послушания, я стоял пред отцом Прохором на коленях со смиренно опущенной головой и слушал, от чего я должен отказываться, ограждая себя отречением. И от грешных мыслей? Всеконечно. Под ответ *Принимаю, честной отец... – Постригается раб божий...* и, коснувшись моих волос, подождал. *Нестор*, вымолвил я. *Постригается раб божий Нестор*, возгласил он меня монахом. И вот я корчусь теперь, безгрешный монах Нестор, одоленный тоской по женщине: Симонида и впрямь меня доводила до судорог, походивших на подкожный смех, на дьявольский хохот крови, – вожделение не имело сил вырваться из меня, опустошить и очистить.

"Нынче ночью поглядим большое око, – прошептал мне Киприян. – Не засыпай". И ушел. Я остался как инеем опаленный побег дурмана, увялый даже на вид. Не усомнившийся в словах Киприяна, хотя и не поверивший, что можно стать свидетелем сказки, весь день я провел в потайном ожидании.

Внезапно, не вызвав удивления, красота утра, начавшегося песней куропаток, пропала. Орешины словно поникли, их листья покрылись прахом, он сыпался с неба, с голого и мертвого ломтика белой луны, которой одиночество преградило дорогу, отняло силу для странствий, окаменило, превратив в продырявленный обломок скорлупки. Как бы в предчувствии зловещих мгновений монастырский мул крутился, норовя лягнуть меня задними ногами, когда я взгромождал на него корзины с навозом – удобрение для сада. На суковатом чурбаке лезвие колуна в Антимовых руках выскочило из обуха и угодило погибельно в хребтину козы, от пламени свечи неродихи из Бразды у алтаря обгорела икона Богородицы – от пурпурного плаща божьего сына остался обрывок; кошка стащила рыбу, заготовленную Теофаном к обеду.

Укороченные полдневные тени незаметно удлинялись, выгоняя из себя ящериц, солнце посылало бледно-розовую прозрачность поверх западных стен, чтобы куры успели вскочить на ветки повыше, куда не добраться ночной бродяжке ласке. Сквозь сплетение монастырского орешника пробрался ветерок, он

унес с собой шелест листвы и последний прерывистый крик желны. Горные хребты мягчали, равнялись цветом с потемневшим небом. И вот, наконец, день прошел. Когда монахи позакрывались в своих кельях, Киприян и я, охваченные мыслями и молчанием, пошли на голый бугор, с него виделась верхняя часть крепости. В Кукулине под крупными звездами и вода, наверное, погрузилась в сон – никто не собирался наблюдать за таинственным оком. Может, я усомнился бы, что становлюсь участником столетнего предания, актером в событиях без начала и конца, однако мне показалось – голос Киприяна, отзванивающий и во мне, предупредил, что с этого часа мы должны онеметь. Дивясь подобному требованию, я поглядел на звездочета. Он вынимал из торбы какие-то высушенные корешки и, поделив их, одну половину протянул на ладони мне, и я, словно мы заранее обо всем условились, присел с вытянутой рукой. Взяв корешки, я стал жевать, жевал и Киприян. Не чувствуя вкуса омертвелого былья, я перемалывал корень зубами, словно скотина, даже в сытости не отказывающаяся от предложенного куска. Подошедшая слюна смягчила твердость корня, наполнив мой рот кашицей, липкой и безвкусной, от нее терпли язык и нёбо. Я как будто хмелел, тяжелел, дыхание прерывалось, и вдруг почувствовал себя бестелесным, прозрачным, каким бывал Киприян. Земля подо мной теплела, горячила колени, звала растянуться на мягкой траве. Голова тяжелая, но глаза раскрыты, я, может быть, уже лежал на спине, расслабившийся и легкий, когда на верху крепости, погруженной во тьму, замерцал слабый свет, похожий на зыбкую белую тень, из которой образовывалось обличье исполинского миндалевидного плода. В нем, хоть и не сразу, можно было различить блестящий зрачок и вокруг него жилки, какие бывают в человеческом глазе. Образ явился сам собой, вне сравнения: я вспомнил глаза, в которые, не оценивая их и не ища тайны, я просто глядел, оставаясь слепым к их жизни. Теперь же во мне, умалившемся под холодной пристальностью неведомого ока, вперенного в меня и в монаха Киприяна (в тот миг я не мог вспомнить, кто он такой), в моей раскаленной коже возникло множество живых зрачков. Наверное, я ощутил себя отражением в луже громадного ока. Все глаза, которые я припомнил, ожили во мне: серые и холодные, без сомнения Русияновы, – неподвижные, жесткие, приводящие собеседника в страх; голые и почти круглые, словно шарики синеватого стекла, не замутненные страхами, – такие глаза были у отца Прохора; затуманенные и обрамленные чем-то похожим на угрозу и скорбь, а может, на опро-

метчивость, равнодушные или гневные, не обещающие добра, – глаза моего ровесника Парамона; по-звериному затаившиеся под тяжелыми бровями глаза монаха Антима – не злобные, однако безмилостные к слабым; подтянутые к вискам, с редкими искрами былого лукавства и смеха, схоронившегося в уголках, и становящиеся ледяными в решительные мгновения – такие глаза у следопыта Богдана. В зеленой влаге, таинственные и глубокие, влажные, но не слезливые, удивленные, покоряющие по-человечьи и мягкие, словно у прирученной лисицы, – такими снились мне Симонидины очи, то близкие и сердечные, то далекие и загадочные. И были другие очи, травщика Теофана, из которых выглядывала душа, поделенная пополам и обрамленная мертвым волосом, скорбящая по всем тем, кто оживают в сказаниях, по какому-то Макарию Огнежогу с песьей головой и подобным ему чародеям и невольникам чар. Или очи того же Киприяна рядом, в теплые субботние ночи, напоенные звездным млеком, временами обретающие остроту, подобно взору воина, а иногда – неразгаданную глубину сотворителя и укротителя бурь.

Напрасно силился я вернуться в состояние, которое держало меня на земле, не хмелеющим от сказаний: неисчислимые очи во мне, в моем ошеломленном сознании, наползали одно на другое, истончаясь выглядывали сквозь границу чужих ресниц, кипели, лопались, таяли и опять обретали истинное обличье. Я уже верил, что их тыщи и тыщи, ищущих друг друга и находящих, покорных магии одного громадного ока, в котором затаились слезы, а может, молнии. И тут в черной середине исполинского дива я без смятения разглядел обнаженную женщину, возлегавшую на молодой кобыле, окутанной вместо гривы мглой. Не знаю, может, мне только казалось, что Голиафово око помещается в пасти вселенской рыбы с подвижными жабрами, испускающими туман. И это меня не удивляло, было так и не могло быть иначе, как не удивляла голая женщина; кобыла под ее сияющей белизной постепенно превращалась в большую ладонь, потом в цветок и, наконец, в бесформенное колыханье. Око притягивало меня, словно впитывая в себя, приподнимало и снова возвращало на место, где я был. Я бессознательно жевал, хотя во рту ничего не было, и ждал, когда женщина выпрямится и по пустоте зашагает ко мне, не к теперешнему Нестору и не к бывшему Тимофею, а к кому-то новому, она тянула руки ко мне, прозрачная и колыхающаяся. Я не знал, заполнены ли ее глазницы, знал только, что она ищет свои глаза, которые пребывали во мне – зеленые и живые. Симони-

да, шепнул я. Нет, не позвал, не открыл ее имени никому. И тут в большом оке все смешалось, игра узоров поредела и расплылась, оставив за собой пустое небо, уже без звезд.

Я будто спустился с высоты. Стоял выпрямившись, только не на земле, а в некоей пустоте, над землей. И Киприян тоже возвращался в земную жизнь со стиснутыми губами, изможденный и бледный, каким, вероятно, был и я. Шепотом, вплетая слова неведомого языка, каким говорил до своего монашества, давным-давно, когда был Исааком, он что-то толковал мне. И я его понял. "Магия корня живет в нас, – промолвил он. – Повер-

нись лицом к востоку, жди, пока появится солнце, и никогда, нигде, никому не говори о том, что видел".

Мне хотелось ладонью опереться о его плечо, почувствовать, что он живой и что я живой, оба с очистившимся сознанием. Но руки мои были мертвые, только солнце могло вернуть им силу, пробудить в жилах кровь, оживить пальцы.

Вокруг было тихо. Предутренний ветерок еще лежал, скорченный, у нас под ногами. И хоть было тепло и сухо, земля повлажнела. Может, от слез громадного ока. Я не удивился: с Киприяновой рясы тоже точилась влага.

Не отврати гнева своего от меня:
гнев твой есть хлеб мой. И мое житие.

(Беседа проклятых)

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

МГЛА

Словно ничего и не бывало: о таинственном корне, чьей силой я узрел на старой крепости нечто, возможное лишь в преданиях, не расспрашивал. Ни Киприян, ни я ни словом не обмолвились об исполинском оке, хотя сияние его преследовало меня в беспокойных осенних снах. С рассветом, да и позднее, Кукулино затаивалось в тумане, торчали только оголенные ветки деревьев. Ряска болотная еще сохраняла зелень. Люди поукрывались в домах, в селе словно не было живых. Словно не было, а не не было. По праздничным дням попадался иногда Черный Спипиле, заика, собирающий незахороненные кости, а костей тех было вдоволь – от Синей Скалы и до южных гор, по берегам Вардара, – патлатый, уже с малолетства сгорбленный, он обшаривал дубравы и пашни. Не сказать, чтоб его ненавидели, но друзей он не имел. Найденные кости закапывал на тайных своих погребалищах, без свидетелей и чаще в сумерки. Столкнувшись с ним в чернолесье на тропке, я спросил, видел ли он когда громадное око, которое лучами вырывает крепость из мрака ночи. Он долго силился подыскать слова для ответа. Заикаясь, сказал: было ему пятнадцать, когда ночью он услышал из крепости вой, надо думать, в холодном и мрачном покое волчьим голосом завывал мертвец. "Отчего ж ты не найдешь его кости и не закопаешь?" – спросил я. В глубине глаз его зажглась искорка понимания. Повесил голову. "Как только я пытался войти в крепость, дорогу мне заступала невидимая стена". И пошел восвояси, унося в торбе чьи-то кости к потайной скудельне. "Переживешь меня, – крикнул я ему с горьким смехом, – не давай псам растаскивать мои кости! – Он не услышал. – Мне приснилось, что я скелет, – кричал я, – а ты меня погребаешь. Верить ли мне сну?" – Ответа не было.

Зима после январских праздников, прошедших хмуро, без обычных песен, грозила затянуться мутными, мглистыми и коротенькими деньками, сырь пробирала до костей, люди и звери попрятались в укрытиях. Ночные стужи, а они случились в середине первого месяца, сменились полуденным угревом, и лед ослабел, превращаясь в липкие лужи. На Богоявление выпал снег, и сразу протяжными своими псалмами отозвалась волчья стая. Поутру возле монастыря находили звериный след. Впустую мужики ставили капканы по лесным тропам, впустую Русияновы ловцы обыскивали овраги и скалы. Охваченная бурными

свадебными играми и восторгами, стая, предводимая белой (видел кто-то) волчицей, увертывалась от смерти. Зверье, промчавшись ночью по селу, порвало малость животины да нескольких псов и пропало. На снегу теперь оставались следы одних лисиц да зайцев. А белый покров таял, превращаясь в лужи и грязь. Слишком рано припорхнул юго-восточный ветер, только обманул миндаль – через неделю в ясный день мороз уничтожил почки. К новой стуже раскричались дрозды да вороны, потом все утихло, и Давидица в третий раз оделась прозрачной синевой льда.

С голода на селе не помирали, но и сытым никто не был. Хозяевам пришлось отдать часть урожая на городское войско, на Русияновых ратников да на него самого.

В монастыре мукой были побогаче. Иной раз беднякам, по велению старейшины нашего, помогали. Уменьшая день за днем куски, норовя оставить молодым да малым, много стариков перемерло, а которые пожилистей, ждали своего череда.

Из года в год зима напрасно подковывала землю льдом. А она, черная и неподвижная, терпела, не искала путей, чтоб сбежать от своих и чужих горестей. Затаилась, ждала своего мгновения – сбросить с себя все печали и беды. Досадили ей люди и досадят еще больше. Неведомо, придет ли отмщение и каким будет оно в решительный день, когда заросли страха покроются цветом отравным, от пыльцы его в ноздрях и в глотке загустеет воздух и перестанет родить кормилица нива.

Люди не знали, а нас в монастыре связывала великая тайна. С одобрения отца Прохора, осенней ночью монах Антим, гранит – не человек, украдкой в двух уемистых торбах вынес из крепости кости того, кто прозывался Борчилой. Вместе с писаниями на беленой коже и на пергаменте он привез их на муле в монастырь – быстрее, чем мы с Киприяном вытесали из известняка крест. Отец Прохор верил, что кости эти – останки неизвестного мученика. Потому мы погребли их рядом с могилой усопшего, мне неведомого игумена, бывшего в свое время здесь старейшиной. Писания, до того не тронутые и неведомые ни миру, ни нам, забрал в келью старейшина и ночами при свете факела или свечи склонялся над частыми строками на языке кукулинском, но весьма старинном. Ведь Борчило (он ли тот скелет, почивший ныне грудой отпетых костей под землей?) обитал в руинах, называемых кукулинской крепостью. Составлял компанию нетопырям да скорпионам в хороводе вечных серо-зеленых теней, снов и игрищ, куда слетались времена

потрясений, люди, жившие и выдуманные, морские просторы и далекие земли, искушения и обманы, власть безумия и безумие власти. Такой жизни святого или Агасфера я предпочел бы, хоть и не в любое мгновение, свою убогую жизнь в каком-никаком доме, согретом очагом и человеческой близостью и по ночам опоенном духом трав.

Позднее (хоть я и тогда уже заглядывал в Борчиловы записи), гораздо позднее, когда исписанные кожи и пергаменты откроются мне от строчки к строчке новым евангелием невозможного, я отброшу заостренное гусиное перо, зарыдав от горькой злости, как свидетель опустошенности и скорбей человеческих. Зарекусь: никогда не писать! А ведь и я был грамотным, из чего только не тщился сладить грешное свое евангелие, бесцельно, с жаром одержимого или тупостью глупца, в руках которого и перо и секира обретают одинаковый вес: секирой я валил столетние дерева, пером раскапывал свое сердце. Вещи самые обычные имели значение куда большее, чем то, что я почитал своим разумом. Разум? Безрядье, за которым остается пустота. Не понимая опасности попасть к писанию в немощные рабы, я покорялся ощущениям, с первой строки и доднесь: крики дровосеков и пастухов, весенний и осенний зов журавлей, умирание скошенной предпасхальной травы и испарения осенних пашен, блики на чьем-то лице, далекие тени и предалекие розовые и белые облака, вкус затверделого виноградного зернышка, мягкая ягнячья кудреватость под пальцами. Я был Нестор, не Борчило, я не знал прошлого и не предвидел будущего. Сегодняшнее было всем доступной, однако ненадежной тропой в неведомое.

По льду и по грязи, до первых сухих, хоть и не теплых дней наведывался в монастырь Стоимир, Русиянов конник, страдающий от незаросшей раны в боку. Наведывался не напрасно. Монах Теофан лечил его снадобьями, травами, звериным салом. Рана подживала, затягивалась молодой кожей. Я приходил посидеть с ними, такими разными, расспрашивал о селе и сельчанах. Не без умысла. Ждал, что Стоимир помянет про Симониду. Я по ней исходил тоской. Под монашеской рясой бунтовалась голодная мужская плоть. Я горел, содрогаясь ночами в грешных корчах. Любопытство мое Стоимир понимал иначе или притворялся, что моя тайна – только моя, не показывая веденья людской души.

"Покуда существуют промеж людей несогласие и алчность, Кукулино, и не только оно, останется таким же – загоном для овец, – мрачно толковал он мрачным голосом. – Не знаю, мо-

жет, и нельзя иначе. Таких, как мы, и потопом не вымоешь".

Слова его таили двусмысленность: вроде бы считает, что покорство Русияну неизбежно, но можно и так понять: непокорство и бунт принесут Кукулину избавление. Я молчал. Журчащие предания монаха Теофана, одно чуднее другого, обрывали мой возможный контакт с ратником: прозрачные журавли из сгустившегося лунного света покоятся в потоках, на дне которых золота больше, чем песка, и золото это живое – прожигает кожу и палит кости; в шкурах волков-селетков плодится моль, питающаяся, в обереженье людей, упырьим мясом; на краю пустыни произрастает дерево – от его плодов тяжелеют неродихи; за морем, под землей, построены ткальни, выделывающие железные и бронзовые плащи для карликов с петушьими головами, что разъезжают в повозках, запряженных жуками-медведками. Чудеса эти, для кого страшные, для кого смешные, а для многих истинные, сплетаясь, раскалялись, становились углем, тлеющим в пепле. С чадом и пламенем они являлись из ничего, с добром или злом в себе, по настроению задышливого проповедника.

В сущности, многое казалось неразберихой. Русияновым другом юности был Парамон. И я тоже. Нас сближали беды и мелкие радости. Теперь никто никому не близок. Парамон обратился в голую злобу, я – в равнодушие (разве что Симонида). А Русиян? В первый раз он женился под благословение отца Прохора, дружками да сватами были ему Кузман и Дамян, Богдан, кузнец Боян Крамола, Парамон – мало ли! А теперь это мутное прошлое. Нет у Русияна ни дружек, ни сватов. Ни друзей. Есть слуги, да ратники, да жена, односельчан почитает рабами, своими и царскими. Злоба изменила его, опорожнила сердце. Сделала скорым и лютым на грабеж и расправу. Ненависти к нему я не питал, во всяком случае такой, как забитые кукулинцы. Охваченный больным томлением по женщине, принадлежащей ему, я пытался возненавидеть себя. Не мог. Тужил с помертвелой душой над своими буднями, живой и жалкий, ни монах, ни мужик, тоскующий скиталец по запутанным лабиринтам.

Хоть и не верил я в снадобья Теофана, рана на боку Стоимира заросла. Здоровый, он явился еще раз в монастырь, с первым мраком, когда расплываются и человек и тень. Я не слышал, как он вошел. Притворив за собой дверь кельи, он стоял – так стоит человек, жизнь свою проводящий в седле, – расставив ноги, согнувшись, со свешенными руками. В неверном свете свечи на маленьком столике лицо его открывалось

совсем другим, не таким, как я прежде знал: пустые глазницы, широкие ноздри над бескровной верхней губой, волосы – черные лучи на черном темени. Отказался присесть на мое приглашение, прислонился спиной к дверям. Я ждал, поднявшись.

"Парамон этот, он ведь тебе дружок? – Ответа не дожидался: что бы я ни ответил, не имело значения. – Слушай меня, молодой монах. Его я предупредить не могу, не смею. Парамону несдобровать. Оберегая свое господское житие, Русиян надумал пригвоздить его к кресту на Песьем Распятии. Через три дня, в субботу. Воины сказывают, он мужиков крамолит, хочет, безумная голова, порушить мощное царство, лбом о стену".

"При чем же тут я, Стоимир? – осторожности ради спросил я: вдруг он втягивает и меня в кровавую игру, ведущую прямиком в могилу, тоже вдруг зарится на Симониду. – С новым господином Русияном я не близок, не смогу у него вымолить милость Парамону". – Я смиренно склонил голову, выжидая.

"Ты близок с Парамоном. Сможешь ему дать совет. Пускай бежит. Только три дня, запомни, отделяют его от субботы. Прощай, молодой монах! Не дозволяй Черному Спипиле его закопать до времени".

И нет его. Я остался в келье, неподвижная смятенность во мгле, воистину не похожий на зверя, и в одиночестве защищающего право на жизнь своего рода. Мгла пронзала меня, пустошила. Делала скорлупкой, готовой лопнуть. Может, кто-то мне расставляет ловушку, щетинился я. Крикнуть бы: напрасны твои старания, Русиян! Хочешь отомстить за мой долгий взор, ласкавший Симонидину белизну в твоем доме, ты заметил. Потом я задумался о Парамоне, своем ровеснике. Пес распятый, Христос устрашительный. Если случится такое, судьба его станет моим поруганием, моей человеческой бедой. Подумаю, утро вечера мудренее.

Думаю. В какую пору суток, не важно – мои утра не мудреней вечеров. Думаю, и картина видится одна и та же: не махаясь руками попусту, собирает смерть куски на трапезе жизни, запихивает в уста, холодные и молчаливые, немо вопящие о собственной вечности и неодолимости. Не алчная – пуще матери опекает, убогих особенно, избавляет их от горя и тяготы. Черепом, где единая угнездилась мысль – о неотменности закона отшествия, упирается в черное солнце загустевшего мрака, вышагивает костлявыми ногами, переходит из круга в круг, с одной жнецкой полосы на другую; изливается густая слезная
 туча – богатая будет жатва. Дым валит из пустых глазниц от

огня извечного, знаменующего лишь одно – *было и перестало быть*. В том огне, малом и великом, пропадают тени – тех, чей черед пришел. Вместо крови – тьма, светом вспыхивающая при избавлении. Кому смерть принесет избавление? От чего? Когда? Чьи кости соберет Черный Спипиле?

Вкруг монастыря, мглой во мгле, бродят призраки людских недоумений. Ветви дуба шелестят без ветра. Из-под коры стонут.

2

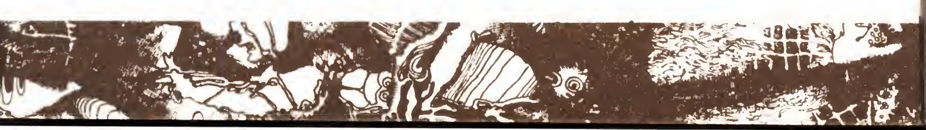
ЗЕМЛЯ

(Парамон монаху Антиму – на духу)

Есть на свете такое, что превыше неба и веры в него, – мужицкая наша плоть, кровь да муки, колыбель да гроб. Ни жизнью, ни погибелью не назовешь. Простой я, неученый, всего не знаю. И перезрелый. Было время, по глупости да потехи ради дивился небылицам про петуха с рогом на шее, верил, что Богдан взаправду видит прошлое в тыкве. Теперь не то, другой стал Парамон, три десятка лет за плечами, а я как старик, злой да беззубый, пес и тот от меня шарахается. Был у меня родитель Петкан, пропойца, ходил в медвежьей накидке. Крепкий имел корень в земле, в нее и ушел. А я живу бобылем, без потомства, с таким и мулиха под венец не станет. Висельникам спутница не нужна. Земля стала мне матерью и женой. Моим потом политая, кровью моей питается. Отымали ее, я не давал, мужиков на бунт подговаривал. Били меня много, оставили без зубов. Так все началось, воистину так.

Прошлой пятницей – на другой-то день мне как раз на крест было идти назначено заместо пугала для недовольных, что без жита да без скотины остались, – монах Нестор повестил меня через кукулинского дровосека: зло готовится на тебя, беги! А меня ну точно не пустила земля, не та земля, что моей считается, малый клинышек, а большая, общая для живых и мертвых. Не послушал я его честью, побежал не сразу. Ночи дожидал на субботу, за обиды всей земли отомстить надумал, я-то у нее забирал немного, горстку ржицы да ячменя, но и давать ей, почитай, ничего не давал. Ночи дождался, а вот отместка-то и не вышла, хоть и задумал я ее и кровью и разумом, всем своим нутром.

Дом у меня заброшенный, огонь развожу редко. Перебегаю, застылый, от дерева к дереву, чтоб не заметили. Чужого



глаза не надобно. В посудину бронзовую наложил углей, под мышкой лучина да сухая солома, снопик, завернутый в просмоленную тряпицу. Вижу, понимаешь ты, отец Антим, приходишь в ужас. Верно, угадал: наладился я спалить дом насильника Русияна, ежели пробудится он – беги, а нет – так пропадай, хоть и с Симонидой в обнимку. Хотелось мне, чтоб у того огня собралася голь перекатная, бесхлебная да запаршивевшая. Не спасать его, а потешить больные глаза. Потому как и сам я, какой был, есть и буду, коли голову сохраню, голь такая же, доброе ли, худое ли, но это племя мое, то шатучее, то на решения скорое, оборванное, строптивое и дурашное, то Каином обернется, то Авелем. Кровь над ним тяготеет, как надо мной моя. А теперь вот и чужая на мне повисла. Потому я здесь, пред тобой да пред этим алтарем. На коленях стою, руки сложены, а на них кровь темнеет да сохнет. Не отмыть водой. Под кожу забивается, язвит. Помереть не помрешь. Разве что умом тронешься, может, уже и тронулся. Слышится мне пьяный голос родителя моего: Парамон, каторжник, на то ли я тебя спородил? А я ему, да с эдакой злобой: прочь поди, дух могильный, лучше б ты камнем меня пришиб, спородивши! И сейчас вот, исповедуюсь тебе, а точно лаюсь. Только и делаю, что скалюсь, все во мне оскаленное, и кость и жила. Хочу прощения, а каяться не умею. Знать, и вправду я проклят, из треклятых треклятый.

Укорить меня хочешь. Не надо. Я и сам теперь догадался: одни хоромы пожгешь – на костях мужичьих другие вырастут, прежних поболе. Не один такой Русиян на свете. Его погубишь – другой заявится, похитрее да пожесточей. Но тогда-то я так не думал. А теперь уж и научаться поздно, почернил я жизнь себе, окаянный грешник.

Земля меня словно сама подтащила. Подобрался я к оконцу в новой пристройке Русиянова дома, глянул и обомлел. В щелку меж завесами углядел такое, чего и не удумаешь, соблазн да грех для моей проклятой крови. Она, Симонида то есть, стояла в кругу света от ламп, голая и как мрамор белая, посмеивалась то ли в беспамятстве, то ли красуясь, круглая, груди тяжелые. Видна была мне до пояса. Ниже пояса застил он, муженек ее и наш кровопивец. Стоял на коленях, согнутый, спиной к окну, как раз у щелки между завесами. Неспешно, грубыми ладонями воина гладил ее живот. Пальцами выслушивал песню крови, губами выпивал теплоту плоти.

И вдруг, не знаю, как объяснить точнее, меня словно страх обуял и надежда. Ровно полоумный стал, думаю: сейчас пальцы

его выпустят острые и долгие когти, вонзятся в белизну женской плоти, распорют ее, отворят – так вскрываются под ножом плод или рыба, в чьих застылых глазах осталось отражение жизни, – рыбьей чешуей поблескивали голые Симонидины плечи. Дрожу. Того гляди ворвусь в дом прекратить злодейство, стану драть ногтями живое мясо. Его мясо, Русияново. Я ж его за человека не считаю. Вурдалак он, явился с побоища, из-под битой человечины выбрался, из ямины кровавой и зловонной. А птица моего полоумия знай долбит меня изнутри. Уж и черви ползут по спине Русияновой, из оголенных ребер точится смола. Я чуть не взвыл, чуть не заделался вроде него вурдалаком, жаждущим крови, да тут Симонида, глаза прикрывши, откинулась, притянула к себе Русиянову голову. Она, выходит, игру вела. Проклял я себя – распалился ведь пуще их. Чувствую, отступился: размяк, сам готов ползать перед ней на коленях.

Убрался я от оконца, свирепея на себя, не на ихнее греховодство. Раззявил для крика рот. А стою немой, только ветер сечет голое нёбо. Очнулся – ненужный, себе постылый. Подо мной, а громче того во мне земля гудит: сделай, что надумал, проклятый. Коли простишь, не будет от меня прощения твоим костям, ни твоим, ни костям тех, из чьего семени ты проклюнулся, – такой мне слышался голос.

Уголья в бронзовом сосуде, церковный он был, узорчатый, весь в кругах да крестах, покрывались пеплом, могли угаснуть. Подставил я рот ветерку и выпрямился. Никакой жалости, не пойду на попятный, голытьба погреется на большом огне. Тенью подобрался к глухой стене дома, без окон. Застреха низко пришлась. Уголья положил на балки под соломенной кровлей. Поверх да по бокам поклал сухую соломку, тряпицу, пропитанную смолой.

Обернулся – вижу, идет кто-то. Ты подумай, Русиянов ратник. Собирался, видать, со спины меня приколоть. Не думал, что оглянусь. Шаг попридержал, а все без лица и без имени, и я такой же в потьме, остановился – нож в руке, не двигается. Ему бы крикнуть, позвать Русияна, всполошить и его, и ратников. А он молчит. Ждем – прикидываем, как легче нам уходить друг друга, того гляди затянет нас смертный омут. Будто вечность минула и все вокруг отвеяла, только он да я, потом разом мы от столбняка встряхнулись и двинули друг на друга. Я нагнулся, захватил песку из кучи, что с Давидицы привезли, и швырнул ему в глаза. Ошарашил его, ослепил. И тут же опустил ему на темя тяжелый сосуд, раз, два, три, – не почуял, как

меня ножом резануло. Левое мое плечо окровавилось. Я все бил и бил. Он уж неживой был, а я поднял нож его и взрезал ему горло. Долго резал, убивал в нем свою ярость. Заржал конь, завыл пес, почуяв чужую смерть.

Из дверей дома Долгой Русы, куда вселились Русияновы ратники, кто-то кричал громко. Слишком громко: Стоимир, Стоимир, Стоимир! Тот не ответил. Закричали снова. Голос гнался за мной, покамест я мчался к дубраве, из нее сподручней добираться до горных укрытий. Стоимир, Стоимир, Стоимир, – разносил ветер отголоски. Впереди меня, кровавого, с окровавленным ножом в окровавленной руке, бежали, убегая, тени и земля корежилась, малая и превеликая, чужая больше, чем наша. Стоимир, Стоимир, Стоимир, – отзвуком вторили пади, а он, глухой и мертвый, лежал с окоченелым лицом. Внезапные, последние, наверно, снежинки не таяли на его лице, ложились пластом, становясь ему мертвецким покровом.

Крушусь я по нему, отче. А проку? На ноги ему не встать. Лежит в каменистой земле. Может, он шел меня с постели поднять, не знал, что я упрежден о замысле Русияна. Может, хотел посоветовать, где мне прихорониться. Что-то его заставило поспешить. Тоже и Стоимир носил в груди заместо сердца ком живой земли, такой же был, как я, – человек. Был, а теперь пропал. Но и я тоже пропал.

Ведь это он, Стоимир, просил твоего брата Нестора упредить меня, чтоб бежал, не дожидался своего крестного часа. Нестор, бывший наш Тимофей, послушался. Я не послушался, захотел отместки. Вот и вышло так, что своего же спасителя зарезал. Учинил злодейство, будь я проклят. Окаянец. Земля, где лежит мой родитель Петкан, под моими ногами сжалась. А не отталкивает. Поджидает. Таких-то, вроде меня, ей любее в себе держать, чтоб не распалялись злодейским разумом от кровавых восходов по кровавым нивам да камням. Жены нет у меня. А сын мог бы быть. Не бери, Гена, на сердце, молода ты, еще родишь, говорил я нашей одной кукулинской, когда она закопала младенчика мертворожденного. А сам бегал от нее, младенчик-то мой был. Бедняжку Гену взял за себя Захарий, а я как был, так и остался пропащий и никудышный – тень да грех. Потом я по сеновалам таскал Генину меньшую сестру Борку, молчаливая такая была. На ней Жупан женился, Захариев брат. Рожают теперь, радуются небось, что судьба мне отомстила за обиды ихние. А может, и того хуже – про меня и думать забыли.

 Я не за отпущением пришел. Такое не отпускается. Горькая

доля моя, окаянная – вот что. Поругание тяжелей любой исповеди. Злодей я, не Парамон. Кровавый злодей, отче. Собиральщик костей Черный Спипиле погнушается мною.

3

СЕМЯ

Именно так – злодей.

Что он скрывается в монастыре, по сеновалам, кельям, хлевам, когда где, знали мы – Антим, Теофан, Киприян и я. Надеялись тайком от отца Прохора недельку-другую подержать беглеца, пока оправится, а там – вольному воля, ходячему путь, как ему на роду написано.

Жизнь в монастыре текла ровно до того самого дня – вторая пятница подошла после убийства Стоимирова.

Ратники наехали на сытых конях, вооруженные, как всегда. Я стоял во дворе с выстиранной рясой отца Прохора за мокрым тряпьем, развешанным на ветках. К ним не пошел. Все пятеро спешились и, придерживая коней за узду, приблизились сами. Одеты были не богаче убитого своего соратника Стоимира и не сильно от него отличались: бородатые, возраста разного, могли походить на разбойников, а без оружия – на мужиков, у которых от разогревшейся крови потеплела душа – землица вспахана, пора сеять. Я знал их по именам, слышал о каждом. Самый старший среди них Янко, Русиян определил его в старшие, закаленный в битвах, суровый, насмешливый, на левой руке не хватает двух пальцев, среднего и безымянного, зато остальные три, тупые и волосатые, страшны – в них словно собралась вся его сила. Второй – Елен, олень, значит, не больно подходящее имя для коротконогого человека, ловкого на коне и неуклюжего в пешем ходе, глазки маленькие, серые, как густой дым, видели, как он купался в Давидице – кожа белая, слишком молодая для морщинистого лица, зато вдоль и поперек изукрашена боевыми шрамами. Третий – Роки, скорее всего латинянин, работал надсмотрщиком в руднике, подался в воины, в Русияновой дружине славился ударом меча, словно тем и занимался всю жизнь – просекал противника с левого плеча до третьего или четвертого правого ребра. О Житомире, еще его звали Козар-Пастух, всякое говорилось: перебежчик из чужого войска, пленный разбойник, порешивший стражников и убежавший из темницы, убивец собственного отца; на лбу его красовалось клеймо, оставленное раскаленным железом, –

для проклятых единственное прозвание на этом свете. И последний, Ганимед, коротко Ган или Гани, а то Гано и Гана, молодой, с пепельными волосами, скорый и на ссору, и на веселье. Собранные с кровавых побоищ, из грязи, с виселиц, из логовищ прокаженных, распущенные и бездельные, эти вояки, поборники пекла, легко обращались в человеконенавистников, богоотступников, грабителей, блудников, но могли стать и восстановителями порядка, сулящего им богатство и славу. Сельчанам они казались сеятелями одного-единственного семени, незримого, а потому опасного, таившего до своего часа неведомый и огромный страх. Они не казались ни пьяными, ни слишком сытыми, стояли, обмеривая меня мутным оком, и я знал уже, что мир, царящий между ними и монастырем, обманчив: стоит нам воспротивиться им, они ополчатся на нашу неприкосновенность слуг божиих и царевых, не многого требующих от своих господ и воздающих им по мере сил своих. Все вместе эти пятеро представляли большое совокупное зло, а по отдельности каждый мог обернуться злом внезапным и непредвиденным: у них было оружие и власть, под ними — несогласная сельская масса, мало что ухранившая от дедовского умельства. Сельчане и кое-кто из монахов, Антим да хоть бы и я, могли взрастить в себе отпорное семя. Парамон показал, что голову погнули не все. Парамон, пока что один он.

Янко выпустил узду и вплотную подошел ко мне. Изогнув шею, гнедой жеребец следил за ним одним оком.

"Стираешь? Это неплохо. Закинь-ка на ветку рясу, поговорим. Может, ты, бывший, а стало быть, и нынешний Русиянов приятель, нам пособишь. Скажу, зачем мы здесь, а коли знаешь, тем лучше и для тебя, и для нас".

Я знал, зачем они здесь, и молчал. Он тяжело осел на левую ногу, калечной рукой поскреб в волосах.

"Стоимир, наш ратник, коварно убит, пристройка Русиянова дома сгорела. Ищем убийцу. Наш соглядатай сообщил, что он скрывается в монастыре. Порадей нам, выдай его. Мертвый Стоимир просит отмщения".

"Кроме монахов, в монастыре нет живого человека", — спокойно ответил я. Спокойно? Только на вид. Дрожь забиралась под рясу и даже под кожу.

"Выходит, так я понимаю, монахи заодно с бунтарем. Сам подумай: укрывать убийцу ратника — значит идти против царя, это его земли. Рано ты призываешь смерть на себя".

Я заговорил, словно с колыбели изъяснялся по-монашьи: "Смерть моя в усмотрении божием, благородный воин. Пре-

бываю в руце его, пощусь, покорно свои долги исполняю. И говорю тебе: здесь нет того, за кем вы пришли".

"Можешь поклясться?"

Я немо вглядывался в его глаза. Потом:

"Если вас это успокоит, клянусь".

Ратники стояли спокойно, только Ганимед зловеще склабился. Опирался обеими руками на рукоять своего тяжелого меча. Жилы на шее вздулись.

"Слушай, Янко. Чего ты с ним разговариваешь? Дай я его в хлев свожу ненадолго. Верну веселеньким и певучим, и никаких тайн под рясой".

Меня скорежило, испарина проступила по всему телу. И было отчего. В хлеву прятался Парамон. Перемену в моем лице – я сник и посинел – Роки принял за страх. Развеселился.

"Заглатываешь воздух кусками, чернец? Думаешь: обдерет меня этот Гани, разберет по косточкам, руки-ноги моими же ребрышками окует. Это ежели он нынче Гани. А ежели Ганимед, еще страшнее тебе, братец, придется. После материной смерти его вскармливала веприха, всласть пожравшая прокаженных праведников".

Не страшный он, этот Роки. Говорит с растяжкой. Такому трудно замахнуться мечом на безоружного человека. Отошел, прислонился к потрескавшемуся стволу, забыл про нас. Я было обернулся к нему. Зря. Он стоял отсутствующе, с сомкнутыми глазами – дерево вжалось в дерево, оба без живительных соков, напитавших гусениц.

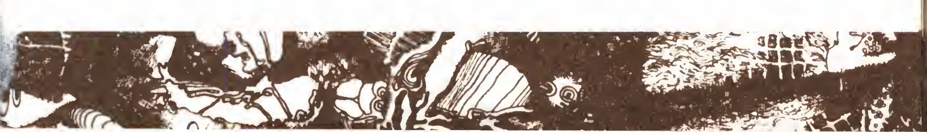
"Ну? – спросил Янко. – Доверишься Гани, нашему Ганимеду? – Я стоял беспомощно и безответно. Янко пальцы, скрюченные по-орловьи, запустил в бороду: – Житомир, что вы с Еленом думаете? Как монаху рот раскрыть, чтоб разговорился сам, без нашей братской помощи, а?"

"Оставь ты его, пускай молчит. – Житомир говорил лениво, словно выбирался из размякшей земли. – Ободрать-то его и я не хуже Ганимеда могу, не маленький. А к чему? Мы и без него перетрясем монастырь. До земли и ниже, под землей на локоть".

"Перетрясти-то перетрясем, а ну как Парамон убежал, и куда – неведомо? Нам неведомо. Зато прятавшим его, монахам, ведомо. И этому тоже".

"Верное слово, Янко. – Ганимед выпрямился. – Пора его в хлев вести. Елен с Житомиром со мной пойдут, будут запоминать, что скажет. Все, про что сейчас молчит. Пошли?"

Был бы тут Антим или кто из братьев, Киприян или Тео-



фан. Но никого не было: одни на пашне, другой в город поехал, менять мед, фрукты, сушеное мясо на ткани, хозяйственный инструмент и соль. Отец Прохор дремлет в своей келье. Я был один, безнадежно один, и не видел выхода из беды, понимая, что худо придется не только Парамону, но и мне. Морщины на Янковом лбу углубились, глаза превратились в узкие щелки:

"Веди его, Гани, в хлев. Делай с ним, что хочешь, Ган, Гано, Ганимед, но только вороти мне его мягоньким да услужливым. Мы пришли за убийцей и пустыми не уйдем. Веди, отдаю его на твою волю".

"Никто и никуда моего монаха не поведет, – ковылял к нам на костылях отец Прохор. В старенькой драной рясе. Лицо полыхало гневом. – Монастырь под защитой божьей и государевой. Нынче вечером этот молодой монах должен отслужить в честь царя заздравный молебен. Зло от вас претерпевши, он не сможет соблюсти подобающего благочиния. И птицы и ветры в нашем краю служат вестниками. Прослышит государь, что по милости слуг своих не был он помянут с нашего алтаря. Покаетесь вы тогда в вине своей, да будет поздно. Спасения не обрящете".

Старец подошел и остановился между мной и воинами. Со спины – седой, в выцветшей рясе да на костылях – он походил на омертвелый ствол. К недругам же он был повернут лицом, обещающим страшный суд сквернавцам. Было и у него свое семя. Бросит его – вырастет древо, с ветвей которого хлынут огонь и сера, змеи и скорпионы, черная, раскаленная, тяжкая кара на врагов креста. Про то он им и толковал.

"Не выдаешь злодея, святой отец?" – с угрозой спросил старшой. Под глазом его зловеще задергался живчик.

"Ведите и меня, и монахов моих, коли почитаете за злодеев. Ведите или воротитесь к своему господину с моим благословением. С богом, честные воины, не держите на меня гнева".

Одно дело – молчать покорно, иное – найти слова и не позволить недругу одолеть тебя и поставить на колени. Старейшина наш всегда умел держать себя истинным властелином, его мудрость оказывалась сильнее насилия. Это почувствовали ратники. Постояли немного и, друг на друга не глядя, заспешили к коням.

"Так тебе это не сойдет, старик, – процедил Янко сквозь зубы. – Будь спокоен, попомним мы и тебя, и твоего монашка".

"С богом, честные воины, – благостно повторил старец. – С богом".

 Приглушенная брань, стук копыт, развеянный запах пота.

Они умчались, вихри в вихре вражды, а отец Прохор, еще повернутый ко мне спиной, словно возрос в своей неподвижности.

"Слава богу, скинули с шеи. А ты, и прочая твоя да моя братия, Нестор, этого-то из хлева нынче же вечером проводите в укрывище понадежней. Коли вернутся, не схорониться от них в монастыре ни пауку, ни мыши".

Господи, он знал, что мы прячем Парамона!

4

КОРЕНЬ

(Богдан монаху Теофану – на духу)

Люди жили, не удерживая потребного равновесия, сторонились друг друга, зимой голодом голодали, а по весне обменивались с теми, кто побогаче, все больше с Русияновыми ратниками: серебро, прадедовское оружие, шкуры и шерсть на горстку своей же муки, чтоб пропитаться и продержаться до новой жатвы. А и жатва та обещала не много. Семенной хлеб новый господин либо упрятал в свои амбары, как раньше, либо отвез в город, где тоже всем распоряжалось не столь многочисленное, сколь немилосердное войско. Даже самые баламутные, те, что раньше куролесили и без медовины, попритихли и рапсодничать перестали.

Собрав урожай с нас и прочих прожорливых пустохватов, Русиян удумал на Песьем Распятии из камня от старой крепости возвести новую крепость, поменьше, но подобную старой, – шестиугольную, с господскими покоями и караульнями для стражи. Того ради привели из города иудея с тремя помощниками – вымерять место да колышки забивать, следить, чтобы каждый давно отесанный камень улегся на свое место. Строители – мы, невольники-кукулинцы, да с нами еще дважды или трижды по десять мужиков из соседних сел. Иудея, некоего Соломона, с горбом во всю спину, ратники, понятно, окрестили. Ставши христианином, он упился и помер. Закопали его под крестом. Однако и без него, перепуганного при жизни и померШего без чести, и без помощников его, головастых мияков, в одну дождливую ночь бесследно сгинувших, крепость продолжала расти.

Работали мы без передыху. У тех, кто не мог выделить работников, отымали коз и овец, шла под нож скотина и покрупнее. Хозяева и старики погоревали и примолкли, ратники гро-

зились отобрать у них и то, что укрыто, – масло, муку, сухую рыбу, четвертинками засоленное сухое козье и овечье мясо. Строители, любезный мой отец Теофан, раскормились, словно чада царей Македонских, Филиппа да Александра. Фундамент такой возвели надежный, что хоть три крепости ставь, одну на другую. Хочешь не хочешь, а Русиян со своей Симонидой вселится в новую крепость еще до снега – на Рождество Христово заделается он чем-то наподобие князя.

Я находился среди тех, кто свежевал скотину, готовил да прислуживал мастерам. Так бы оно и шло, кабы однажды не позвал меня начальник ратников Янко в присвоенный ими дом Долгой Русы. Пошли, говорит, хочется мне с тобой выпить. Уселись, перед каждым кувшин с ракией из кизила и тутовых ягод с медком да тмином. Потягиваем, он из своего кувшина, я из своего. И тут он угрюмо этак мне говорит: "Давай с тобой об заклад побьемся. На твою Велику". И живчик у него под глазом задергался. "Как это на Велику, любезный?" – спрашиваю его. А он: "Давно запала она мне в око, не могу без нее. Коли выйду я в питье победителем, забираю ее у тебя по чести и по согласию". "А коли не выйдешь? – просто так его спрашиваю. – Что тогда?" "Ничего, – запыхтел он. – Бери от меня, что захочешь, меч либо кошель с золотом". "Да это и половинки моей Велики не стоит, – ответствую, выпив. – Да и я, любезный, не охотник до коней и мечей. И за золотом не гонюсь". "Чума тебя побери! – зарычал он. – Что ты к коню с мечом прицепился? Победи меня и бери что хочешь – руку, ногу, голову. Пойми ты, победителю – все, а тому, кто от выпивки свалится, голова больше не понадобится". До меня доходит полегоньку. "Значит, Велика и моя голова против того, что я пожелаю?" Он забрал в себя побольше чистого вселенского воздуха: "Ну понял, наконец, так и говорить не о чем".

И мы начали, глоток за глотком, без хлеба, без соли, один против другого, как в игре, а вокруг сельские шумы и зной, такой нещадный, даже к вечеру от него горели и кожа, и нутро. Я сперва, пока в себе был, смеялся: "Ты, любезный, небось и пальцы-то при таком состязании потерял?" Он левую руку без пальцев убрал под стол, а правой вытащил нож и перед собой воткнул. "Это тебе в поминку: будешь пустое говорить – тоже без пальцев останешься". Но я уже многое переставал понимать: меня отупляла ракия и состязание наше вправду казалось мне игрой. Мы вместе подымали кувшины и пили. Я отяжелел. В комнату вошел Ганимед, принес толстую свечку.

"Не садился бы ты с ним, Богдан. Останешься без жены, го-

лову-то он, глядишь, и простит. Он и коня своего через выпивку раздобыл".

Не знаю, не помню, чем я стал выхваляться, только Ганимед вдруг спрашивает меня, что же я у Янко возьму – руку или ногу – и какой он будет после этого воин, честнее сразу голову у него забрать, чтобы не убился. Янко молчал да расплывался все больше, мне он казался омертвелым стволом, исчезающим в тумане.

Распочали мы по второму кувшину, и тут я почувствовал, что не выдержу, обрушусь в следующее же мгновение. Помутившимся разумом понял, что теряю Велику. Эта мысль то удалялась, то возвращалась, поддерживала меня своей горечью. Хотелось пасть на колени и умолять. На колени я, может, не пал, может, просто просил протянуть руку друг другу и разойтись по-братски. Если просил, то, наверное, так: оставь ты, мой любезный, Велику, она мать и жена, другую себе сыщи, помоложе. И мне ни твоей руки, ни твоей ноги не надобно, а уж головы и подавно. Никогда, клянусь, никогда я жестоким не был, чужую жизнь уважал.

Скорее всего, мы сидели молча, пили наедине, без свидетелей. Ганимед ушел, Елен, Житомир и Роки повезли в Город жито, собранное по гумнам. Янко что-то сказал. Я не глядел на него, слушал. Он захрипел. Поднял руку, за ножом потянулся. Готово, спокойненько так подумалось мне. Не ждет даже, когда упаду. Чирканет по мне ножичком, как по торбе, и отправится к Велике: принимай, жено, я хоть покойного Богдана старше, зато могутней. Победил его честь по чести и прирезал без лишних слов. Но он ножа не коснулся. Обрушился – мертвее мертвого ствола.

Я б на его месте состязался с Дамяновым сыном Босилком. За Пару Босилкову. Молодая да крепкая, на ратников посматривает, не на мужиков. Ее и раздобывать не надо, она и так пошла бы на сеновал. Пошла бы, ей и горюшка мало, что Босилко за ней, может, в щелку подглядывает, а потом разъезжает верхом на дубовом прутике да всем рассказывает, что на сеновале видел, а наездившись, засыпает себе в холодочке, улыбчивый и счастливый.

А Янко лежит у меня в ногах и хрипит, по-звериному выговаривая свою муку. На двух руках у него восемь пальцев, только и десятью он не смог бы опереться, чтобы подняться и продолжить выпивальный спор. С трудом, того гляди тоже обрушусь, вслушивался я в его хрип. Может, и сам я хрипел страшную победную песню, а и сожалел, что в такой темной игре на

лопатки положил ратника, первого помощника властелина. И не из спеси я сожалел о его невиданной и неслыханной глупости. Верь мне, если эдакому пьянице и голодранцу можно верить. Ведь ослабевший я, оголодавший, кожа да кость, а сумел-таки одолеть.

Янко, говорю ему, не дорос ты до меня, любезный. Меня даже Петкан покойный, что в медвежьей шкуре ходил, перепить не мог. Раз мы с Петканом тоже на спор взялись выпивать. Говорю я, любезный отче, нет, не Янко говорю, Петкану. Верно, отче, Петкан из другой исповеди. Вот и говорю я Русиянову ратнику: ноги твоей не возьму, а вот руку, ту, о пяти пальцах, заберу, чтоб неповадно тебе было тянуться за чужими женами. Беру нож. Янко на спине лежит. С какой стати, думаю, руку? Что я, архангел, что ли, душу-то вынимать чужую? Отрежу руку – кровь хлынет, истечет до капли. Янко проснуться не успеет, станет мертвым. За ним и я. Русиян меня на ломти порежет. Нож в руке, а сам все толкую с Янко. Ты в могиле, а заместо тебя парочка новых ратников. Молодых да дюжих. С ними уж не померишься, живо на лопатки положат, как я тебя. А чтоб ты меня попомнил, отрежу я тебе палец. Пальцем меньше ли, больше, тебе без разницы. Глядишь, еще за милость почтешь. Понятно, палец не волосок – вырвешь, новый растет, кучерявится. Ловил ты когда-нибудь ящерок, отче Теофане? Не ловил. Так вот. Схватишь ящерку за хвост, она его тебе вроде оставит, а через день или два, ну хоть бы и через пять, вырастает новый. Верно, отклоняюсь, только я тебе объяснить хочу, Янко ведь не ящерка. И я ему говорю, хоть и качаюсь сильно. С семью, мол, пальцами...

Да не убивал я его, отче Теофане. Я про то и исповедуюсь. Мне не просто объяснить да растолковать. Злодеям легко, у них язык без костей. Зашатался я и упал с ножом в руке. Вот и все, ничего больше. Да разве я могу кого-нибудь без души оставить? Меня от такого Богородица оберегает, матерь наша, моя и всего Кукулина. А в святых у меня Никита, он мне будет свидетелем. Когда Велика петуха режет, я убегаю. Отсиживаюсь в сарае...

Как это – десяток ножевых ран на Янко? Кто тебе сказал, любезный мой? Ежели и вправду он так поколот, то, должно быть, я встать старался, встану да упаду, и опять на него... Нож-то в руке был.

Правда твоя, конечно. В монастырь я только на исповедь пришел. А нож тот и кошель с золотом все ж прихватил. Под землей никому ничего не надобно. Уйду я, конечно уйду, а зо-

лото монастырю оставлю. Отказываешься, говоришь, ребятишкам моим станешь помогать, пока сможешь? Добро, спасибо тебе. А я пойду искать Парамона. Одинаковая нам вышла доля. И меряться нам с ним не придется. Ни ему не нужна Велика, ни мне его руки-ноги.

Прощай, любезный мой. Молись за меня, чтоб я тут назавтра не позабылся. Из почтения к Библии поищу я гору Иеремиеву. Я теперь ствол без корня, а Янко без ствола корень. В земле гниет. Скорбно и поучительно. Как найду гору побольше, пущу корни. Вернее, местечко себе поищу, где Русиян меня не достанет. Чтобы жить там с Великой да ребятишками. Пошлю к ним тайком вестника. Он их по-тихому приведет. Прощай и прости, если сможешь.

5

СТВОЛ

Русиян потерял двух ратников, село – двух жнецов. Равновесие, белое – черное, жизнь – смерть. А вскоре кто-то принес известие, что Парамон и Богдан, да беглец из приморья с дивным именем Папакакас, да еще Карп Любанский и Тане Ронго из соседних сел, над которыми тоже Русиян господарил, стакнулись и умышляют грабеж и крамолу. В тайное место стаскивают мечи да копья, доспехи да шлемы. Всякий, кто к ним пристанет, из неволи выйдет, а после сделается сам себе господином, земли намерит любою мерою – локтем, маховой саженью, путем субботним, а то и вовсе без меры. И станет одна великая прония, где хлеб будет родиться для всех без изъятия, для богатых и бедных, для грешных и праведных, истинных и фальшивых. Прикидывали в смутной надежде: или жить вовсе без господина, или всем заделаться господами в царских одеждах и на конях. Бунтарями себя объявлять не спешили, не хотелось слезать с облаков да звезд: бескрайняя под ними земля и только ихняя, морем золотым струятся нивы и отступают перед ними камень и отравные травы – белена, чемерица, уразница, болиголов да черная бузина, а следом пропадом пропадают подати и поборы под различными именами – дикератон, кевалий, телос, – в их землях чужие законы, из них, словно куколь, новые прорастают поборы – на душу, на путь, на лес, на урожай, муки мученские, от которых только бедствовать да голодать.

Здешние люди, не одни кукулинцы, но и окрестные, сами

себе довольны. Свое для них там, где живут, где пустили корень, где проклевываются и увядают. Сближенные свойством, остаются близкими и в бедах, друг за другом или друг при друге – в непонимании, в раздорах, в глупости. А также в страхе, что вливают в них предания и перемены, вводимые невиданными господами в царских ризах. Но их в покое не оставляли. Сквозь Кукулино, сыскони и поднесь, катились реками чужие легионы вплоть до не столь давних крестоносцев, метивших свой путь насильем и смертями, болезнью, голодом и злодействами. И как ни упирались на своем кукулинцы, не удавалось им избежать напастей. Беды подстерегали с колыбели, закаливали, может, но и отнимали силу возвыситься монолитом, памятью достоинства человеческого и человеческого стремления жить вне мрака и грязи, вне льющейся крови и дикого зова в себе.

В детстве, в летнюю пору, Велика, Русиян и я частенько наведывались к Синей Скале, чтоб исподтишка и со страхом поглядеть на знаменитого отшельника Благуна. Страх был в нашей жизни, без него не обходились деревенские сказки, в которых отшельники выступали чародеями и избавителями от черных сил, бессмертными, взгляд – и любая нежить обращается в прах и пепел. Может, воспоминания о детских тайнах смягчили Русияна, только он не стал мстить Велике за Богданово преступление. Его ратники шарили по горам, устраивали ловушки и ночные засады на тропах. Без успеха: Парамон и Богдан обретались, как утверждали сведущие, и поблизости и вдали – близкие для своих и как никогда далекие для преследователей. В рассказах они превращались в одного человека по имени Парабог или Богмон, словно сросшиеся в один ствол, покамест потаенный, но придет время, пустит он во все стороны ветви, жилистые да суковатые, и придушит ими самозваного властелина и его ратников, кости их падут в пропасть, где не цветет подснежник и не летают певчие птахи, где нет ни родника, ни ветерка, а страшнее того – нет ни света, ни тени, ни молитвы, ни плача по мертвым. И нет в черепах благостного сна над глазницами. Ствол сплошной, а соки его выпиты немилостивой омелой.

Осень дождей не обещала. Хотя Русиян увеличил число строителей шестиугольной своей крепости, конца работам не было видно. Переноска тесаного камня со старой про́клятой крепости на Песьем Распятии много забирала времени. Раза два проехал через село отряд городских ратников, судя по всему, в поисках крамольников Парамона, Богдана и иных. А может, и для того, чтобы согнанные на строительство мужики не бун-

товали. С гор возвращались усталыми и без добычи.

Не имея семян на посев, чтобы избавить детишек от голода, кузнец Боян Крамола пошел ратником к Русияну, оружие себе выковал сам – по руке. Теперь хлеба у него было вволю и даже больше, да еще крепкий жеребец выбывшего Янко. В монастырь на исповедь не пришел – греха за собой не видел. Кузню принял Богданов сын Вецко. Чтобы не навести на себя мести ратников за злодейства и грехи отцовские, присягнул властелину на верность.

Зимние ветры нагнали облака и опозднившихся перепелок, над кровлями вились печные дымки, когда Русиян прислал за мной человека. Два покоя в новой крепости были уже отстроены, с очагами. Хотел отметить новоселье с кем-то близким? Может быть. Хотя чувствовал я – дело не в этом.

"Воинам старшой нужен, Тимофей, – встретил он меня перед недостроенной крепостью. – А промеж них нету такого. На Елена и Житомира Козара не очень-то положиться можно. Роки в питье ударился, Ганимед норовом крут, пристает к парням. А и новый ратник наш, Боян Крамола, тоже мне не по сердцу. На подъем тяжел и вечно голоден. Заходи, садись, будь мне первым гостем в этой крепости, я с тобой потолковать хочу. Был я на войне, когда братья Милутин и Драгутин вели спор за царство, кидался смерти в самую пасть. Твоя правда, не мила мне была жизнь тогда, но и то правда – был я молод да удал. Отличился в битвах, и за то мне царь наш нынешний подарил шестерых всадников, с жалованьем на два года, оделил добычей, золота да серебра, да тканей, да оружия набралось три воза, а по дороге в Кукулино стало пять. Богатый теперь я, и коней довольно, и жену завел – в честь царицы нашей Симониды я свою Филису в Симониду перекрестил. Нет, я в цари не мечу, воином как был, так и останусь".

Полыхали дубовые поленья в очаге, а в покое, пребогато убранном и даже днем освещенном светильниками и свечами, было холодно.

Я спросил его, зачем он меня позвал, что хочет от меня, какую послугу.

"Ты для меня не послушник и не монах. Не Нестор, знаю тебя как Тимофея. Ты мне таким нужен, без рясы, без мертвого света в глазах. Не хочешь быть у воинов старшим, изволь – стань управителем, распоряжайся всем, чем владею".

Он пил один, лицо его менялось на глазах. Встал, снял со стены меч с золотыми и серебряными прожилками по рукояти. Протянул его мне.

"Принадлежал вельможе, с ним я сшибся в бою, пышный такой боярин, а может, князь, белый да неуклюжий. Я его порубил. И что с того? Возделывал я малую ниву, был доволен. Теперь много чего заимел, и землю и жену, крепость собственную строю, а тоскую, разъедает меня кручина. И знаешь отчего? Одиночество заедает. С кукулинскими плутами ни воевать, ни пить невозможно. Мне тебя не хватает. Потому даю этот меч тебе. Бросай монастырь, иди в старшие к моим воинам. Через малое время их у меня десяток будет, а там вдвое и втрое больше, полсотни. Десять сел подо мной. Гумно, на котором я начну молотьбу. Наберу их целую сотню. А править стану отсюда, из Кукулина".

Я молчал, ответ можно было сыскать в моих глазах. И он сыскал.

"Симонида-а-а! – зарычал, возвращаясь к стулу. – Симонида, Филисою урожденная! – Стал не похож на себя, неведомый мне человек и зверь, от дыхания которого задрожало в светильниках пламя и вокруг затревожились бледные тени. – Симонида-а-а! – Он пошатывался, а крик, вой безумья, отбивался от каменных стен, вызывая во мне злость на непредсказуемость этого человека. Даже изнутри заходили мурашки. – Симонида-а-а!" Во мне вопила каждая клетка разгоряченной плоти, каждая жилка, каждая капля крови. Я был повернут к дверям, соединяющим покои недостроенной крепости, без башен и без караулен, без хлевов, без кладовых и трапезных, без жилой теплоты, словно Русиян и Симонида, Филисою урожденная, были призраками, поселившимися тут навечно, белые и таинственные, в холоде, среди мертвого камня. Монастырские сны оживали во мне, и...

...я увидел ее, она стояла в открытых дверях, словно молодая весенняя роща, вся в зеленом, с зелеными и розоватыми камешками на пальцах и вокруг шеи. Раскалившая меня до изнеможения, прошедшая сквозь тысячу моих снов, она была такая же, но и другая, буйная и сильная, а по виду – маленькая, округлая, без улыбки. Укротила его взглядом. Он подошел к ней – как человек, вступающий в рощу, покорно предающийся ее целительной и умиряющей сени, на молитву и благой сон, словно и не рычал вовсе, словно она явилась на немой призыв его крови. Взял ее за руку и подвел ко мне.

"Протяни ему руку, обними. Он теперь наш. Будет старшим для наших ратников, для тех, что есть, и для тех, что будут".

 "Я клялся пред алтарем, – вымолвил я, вставая, объятый

тоской по юной весенней роще. – До смерти мне надлежит оставаться монахом, слугой господним".

"Не шути, Тимофей, – без гнева, мягко даже, укорил он. – Ты мне половину молодых кукулинцев в ратники обратишь. Село наше станет самым сильным под чернолесьем. И еще. На замен твоему отцу Прохору я пошлю хоть десяток монахов, бесполезных старцев, да двух-трех клячонок, да несколько возов пшеницы и ячменя, в самый раз будет монастырю Святого Никиты".

Ко мне подошла она, не дойдя шага остановилась. В ее глазах плавали золотые сгустки, верхняя губа подрагивала. Глядела на меч в моей руке.

"Ты слишком молод, чтобы быть только божиим".

И все. Удалилась.

Он кивнул головой и сел. Я остался стоять.

"Слышал? Она тоже хочет, чтобы ты был с нами. Оставайся прямо сейчас или поблагодарствуй отцу Прохору и возвращайся. Примем тебя как своего. Теперь иди, я устал".

Я положил перед ним меч и поклонился. Он не ответил.

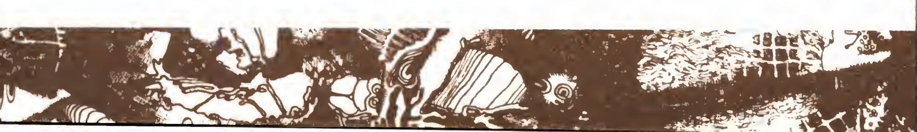
В бледном предвечерье на село опускались первые снежинки. Налипали на мое лицо и таяли. Где-то на болоте отзывались дикие гуси, за сараями отчаянно лаял пес. Я ехал, полагая, что неподвижен – дерево в зимней спячке, грезящее о весенней роще. Передо мной и вокруг меня двигались тени, куст и камень делались живыми. И дерево. Люди спрятались под кровли, глухие и слепые ко всему. И ко мне, ехавшему на муле. Белая ночь, черная тоска. Не дерево я, тень, и останусь тенью, призрак плоти, в чьей пустой утробе безмолвие жути питает собственную неизбывность, голодную и полную соблазнов.

6

ПОЧКИ

(Велика монаху Киприяну – на духу)

До землицы тебе преклоняюся, о каменье лбом ударяюся, истомилась я, истянулася, лучше быть нерожалой колодою, чем женой блудодейной, грешной и проклятой. Выслушай меня, благосердый, и прокляни. А не дашь проклятия, сама я себя прокляну: чтоб меня змеи под языком лизнули, чтоб я паршой покрылась и выпустила когти орловьи, чтоб меня ветры изрешетили, чтоб я рот раскрывала, а хлеба не доставала, чтоб я от чумы на скаменелых ногах убегала, чтоб утроба моя



скорпионов и ненасытных сороконожек кровью своей поила да мясом гнилым кормила, чтоб я побиралась да ящеричьим мясом питалась, чтоб я с волками в коло кружила да на горбу упырят носила, чтоб меня на Песьем Распятье ткнули головой в муравейник. А на Святую Варвару и на Марию Иаковлеву чтоб я без имени осталась и чада мои руки б ко мне не тянули, *матерью* не величали, *любезной нашей* не называли, не воспевали *кормилицей, хранительницей, утешительницей.* С погнушанием бы от меня бежали, горящей серой мне путь заливали и чтоб так меня проклинали: паршь кровавая, чадоморка, ведьма, блудница, совища бездомная, кормилица Иудина.

Велик мой грех, отец Киприян, рогами дерет меня изнутри. Не убивает, только рвет да дерет. Долго ли мне еще жить назначено, чтобы мучиться и никто чтоб меня не пожалел, почернелую душеньку не утешил? Кто только лап ко мне не тянул – морщинистые и пучеглазые, липкие, прокаженные и гнойные, брехливые, точно псы, или по-жеребячьи гогочущие. Были с кривыми носами, и такие, что отметались от веры. Болтливые, точно весенние воробьи, оскаленные, точно волки зимой, – женишки ненасытные. Я ведь одна была, без мужа. Захочу – приходи, не захочу – нет, я не тебе, отец Киприян, я про других. Ну и что? Кто мне это поставит в грех? А как переступила Богданов порог, покорной стала слугой мужу своему и следопыту. Блудников словно ветром сдуло, перестали вокруг дома кружить. Все ко мне относились с почтением. Соблюдала ли я себя? Соблюдала. Только вот... О том и речь. У алтаря да у тебя ищу утешения, да, видно, не найти мне его ни на этом свете, ни на том, прокляли меня святые мученицы.

Весна, бутоны да почки, цвет дадут и айва и лютик. В камне и в том по трещинам пырей прижился, фиалки скоро откроют свои небесные очи. От тепла и держаки-то у кос пускают отростки да листья. Погляди на кровли. И на них трава. А я, какой от меня отросток? Сам видишь, понял. Тяжелая я, вынашиваю дите. Без мужа. Нет моего следопыта, чтоб расправился с ветрогоном. Через неделю, две ли, три ли рожу. И кого вырожу? Черного да зубатого?

Горе тому, кого я ожидаю, отец Киприян. Такое отродье, как вырастет, не делается монахом. Ни властелином. Ни постником, повернутым к небесам. Рассказывала мне покойница Долгая Руса, в Кукулине такое уже случалось. Давным-давно была такая же грешница, Агафьей звали, понесла от родича, то ли от деверя, то ли от дяди, не упомню. Родила. И что бы ты думал, дитенка? Человечка псоликого, вот. Черного да с

хвостом. Днем хоронился в бочке. А по ночам, когда крещеные спали, выбирался, ползал на четвереньках и на месяц выл. Хуже всего было, что водил он за собой на веревке лихорадку с чумой. Мор за собой оставлял. Посеют мужики ячмень – на ниве терн вырастает. Молятся, бедные, крестятся, засыпают в жару. А наутро овцы порезаны. Призывали они и постников, и игумнов. Все впусте.

Долгая эта история, очень долгая. Я тебе после исповеди расскажу, язык-то у меня прытче веретена. Сейчас я тебе свое сердце открою, муки свои, а не про Агафьино окаянство, она-то бог весть когда и жила. Я теперь и сама-то пуще Агафьи сделалась.

Допытывали меня Русияновы ратники. Тяжелая, дескать, ты, Богдан, значит, лазит к тебе в постель тайком. Ты не святая и не девица, чтоб без греха тяжелеть. Такого даже в сказках дурацких не бывает. Грозились меня подвесить за ноги. Первая, дескать, будешь, которая через рот родит, – так они скалились. И опять – где да где твой Богдан? Люди, стараюсь их умилостивить, братья. Какого такого Богдана вы с меня требуете? Нету его, провалился сквозь землю. И как можно за ноги меня подвешивать? Я Симониде верная служанка, она вам не простит. Они упорствуют – Богдана нет, а ты наладилась ему ребятенка родить. Только не дождется он ни сынка, ни дочки. Говори. Про все знать хотели, пришлось им рассказать. Я и святых себе надумала, чтоб побожиться, – Лукияну Раскольникову, Деревянную Магду-Марию, Параксилию.

Про что про все? Да про то самое, отец Киприян, из-за чего я на коленях стою перед добродеем нашим Святым Никитой, из-за чего язык утруждаю. И вправду ведь не знала я, где Богдан, то ли в честных воинах, то ли в лихих разбойниках, то ли побирается где изувеченный, под снегом, а по весне под Воловьим Оком и под иными звездами. А вот торговцы, что с той стороны наших гор приходили обменивать соль да щепу с Иисусова гроба на льняное полотно и сухую рыбу, его видели. Сказывают, носит он меч да копье. И вовсе не под началом у Парамона да Папакакаса. Нет. Богдан сам десяткой командует, с ним и зять Петкана покойного – Карп Любанский. А торговцев тех Богдан попотчевал, серну зажарил, яблочным вином напоил да молоком от прирученной горной козы. И принес тыкву. Треснутую. Я, говорит, вас за друзей считаю, и сел с ними на сухие шкуры. Нынче ночью, говорит, луна зеленая, вся поросшая прозрачной травкой. Такое раз в столетье бывает, только раз. В полночь каждый, кто заглянет в треснутую тыкву, сде-

лается ясновидцем. И вы, други, торгующие мусором со святого гроба. Придите и загляните. Моя тыква тоже взята с могилы Спасителя. Кузман мне говорит, отец Киприян, будто это могила святого по имени Иезекииль, а Дамян клянется, будто святой тот не иной кто, а наш постник кукулинский Благун, в молитвах поминаемый как Гидеон Огнеголовый. Заглянули торговцы в тыкву и побледнели, глаза полезли на лоб. Духотища в той тыкве, а на подходе вьюги да ураганы. Сквозь них, сквозь мглу, пробиваются тысячи ратников, нападают на новую кукулинскую крепость. А надо всеми в золотой броне стоит Богдан супротив подданника царева Русияна. Слыхать и стук мечей, и стоны раненых. Кузман говорит, а ему можно верить, что Богдан мой властелина располовинил. А Дамян кручинится – в крови, мол, лежит Богдан у Русияновых ног. Потом в тыкве ладьи поплыли, середь огня карлики на головах стоят, с куполов монастыря потоки водяные – в завертах глаза рыбьи, псы-журавли да сороконожки с крылышками гложут камень и дерево. Кузман с Дамяном соврать не дадут, позови их, скажут тебе. Богдан хорошо умеет в треснутые тыквы глядеть, а меня, видать, позабыл.

Как я понесла? Когда? Виноград собирали, о прошлом годе на успение Богородицы, гроза тогда разыгралась после долгого зноя, дождь принесла и облегчение страдающим лихорадкой. Я безо всего спала, слегка прикрытая, не разобрала, где сон, где явь. Кто-то лег ко мне, а я подумала спросонья – Богдан это. Окликнула я его, а он мне на рот горячую ладонь положил и вроде бы, так мне со сна почудилось, шепотом велел молчать, в селе, дескать, все живое спит. Хоть бы змея меня перед тем укусила, на один бы грех меньше унесла в землю! А я в ту ночь по-бабьи себя повела, думала, Богдан это, надоело ему в треснутые тыквы заглядывать, вот и явился, своему добру хозяин.

А вовсе и не Богдан оказался. Как поднялся он, горячий да молчаливый, в отворенную дверь ударила молонья и на миг лицо осветила. Я так и окоченела вся, лежу онемелая, без крика. Вецко это был, сын Богданов от первой жены. Он как сгинул, а я осталась лежать да корчиться от своего греха великого, которому нет прощения. Дал бы Никита-мученик мертвенького родить, под крестом бы зарыть отросток, которому не расцвесть. Бей меня, проклинай меня, только не спрашивай. Пустое дело. Слышу я его в себе, ворочается. Мой будет, и Вецков тоже, и Богданов. Первому брат ли, сестра ли, а еще сын или дочь, а второму сын или дочь, а еще внук или внучка. Эдакая путаница, с ума спятить впору.

Ратники мне не верят. А Симонида... Грех, говорит, неслыханный. Ежели не от мальчишки ты затяжелела, Велика, стало быть, Богдана проклятого укрывала. Уходи, и чтоб ноги твоей тут больше не было. Никогда. Сна я решилась от скорби, вот и пришла к тебе. Ты в звезды смотришь. Узри погибель мою и молись за меня. Улыбнется ли мне матерь божия, как под радугой я пройду?

Прощай теперь. Монастырю оставляю полотно, что выткала я зимой, слезами его обливаючи, да сберегла под сухим листом иван-цвета.

7

ПЛОД

Горсть жита, охапка сена да глоток воды – житья не стало. Люди бросали свои дома и бежали, не оставляя следов. Слух давно шел – по всему краю встают бунтовщики, а того хуже шайки разбойничьи. Появлялись внезапно, средь бела дня, накидывались без разбору, убивали, грабили и исчезали. В иных шайках не только мужики были. Главную силу составляли вчерашние ратники, плуты из развратников городских, пропащие купцы, обнищавшие богатеи, не поладившие с победителями, завладевшими их землями. Ни дома, ни очага разбойники не имели, пропахивали за собой долгие кровавые полосы. Скоро у них зубы острились, из молочных делались клыками, перегрызающими броню и кость. На каждого погубленного разбойника, посеченного деревенской косой или ратным мечом, сельчане выкапывали по две, три, пять могил – укладывали после сражения в каждую по двое, по трое своих.

В ту пору, два года прошло, как Русиян сделался господином над селами под чернолесьем, особо лютовала шайка Пребонда Бижа. Говорили, молодцы в ней самые ловкие и безжалостные, пять десяток и над каждой десяткой по старшому. Налетали они скопом или, поделившись, отрядами, появлялись сразу во многих местах. Горели села, село отступников Карпа Любанского и Тане Ронго спалили, оставив за собой много свежих могил, Кукулино эта беда стороной обходила – кроме прежних ратников под оружием у Русияна были кузнец Боян Крамола и Богданов сын Вецко да еще двое из города, то ли ратники, то ли беглецы пред законом, Гаврила, со шрамами на лице, и Данила – в дележе добычи его будто обидел Пребонд Биж, и вот он уже не разбойник, а ратник с разбойной кровью.

Русиян, мужики и даже наши монастырские от этого Данилы разузнали все или почти все о Пребонде Биже: маленький, желтоглазый, вспыльчивый, за схваткой наблюдает издалека в окружении половины, а то и целой десятки; к пленным никакой милости – виселицы да костры; алчный, спесивый – нос себе готов отрезать, лишь бы возвеличиться над остальными, а чтобы пугалом не оказаться, тут же себе приладит другой, из золота. За шайкой движутся двуколки, груженные добычей; богатство свое закапывает без свидетелей по тайным местам, заметы ставит, ведомые лишь ему, – на старости все выроет и уберется подальше от этих мест, добьется почета и уважения. У каждой десятки знаменосец с особым знаком на копье – конский хвост, лисьи черепа, серебряное яблоко на цепочке, низка клыков и резцов дикого кабана, высушенная волчья шкура.

С рудника, из края, где жил когда-то постник Гавриил Лесновский, воротился изувеченный Дамянов родич Найдо Спилский, с залитыми страхом глазами оповедал близким, как проезжал села, порушенные Бижовыми разбойниками, – пепелища, мертвяки, скорбь. Села, опустошенные огнем и разбойничьими мечами, видели еще двое, сельский травщик Миялко и Пейо, его дружок, – оба тайком искали спрятанное золото крестоносцев. В их рассказах громоздились горы трупов и костей, кровь лилась рекой, испускающей смертную мглу, солнце помрачали вороньи стаи – обожравшиеся ленивые псы с кровавыми мордами уступали им свою снедь.

Над Кукулином нависал ужас: когда-никогда, а ударит на село Пребонд Биж, злобная и безмилостная шайка, оставит за собой трупы и окровавленные колыбели, плач да стон до небес, обратит становище под чернолесьем в сплошную рану. О чем умолчал бывший Пребондов грабитель, а может, он того и не знал, кукулинцы со страхом нашептывали друг другу. Однажды в Кукулино (я тогда был молодым) заходил то ли с женой, то ли с дочерью иконописец-заика, Исайло, помнится, его звали, так вот, был у него будто бы потерянный сын, который сызмлада взглядом умел сгибать железные копья, выкидывать зябликов из гнезда, вспять обращать потоки. В союзниках у него чума, и меч его не берет. Черный чудодей этот и есть Пребонд Биж. Эта глава кукулинской библии вроде бы не имела под собой истинной почвы. И все же ее не считали ложью.

"Встречал я его как-то, давно, прежде чем пойти в монахи, – припоминал Теофан. – Чародей. Под верхней губой не голые десны, как у Русиянова ратника Гаврилы, а два ряда песьих зубов. Видели – вода в болоте пред ним каменела. Шел как по-

суху. На самом-то деле вышагивал он по мосту из покорившихся русалок да всплывших утопленников. Сверху луна, снизу болото урчит".

"Кузман с Дамяном немало про то знают, – раскачивался на треноге Киприян. – Вам, так и быть, расскажу, а перед отцом Прохором да перед братом Антимом молчок. Робею я их, безгласным делаюсь – богомолец на заточении. Говорят, у Пребонда Бижа в глазницах вместо глаз ужи. С собой семантрон носит, клепало такое, деревянный гонг, оповещающий, когда он к убийству готов, а убивать ему все равно кого, даже своих не милует. Все это Кузман с Дамяном вытянули из пришлого, Данилы этого".

Я знал, да помалкивал: Кузман с Дамяном, как обычно, плели невидимую паутину на невидимое веретено. Из этого прядева Киприян и Теофан ткали туманы и облака, ковыляли от были к небыли, словно вечные заложники несбываемого, одинокие цари с волшебным жезлом, пред которым стихают бури и ураганы, переливаются друг в друга золотые краски и звуки, а сами они плывут сразу в двух ладьях – в ладье прошлого и в ладье будущего.

Меж тем у жизни было свое неостановимое течение. В Кукулине возводилась малая крепость, в три ее покоя уже вселились старые и новобраные ратники, ночами несли поочередно караул оголодавшие добровольцы, прельстившиеся на господское изобилие. Казалось, готовился решительный бой не только с Пребондом Бижем, но и со всеми отрядами отступников и с тем, которым мог предводительствовать Богдан, или Парамон, или Карп Любанский, или, наконец, неведомый Папакакас. В безрядье, смешавшем правду и небылицы, все двигалось по своему порядку. Южнее Песьего Распятия, между Русияновыми дубравами, десяток или больше кукулинских парней, возглавляемые суровым Ганимедом, дотемна обучались ездить на коне, владеть мечом и копьем, уберегать свою голову в битве.

На кукулинском взгорье, в третьем доме от чернолесья, жил Урош с женой Войкой Вейкой, матерью Деспой Вейкой и дочерью Филой. От ногтей до зубов были они желто-зелеными, особенно сам Урош – борода и та с прозеленью. Зеленей его была разве что летняя мурава. Мужиков Урош побаивался, сидел по обыкновению с бабами и разводил сусоли: будто ночью катаются на нем, Уроше, призраки, а днем, истинный крест, ихний петух на навозной куче лаял псом. "Ганимед обучает ребят одним шагом до погибели добираться", – доверительно

нашептывал Урош бабам. Баба его и выдала. До монастыря донеслось: схватили его ратники, и Ганимед двум своим подначальным, молодым да глупым, приказал урезать ему язык. Уроша помиловали. Но то ли от того, что зарекся, то ли от страха великого – аж рубаха его пошла зеленью – Урош онемел и перестал говорить, даже со своими Вейками. А чуть погодя Ганимед же еще двоих покарал, а за что – разобрать трудно. Тяжелым ремнем исхлестал за крепостью Поликсена, соседа онемевшего Уроша, да оставил к колу привязанным шурина его Фиде или Фидана, и все якобы за тот же грех: не одобряли они, что молодые, исхудавшие да ошалелые, за меч хватаются, побросавши орала. "У мужика кожа дешевая", – вздыхал Теофан. Киприян с ним соглашался: "И Пребонд Биж не понадобится. В союзе с дьяволом Ганимед изведет кукулинцев". "Кукулинцам от него польза двойная, – возражал Антим, – мужиков делает опористыми, молодых научает защищать себя да свое добро". Я молчал. Соглашался про себя с каждым поочередно. Обо мне Русиян, наверно, забыл – не звал больше, не предлагал стать старшим над его ратниками. Заимел разбойного удальца Данилу, у которого мог поучиться сам Ганимед. Случалось мне сворачивать в Кукулино. Не признавался себе, а надеялся встретить Симониду. Не встретил, и Русияна тоже не видел.

Безрядье шло своим рядом: умирали и рождались, тужили и пели. И по праздничным дням ковалось оружие: Боян Крамола хоть и пошел в ратники, но кузнечить не бросил, теперь уже с молодыми подручными. Великиного сына крестил Киприян – Илия родился здоровый да румяный, корову впору сосать. Неразлучников Кузмана и Дамяна одолевала старость. Посиживали и подсыхали заодно с козьим мясом, что готовилось все больше для Русияновых кладовых. Пророчили, что Илия в половину своего первого лета начнет ходить. Старость покрывала их морщинами, однако разума изменить не могла. Илия не пошел, как предсказывали старики, зато его мать Велика снова затяжелела. Теперь уж ни ратники, ни сельчане, ни монахи тем паче не спрашивали, от кого. Опасение, что Пребонд Биж нападет на село из-за богатств, укрываемых в малой крепости, погасило в кукулинцах обычную дурашливую веселость, кисловатыми стали усмешки. Редко кто качнет головой: Богдан перепил ради Велики самого матерого кукулинского воина, нету теперь ни воина, ни Богдана, а Велика в Богородицы метит.

"У Русияна в ратниках ты б хоть научился меч держать да копьем орудовать, – укорил меня Антим. – Для Бижа этого
 или Папакакаса и для любого прочего монастырь с кладовыми

да серебром тоже добыча немалая. Головы от них молитвами не откупишь. Тут святители не помогут".

Жизнь созревала, как большой грузный плод, и мы несли его на себе к неведомой трапезе, с которой нам на ладони перепадут разве что крошки, если мы сами не стали крошками для чужой пасти, которая нас жует и заглатывает в прорву черной утробы, безвозвратно. Я – у Русияна в старших? А и вправду, не забыл ли он про меня? И Симонида, видать, не очень-то домогается заполучить меня? И к чему, будто сброд его легче покорится монаху? И в управители крепости не очень-то я гожусь. Просто-напросто не хватает ему ровесника, грамотного и послушного, что его возвеличило бы перед сельчанами и ратниками, да и перед городскими тоже, равными ему или стоящими выше. А может, мне это только казалось. Болтливая паства приносила в монастырь были-небыли: онемевший Урош, уединившись, строил из соломы и грязи загоны для муравьев; другой, небезызвестный Уяк Войче, толстый и гладкий, выловил в болоте карпа, похожего на себя, с такими же косыми глазами; выпоротый Поликсен на спине таскал живого осла – скотинка-то поумней хозяина, ее тяжелым ремнем не хлестали; на плече его жены Рины выросла крохотная церковь с алтарем и бронзовым куполом; Фиде в вареном яйце обнаружил живой ореховый лист; двое выдумали исцеление: раздобыв могильную косточку, втайне освобождались от ухозвона; теперь и глухой Цако, Урошев родич, слышал, как трава выпивает росные капли, а исцелители, Чако Чанак и Андруш Злослутник, некогда и сами глухие, взяли за врачевание одного лишь барана старого; еще мудрее оказался Блажен, одетый в медвежью шкуру, подобно покойному Петкану, глядя в омет соломы, все повторял: солома, загорись, и солома, покорствуя ему, загоралась; златоискатели Миялко и Пейо, в чаянии разбогатеть, сделались ясновидцами: копай там, где отродился козленок с третьим рогом, и будет тебе искомое. Сами-то копать перестали, все дивились на Цаково пенье – с откупоренными ушами тот знай себе распевал.

Приросший к костылям отец Прохор призывал к молитвам. "Кукулинцы заложили церковь, теперь она брошена мертвым черепом. Покрывается плесенью. В новой крепости появилось еще три покоя, достраиваются и другие, конюшня, поварня, клеть. Примутся и за трапезную, где с хлебом выпиваться будут потоки вина. Гроб наземный. Не будет там ни ступеней, ни башен для стражников и стрельцов. Позор человеку иметь более одного обычного дома".

Русиян обещал старейшине защиту и, если понадобится, помощь. С согласия отца Прохора часть урожая монастырского шла на стражников и строителей. Не подобало иначе: мы монахи, тени, а бремя жизни все тяжелеет. Зной задерживался, хотя листья на яблонях и сливах уже пожелтели. Отзвучал последний крик журавлей в болоте, по ночам из тучи возвращалось его эхо, наполняя людей печалью. Дожди пришли поздно. Слишком поздно, чтоб загасить село Любанцы, богатое свежими гробами, как никогда. Пребонд Биж опоясывал огнем Кукулино. Будто поигрывал перед тем, как ударить по селу, где были какие-никакие защитники – ратники да молодежь, обученная военному ремеслу.

Покуда не вырос каменный пояс, Русиян оградил крепость высоким частоколом. Из-за этого тына рычали, бросаясь даже на тени, четыре головастых кудлатых пса, их отвязывали по ночам, когда они были особенно голодны и злы. Кормили их раз на день, не давали переедать.

Больше недели вытесывали колья для тына. Запах смолы забивался в ноздри. Гибель молодых деревьев, привозимых с гор на мулах и двуколках, растревожила людей. Чернолесье безвозвратно пропадало. "Стеблей повалено неисчислимо", – Киприян ходил в лес, пересчитывал пни. Возвращался опечаленный, шепча молитвы из тех времен, когда был Исааком.

"Сотни сотен кольев, – крестился Теофан. – Неужто столько призраков в Кукулине?"

Призраками были живые. А над могилами мертвых сгущалась предзимняя мгла. Тяжелела. Под ней умирала земля, в черных или серных провалах, усталая, потрескавшая, неродящая, опрысканная демонским семенем, которое прорастет отравными страхами, мраком и щупальцами зла. По селу загулял призрак старого ветра, выпивающий из листьев зеленые воспоминания.

Глухой к рассказам о крепости, отец Прохор делался странным, непохожим на того, каким мы его знали или полагали, что знаем. Вросший в свои костыли, он целыми днями ходил и пересчитывал монастырское добро – от деревянного клинышка в сохе до выброшенной треноги. Караулил несушек, пересчитывал яйца, прикидывал, не убавилось ли козьего сыра. Трудно было понять, таится ли в новом его поведении недоверие к нам, покорным его монахам, или, усиленно старея от старости, он скупеет, страшится, оправданно или неоправданно, черных дней. Скорее всего, хотя и это наверное, набольший наш монах убегал от каких-то своих дум, погружаясь в заботы о мо-

настырском добре и показывая, что жизнь и мир за пределами этих забот его не касаются. На нас, монахов, исключая время совместных молитв, взора не обращал – утром или перед трапезой приветствовал безмолвно, не глядя. Переходил от хлева к стойлу, от кухни к трапезной, пересчитывал деревянные ложки да глиняные кружки, прислеживая, чтобы и наименьшая кроха хлеба береглась для мула или куриц. "Озабоченный, – шепнул мне Киприян. – Озабоченный, а то и напуганный. Неделю назад Русиян объявил через гонца, что явится. Потому он такой, потерял спокойствие. Ждет".

Русиян прибыл в монастырь один, без сопровождения. Бросил поводья коня монаху Теофану и, отвернув взгляд к церковному куполу, велел вызвать старейшину. Сесть отказался. Стоял нахмуренный и гологлавый, без меча. Антим с Киприяном, хоть и были неподалеку, к самозваному кукулинскому владыке не подошли, делая вид, что заняты починкой прохудившейся навозной корзины. Да и он на них даже не взглянул. "Ну и человек, – качал потом головой Киприян. – Спесивый, на глаз точно дуб крепкий, а губы стиснуты и брови узлом завязаны, будто слушает, как червь его изнутри подъедает, подтачивает каждую жилу". Теофан мог оценить его сблизи: в мгновенье странной его неподвижности исходил от Русияна смрад, совсем как от залежавшейся земли из могилы, к тому же на шее с заметным шрамом от меча или виселицы набухали жилы, предупреждали, что терпение его недолгое. Оттого Теофан и поспешил призвать отца Прохора, и старец, словно поджидавший пришельца, явился сразу же, прямой, как и подобает игумену. Не поздоровались, таинство, которое сблизит их на краткое время, было заранее обговорено через вестника, присланного из крепости, под чьим фундаментом мужики погребли сотни пахотных и жнецких дней. Конь, поводья его держал Теофан, вскинулся на дыбы. Приученный к собачьей преданности, норовил двинуться за хозяином, в шерсти золотом топилось солнце. Зашагивая в церковь, Русиян обернулся и укротил его взглядом. Медлительный из-за отца Прохора, похожий на подточенный червем ствол, исчез в полумраке. Слуга царев и слуга божий, приготовившиеся к возвышенному таинству, не подозревали, что у них будет свидетель.

Русиян исповедовался отцу Прохору перед алтарем. Я же оказался случайно за алтарным иконостасом и, укрытый от них, волей-неволей слышал все. Русиян пришел избавляться от душевной муки.

8

ЧЕРВЬ. БЕЗУМИЕ. ТЯГОТА

(Русиян отцу Прохору – на духу)

Глаза прахом забиты, тягота, а не жизнь.

Село проспит свою жизнь на тюфяке непроходимой глупости: поставишь его под ярмо – терпит, разнуздаешь – слепо валится в пропасть. У народца, твоего и моего, ничего нет, кроме зубов для собственного же мяса. Здешний человек ни миром жить не умеет, ни возвыситься в одиночку. Брата родного загрызет, потом – страдает. Дай ему небеса – поделит их на твое-мое. Рвется на части. Так и в семье, разваливается она от дури. Каждый сам по себе, живут наособицу. Но и этого не довольно. И с собой мира до гроба нет, каждый располовинен.

После стольких лет воротился я в Кукулино, и стал меня червь точить. Колесо крутится несуразием, а кругом неведомый рок. Без насилия, отец Прохор, станет село трясиной, засосется в нее без возврата. Теперь вот под моими ногами. Выпрямится – выживет без меня. Ганимед и прочие ратники учат молодых драться. С мечом да косами пойдут на Бижовых душегубов, но могут погубить и меня. Лютый я. После меня явится властелин еще лютее. Так неужто ж завсегда кукулинцам сгибаться? Сам я придумал или узнал от какого-то грамотея надпись с надгробной богомильской плиты: живой на коленях – мертвец, мертвец на ногах – живой. Вот какой червь меня гложет. Кукулино – мертвец покорный. Продает себя и без сребреников.

И крепость моя недостроенная похожа на Кукулино. Ратникам мало женщин, не хватает крови, добычи. Накидываются друг на друга. Вецко, Богданов сын, мой слуга и ратник, истерзался весь. После мужнего бегства Велика с кем только не путается. Дитя заимела. Ратники к ней в постель лазят. Вот и опять тяжелая. Признаюсь тебе, звал я в крепость монаха твоего Нестора, он не согласился. Пришлось поставить старшим Данилу. Был он и в воинах, и в разбойниках – суров. Ганимед злобен и опрометчив, остальные не хотят. Между Данилой да Ганимедом искры так и прыщут: бросишь клок сена – вспыхнет. ”Может, одного мало, зато двоих многовато для закона и порядка в крепости”, – предупреждала меня Симонида. И я понял. Призвал обоих к себе, помирить пытался. Данила молчал да ухмылялся, такого и громом не прошибить. Брови густые, ровно броня медная вкруг глазниц, не разберешь, какие там у него глаза.

Мои псы, дикие, чисто волки, и те перед ним смирялись. Как и все люди. Один только Ганимед противился. У этого глаза голые, без ресниц, как кровавые капли – недостало им чужой крови, своей питаются, тем и живут. Во рту – на два зуба больше, чем у каждого. Может, волком от него несло – псы бесились при нем, даже на привязи. Чуяли злобу ко всему, чуяли это и все люди, натерпелись многие от его жестокости.

Перед осенью Роки и Елен нашли избитого Вецко, Богданова сына. Даже кости поломаны. Парень своего мучителя не выдал. Не распознал, дескать, в темноте. Я подумал было, что это сотворил Ганимед. Признания не потребовал, из такого признания не вытянешь. Тонет, думаю, он в каких-то своих трясинах. Отпираться начнет, только в бешенство меня приведет. К тому же, как и прочие, он был мне нужен: по ночам из сна меня выдергивает опасение – вот-вот ударит на нас Пребонд Биж.

"Пора бы вам разобраться, кто будет старшим, – смерял я их глазами. – Только в выпивке не состязайтесь, как Янко да следопыт Богдан. Лучше нож или меч. Чего ждете, поколитесь, накормите псов своими жилами да костями. Можно и по-другому – я сам выберу, кто из вас двоих лишний. Хотите?"

Молчат, ни раскаяния, ни страха, а ненавидят друг друга так, что вот-вот и вправду тут прямо передо мной пустят в ход и зубы и ногти. Я прогнал обоих.

Бывают ночи, отец Прохор, когда пухнут у меня глаза. Сна я давно решился, во времена побоищ, когда вышагивал по рваным телам, кровавый да озверелый, не чувствуя чужой боли, хотя и слышал стоны от молодых и старых, посеченных и преданных без милости неумолимой смерти. В одну такую бессонную ночь (перед тем мне псов потравили) сидел я на пороге конюшни, тенью в бескрайней черной тени. Тоска одолевала. Хотел распутать то, что меня мучило: Пребонд Биж собрался ударить на крепость, и Данила, который как был, так и остался его человеком, извел псов, чтоб не учуяли шастающих разбойников и не разбудили бы лаем все живое. Но ведь собаки разъярялись и от Ганимедовой тени – с чего бы ему прощать такую невиданную ненависть? Вецко, Богданов сын, кузнец Боян Крамола – Богданов и Парамонов друг, Кузман и Дамян либо кто из старейшин, я ведь у них власть забрал, решатся ли на такое? Сомнительно. Все старались даже днем держаться от крепости подальше. Лазутчик Бижа, которого схватили Роки и Елен, псов не убивал. Не мог. Его порешили и закопали без креста за неделю до того. Не иначе кто-то из этих двоих, думал я, Данила или Ганимед. А может?..

Будь во мне хоть сотня чувствилищ, не провести мне грань между сомнением и явью, между прозрением и мраком крови. Каждое мгновение, проходившее со стуком сердца, противилось бывшему прежде. Время, сотканное из нитей этих мгновений, сгущалось и покрывало меня, не давая собрать силы.

До меня – а я сидел в потемках на пороге конюшни – донесся шум. Еж? Нет. Под зиму ежи забираются в норы. Сова? Нет. Это были шаги, медленные и очень осторожные. Человек или зверь? Стражник, Житомир Козар, за миг перед тем откашлялся на другой стороне. Шаги тяжелые, и все же это не зверь, тын из высоких кольев вокруг крепости неслышно не перескочишь. Зверь из сказаний? Этот зверь пребывал во мне самом, он тяжело дышал, готовый загрызть меня моими же собственными зубами.

Шаги слышались с левой стороны от Симонидиного оконца. Я встал, нашарил рукой палку. Зашагал бездыханно. На миг среди облаков проглянул месяц. Не открыл мне, кто под окном. Данила или Ганимед? – спрашивал я себя. Оказалось, тот и другой. Ганимед как раз пригнулся под окошком, когда на него бросился Данила. Сцепились клубком и грянулись оземь. Мне почудилось, что за окном мелькнула тень. Нет, подумалось, это от лихорадки. Симонида никого не могла ждать. А эти двое молчком боролись. Я встал над ними. "Поднимитесь, – крикнул я, – поднимитесь", – повторил. С палкой в руке походил я на вершителя правосудия с другого света. Обессиленного Ганимеда держали двое – Данила и Житомир Козар.

"Ну, Ганимед? Маешься кошмарами, не спишь?"

"Я проверял стражу, Русиян. Пребонд Биж мог заслать лазутчика".

"Проверял стражу под Симонидиным окном? Уж не по требованию ли начальника твоего Данилы?"

"Ты мне свидетель. Он хотел меня убить".

"И убил бы, – отозвался Данила. – Удушил бы собственными руками".

"Погоди, Данила, – прервал я. – Мне надо его спросить... Это ты отравил псов, Ганимед?"

"Нет, клянусь. Я был и остаюсь твоим ратником".

"Был, но не остаешься. Свяжите его. Нынче ночью будем тебя исповедовать, Ганимед. Нож, прижигание подошв, колючки в глаза. Сборщик костей Черный Спипиле уже завтра свое получит".

Тут Ганимед рванулся из рук и, не успел я понять, что случилось, домчался до тына и перемахнул его. Мы замешкались.

Кинулись к запертым воротам – устроить погоню. Не догнали. Густая тьма поглотила его, оттащила к горному чернолесью, а дальше – бог весть куда. Нынче же перекинется к Пребонду Бижу, подумалось мне. Обменялись подарками. Он мне разбойника в ратники, я ему своего ратника в разбойники.

На заре я вошел в Симонидины покои. Она спала, укрытая шкурами и волосами. Я склонился над ней. Дышит ровно. Неужто ждала его, этого Ганимеда? Его, вскипала во мне кровь. Псы ей мешали. Выходит, она их тайком потравила? Я стоял онемело, не прикасаясь к ней. Белокожая, с полуоткрытым ртом и тонкими детскими бровями, на блудницу не походила. Однако во мне осталось предчувствие обмана, даже сейчас, на исповеди, не проходит. Молод я, а жил долго. Сделался одиноким. Уступлю монастырю две дубравы, часть земли и коней в придачу за твоего монаха, бывшего Тимофея. Не хватает мне близкого человека, терзают меня сомнения. Никогда так не было.

До бегства бешеного Ганимеда я думал, он питает слабость к парням, вот и Вецко избил за то, что не покорился. К Симониде, к женщине, с чего бы его вдруг потянуло? А если и потянуло, неужто пустит она его в свою постель? Червь точил мне рассудок, я прямо рычал про себя. Призвал Вецко, стал выпытывать, кто и за что его бил. Пригрозил, что живым закопаю в землю, коли не скажет.

"Родитель мой, кто ж еще", – съежился он вдруг.

"Богдан?" – изумился я.

Он испуганно поперхнулся:

"Да. Донесли ему, что Илия, Великин сын, моего семени. Теперь-то уж он поди далеко".

"Ты разглядел его, уверен, что это он был?" – допытывался я.

Заплакал:

"В темноте напал, молча. Я уж и сам не знаю. Никому я не делал зла, не за что мне мстить. Клянусь, никому".

Я словно в топь погружался все больше, сам удавленник, я, того гляди, еще кого-нибудь удавлю, хоть кого, чувствую, как пальцы сжимаются вкруг Симонидиной шеи.

Исповедуюсь вот, пока. Горькой стала у Симониды улыбка. В глазах презрение. Избегает меня. Смилуйся надо мной, уступи мне его – рядом с монахом Нестором, может, я успокоюсь, избавлюсь от тяжких мыслей и от искушения злого.

Мне пора. Призракам в крепости без меня неповадно, ждут они моей крови.

9

РУКА

Настоящее, а не будущее, умерший завтрашний день.

К северу от Кукулина, под горным гребнем, лежит укрытое древесами и тайнами место – две малые и одна большая пещеры. Как раз над ними нависает крутая скала в полрастега. От села и от монастыря туда ведут несколько тропок, они встречаются, перекрещиваются, снова расходятся, но до пещер добегают все. Из трещин той скалы выбивается синеватый мох, единственный во всем крае. Травщики, исходившие землю от истоков до устья Вардара, клянутся, что нигде похожего не встречали. Может, потому место это и называется Синей Скалой.

На верх скалы забираться трудно, с камня на камень, кружным путем. Там, в обруче из деревьев, ровное место с забытым именем – Разгром. Когда-то, в отлетевших столетиях, сберегая еду и семена, сельчане с согласия сбрасывали бесполезных старцев вниз, освобождая их от тяжкого бремени жизни. И сейчас еще среди жилистого кустарника можно найти потемневшие человечьи кости. Этот страшный обряд творился в январе – месяце Богоявления. Зимой звери, волчьи стаи и дикие кабаны, питались мертвечиной злосчастных старцев, тем самым оберегая Кукулино и ближние села от хвори. Волки меньше резали скотину, сытые кабаны делались неуклюжими пред ловцами.

Возле Синей Скалы есть роднички с белым дном. Одни полагают, что это окаменелая рыбья чешуя, а другие ищут в песке серебряный слиток. Помягчело Кукулино, очеловечилось: давно не отбирают у стариков жизни, вразумленные словом Христовым, как верует отец Прохор. Синяя Скала, обильно поросшая рябиной, дикими грушами и яблоками, малиной, кизилом, крапивой и диким луком, стала отшельничьим местом. Отшельник, имевший козу, бывал сыт – крошил в молоко корочку дареного хлеба. Те, что покрепче, собирали яйца полевых и лесных куропаток, перепелок и рябчиков, тем, кому невмочь было зимовать под небом, крестьяне открывали двери своих домов и делили с ними кусок.

Круговорот прошлого словно замкнут в скорлупе из затвердевшего воздуха, где корчится деревенский разум, испуская таинственность, подобно слабому зимнему дыханию, возвращающемуся в виде тумана, за пеленой его нижутся обличия невозможного: отшельники, ожившие мертвецы, призраки, птицы, высиживающие чудеса. Невидимые и безымянные

эти призраки делаются частью человеческой жизни, нитью, связующей поколения страхом и пристрастием к страху. Для здешнего человека истина то, во что верит он сам, а верит он во все, чего не испробовал на себе. Кто знает, может, так удобнее – убегать от каждодневных тягот, от ломающих нас бурь и вихрей, от страха подлинного в страх сладкой жути.

Сыскони, задолго до того, как был построен монастырь Святого Никиты, сельчан волновало предание, ставшее одной из глав местной библии: время от времени, особенно в ласковые ночи, когда засыпает вода, земля отворяется и из нее высовывается исполинская рука, с жилами не тоньше молодого букового ствола. Те, кто видел ее, а таких осталось немного, старые или молодые – повихнувшиеся свидетели жути с посинелыми белками, усохшие, трясучие, поседевшие, останки вчерашних разумных хозяев или крепких дровосеков и овчаров, – долго не заживались. Сперва у них отнимались руки, начиналась сухотка. Сморщенные, истаявшие, безгласные, потемнелые, в болезнях уходили они с этого света, оставляя на земле хмель преданий. Одно повторяется и доныне, здесь и окрест.

Пять пальцев той исполинской руки имели на изборожденных подушечках черные губы, постоянно вытянутые. Они всасывались, впивались во все, к чему прикасались, – в зверя, в живого человека, в мертвеца. Более ста лет назад у подножия Синей Скалы сшиблись пришедшие издалека крестоносцы под тяжелой броней с драными, но неустрашимыми селянами из чернолесья. После многодневных битв утоптанная трава устелилась тысячами кровавых трупов. Не надолго. Губы исполинской руки засосали их в себя – не успели орлы восславить согласие человека со смертью. Пять глоток, соединяясь, спускали добычу до утробы земной, однако синие глаза воителей глотка отказывалась принять: ими напитался камень – пророс мхом. Мхом этим, и впрямь синим, сельчане нередко лечат глазные хвори, воспаления век и даже слепоту.

Случается, я подолгу вглядываюсь в свою руку. Словно вылеплена из земли. С тыльной стороны протянуты жилы. Пальцы не корявые, длинные и розоватые на концах, ими я когда-то видел грешные сны – прикасался к молодой теплой плоти. Кожа золотистая, через нее, наверно, вдыхается солнце. На ладони три косых борозды, кто знает, какая из них мой истинный путь, начертание судьбы.

Пытаюсь представить эту руку громадной, заросшей волосом, с кривыми пальцами. Она пробивается из земли и, укрывая своей живой тенью деревья, растет. Букашки в панике рас-

тревожились, только это уже не букашки, а люди – дровосеки, пастухи, собиратели трав и ловцы. Гора затаилась, дичь, от барсука до медведя, попряталась в норы и в ежевичник. В каменных пещерах Синей Скалы черепа стародавних отшельников завывают от ужаса.

Гору покрывает снег, который бороздят голодные волки. Осень нынче подзадержалась до самого дня Святого Николы, зато теперь невозможно сыскать дорогу под снежными наметами. Возле родничка с белым дном в сосняке перед монахом Киприяном неожиданно вырос беглый ратник Ганимед. Трава вокруг в крови. В руке меч, на губах усмешка. Отдыхивался тяжело.

"Нынче ночью здоровенная ручища пыталась меня схватить и засосать. Спасся мечом. И она, вся кровавая, убралась под землю".

Киприян слушал и молчал. Не имел силы слово вымолвить. Ганимед потребовал, чтобы к вечеру он привел к нему коня из подаренных монастырю бывшим его господином Русияном. Хотел своего жеребца – с белой отметиной на лбу.

Что поделаешь? Доверившись лишь монаху Теофану (от него я это и слышал), Киприян отвел коня к Синей Скале и оставил его привязанным к дереву – Ганимед придет по свое. Антим впустую рыскал по горам. Коня не нашел. И Ганимед исчез. Оставил по себе слухи и загадки.

В ту пору я уже не был монахом Нестором. Отец Прохор меня размонашил и поменял на часть Русиянова добра. Я не стал ни старшим над ратниками, ни ратником, а назначен был в управители властелинова имения. Далеко от монастырского мира, с Симонидой рядом. Она меня называла Тимофеем. Жил я затворником в домике покойной матушки Долгой Русы. Меня убивало безделье, губили пьяные ночи с молчаливым Русияном. Когда Русиян дня на три отбывал в Город известить тамошние власти о своих селах или отправлялся на ловлю, я по его воле переселялся в самый большой покой недостроенной крепости. Обычно перед сумерками ко мне приходила Симонида, усаживалась напротив, молчала. Я горел, одоленный ее зовущей молодостью. Но руку протянуть не решался. Она сделала это сама. Теперь она заимела двоих мужей, Русияна и меня, может, взамен сбежавшего Ганимеда.

Я снова склонялся над своими ладонями. Другими стали, чем прежде: больше борозд и подпалины, оттиски пылающих почек – Симонидины груди кормили солнце, впитывая его лучи.

 Тот жар до костей пропалит мне руки.

После любовных восторгов мы расходились, одиночеством прикрывая грех. И при первой же возможности спешили сблизиться снова, задыхающиеся, голодные и ненасытные. И снова в молчании расставались. Мое лицемерие перед хмурым Русияном обращалось в опасную игру. Как и лицемерие Симониды. Сколько раз проводила она мягкой ладонью по его волосам, а ведь так же ласкала она и меня. Я пылал огнем. Ее белая рука увеличивалась в моем сознании и с затаенной в пальцах угрозой заполняла все. Я же умалялся. Убегал от этой руки во сне, когда невмоготу было пошевельнуться, призывал Симониду, требовал избавления. Просыпался скорчившийся и перепуганный. Брошу ее, вернусь в монастырь, клялся себе. Но стоило Русияну удалиться, хотя бы на короткое время, все начиналось сызнова.

Белизна дней закраплена черными подвижными пятнами. Вороны словно чуяли зло. Каркали угрожающе. Мой внутренний крик, непрерывный с мига прелюбодеяния, перекрывал голос стай. Доводил до безумства.

Ночи держали село в оковах льда. От них и от себя, проклятого, мне не сбежать. Видно, время Черному Спипиле закопать мои кости.

Эта ненадобная, полагаю, хроника не очень обогатится, если упомяну, что в те ночи то ли душа моя была истощена грушовкой, то ли разум сдвинулся, а может, то и другое вместе. Открываю ту страницу жизни своей, когда я, подобно дубовой сохе, оказался заброшенным неподалеку от Синей Скалы. Ни тогда, ни позднее я не доискивался причин своих ночных судорог на том таинственном месте и не знал, что меня завлекло туда: бежал ли я от греха или собрался испытать предание о выступающей из земли руке. Не верилось, что, зачарованный Симонидиным исступлением, я, хотя бы на одну ночь, захотел вырваться из этого исступления, бесновато пренебрегая карой, готовой на меня обрушиться и раздавить. Кабы знать это, было бы легче: а вдруг меня мучает жажда жутковатого страха сама по себе, не ради испытания геройства и не ради побега от смятенного ежедневия?

Я не был монахом, имя Нестор мне не пристало, и прежним Тимофеем я тоже не был. Молодость опочила в глубинах пролетевших мечтаний, может, не дождусь я и старости в рясе и в монашеской келье. И вдруг, неведомо почему, подумалось, что я, наверное, был не один приемыш у матери Долгой Русы, представилось, как рос я в голодном доме с оравою ребятишек, самый забитый, отступающий перед буйством малолет-

них насильников, чтобы теперь доказывать себе самому умение проникнуть в тайну, прикоснуться к ней.

В колдовском опьянении я жевал измельченный корень, который загодя отсыпал из торбы звездочета Киприяна. Ежась от холода, перемалывал его зубами. Теперь в отличие от прошлого раза я различал в корешке вкус: сладковатость тимьяна и неведомого толченого семени, я не знал какого и потому не дивился, что пробую на вкус то, чего, может, и не существует. И вдруг таинственный корень стал завладевать моими чувствами, полегоньку умертвляя сознание. Меня уже ничего не подталкивало проверить себя: я пребывал под Синей Скалой, словно обретался тут десять, больше – тысячу лет и столь же недвижимо могу пребывать, я или кто другой, завтра, через десять, тысячу лет, среди таинственного леса и отшельничьих скал: разумный, я стал оледенелыми глазами; слабею и таю: завтра от меня останется лужа, но сейчас я впиваю в себя знакомые и незнакомые шумы. Конь – я на нем приехал к Синей Скале – бил копытами о твердую землю и пофыркивал, согнувшись над поваленным грабом, к которому я привязал его. По круче скатился мелкий камень под лапами осторожного зверя, может, рыси, а может, медведя, зверь не приближался ко мне, хотя и не удалялся. Давидица извилисто тянулась вдалеке и при том, казалось мне, по-змеиному заворачивалась вокруг моих ног. Отовсюду находило журчание, словно живая вода сочилась среди скальных отломов, однажды обрушенных с высоты ураганом или потоком и нашедших тут свое вечное место. Из удаленных людских становищ, где я никогда не был и о которых никогда не слыхал, набегали волнами крики, скрип повозок, конский топот; завывали псы, гудели бронзовые колокола, топоры рушили тяжелые стволы. В этой звучной волнистости смешивались ночные любовные зовы цикад и дневное щебетанье зябликов, рев скотины, клекот голошеих кречетов и грохот бури; кто-то заходился одышливым смехом, прерываемым женским надгробным плачем и вскриками свадебщиков, блеял баран. Я понял, что чувства отступают перед душевным напором, обманываются и обманывают меня, хотя и не удивляют – в тот миг я бы не удивился даже возможной погибели, которая совсем легко, не ошеломляя, сталкивает смертного с концом и лишает будущего.

Потом налегло безмолвие – и началось. Такое могло случиться только на солончаке, где нет ни пырея, ни муравейника. Мертвая почва в полном мраке усеялась холмиками, словно слепые кроты пытались вылезти из своих переплетенных укры-

тий, затем холмики стали рассыпаться на мелкие комья. Все более яснея обличьем, из земли пробивались руки в нежном обрамлении своего дыхания, собственной светящейся розоватости. Подземный зверь, титанический и руковидный, открывался мне в раздроблении, во множестве своих двойников.

От сжеванного корня – его благословил вымышленный бог Морфей, сын властелина снов Гипноса и внук Ночи, – челюсть моя отерпла. Только челюсть, тело же сделалось бесплотным, но с очами, пред которыми не было тайн. На локоть выступающие из земли, эти руки шевелили пальцами, всякими – то мягкими, то скрюченными и ногтистыми, иные алчно протянуты, другие гибкие, угрожающе согнутые и упертые в меня. Эти руки могли принадлежать бывшим пахарям, завоевателям, грабителям: с потомственными мозолями, с чужой кровью на коже, с грехами – их прикосновение способно ожечь. Каждая рука имела перстень на безымянном пальце, с сапфиром. Я силился вспомнить. Не мог. Такой перстень я уже видел. Когда, где?

Ни к чему спрашивать – блистание синих камушков угасло и пропало. Там, где было скопище рук, выступавших из земли, на троне из разлившегося света восседала с невинно опущенной головой молодая женщина. С округлых ее плеч спускался прозрачный плащ, в складках сохранявший отсвет весенней рощи, под ним вздымались большие женские груди. Она оперлась о колени локтями, подбородок уткнула в крохотные ладони, не догадываясь, что за ней стоит кто-то прозрачный, я не мог разглядеть лица.

Эта женщина – Симонида. Густые волосы с выбивающимися завитками образуют мягкий золотисто-зеленый венец вокруг головы, живыми искрами отгоняя от себя тьму. Верхняя губа с едва заметной припухлостью, розовая и сочная, прошептала с трепетом имя. Не выпячивая и не округляя полуоткрытых губ, как при произнесении звука "у", но растягивая краешки, словно выговаривая некое "и". Значит, не Русиян, а... Положив на колени руки, женщина без труда сняла с правого безымянного пальца перстень с синим камнем и, прошептав мое имя, бросила его мне, в мою невольно вытянутую ладонь. Стоявший над ней склонился, и Симонида назвала его по имени. От его дыхания она повернула голову. Встала и обняла, и тут я разглядел, что рядом с ней не кто иной, как я сам – Нестор и Тимофей. Я сжимал ладонь, подпекаемую куском обработанного металла – в правильном круге золотая змея с синим сапфиром, зажатым в пасти.

Что-то словно бы их спугнуло, Симонида и тот другой Тимофей вздрогнули. Стояли, прижавшись друг к другу, и глядели на меня. Отступали, пятясь, шаг за шагом, мягко, неслышно, похожие на сгустившийся пар, игрою случая напомнивший знакомые силуэты. Тьма поглощала их, поглотила, унесла прочь от навязчивого свидетеля. Не было и рук, выступавших из оледенелых кротовьих нор. Подняв глаза к Синей Скале, я уже не стал дивиться: она тоже обретала форму исполинской руки и пальцы ее терялись в тумане, спустившемся с высот.

Я повернулся, мне не оставалось ничего другого, как сесть на коня и пришпорить его, пусть сам ищет и находит среди стволов и кустарника дорогу на Кукулино, в недостроенную Русиянову крепость. Позднее я спрашивал себя, уж не пережил ли я под Синей Скалой сон Симониды, посетивший ее в ту ночь.

Позади меня завывала в чернолесье волчья стая, и словно бы не от звериного голода, а от отчаяния проклятых. Мгла ослепляла их, они не гнались за мной, и тут я вспомнил, что это

зверье – потомство пса с железной, как говорили, мордой и одинокой волчицы из времен, когда в мелкой пещере Синей Скалы жил и умирал всеми забытый отшельник Благун.

"Русиян тебя обыскался, не пьется ему без тебя, – встретил меня у крепости Роки. Бородка его покрылась инеем. Словно бы знал, что я зажимал в ладони. – Лютует, Симонида потеряла перстень, что он подарил в день венчанья".

Наутро я горел в лихорадке.

"Что с тобой? – спросила Симонида, когда я протянул ей перстень. – Я тебе подарила, возвращать не надо".

Я попытался вспомнить. "Подарила мне его, когда?" Вздохнула: "Господи, да что с тобой, Тимофей?"

Через несколько дней я показал перстень насупленному Русияну.

"Нашел перед крепостью", – вымолвил со скрытым волнением. Он взял его, кончиком пальца провел по синему камню.

"Не знаю чей, я такого никогда не видел. – И вернул. – Возьми себе – ты же его нашел".

Подобно смерти его:
успение вражду умножит.

(Псалтырь враждующих)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

ДАНИЛА

Нет ничего равного человеческим мукам.

Прорицатели предсказывали Кукулину: придут времена, когда человек человеку станет крысой, полчищем крыс: ноготь – крыса, перст – крыса, зуб – крыса; в разуме коварство крысиное, в крови крысиная злоба.

Один я, без Ераста, бессильный кого-нибудь наставить и научить, стало быть, и непотребный селу.

Снег возле крепости утоптался, напоминал слюду, по его синеве ширились ржавые пятна. Только в горах на северном кряже еще сохранилась девственная белизна. Солнце, разгоняя туманные пасмы, долго задерживалось на земле. Делалось прозрачным и яйцевидным, его желток вызревал. И вправду, что-то происходило с моим рассудком – ему стали покорны чувства. Горы волнами сгибались и выпрямлялись, шумы, дотоле ведомые одним ушам, принимали обличья зверей и кустов, в которых путался ветер. У пней вырастали руки, они отмахивались от веретенообразных шершней с жалами, напитанными смолой. Старая крепость понурилась, похожая на громадную ужиную кожу, ползла, выпуская мягкие рожки и оставляя за собой липкое серебро. Вонь от отхожих мест и свинарников затвердевала перед дождем, и казалось, лишь киркой пробьется эта затверделая скорлупа, уберегающая злой смрад, пустошащий легкие. Даже вино теряло вкус, даже хлеб; прогорклость надолго впитывалась в губы и язык.

Я не безумствовал. Такие миги находили редко. Но усталость, ночное сидение над писанием при факеле или свечах – под стать безумию. Меня томили воспоминания, томила неизвестность.

Давидица, словно вызволившись из оков, спешила всем полноводьем пройти под радугой сбывшихся снов. Между крепостями, старой и новой, тянулся с кукулинских кровель дым. Закраины болота покрылись молодым зеленым камышом и ряской. Еще не вылупились головастики и сазаний нерест был далеко. После подснежников и ожившего кардовника украсился сережками орешник. Вербы вдоль берега реки исходили зеленым паром. С их веток ветерок разносил белые капельки пены.

В такую пору раньше сыпало недолгим снегом. Ныне же опускались бурливые дожди. Трава в предвечерья становилась

сочной, а рассвет встречала, укрывшись инеем или туманной пеленой. По нивам испарялся навоз, благодетельный и для ячменя, и для пырея, к нему слетались мухи. Из рощи отзывались рябчики. Кожухи отяжелели. Деревенская ребятня кружила по лесу в поисках ужей. Поутру в косых лучах светилась паутина на можжевельнике, подрагивала блестящими каплями, а не вчерашним инеем. Тенистые овраги покрывались зарослями, упрятанные кустами оживали подлесники, сквозь чащобу листвы пробивался щебет птиц и шелестенье крыл. Весну приветствовали вороны, двинулись и клопы старыми балками, протачивая ночами путь к тюфякам кукулинцев.

Я вроде бы до сих пор не помянул в своем писании старичков – Невена и жену его Радику. Жизнь повязала их узлом, а смерть обходила, не давая разлучаться. Имели двух сыновей, Захария и Жупана, снох Гену и Борку да ораву внуков. И вот теперь на груженых двуколках, забрав коз, сыновья и снохи покидали село – опасаясь разбойников. "Сами вы разбойники почище Пребонда Бижа! – злобно скрививши губы, кричал им вслед Невен. – Бегите, сынки, бегите, чтоб завтра некому было меня закопать". Снохи шмыгали носами, плакали и детишки тоже, их было семеро: Каменчо, Любен, Шана и Родне – от первой, и Боци, Румен и Первослав – от второй, все до единого конопатые и ободранные, точно пугала. Захарий и Жупан не объясняли, куда бегут и когда воротятся. Даже не оглянулись на родителей. "Пусть их, – пыталась Радика успокоить старика, до сердца разобиженного и распаленного. – Поплутают малость да вернутся, не завтра, так послезавтра".

Сыновья отъехали и не воротились даже через неделю, теперь про них никто и не поминает. Внезапная теплынь размягчила людей, они перестали чуять беду, которой до того опасались. Невен, сгорбившийся и совсем одряхлевший, уходил на погост – выискивал себе для могилы место. Выбрал и пометил двумя молодыми яворовыми деревцами, принесенными с гор. Стирался, точно денежка, сотню лет переходившая из рук в руки. Никто его не замечал, каждый жил для себя. И люди, и псы, и все, что на них, – и клещи и блохи. По вечерам хлеб и соль вкушались не как раньше, а вперемешку с тягучим страхом – горьки они, куски людской муки.

Ежедневие. В нем словно бы затаилась угроза. Однако...

...Разбойники Пребонда Бижа налетели до солнечного восхода, с гулом лавины обрушились на Кукулино с трех сторон. Первая десятка спустилась с гор, другая подошла со стороны Давидицы, третья, предводимая Ганимедом, продралась с бо-

лота. Хоть и не щадили по пути никого, главной целью их была новая крепость. Особенно для верхоконных: в десятку входило по четыре конника и от шести до десяти пеших.

Был воскресный день, и в крепости строительных работ не велось. Русиян с Житомиром Козаром и Роки до свету еще отправился на лов. Остальные ратники отсыпались после долгой пьянки; я только что выкрался из Симонидиной опочивальни.

День мог бы оказаться совсем обычным – за болотом поднималось солнце, в удлиненной дубовой тени перекликались куропатки, сельчане шли к монастырю, чей треснутый колокол сзывал на богослужение. Мог бы. Но не оказался. Полыхнули сенники, пешие из трех Бижовых десяток гнали перед собой заграбленную скотину, конники пробили ограду крепости.

Елен, бывший на страже и уснувший на свежем сене, даже не успел удивиться – посекли. Голова его, похожая на малый церковный купол, лежала у вытянутых ног, из шеи брызгала кровь. Все у него было мертвым. Только глаза, на диво голубые, любознательно вглядывались в небеса. Без сомнения, он был мертв от одного удара мечом, но в этом воскресном служении каждый из разбойников спешил принять кровавое причащение.

В шаге от него ратник Гаврила, взлохмаченный и распухший, голыми руками схватил изможденного бородатого разбойника – тот слезал с коня, намереваясь броситься внутрь крепости. Чуть успел ступить на землю ногой, как Гаврила прихватил его со спины и до первых суставов вбил указательные пальцы ему в глаза. Надлетел Ганимед на коне и порушил обоих. Осадив коня, выгнувшегося дугой, он сильным махом направлял меч точно в грудь ратнику. Вытянутая рука ослепшего разбойника смягчила удар. Гаврила, выхватив из-за пояса то ли нож, то ли секиру дважды изувеченного разбойника, попытался подняться. Но в затылок ему впилось копье с зазубренным острием, потемневшим от старой крови. И Гаврила обрушился, словно тяжелый ствол.

Я лежал под стеной конюшни, видел, как двое выгоняли Русияновых коней и скотину. Окровавленный, посеченный мечом, окоченевший и беспомощный, немо, с необъяснимым спокойствием и без страха следил я за битвой. Откуда-то, босой и громоздкий, вывернулся кузнец Боян Крамола. Размахивая мечом, сработанным по своей мерке – длинным, неподъемным и для двух рук. Встретили его в копья, мечами с ним биться

и не пытались. И он, и его недруги словно заплетались в собственной тени. Вопили. Один упал под копыта своего откормленного пегого коня. Боян Крамола двинулся было к нему, хотя и без надобности – меч оставил разбойнику полголовы, она держалась на жилах и коже, клонясь завитками волос к плечу. Копья разбойников разом пресекли сопротивление – теперь и Боян Крамола, не выпуская меч из рук, лежал в крови неподвижный.

От села поднимались стоны и дым. За Песьим Распятием тоже резня. Но это было далеко, в тех глубинах, куда не доходил ни мой глаз, ни мое сознание. А рядом – бурление страха: смех и стон, ссора из-за добычи, конский топот, на куски разъятые люди. Кровь испускала смрад, от него воспалялись ноздри, жар проходил горлом и возвращался, наполняя горечью рот и высушивая язык.

Откуда-то появился Данила, чистенький, с улыбочкой на лице, озаренном солнцем. Меч у пояса, руки свободны. Направился к нахмуренному Ганимеду. Оскаленные, меряли друг друга взглядом, их тени покрывали меня.

"Ну, Ганимед? Пребонд Биж просветил тебя?"

"Тогда я не знал, что ты в крепости его человек".

"Не забывайся, я не просто его человек".

"И брат, теперь знаю".

"И брат, помни это. Я ведь тебе чуток задолжал?"

"О чем ты? Все позади".

"Позади? Ты и вправду, Ганимед, забываешься. Моя якобы преданность здешнему господину была уловкой, она помогла этой победе. С тобой по-другому. Ты предатель. И опять предашь, погубишь и брата моего Пребонда Бижа. В его прозвище нашлось кое-что для тебя. Три буквы. Биж. Первая – Болван, вторая – Игрушка, третья – Животное. Только ведь и я своего рода Биж. Три буквы, но толка совсем иного – Бесчувствие, Ирод, Жестокость. Ну-ка, угадай теперь свое будущее".

Ганимед не ответил. Может, не успел. И меча не поднял. Из крепостных покоев длиннорукий разбойник тащил полураздетую Симониду. Она не выглядела испуганной. Норовила вырваться из черных рук. И не по-женски. Как зверь, выдирающийся из когтей более сильного зверя.

"Пусти ее! – крикнул Данила. – Она и без тебя умеет ходить".

Длиннорукий молча и неохотно выпустил Симониду и скрылся с глаз. Симонида отвела с лица рассыпавшиеся волосы и, округлая, маленькая, босая, подошла ко мне. Присела. До

того мгновения я не знал, что ее глаза в зеленой своей глубине осыпаны золотыми крошками. Притронулась пальцами к моему лбу.

"Проклятые. Всего тебя посекли".

Ганимед и Данила стояли за ее спиной. И казались мне очень высокими, теменем они уходили в ад, который клокотал во мне, вместе со страхом и неизвестностью обращаясь в колючий, злобный, отравный плод, составляя две его половинки – и в каждой моя смерть и поругание для Симониды.

"Убейте меня, – прохрипел я. – Останусь жив, отомщу вам".

"И убьем, – Ганимед протянул руку к мечу. – Тогда в монастыре мне этого сделать не удалось. А сейчас..."

"И сейчас ты этого не сделаешь, Ганимед, или как там тебя еще называют – Ган, Гано, Гани, Гана, – без угрозы и все-таки зловеще отозвался Данила. – Может, я убью его сам. А тебе не дозволю. Там, где ты пожелаешь сеять смерть, я стану раздаривать жизнь. А ты, женщина, помоги ему. Перевяжи раны, коли умеешь".

Из крепости выбивался дым. Огонь перекинулся на высокую ограду. Горела пустая конюшня, вслед за лошадьми и скотом оттуда вытащили двуколки, на которые теперь грузили награбленное – жито, кади с маслом, мед, вяленое мясо, вино, низки лука и перца, сало, воск, ткани, звериные шкуры.

Ослепленный, оставшийся без руки разбойник поскуливал по-щенячьи. А я про себя выплакивал свою боль.

"Патрик, – призывал он. – Ты брат мне. Упокой меня, не оставляй мучиться".

Патрик подошел, присел перед ним.

"Не бойся, Иосиф. Мы тебя спасем. И с одной рукой можно жить".

Раненый повернул к нему голову с пустыми, вытекшими глазами.

"Я слепой, убей меня, убей или дай мне нож, я сам себя порешу".

Отирая слезу кончиком пальца, Патрик поднялся.

"Не могу, брат. Мы одной крови. Будь проклят тот, кто тебя оставил без глаз". – И всхлипнул.

"Сына у меня убили! – кричал Дамян. – Убили моего Босилко".

В общем адовом вопле поминались и другие сельчане, среди них и Кузман. Тянувшийся ввысь дым не мог догнать плач Пары Босилковой по мужу и Лозаны по отцу своему Кузма-

ну – а мне-то старик представлялся вечным. Меня вели полоняниным, я не примечал живых, запоминал только мертвых: Пейо, при жизни он меня мало касался, – без обычного румянца на лице, окровавленный; Найдо Спилский, сорокалетний, недавно воротившийся с рудника без средних пальцев на левой руке, – защищался косой, не отбился; травщик Миялко, взятый прямо с постели, обезглавленный, – подплыл кровью. Мертвые, и среди них я со смертью в себе. Не убили меня, только скинули с правого мизинца золотую змею с синим камнем, зажатым в пасти.

2

ПРЕБОНД БИЖ

Путь, которым удалялась проклятая шайка, увозя на двуколках раненых и добычу, угоняя награбленный скот, тянулся день, ночь и еще один день. Одолевая лихорадку и боль, я с покорной своей ослицы старался уследить, какими местами, знакомыми и незнакомыми, мы уходим. Во мне теплилась надежда сбежать и, если меня не убьют в разбойничьем логове, воротиться в Кукулино, чтобы собрать дружину для мести. В первый день все в моем сознании перемешалось: дороги и бездорожья, кинутые становища на горных пастбищах, ручьи и рощи – все уплывало от меня волнами. Меня охватывала полудрема. Дважды я сваливался с ослицы и еле-еле возвращался в седло, бессильный запоминать овраги, скалы и пустые селения, откуда чума да битвы вымели жизнь. С пустошами и камнем соседствовали заросли кустарника и рощи, потом тянулся редкий можжевельник, он уступал простор пастбищам и брошенным, давно порушенным стойбищам. Мы то карабкались вверх, то спускались. Груженные добром повозки двигались с охраной, окольным, трудным путем. Раненые разбойники, размещенные на двуколках, стонали, особенно однорукий, ослепший Иосиф. Внезапно он успокоился – теперь его везли мертвого на погост, в Бижанцы.

Про Симониду я думал редко. Некто во мне, отличный от меня прежнего, послушника, монаха, управителя Русиянова дома, горько верил, что она, не больно скорбя по своему дому, доброй волей поладит с разбойниками. Ее лик, зеленые глаза, румяность губ являлись мне словно из другого столетья, из другого мира. Я не видел, как ее увозили, наверное, она была где-то в голове колонны, которая волоклась извилисто и слов-

но бы неохотно, похожая на большую и зловещую гусеницу. Она приходила из забытья и расплывалась снова. Страшная резня, убитые в крепости и в селе, пепелища, крики раненых и лишенных крова заполняли меня целиком, до темени.

Ближе к сумеркам, еще пропитанным запахом крови и гари, наше скопище остановилось в дубовом лесу, распадаясь на группы, не слишком удаленные друг от друга. Я, вывалившись из неудобного седла, скорчился на влажной земле. Лежал ни живой, ни мертвый, в часовне из сгущенных теней, без брани и без молитвы, окровавленный и до странности равнодушный к тому, что меня ожидает. Смерть и будущее за меня не боролись, не считали меня своим. У мертвых будущего нет, а живые рабы близки к своей могиле, общей яме, куда попаду и я вместе с другими.

После заката, обрызгавшего горные вершины кровью и памятью о проклятом дне, надо мной остановились двое и чуть подальше третий.

"Подымайся, святитель. Тебя ждет Пребонд Биж".

Скалились, разило потом. Схватили меня и поставили на ноги. Ровно гвоздями пробили, ледяными и раскаленными одновременно. Все во мне стало болью – и плоть, и кость, и волос. Вроде шагаю, а на самом деле падаю в пустоту. В глазах туман, кошмар, не разберешь, где дерево, где человек. Горят костры, нанизанное на прутья, жарится овечье мясо. Испаряются содранные шкуры, жикает о камень железо – ножу и мечу возвращается змеиная острота. Смех, шутки, песня. Мычание стельных или больных коров. Кутерьма.

Пребонд Биж восседал на камне, покрытом шкурой. Рассматривал меня с пяти шагов. Расстояние небольшое, но для меня труднопреодолимое. Я с усилием вглядывался в предводителя. Заволакивающий глаза туман полегоньку рассеивался, я видел лицо, которое не забыл бы даже после случайной встречи: песьи глазки, острый нос, губы – два сомкнувшихся голых ужа, в обрамлении белых, сивых, рыжих завитков. Лба не было, и морщин тоже не было – он не мог засмеяться. До самого корня птичьего носа надвинута шапка рысьего меха.

За его спиной вырос Данила, раза в два покрупнее брата, склонился и что-то шепнул. Пребонд Биж уперся в колени маленькими ладонями и потянулся, закинув голову; казалось, все происходящее для него сплошная докука, повторяемая много раз.

"Данила тебе подарил жизнь, – чуть разлепил он свои ужиные губы. – Говорит, ты не был приближенным Русияна, он те-

бя силой приволок в крепость. Но я черноризцам не верю. Никогда. Не поверю и на смертном одре. Есть тут у меня еще парочка. Привести их, – обернулся он к прислужникам. И опять ко мне: – Твой монастырь мы заняли, точно через лужок пробежали. Без копий и без мечей. Двоих старичков святителями оставили, двоих увели. Смогут нашу кукурузу окапывать – поживут. А покажется им тяжело, на рудник продам".

Понятно. В монастыре он оставил Прохора и Теофана. Я не ошибся – подводили монахов Антима и Киприяна. Вышагивали они с трудом, руки за спиной крепко скручены. Лицо у первого распухшее и в синяках, не легко, видать, его одолели, в глазах второго потухали звезды его субботних ночей – не сумел он вычитать с них собственную судьбу.

Пребонд Биж ухватил лежащий перед ним кусок недопеченного мяса, поднес к глазам, положил на место. Вытер пальцы травой. Разбойничий атаман мелковат: голова торчит из груды одежек, тело кажется выпитым. Природа подшутила над ним. Зато одарила возможностью шутить над другими.

"Вот они, наши живые иконы, – во имя отца и сына и святого духа. Нечестивые вы обманщики, братие. Живой грех под рясой. Натерпелся же я от вас. Все детство мне такие вот испоганили. Держали в каменной норе на цепи, на воде да хлебе. А мне тогда и семи годков не сравнялось. Вроде беса из меня изгоняли. Довелось теперь и мне пользовать вас – кожу вам говяжьими жилами изукрашу. С кротостью. С набожностью святительской".

Он поднялся на кривых ногах, маленький и пышущий злобой, разряженный в разномастные одежды, содранные самое меньшее с трех бояр. Повернулся ко мне, словно вознамерившись подойти. И вдруг вытаращенные глаза застыли. Зашатавшись, закинул голову и грохнулся наземь. Трепыхался, как пойманный голавль. Хрипел. Посиневшие губы покрылись слюной и пеной. Вытянулся и отвердел, продолжая трястись и царапать землю пальцами. Страшная доля. Кинулись к нему на помощь. Данила подложил ему ладони под голову, кто-то покрыл влажной тряпкой лоб, если он имелся под завитками, но Биж не приходил в сознание, хрипел и бил одеревенелыми ногами.

Устрашенный, я отвернул голову. И увидал Симониду. Она сидела в одиночестве под покривившимся деревом. Широко открытыми глазами следила за происходящим безо всякого волнения. Похожая на девочку – ноги подогнуты, руки сложены на коленях. Только похожая. Она женщина, Русиянова

и моя, а завтра, может, кого-нибудь из разбойников. Предположение не удивило меня. Симонида была здесь, совсем близко от меня, а словно терялась в далях времени. Моя кровь уже не тосковала по ней. И ее тоже.

"После каждой стычки вот так, – словно оправдываясь, промолвил Данила. – Вытянется и дрожит, весь в пене. Мне легче два боя отвести, чем глядеть на страданья братовы. Но он нам все равно атаман, им и останется. Все мы, и вы тоже теперь, бижовцы".

"И мы тоже? А у нас кто в начальниках?"

Данила даже не взглянул на монаха Антима.

"И вы тоже. Если завтра Биж не вздернет вас как свидетелей своей напасти. Знаете, как его семилетнего черноризцы лечили? Пиявками да водой, в которой варили ящериц и червей, – с наслаждением содомским. Выдержал. И – вот. Знатным человеком стал. Я думаю, он и впрямь вас повесит, безо всяких, с радостью. На потеху ветру – пусть поиграет монастырскими хоругвями".

Пребонд Биж утих. Ему подмостили под голову ворох шкур и отошли. Я заметил, или мне показалось во мраке: на скрюченных пальцах отросли ногти, страшные, вроде орловьих. Лежал окоченелый, отрешенный от всего и от всех.

В роще мы задержались до полночи. И снова потащились вереницей по дорогам и тропкам, с малыми остановками, до следующего полудня, до двухчасового отдыха. Прошел Ганимед, мимоходом процедил:

"Влипли. Вас, монахов, Пребонд Биж доконает, мне могилку выкопает Данила".

Ганимед предлагал сговор и, может, обогащение. Я был слишком слаб, Антим и Киприян бессильны, связанные и под стражей. Я не ответил ни согласием, ни отказом.

Потом, уже в пути, он снова приблизился ко мне, еле сидящему в седле, будто случайно.

"У Данилы ко мне нет доверия. Его люди стерегут меня, чуть я отобьюсь с тропинки – посекут. Подумай, монах. Беда у нас общая".

И погнал жеребца, того самого, что ему привел Киприян к Синей Скале. За ним и вправду следили. Двое постоянно двигались за ним вплотную.

В сумерки мы пришли в разбойничье поселение. Женщины, дети, мужчины, иные вооруженные, встретили воротившихся с кровавой победой радостно. Вспыхнули на гумнах костры.

 Мешались песни и крики. Пребонду Бижу помогли сойти с дву-

колки, усадили во главе трапезы на большом дворе под каштанами. Награбленную скотину распределили по хлевам, добычу, взятую в Русияновой крепости, снесли в дом Пребонда Бижа. Голосили женщины – оплакивали мертвеца.

Село было горное и труднодоступное, раза в два больше Кукулина. Единственный подход к нему прикрывали скалы, а на них – огромные камни стошаговой длины, приготовленные для обороны. Над ущельем, где тянулась дорога, было их несколько. Не просто одолеть село Бижанцы – на головы подступавших обрушивались каменные лавины, уцелевшие люди, обезумев, принимали смерть от мечей и копий. Очевидно, жестокий и неуступчивый Пребонд Биж, несмотря на свою хворь и припадки падучей, хитростью обладал немалой. Позднее я узнал – ночами, кроме псов, село поочередно караулили стражники. Под чьей бы короной село ни числилось, обитатели его не признавали ни кесаря, ни господина, не считали себя рабами и о податях знать не желали. Брали с других сами, сами себе были законом.

Меня с двумя монахами поместили в сарай. Предупредили – попытка бегства покарается смертью. Данила приоткрыл нашу будущую судьбу, разумеется без ведома старейшины.

"Можно вас убить, а можно закованными продать на рудник. Но Пребонд Биж меня слушает, оттого вы до сих пор живые. Коли с нами подружитесь, в Бижанцах проживете не худо. Останетесь монахами, а мы вас будем посылать лазутчиками. Нам надобно знать защитную силу по богатым селам. Убежать и не мечтайте. Сыщем вас, где бы ни схоронились".

"Мы на вашу сторону не перейдем. Лучше сразу душу из нас выпускайте".

"Не спеши, душу не долго выпустить, – ощерился Данила на монаха Антима. – В Бижанцах на хлеб и воду зарабатывать полагается. Этому вот, – он указал на меня, – надо помочь. Пришлю к вам человека с мазями. У нас тут вода целебная. Никто не помирал от ран".

Он ушел. Обессиленные, мы даже не помолились. Сон укрыл от раздумий о неведомом. Последнее, что я услышал, – шепот. Киприян спросил:

"Выпутаемся ли мы, брат Антим?"

И провалился в горячую глубь.

3

ИОН

Не знаю, сменялись в Бижанцах дни на ночи или между землей и небом стояла бескрайняя тьма, в которую из облаков падали звезды и тайны. На кровлях из тонких зеленых плит мне виделись тени в людском обличье, они кружили без устали, немо. На земной коре горели жнивья, дымились чадно. Их покидали слепни и затаившиеся души усопших. Из углубления в скале – из ее расселины брали воду деревянной долбленкой, похожей на утолщенный клюв цапли, – раздавались вздохи, покрываемые громыханием смеха: в неприступной пещере за трапезой из костей и смолы вполне могла пировать нечистая сила.

Бижанцы – лет селу, где осели выходцы с берегов западных рек и взгорий, не больше пятидесяти – богаче колыбелями, чем могилами. Самое старое семейство, Каспаровцы, представляло целое племя – два десятка мужских душ и не менее женских – сестры, жены и дочери. Всех мужчин считали великими храбрецами, хотя половина из них еще не доросла до женитьбы. Трое Каспаровцев были первыми людьми у Пребонда Бижа. Один, как я услышал позднее, молодой да крепкий, отвел Симониду в свой дом. Прирученный зверь покоряется тому, кто кормит его с ладони: значит, покрылись забвением одаренные ее любовью (только ли Русиян и я?). Я не тосковал по ее теплоте. Может, лишь краем сознания хотел повстречать, дабы благословить во имя умершей страсти – все обман, Симонида, а ты изо всего наибольший.

И все-таки дни сменялись на ночи, хотя село оставалось царством мрака, солнце его обходило: с неба спускалась тьма и тьма выбивалась из-под земли. В такой тьме что день, что год – бесконечный мрак, плодящий вампиров, высасывающих молоко из материнских грудей: усопшие воины выковывают из мрака подковы для своих коней-вампиров, из камня выкапывают себе на пропитание кости вампиры-псы.

Я присутствия духа не терял, понимая, что и для меня выкроен кем-то черный капюшон – мрак надо мной, мрак во мне. Зарастают раны, и зарастают глаза, ибо день воистину не занимается для меня.

Я лежал в сенном сарае. Антима и Киприяна утром уводили – ломать и затаскивать камень на скалу над ущельем, с ними работали пленники, приведенные ранее. Скоро их отселили от меня в более надежное место. Для сенника у меня нашлось

имя – Иония. Ионом звали бижанчанина, приходившего ко мне два раза на день мазать мазями и перевязывать. Человечек высотою чуть больше локтя, он перестал расти, когда ему сравнялось пять лет. Зато разум у него был не по росту зрелый. Молчать он не умел. Сперва это меня забавляло, потом я стал вникать в его речи. Он был для меня вестником. Ничего не скрывал. Легкий, подвижный, природа даже бородой его не обременила. В этом мире для него не было тайн, а другой, божеский или сатанинский, не существовал. Я не пытался сосчитать морщины на его лице, а если б пытался, глаза мои завязли бы в их переплетении, как в паутине. Казалось, он таким и родился. Меня, хоть сам был на два года моложе, величал дедусей. Однако, согласно какому-то своему разумению, полагал себя моим опекуном. Такие, как он, умеют сердиться, но не бывают злыми, чаще они или равнодушны к миру, или милосердны без меры. Приносил мне то, чем питался сам, – ячмень, козье молоко, сваренные сливы прошлого урожая, яблоки, рябину. Мяса не приносил. Тонкий голос – строгий: ''Мясо, дедуся, проклято. Пожирают его люди, а того не ведают, что нутро от него гниет. У обжор черви ползают под селезенкой и в легких. И потомство у них желтое да чахлое. А уж злы-то, беда как злы''.

Слухи, уловленные мною, я проверял у Иона. Симонида в племя Каспаровцев не вошла, хотя, за исключением моего целителя, тоже Каспаровца, половина огромной семьи была молодой и до единого крепкой. Нет, Симонида, не противясь, пошла в жены к Даниле. Богатство из крепости – лампы, украшения, ткани – переселились с ней. Дело ясное, стала еще богаче, чем прежде. Данила уж десять лет как промышляет разбоем, накопил добра.

''Госпожа удобно устроилась в новой постели, – без усмеха и укора посвящал меня в события Ион. – Молодая, наши женщины ей прислуживают. Питается мясом, умывается молоком. А Ганимед, видать прежний ее любовник, бесится. Уединяется. Даниловы люди глаз с него не спускают. Похоже, злыдень помышляет дать тягу, да с Симонидой, ведь Бижанцы, хоть и величаются Бижовградом, никогда не были и не будут его домом. А ты помалкивай, Бижовград – имя покуда тайное. Пребонд Биж, дукс будущий, верит, что село сильно забогатеет. Ратникам с сердцами железными у него всегда добро пожаловать. Рассчитывает собрать их тысячи, чтоб сразиться с легионом любого царя. Один из трех его сыновей воцарится: сын дукса – всемогущий кесарь''.

Я не удивлялся. Только спрашивал себя иногда, верит ли в это Ион. Был в его толкованиях холодок, от которого зябко делалось и моему сознанию. Ион был чародеем и мудрецом реальности, не признающий и даже не допускающий мечтаний и сказочных обманов.

Он поведал мне:

"Всяк своим житием окован, никому собственную судьбу не обротать. Ни тебе, ни мне. У Пребонда Бижа с Данилой племянница есть, Катина, Каспаровцам тоже приходится родней. Так вот, все, что здешней женщине по доле ее положено, для нее нож острый. В каждом, кто к женщине с плотским помыслом подступает, видит мучителя и кровопийцу, негодяя. Плоскогрудая, тонконогая, из острых костей составлена. Мужа нет – не верят, что такая может родить. Одни ее почитают за святую, другие злословят, что даже уродца вроде меня пустит к себе под одеяло. У людей свои мерки для красоты и уродства. Никто на Катину не позарился. Девки ломают по весне орешник, опоясываются молодыми ветками, чтоб здоровье сохранить и потомство чтоб было здоровое, она с ними и не ходит. Никогда. Вот и ползут слухи, закрывается, мол, голая в темной комнате да нахлестывает себя крепкими прутьями – изгоняет похоть. А я думаю: коли так терзает себя, значит, ненависть к мужчинам старается сохранить, считает их виновниками своих бед. И жизнь ее, до сего дня и до Судного, – сплошная Тодорова суббота: и поститься надобно, и тайком восславлять плоть. Но она восславляет травы. Как и я, мяса не переносит".

"Тоскуешь по Катине, Ион?" – Не успел я вымолвить это, как тотчас раскаялся, хотя сказал без издевки. Во время краткой перемолчки я не видел его лица. Он сидел, уперев лоб в колени, маленький, меньше собственной тени. Снаружи в полуоткрытые двери сенника пала еще одна тень. С ней проскочила ящерка, не повредив, оставив ее бестрепетной. Кто-то подслушивает, мог бы подумать я, пытается открыть наши тайны. Но не подумал, для меня, объятого равнодушием, ни в чем опасности не было, даже в погибели – погибнуть от насилья в такое время не казалось мудреным.

В соломе вокруг ворошились мыши, скрипели старые колеса воловьей упряжки, слышался хриплый зов. Звуки вырастали среди безмолвия, обретали значение, словно бы угрожали. Тень полегоньку оттянулась от сарая. Ион вздохнул.

"Тоскую ли я по Катине? Ты ведь про это меня спросил, дедуся? Женщина мне не нужна, и никто мне ее не даст. Кабы я томился тайком, я бы себе вообразил белую да соблазнитель-

ную, похожую на Симониду. Но во мне нету желания, не выросло вместе со мной. Катина знает это и добра ко мне. Мы друг друга держимся из гордости – уродство сближает нас, дает право считать себя особенными, лучше других".

"Ты считаешь себя уродливым, Ион?" – В моих словах ни капли любопытства. Он сидел недвижимо, маленький, словно из кукулинских сказок моего детства, непонятных людям этого горного селения.

"Уродство – слово для непохожих на тебя. Как я для них, так и они для меня уродливы. Не все. Уродство, дедуся, в нас самих, в блеске глаз, в усмешке, в крови и в разуме. В молодости я страдал. О, знал бы ты, как я до умопомрачения страдал от желания стать высоким, бородатым, без морщин, которые ношу с детства! Потом в моих богах, высоких и бородатых, я распознал уродство. Многие вызывали презрение. Деды Пребонда Бижа и Каспаровцев сотворили новое племя, новое село, новые законы жизни. Мешались между собой. От них тянется нить и ко мне, и к Катине, мы ихней крови. Это их напугало. Теперь ради здорового потомства в жены пленниц берут. Боятся Ионов и Катин".

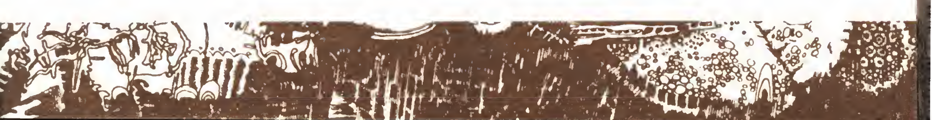
Рассказывая, он рукой касался моей руки, словно проверял, слушаю ли я, а может, своим прикосновением старался поддержать во мне бодрость. Ничего от меня не ждал, просто видел во мне слушателя и собеседника. Маленький, сморщенный, умный, зависимым меня не считал. Я для него не был пленником, человеком, чья жизнь находилась в руках братьев Пребонда Бижа и Данилы. Я был ему ровней, подтверждением человеческого равноправия. И я тоже постепенно невольно стал касаться его руки.

"Может, оттого Катина и страшится мужчин?"

"Может, – согласился он. – Не дано прокричать человеку до рождения: не зачинайте меня таким, каков буду, – проклятым. Да, может. Все может быть, дедуся. Может, она ненавидит мужчин с первой брачной ночи своих родителей, на них перекладывая вину за плотский грех".

Снаружи в проеме двери пролетела ворона, оставив в воздухе косой трепет. Небо казалось необычным – как ткань натянутая, с засохшей пеной и кровью. За порогом не было тени. На сухую землю опускались сумерки. Я вслух помянул про тень? Не помню. А Ион словно знал мои думы, словно оголял меня до корней мысли.

"Теперь нас никто не слушает. Я знаю, кто это был. Всех в Бижанцах различаю по запаху и по тени. Это она стояла, толь-



ко она. Церкви у нас нет и монахов тоже. Катине любопытно увидеть и услышать того, кто не касался женщины, – страшный он или нет".

"Слишком долго, Ион... – Я не договорил. – Слишком долго я в этом сарае".

Он глянул на меня одним глазом. Понял. Как бы договаривая за меня, сказал:

"Слишком долго мы говорим о Катине. Знаешь почему? Предвижу – она тебя посетит, чтобы разрешить наконец свою загадку".

"Предвидишь, она меня посетит? Ты подговорил ее это сделать?"

"Только предвижу, дедуся. Тень, скользнувшая за наш порог, ее лазутчица. Ее мыслей и плоти".

"Не верится мне, что она войдет в сарай".

"Спокойной ночи, дедуся. Звездная будет нынче ночь".

4

КАТИНА

Ион прорицал спокойно, с ненавязчивой уверенностью, словно говорил о том, что было, а не о том, что может, хотя и не должно случиться, – если и случится, он, ведающий о моих сомнениях, не станет мнить себя пророком, человеком, обладающим тайной мысли. И хоть я старался не думать, его слова жили во мне, обретали некое значение, может быть фатальное для меня. *Предвижу – она тебя посетит, чтобы разрешить наконец свою загадку*. Почему Катина, почему не Симонида, спрашивал я себя. Катина, неведомая, непонятная, с обнаженным страхом перед мужчиной, не могла же она полагать меня бесполым оттого лишь, что я был в рясе. Симонида под этой рясой искала мужчину, подобно кроту, отыскивающему во тьме свою нору, готовая уничтожить меня, как это водится у насекомых – хотя бы у богомола, когда самка после свершения любви пожирает самца.

Симонида теперь пребывала вдалеке от меня и моих чувств – ненависти ли, презрения, томления или любви, а неведомая Катина притягивала меня, мои помыслы своим вызовом, потребностью найти меня, или это я должен был ее найти, чтобы разрешить свою загадку – через познание тайны ее, невиданного ее лика, через возможность освободить ее от страха и ненависти. Освободить ее? Как и чего ради? Понятие уродства не

могло быть тому причиной. Духота и мрак бросали меня в быстрые и обрывистые сны, из которых я снова возвращался, безвольный и утомленный, раздираемый между реальностью и игрой крови и воображения.

Предвидение Иона сбылось. Катина явилась мне: стояла надо мной, ожидала, когда проснусь. Не имея возможности выпрямиться и заглянуть ей в лицо, я лежал, узнавая ее запах и не спрашивая себя, откуда я могу этот запах знать, если никогда, ни на мгновение не был в ее близи. Затем я узнал прикосновение – ладонями она ласкала мне плечи и грудь. ”Нестор”, – шептала горячо, возбуждала меня, притягивала, заставляла тянуть руки к ее нетронутости, и вдруг, сотрясаясь, я закричал точно безумный – я был в объятиях чудовища, маленького человечка Иона, который скинулся женщиной: и запахом, и дыханием, и играющим прикосновением, и голосом. ”Нестор, муж мой, муж, муж”. Я не имел сил вскочить, сбросить с себя эту черную человеколикую пиявку и бежать, искать спасения в пропасти, чтобы мертвым, раздробленным о камень, ненужным, казненным за грехи человечества освободиться от новых проклятий. Ион, обвивая меня щупальцами, влеплялся в меня все сильнее и нашептывал чужим голосом. Может, это уже ни Ион, ни Катина, может, это зло, лишавшее меня разума. Лишившее. Горло мое кроваво лопалось, глаза, легкие – все во мне разрывалось, из последних сил я вскочил и отбросил от себя Иона-Катину, и теперь оно валялось, раздавленное, под моими стопами.

Я пробудился в поту. Не перешел из одного сна в другой, а действительно пробудился. Подумал сперва, что нахожусь в крепости слегка подзабытого Русияна – будто с последней нашей встречи минуло столетие, сгинувшее в камне покоев, а вокруг завывает ветер и каркают вороны. Затем понял, что я в сарае и не один – со мной, вернее, в моей тени, есть кто-то, и он уже не скрывается, пытаясь разрешить свою загадку.

”Катина, – позвал я пересохшим горлом, зов более походил на вздох, чем на оклик или любопытство. Я снова, потихоньку, с растяжкой, не проявляя нетерпения, позвал: – Подойди, если не боишься”.

Молчала. Словно была выдумана мной – ни голоса, ни запаха. Но я не ошибся, она была здесь, в сарае, не настолько испуганная, чтобы долго оставаться укрытой, хотя и не настолько свободная, чтобы тотчас приблизиться и показать лицо, знакомое мне по словам Иона и которое я теперь не мог вспомнить, как лицо Симониды – обе они повторялись: те же глаза, те же

губы, шея, медленно сливались одна с другой, иногда под двойным именем Симонида-Катина, иногда безымянно, но всегда зыбко и недостижимо. Слияние лика с ликом. А я этого не хотел. И хотел ли я чего-то? Краешком сознания хотел. Кто он и какой, Ион? Кто она и какая, Катина? Какой он, Ион в Ионе, и какая она, Катина в Катине? Я искал объяснение для собственного состояния, раздваивающего меня, бросающего то в горькую подавленность, то в восторг. Снаружи, похоже, заморосило. Или это вселенская корова жевала над моей кровлей жвачку, или тьма-тьмущая муравьев разносила сараи.

Я горел. Лихорадка, как и сон, сотворяла во мне женский облик – из облака, из луча, из вздоха. При том я знал, что в полумраке я не один – я не придумывал женщину, а пытался ее представить. "Катина", – окликнул я еще раз и встал, распахнул дверь сарая, чтобы пустить свет. Напрасно. Над Бижанцами лежала ночь, все было тихим, окаменевшим и глухим, даже караульные не перекликались и молчали псы. Я воротился на солому. И тут я коснулся вытянутой рукой ее плеча. И так же, как она, замер перед неизвестным, перед тем, что могло случиться: побежит, подняв страшный крик и обвиняя меня в насилье; останется до рассвета, клянясь отомстить за попытку обнаружить в ней женщину; бросится на меня, освобождаясь от страха и присваивая себе, отныне и навсегда.

"Я подслушивала, – голос был скорее отроческим, чем женским. – Ион долго объяснял, кто я да что я. Слишком долго. Он предвидел... *Она тебя посетит, чтобы разрешить наконец свою загадку"*.

"Загадку? – Я убрал руку с ее плеча. – Кто бы ты ни была, ты ошибаешься. Я проклятый монах и раб, мне не до загадок".

"Тому, вокруг чьей шеи заплетается петля, не до загадок. Нынче ночью Ганимед пытался убить Данилу. Его схватили. Теперь он под стражей ожидает виселицы. Я знаю Пребонда Бижа. Одна виселица его не утешит".

"Ты полагаешь..."

"Полагаю. Ты и монахи из твоего монастыря... Вы обречены на смерть. Вставай и иди за мной, я выведу тебя из Бижанцев. Нас поджидают твои товарищи и Ион".

"Но почему?"

И тут я вспомнил, что искал, я нашел, что искал, – объяснение: двойственность! Гад по имени медянка – в Кукулине ее называют змеей, некоторые считают ее вестником божиим перед богатой жатвой, другие, наоборот, в необъяснимой ненависти ловят и убивают, хотя она вовсе не ядовита. Или: коря-

вое дерево покрывается желтым пенистым налетом, принимаемым за цветение, – на самом деле это омела, сосущая чужие соки, паразит; очень редкая пестрая птица жулан присоединяется, распевая, к стае птах, покуда хоть одну не ухватит и не наколет на шип, про запас; если уйдет птаха, на шип угодит мышь, жаба или шмель. Двойственность, от которой человека не избавляет даже молитва. Если можно верить двойному Иону (уродливому и благому), Катина боится мужчин и ненавидит их, а меня пытается спасти от смерти (от смерти ли?), рискуя своей жизнью – если ее схватят, за предательство суровых законов Пребонда Бижа и его становища осудят, замучают и повесят. Себя я тоже ощущал двойным, прикрывающим страх притворством. Из притворства я бежал в бедное бесполезное любопытство, повторяя, теперь уже как отщепенец, а не мудрец: "Но почему?"

Она не отзывалась. Я шел за ней от тени к тени, в подоткнутой рясе, босой, сжимая до боли в руке перекладину от старой запряжки: наш путь кружил меж домов и конюшен, где нас караулили призраки, однако ветер не давал им пристать к нам. Село спало, сон не знает ни любви, ни ненависти. До нас не доходили зеленые волны лунного света, залегшего на горной вершине. Покоряясь слепому любопытству, я забывал об опасности – в любое мгновение я мог сделаться мертвецом. Время от времени взором я испытывал Катину. Она не имела лика. Мрак и пастуший капюшон покрывали ее непроглядной тенью, уменьшали, отнимали у тонкого тела остроту локтей и колен, делая недоступной. Даже позднее, при расставанье, я не увидал ее глаз. И не слышал голоса. Она молча отошла, только мы достигли места, где нас ждал Ион и монахи. Пленники, в подоткнутых рясах, ободранные и измученные переходом по скалам, исхудавшие и голодные. И они, и я были благодарны этим странным созданиям: сухой веточке в женской одежде и человечку – то ли барсуку, поднявшемуся на задние ноги, то ли грибу, пню лесному, наделенному душой и сознанием. Мы, монахи, тоже были то ли стволы живые, то ли мертвые кости в мертвом мясе, как бы там ни было – были мы неприятием человека и креста, коростой среди людей, вознесением из ада. Не монахами, нет.

Совет Иона, малого и превеликого человечка, не был обширен: избегать знакомых путей, тех, которыми нас привели в Бижанцы, спешить, по возможности без остановки и передыха, бездорожьем, по скалам, чащобой, влево или вправо от солнечного восхода, уклоняться от направления на Кукулино –

погоня наверняка пойдет по дорогам к монастырю.

Провожатые передали нам торбу с хлебом, таким же, какой Ион приносил в сарай; немые, для меня со смутными ликами, не стали ждать благодарности. Исчезли в сплетении теней. Растворились. Отвеялись ветром, который нас в то же мгновение предупредил: до восхода близко и бегство наше скоро откроется.

5

ПАПАКАКАС

Он выглядел как Иисус, скинутый со креста: изможденный, с продолговатым и странным лицом, будто стесанным с обеих сторон, длинные руки и ноги, сухой, желтый, бескровный. Но в весьма редких и памятных толкованиях отца Прохора никогда не бывало у Назарянина вместо глаз ямин со сгустившейся кровью, не бывало таких зубов, из-за которых губы его, верхняя и нижняя, не сходились. Папакакас даже на панагии размером не более ногтя оставался бы легко узнаваемым: глаза без зрачков и без света, не коварные и не злобные, но – страшные, словно покоища черных смертоносных молний, кои в судный миг спепеляют и человека и лист, испаряют коровье вымя или лужу, сушат куст бересклета или сочный ствол липы, акации, миндаля, ломают равнинные нивы и долинки, где горцы сеют хлеб и молитвы. Отщепенец и главарь отщепенцев, под рукой его двенадцать отверженных бунтовщиков – Парамон, следопыт Богдан с сыном Вецко, Карп Любанский и Карпов кум Тане Ронго, – озлобленные принудительной разбойной жизнью. Еще – братья Давид и Силян, Миломир, Нико, Чеслав, Яков, Баце (и теперь вот Антим, Киприян и я, превратившийся в Тимофея). Отряд имел несколько коней и двух вьючных мулов. У всех появилось что-то общее – в лице, в голосе. Иные одичали уже, иные дичают, никогда не сделаться нам тем, чем были, – сеятелями и жнецами.

До встречи с ними мы что есть духу спешили, предполагая, что в Бижанцах уже открыли наше бегство и нарядили погоню. Мы не ошиблись. В полдень на гребне горы, с которой мы только спустились, появились трое верхами – на каждого беглеца по загонщику. Вооруженные, опытные в сражениях, в отмщении суровые, готовые предать нас гибели. Загадали верно – обессиленные да с дубинками отбиться от них мы не могли. Подходил миг, когда стремглав срываешься в пропасть, не

чувствуя грани между ужасом и равнодушием, миг перетекания в другой миг, в другое – для тебя мертвое – время: даже застыв, оно не завернет назад, в его клубке вылупившийся из жизни мотылек не обратится в гусеницу. Смертельный миг, кратчайший блеск сознания, моментальный, реальный и раскаленный, сознание спешащего к своей гибели. Блеск! И нас трое в этом блеске, без надежды быть отпетыми и погребенными.

Они не спешили. Спускались котловиной, кони осторожно ступали по камню и по своим теням, а всадники, всемогущие наши судьи, держали копья нацеленными, каждый, без сомнения, уже избрал себе жертву. Как и мы, дети своего племени, они были мужчинами, несли свой крест и свою судьбу, свою веру, свои правила и законы, – они были совсем другие, чем мы. Слабыми нитями связывала нас лишь ненависть и смерть, чья тень выкраивала нам, монахам, новые и вечные загробные рясы. Мне казалось, невыносимый жар растаскивает мое тело, выставляя меня перед копьями голым скрипучим скелетом с сознанием. Я молча сжимал палку, Киприян молился на неведомом мне языке. Перед тем как пойти в монахи, он был иудеем и теперь опять становился им – охваченный безумным страхом, искал избавления или прощения и у креста, и у покинутых святых. Антим, дерзко выпрямившись перед судьбой, тоже молчал – стиснутые губы и сощуренные глаза, руки ухватились покрепче за дубинку. Я знал, он выискивает сильнейшего, дабы облегчить схватку нам, пожелтевшему Киприяну и мне. Но и он видел: мы пропали, мы бессильны отбиться от меча и копья, от воинственного и разбойничьего ража.

Всадники спускались дорожкой смерти. Я глядел, предчувствовал их жестокость, но словно был не я, словно испарялся из собственной кожи сквозь жаркие ноздри, растворяясь в раскаленном воздухе.

Колыхаюсь в своей кожуре и не думаю о том, что произойдет с бывшими монахами, обреченными на смерть, чьи кости еще до ночи оглодают и разнесут лисицы и волки, заглотав мясо заодно с муравьиным роем, облепившим его в голодном восторге. Я разглядываю приближающуюся троицу, мне знаком только один – Бижов брат Данила, он имел на меня планы, как и на моих монастырских собратьев, оттого и не давал скидывать наши головы. В приливе солнечного горного света, сильного и вечного, такой сильной бывает лишь тьма нескончаемыми облачными ночами, листья редких кустов помертвели, полегли и старые, полуиссохшие заросли можжевельника с чахлой тенью

над корнем. Я не боюсь и не удивляюсь: Данила скинул свое лицо и стал иным, не щерится и не пыжится, вместо лица несет на себе закон, выписанный складками, из которых солнце выцеживает пот, что-то в нем отвердевает, некий мускул, готовый удлиниться щупальцем и затянуться вокруг нас удавкой. И другие всадники похожи на него, отверделые изнутри, с устами, запечатанными кровавой похотью. Данила не близко от меня и все-таки слишком близко. Нацеленное в меня копье острием вот-вот упрется в мою кожу, откуда я выселился бесплотный, одинокий, ненужный. Нет во мне набатного звона, ни в сознании, ни в крови. Нелепо. Я воскрес из себя живого. Убежал? Да, это бегство, наихудшайшее обличье страха.

Вздрогнув, я воротился в свою кожуру. Зарылся в ту самую плоть, из которой мнил себя убежавшим. В огромном горном просторе ни для меня, ни для моих спутников не было спасительной тропки – волоча или понуждая бежать панически, она бы сделала нас неприступными. Отмщение, якобы за предательство, спускалось медленно, но неотменно, и нам ничего не оставалось, как стоять, повернувшись лицом к всадникам, и ждать момента безнадежной защиты от меча и копья. Погибель делалась неотъемлемостью нашей жизни, покровом, под которым сгниют, уже гниют три монаха.

И тут я его увидел. Он вырвался слева, из котловины, со своими двенадцатью оборванцами, пустился наперерез между преследователями и нами, атаман в лохмотьях, Папакакас – он. Наши преследователи натянули поводья, словно бы от изумления, копья еще держали нацеленными. Данила слегка пригнулся в седле. Изменение в положении тела не объяснить ни готовностью к нападению, ни любопытством человека, пытающегося распознать кого-то или что-то. До меня донесся его голос, ясный и уравновешенный, без угрозы:

"У тебя с Пребондом Бижом соглашение. Вечное".

За главного отозвался Богдан, тоже на коне:

"Соглашение исключало разбойное нападение на Кукулино. А там еще гасят запаленные дома да закапывают мертвецов, любезный".

Папакакас махнул рукой. Успокаивал следопыта и гадальщика. Спросил:

"Что вам надо?"

"От тебя ничего, – выпрямился в седле Данила. – А вон те – наши пленники. Мы за ними приехали: или вернем, или тут отрубим им головы".

 Папакакас словно бы забавлялся:

”Монахам?”

”Пребонд Биж хочет знать, кто им помог бежать, кто в Бижанцах предатель. У нас на это свой закон, мы будем судить по нему”.

И опять:

”Монахов?”

Ответа не последовало. Солнце-паук, опускаясь на нитях, протачивало дорожку к сердцу земли и высасывало из нас мысли и силы, грозило обратить в забытье жизнь под собой. Всех? Почти. Якобы для дружеской встречи Папакакас и Данила медленным шагом погнали коней друг к другу. Непохожие. В отличие от рослого бижанского разбойника Папакакас, вставший ему поперек пути, не мог считаться ни высоким, ни даже сильным. Тяжелые усы словно стягивали его к конской гриве, борода увязла в груди. Он слился с конем, стал его половиной, уверенный и надежный, или мне так казалось, – я заметил, как Богдан, Парамон и Карп Любанский, верхами, взяли рысью, чтобы зайти Бижовым людям со спины, а остальные собрались перед котловинкой, из которой вышли.

”За нами, в Бижанцах, много осталось ратчиков, – проговорил Данила. – Уходи и уведи своих голодранцев. Нам сам царь не шлет ни войск, ни анафемы. Запомни: Биж не прощает”.

Это слышал я, а Богдан и Парамон, уже обремененные славой убийц, и Карп Любанский не слышали ничего или переговоров не желали; подстегнув коней, бросились на бижанчан, стоявших позади Данилы. Теперь и вся девятка помчалась за ними с гиканьем. Мы тоже взвыли и заспешили в схватку, монахи, осененные новым крестом – дубинками да жердиной из воловьей запряжки.

Когда истина делается неясным понятием, когда бунт извращается неясными целями, становясь всего лишь гневом замутившегося сознания, погибель сытых и голодных не различает. Хватает людей без разбору, из общего беспорядка созидая свой порядок – с немилосердными законами и угрозами на день завтрашний и на все дни никому не ведомого будущего. При таких обстоятельствах человек не просто свидетель, он и судия и ответчик: коли жизнь не сближает людей (агония вызывает неуемный террор, но также и безумие храбрости), смерть их разделяет легко. А в здешних краях жизненный век людей никогда не бывал долгим. Гибли – кто от разнузданности, кто от бед и несчастий.

И вот мы, пятнадцать, накинулись на троих, смешались крики и звяк оружия, хлынула кровь, предсмертный хрип был по-

следним отзвуком жизни. До того еще, как коснулось Данилы копье на вид неподвижного Папакакаса, он очутился на земле под тяжестью моего собрата Антима. Мгновение – удар дубинкой и взмах Парамоновой секиры, второе – кровавое лицо и прощальный взгляд небесам. Все слишком быстро. Я (так и не понявший, поднял ли я руку на человека) не успел пустить в дело жердь. Данила лежал мертвый, мертвы были и его сотоварищи. Смерть их вела, смерть и взяла их в свои объятия. Бездыханное дыхание судьбы сдуло их, забило в землю, чтобы поверху взгромоздить камень, а в камне мимолетный клич переставшей их манить славы – ее теперь не достать и не сговориться. Славы? Нас можно было посчитать толпой, расправившейся с тремя, хотя мы были вздувшейся мощной снежной рекой, унесшей три жизни, три тела с разумом, раскаленным желанием убить других – нас, монахов.

Папакакас ладонью смахнул с секиры кровь, его запавшие глаза горели.

"Закопаем, все ж они были воины. Станут их искать – не найдут, и обвинять некого. Сгинули – и концы в воду. Кто ранен?"

"Один. Тане Ронго. В бок".

"Перевяжите его".

Течет кровь, затихает, делается нерешительной каплей, ржавью жизни.

Между человеком и будущим много стоит помех, и жестокость господская, и бедность – ни земли, ни муки, ни соли, ни мира, и тщета молитв, и воистину всё: моры, битвы, отнятая бороздка земли или вода, отведенная с чужой нивы, и все – и чужой и свой. И гроб, и само это будущее, мутное, неухватимое оком и рукой, чреватое гробом. Три могилы, сровненные с землей, и пятнадцать живых во главе с Папакакасом. Как далеки мы ныне, как далеки мы от своей могилы, если люди Пребонда Бижа или кого другого выкопают нам ее, чтоб не гнили мы посеченные, с мертвым криком, застрявшим в глотке? Наше будущее не имело ясного и углядимого лика. Как вода, которую жаждешь в пустыне, как жатва, способная освободить голодного от цепей черной беды.

У нас не было будущего. Смерть своим заложникам будущего не обещает, и мы, словно обитатели полуденной тени межевого дерева, полегоньку жевали хлеб, припасенный нам на дорогу Ионом и Катиной.

6

ВЕЦКО

Через два дня пути, не оставляя за собой кострищ, мы, три пеших монаха, а ныне всадники, находились куда ближе к Кукулину, чем к Бижанцам. Отсюда до монастыря полдня пути. Но мы остались у Папакакаса – люди Пребонда Бижа наверняка кинутся нас искать в монастыре, вслед за тремя преследователями, чьи могилы не раскопать никогда ни человеку, ни голодному волку.

Отаборились мы в местности под названием Урна, возле небольшого ручья в зарослях бука и граба, без всякой цели или на вид без цели – принужденные и безвольные постники при оружии, ни сытые, ни голодные, покуда братья Давид и Силян, верзилы с вороватыми глазами, не притащили распоротого дикого поросенка. Разгорелся костер, заскворчало на угольях мясо, из вьюков появился мех вина и кулек соли. Киприян накопал дикого лука, горьковатого, зато смягчающего при жевании мясо, кто-то выложил очерствелый хлеб, взявшийся зеленоватой плесенью, третий потчевал дикой мятой и щавелем, улучшающими вкус лука. Мы расслабились, вгрызаясь в горячую, непрожаренную дичину. Из неразборчивого бормотания стали выделяться ясные голоса. Вино освободило от усталости и тайного опасения новой встречи с Бижовыми людьми, таящей беды и гибель. Антим промеж двух кусков вспомнил про монахов Прохора и Теофана: месть Бижа обрушится на стариков, вчерашних наших собратьев, подобно лавине, покроет их и сметет с этого света. Кто-то должен пойти и упредить их, вывести из монастыря или уговорить, чтоб сами они, как умеют и знают, укрылись на время. Подниматься в защиту монастыря с двумя монахами и добром негоже: нас слишком мало, чтоб одолеть сброд, который мог привести Пребонд Биж. А старцам надо помочь. Кто-то – Антим, Киприян, Богдан, Парамон или я, знающий все горные тропки, – поспешит, чтобы избавить их от опасности.

"Пойдет он, – Папакакас указал рукой на Богданова сына Вецко. – У Бижовых лазутчиков, рыскающих по горам, он навряд ли вызовет подозрение. Дадим ему мула да топор, будет походить на дровосека. Он к тому же сын кукулинского беглеца, вывернется из беды".

С этим прежде всех согласился Богдан, за ним – остальные.

Вецко молод, сложения слабого, веснушчатый и прыщеватый. Похож на полевого зверька, что, ухватив лапками колосок, огладывает его в мгновение ока. Зубы, сверху длинные, приподымают верхнюю губу. Мудрено в нем заподозрить разбойничьего гонца, тем более свидетеля нападения на троих бижанчан. Изучаю его взглядом. Гордый и возбужденный – именно ему Папакакас доверил столь важное и трудное поручение. Готов мчаться и без мула, перескакивать пади и скалы, взнуздать ветер. Хотя мал и хил, с опущенными плечами и, подобно Богдану, весь из углов. Велика на исповеди каялась, что затяжелела от него, от этого робкого мальчишки. Не было такого. Она (Богдан мне признался) хотела скрыть, что муж ее, пребывающий в бегах, по ночам заворачивает тайком в Кукулино, чтобы переспать в собственном доме.

Вецко отправился в путь, исчез за густыми деревьями, мы же остались дремотно слушать Киприянов рассказ про исполинское око, появлявшееся в бойнице кукулинской крепости, – было это око одного из ослепленных византийских владетелей. Между первым и последним прошло шестьдесят один раз по девять лет, согласно неким деяниям кесарей, как их толковала моя приемная мать Долгая Руса, для которой девятка всегда имела магическое значение и была божьим знаком судьбы столетия. Подсчитываю про себя: с тех пор, как вырвали глаза самому Исааку II, до дня, когда Киприян, сам в прошлом Исаак, толкует о загадке крепости, прошло четырнадцать раз по девять лет и три раза по девять месяцев. Можно рассмеяться. Но я сдерживаюсь, чтобы не смущать других. И даже не вопрошаю себя, зачем раздумываю о нелепицах и до чего дойду, убеждая себя, что число девять и впрямь загадочно, только вот подходит ли оно человеку без будущего.

Сказания про исполинское око и про исполинскую руку под Синей Скалой как моросящий дождь тяжестью накладывались на веки. Один за другим вспоминали подобные чудеса, про которые слышали или пережили сами. Кто рассказывал, кто хихикал, иные шептались. К ночи дремь даже рассеялась: сидя вокруг костра, мы ждали истории не простой, а способной нас взволновать и открыть тайны жизни и мира, пребывающего по ту сторону ежедневия. Оказалось, что, кроме неутомимого Киприяна, другого сочинителя историй не было. Всех снова стала забирать дремота. Папакакас нарядил стражу, и мы улеглись кто где, на листьях и на голой земле, прикрывшись кто чем мог.

Вечность, проходящая сквозь нас неисследимо, становится
 раздробленной и бесцельной. То, что в ней могло бы сделаться

блеском, уже пепел, ни под золой, ни поверху нет ничего – ни знамения, ни крика. Сознание пытается выдраться из этой смуты и воротить к себе жизнь со всем ее беспорядком. Сознание хоть и не вечно, а все же не смерть. Еще нет. Оно выбирается из пузырьков льда, рвется к жизни в жизни.

Я лежу. Среди людей и наедине с собой, напластываюсь поверху туманной бесформенностью, а в самом низу у костра моя скорлупка, увитая неясными снами, по которым проходят, прозрачные и немые, ни живые, ни мертвые, мои знакомцы: отец Прохор, Теофан, Русиян, Симонида, за ними появляются и тоже исчезают Ион, Катина, Пребонд Биж, потом кое-кто из мертвых: Стоимир, Ганимед, кузнец Боян, матушка моя Долгая Руса. Такие, какими я знал их. И все же другие. Бесплотные и сквозистые до последней нити крови. Мягкие и окоченелые. С едва различимыми лицами. Неслышные и чужие. Призрачные. Не страшусь их и не удивляюсь, что они – лиловатая мгла в лиловом. Меня разбирает любопытство. Хочу что-то сказать, но не знаю что и молчу. Немо слежу за ними неким внутренним оком. Не приветствую их, не прощаюсь. Они обходят меня. Их тени трепещут среди теней буков и грабов. Расплываются в прихлынувшем лунном свете, и свет расплывается тоже, собираясь внутри меня мраком с редкой серебряной пылью.

Меня пробудили крики, вырвали из земли – я уже запустил в нее корни. Мы вскакивали один за другим. Стражник подвел к встрепанному Папакакасу Вецко, нашего гонца в монастырь Святого Никиты, за ним покорно тащился мул. Известие, мной предугаданное, не удивляло: отец Прохор и Теофан благодарствуют, что про них вспомнили, однако останутся на своем месте – алтарь, коему они предстоят, ни пред царем, ни пред разбойником не покидается. Вецко мог бы теперь устроиться возле погасшего костра да поспать, а он, съежившийся от усталости, стоял в нерешительности. Сгорбился, переминался с ноги на ногу. Папакакас подошел совсем близко. Спросил, что еще, и ждал ответа, вместе с ним ждали мы, Вецко, задрожав, шепнул вроде бы имя, только я не расслышал – чье.

Ночь проходит и пройдет, холодный месяц в вышине словно бы подгрызла внезапная теплота, как дыхание обнюхавшего его зверя, или ветер, непостижимым способом добравшийся до него из своей норы, где обитает тайный огонь и вечность. Воздух подрагивает. То ли от звука предутреннего пробуждения, то ли от слабой волны света, полегоньку завладевающего землей и затопляющего все на ней. Вдалеке на небе открывается розоватая рана, солнце снизу уже изготовилось зализать ее горячим

языком, залечить. Коротко вздрагивают ветви буков и грабов, словно присоединяясь к перекликам рябчиков. Мрак собирается в полосы, в толпы вытянутых теней, людей и деревьев. Где-то по-песьи подал голос дикий козел.

Вецко повторяет произнесенное имя, но и теперь неясное.

"Русиян? – переспрашивает Папакакас, и голос у него не удивленный, а сонный. – Что он? Ты его повстречал?"

"Он здесь. Хочет с тобой увидеться".

Мы разом вскочили на ноги, среди первых Парамон и Богдан, заспанные и злые, злее некуда: причинитель их бед очутился совсем близко от них. Беззубый Парамон готов был деснами – так ненавидел – ободрать до костей бывшего своего властелина, а тот выходил из древесной тени и направлялся к нам, безоружный, с непокрытой головой, похожий на человека, заплутавшего в незнакомой местности, который теперь идет себе наобум, скорее лениво, чем осторожно. Богдан нагнулся и поднял с земли копье, принадлежавшее кому-то из убитых нами бижанчан, украшенное в пяди от острия лисьим хвостом, знаком Пребондовой десятки. Вецко нерешительно, с мольбой протянул к нему руки, при слабом восходном свете лицо его казалось еще более исхудалым, усохшим, постаревшим, в глазах, словно и не молодых, был страх.

"Нет! – крикнул он протестующе. – Русиян мог меня убить, но не убил".

И Парамон, вооружившись ратной секирой, обратился в живое мщение – того гляди опередит следопыта. Папакакас смирил их мановением руки, вроде бы смирил, спокойный, не выказывающий неприязни к пришельцу. Молча ждал, когда тот приблизится, затем и сам шагнул к нему. Они стояли близко друг против друга, мирные на вид – вот-вот разойдутся, слегка удивленные: не знакомы, просто вызвали взаимный интерес.

"Я ждал встречи, вельможа. Не так быстро и не здесь, а ждал. Бог перекрестил наши дорожки и столкнул, пора нам, значит, поделиться и своей враждой, и своим добром".

"Нет у меня добра. Ни здесь, ни в Кукулине. Мы теперь ровня, голодранцы и жертвы Бижа".

"Предлагаешь единение?"

"Если поверишь мне, ты и твои ратники, я пристану к вам с парой, пока что с парой своих людей. Все мы, ты, кукулинцы и я, перед одной опасностью, один у нас враг. Для Пребонда Бижа каждый по отдельности слаб. Я хочу, чтоб ты знал это".

"Знаю. Ну и что? За нами гонится Пребонд Биж. А за мной еще и царское войско, то самое, с которым ты повязан одной

веревочкой. Поверить тебе – какой залог предлагаешь?"

Не оборачиваясь, Русиян позвал:

"Роки, Житомир... Идите".

К нам приближались двое. Нет, не двое. За ними шла и она, Симонида. Подальше, локтей сто от нас, ржали невидимые кони. Я стоял недвижимый, охваченный равнодушием. Моя грешная, тайная любовь не взволновала меня. Я даже не спрашивал себя, как она оказалась здесь, среди нас.

"Мы убили стражников и вывезли ее из Бижанцев". – Только это и вымолвил Русиян. Отступил, давая Симониде место: скажи им.

Она не глядела на меня, ни на кого не глядела. Стояла спокойно, лицо бледное, губы сухие и бескровные, утерявшие соблазнительную полноту. Только глаза были прежние, в них подрагивали зеленые огоньки греха. Я перехватил взгляд Богданова сына. Утренние лучи будили в нем мужские желания.

"Если до завтра Данила и его люди не вернутся, всех, способных держать нож и меч, Биж двинет на Кукулино, на Любанцы, на монастырь".

"Не верьте ей, – усомнился кто-то. – Втянет она нас в беду".

"Верно, – согласился Папакакас. – Откуда мне знать, Русиян, что ты не ведешь за собой царевых платных убийц?"

"Ты хотел залога. Вот он. Оставляю тебе свою жену Симониду".

Она не твоя жена, чуть не крикнул я. Однако промолчал, знал, что вырешит Папакакас. И он вырешил.

"Оставайся с нами. Я подумаю".

7

КАРП ЛЮБАНСКИЙ

Он думал долго. От происходящего его словно отделяла невидимая стена – минувшее, с которым его ничто не связывало. Бродяга, человек без родины, никогда он не встанет за чуждый Рим, не подаст спасения Кукулину, над которым ураган собирал тяжкие, злые, смертоносные тучи. Он был не из тех, чьи чувства могли обратиться в гнев и горечь из-за судьбы людей под чернолесьем. Как и Пребонд Биж, он был разбойник. Сейчас Папакакас решил отвести своих людей – убраться с дороги сильного. И тотчас же, как-то внезапно, не успев разобраться в причинах несогласия, ему воспротивился Карп Любанский. Прикрывая волнение, пытался влить в предводителя благоразумие

и трезвые чувства. В бешенстве мести Пребонд Биж всех поколет на своем пути, Кукулино и другие села станут гробищем, жалкими останками жизни. Папакакас глодал кость, оставшуюся от вчерашнего пира. Все видели в нем дикого атамана, которому лучше не перечить, и не лезли с советами. Кинул мосол через плечо, костлявые пальцы отер о волосы. Правый глаз его прикрывала тень с запада, левый был обведен кольцом солнечного света. В его разуме – его сила. Сила эта блюла свою правду: жить и грабить, жить и бежать от смерти, жить и искать золотую жилу чужого богатства. Теперь я знал, что это Карп, Парамон и Богдан подбили его спасать нас от погони. В его широких ноздрях гудели невидимые осы.

"Не понимаю тебя. Хочешь, чтобы я повел вас на погибель?"

"На погибель? – тихо переспросил Карп. – Чью погибель? У сел нету защитников. Погляди, сколько нас тут из этих сел, – он сделал широкий полукруг рукой. – Больше половины. Мы, атаман, должны защитить Кукулино, Любанцы, Бразду. И монастырь с хилыми стариками".

"Не понимаю тебя. Кто это вы? Без меня?"

"С тобой. Нам суждена битва с Бижовыми людьми".

"Нет. Пока мы вынуждены уступать сильному".

"Тогда без тебя, одни".

"Без меня – нет. Я для вас закон. И для тебя тоже".

"Закон? – вмешался Тане Ронго. – Миг подошел решительный. Закон для нас – единение, а если не будет единения – расходимся. С тобой останется меньше, чем полагаешь. Может, и рискованно нападать на Бижанцы, но вдвое рискованней ждать, промедленьем искушая судьбу".

Мы уже расходились. На Карповой стороне было большинство: Парамон, Богдан, Вецко, Тане Ронго, братья Давид и Силян, Русиян со своими ратниками, Яков и Баце, молодые люди, неведомо откуда и как попавшие в отряд, были и не во всем согласные с атаманом – колебались между решимостью Карпа возвыситься над разбоем и нежеланием атамана лезть на рожон.

"Бижанцы село богатое, вот что я знаю, – вмешался Антим, внезапно, казалось, в монахе пробуждался грабитель, но я понимал, что он, лукавый и мудрый, пытается завоевать Папакакаса. – В хоромах Пребонда Бижа горы золота и серебра. Это богатство может стать нашим. – Вздохнув, повторил: – Нашим!"

Теперь оба глаза атамана были в утреннем свете. С севера, с верха Шары, погромыхивая, приближалось густое сиво-белое завихрение – облака, угрожающие дождем и еще чем-то неве-

домым. Перед налетевшим холодом, под коварное завывание ветра оттянулись, расплылись тени. Круглое и набухшее влагой облако, сжимаясь и разжимаясь, отделилось от груды и закрыло солнце. Золотые кольца вокруг глаз атамана исчезли. Но зрачки его еще горели золотом. Антим одолел его, перетянул.

"Так. Значит, золото? И серебро. Что же ты предлагаешь, монах?"

"У меня есть план. Ждал удобной минуты, чтоб изложить".

"План? Не понимаю! Трое ихних на одного нашего, так, что ли?"

"Да пусть хоть пятеро на одного. Мудрость, атаман, как говаривал наш отец Прохор, никогда не отступает перед обезумевшей силой".

Более всего Папакакас доверял молчаливому Чеславу, медлительному, задумчивому человеку.

"А ты что думаешь?"

"Много чего и ничего. Что бы ты ни решил, для меня закон".

Вот и все, что вымолвил этот человек, молчаливый до сего мгновения, да и после – до дня завтрашнего, когда откроется его сердце и его рана.

Исчезло солнце, ветер распарывал облака, они срастались, цедили морось. Слышу мрачный голос Антима, увлекающий многих, кое-кто помалкивает, скрывая свое сомнение в успехе. План его – безумный, страшный и мстительный, с непредугадываемым концом. Вихрь открывающихся возможностей, за малым исключением, воодушевил всех, особенно Карпа Любанского, Богдана и Парамона. Даже, как ни странно, меня. Наша увлеченность вгоняет людей в лихорадку. Долгим будет день. И ночь. Только шаг отделяет нас от судьбоносного боя, от погибели, нашей или бижанчан, а может, и тех и других. Коренастому крепышу Папакакасу издали – с горы, из-за горы – машет золотыми руками будущее. Он выпрямился.

"Седлайте коней. Пусть кто-нибудь, – указал на обессиленного Киприяна, – этот монах, пойдет с ней, – глянул на Симониду, – скроет ее – в монастыре ли, в селе ли. С мулами и с лишним грузом".

Киприян без удивления, спокойно, будто ждал этого, встал и подошел к Симониде. Она ему усмехнулась неопределенно и, так же неопределенно, – всем и никому. По ее круглому стану мутновато скользили мужские взгляды. Она села на мула, свесив ноги на одну сторону. Не поинтересовалась у Русияна, почему расстаются. Да он и не ответил бы. Хмуро глядел, пока она удалялась, вслед за мулом монаха.

"Ну, – позвал с коня Папакакас. – Тронули".

Косо ударил мелкий дождь, низко спустились облака, ветер затягивал нас в неизвестность. Мы спешили, кто верхом, кто пешком, один за другим, молчаливые и сгорбленные, девять конников и девять теней, воинство или ломкая груда костей, а может, запутанный клубок, он закатывался на скалы и скатывался в долины, то оставляя дождь за собой, то оказываясь в гуще дождя, катился в мутный полдень, в сумрак, чтобы безошибочно пробиться сквозь вихрь ночи и дождь.

Отдыхали редко. Я ехал, засыпая в седле: сквозь дрему видел мула, увозившего Симониду. Пытаюсь заворотить коня назад, отыскать своих. Не могу. Мешают чары – Симонида не отпускает меня. Просыпаюсь – еду вместе со всеми, усталый, под дождем, бесполезный. Куда еду, зачем? И снова набегает сон, вздымает меня и сбрасывает к людям.

Мы сменялись в седле, делили усталость, как делили судьбу, искали и находили тот путь, которым Антим, Киприян и я ушли от Бижа, ведомые некими Ионом и Катиной – карликом с острым разумом и безмерной душой и девочкой с неладами в юной крови, – то ли блаженными, то ли раскаянными, увидевшими в нас божьих вестников, безвинность, у которой весь мир, и они тоже, в должниках. Затем мы разделились. Антим, Богдан, Вецко, Карп Любанский и я заняли ту самую площадку – сто шагов в длину – с заготовленными камнями над ущельем, по которому шла единственная дорога в Бижанцы. Другие, осторожно спустившись, спрятались там, где ущелье открывается воронкой в широкие просторы с дубравами и мелкими балками по краям.

Дождь отходил и возвращался снова. Перед самым рассветом перестал, облака растащили его во все стороны. Звезды на приоткрытых небесах утеряли свой дрожащий блеск. Мы сидели за грудой камней, сверху хорошо виделось село. Мы молча его рассматривали: дома словно крупные зерна на шероховатой ладони, с нее расходились углубления, удлиняющиеся в пустую артерию – ущелье, которое вот-вот накроет смерть и протянет свои щупальца к нам, предводимым Папакакасом. Заорал петух, над кровлями взвивались дымки – наступал рассвет. Перед нами словно бы на далеком изображении оживало далекое время, на поверхности иконы двигались муравьи-люди – выводили из стойл муравьев-коней, появлялись из ниоткуда, расходились, вновь возвращались друг к другу, строились десятка за десяткой. Две десятки конных, три – пеших, впереди двуколка,
 в которую неспешно взгромождался на шкуры Пребонд Биж.

Он ведет, управляет – вовсе не вихрь, мечом засылающий вихрь.

"Не обманула. – Карп Любанский думал о Симониде. Поднял руку перекреститься. Не стал. Усмехнулся невесело. – Утро-то какое погожее, – поглядел на меня. – Слышишь, запели горные куропатки".

Бижанчане уже под нами – спускаются по круче в ущелье. Вставшее солнце удлинило тени, темные и сплющенные, за фигурками, спешившими в царство великой тени среди утесов, чтобы хлынуть из ее воронки на наше чернолесье, на наши села.

Цель далеко. Будь она и совсем близко, им не достигнуть ее. Мы ждали скрюченные, напружившиеся, немые, чтоб они оказались внизу, в каменной своей гробнице; я чувствовал, как у меня сохнет горло. Может быть, я дрожал. Меня не убили, а я вот собираюсь убить, хотелось горько усмехнуться кому-то. Некому. Всех охватила судорога, скорее затаенное полоумие, чем справедливое мщение. С кромки, на которой мы хоронились, Богдан и Карп Любанский откатили бревно, удерживающее груды заготовленного камня. Загромыхало. Глыбы, подскакивая, летели по крутизне, волокли за собой кусты и камни, и все вместе с мчавшимися следом новыми бревнами и глыбами обрушивалось на тех, внизу, на теперь уже бывших людей, превращавшихся в хруст костей, в ужас, страх, смерть, в замурованность под камнем, который густой лавиной все катил и катил сверху, доустраивая беспорядочные могилы в ущелье. Воодушевленные злыми страстями, жаждой мести и крови, глухие к крикам снизу, ослепшие, не видящие перекошенных жутью лиц друг друга, с привкусом желчи под языком, озверевшие, уже не судьи, а извершители приговора, мы перебегали от одной груды камней к другой, выбивали колья из-под бревен и орали, подбадривая себя невразумительным криком. Гора гудела, забирая в утробу своих детей-бижанчан, которые могли быть сеятелями и жнецами, мирными пастырями, далекими от кукулинских обид и несогласий, принесенных сюда легионами деспотов в продолжение столетий. Они были в этих местах пришельцами, легко осваивали чужие пределы и собирались легко прожить. И теперь гибли.

Смертоносный, неостановимый поток из бревен, больших и малых камней захлестывал людей внизу, ломая колени, черепа, позвоночники, расплющивая селезенки и легкие, обрывая нити между Вчера и Завтра, в адовом Нынче, где на одном дыхании поседел Карп Любанский, с содроганием, визгливо и дико захохотал Вецко и свою страшную и жестокую молитву выродил Антим, что-то утробное, вроде убрееееааа, ее подхватил Бог-

дан, потом я; и нам отвечали бессмысленные голоса из ущелья и падей: убреееааа! Мы сделались рукой смерти, безумные дудельщики в невидимый рог – сквозь зевло его возглашался конец мужской сердцевины селения Бижанцы, раздавленной в месиво и кровавую пену: когда все утихнет, двинутся к нему всяк по свое плакальщицы, могильщики и дикие псы.

Тогда, во время этого вероломного действа, сошел с ума Карп Любанский. Выпрямился возле последней груды камней и поднял руку, что-то выкрикивая. Прыжком заскочил на бревно и заплясал, сперва тяжело и неуклюже, потом быстро и смешно, на одной ноге. Колышки за бревном подались, и оно, заранее предопределенным путем, пошло вниз вместе с Карпом Любанским и камнями, круша все на своем пути, чтобы воздвигнуть последний курган бижанчанам. И – о скорбь моя! – благосердому Карпу Любанскому, человеку, воспротивившемуся владетелю Русияну, и Папакакасу, и Пребонду Бижу, но более всего самой жизни – за миг до того, как я испустил рыдание.

"Мы прокляты, господи! Будь же проклят и ты!"

А внизу, в ущелье, Папакакас со своими людьми, с ними Русиян, Роки и Житомир, все на конях, посекали то, что осталось от бижанчан, пробивались, слегка редея, среди человечьих и конских трупов к Бижанцам, к богатствам Пребонда Бижа, к тому злату-серебру, которое Антим, может, и не выдумал, когда вызывал Папакакасову алчность. *В хоромах Пребонда Бижа горы золота и серебра.* Пламень в крови, дрожание селезенки, корчи разума. Убогая цель – и такая цена: тьма-тьмущая убитых. Я рыдал: придет Черный Спипиле, соберет кости.

Прокляты мы, прокляты! И мы и ты, господи!

"Пошли в Бижанцы, – позвал Богдан. – Знаю я Папакакаса. Опьянел от крови. Всех посечет. И женщин, и детей в колыбели".

8

ЧЕСЛАВ. РАССТАВАНЬЕ. ТОСКА

Густая, тяжкая, липкая паутина сна, паук высасывает мое сознание...

...Сенной сарай, где я три дня назад содержался пленником, для меня и во мне под именем Иония, большой, крепко сбитый и новый, полыхнул первым. Огонь косо удлинялся и шелестел, жар мигом сглотнул кровлю из ржавой соломы и выплю-

нул ее в виде искр. Обезумевший и совсем крохотный, меньше, чем я его помнил, из сенника выскочил Ион. Глаза его растопились от огня, каплями цедится смола. На устах его леденеет крик, испаряется. Он возносит руки, призывая небо в свидетели. На его темени и плечах живыми перьями полыхает пламя. К нему, с секирой и факелом, подходит Папакакас. Он в броне и под золотым шлемом. Знаю, что случится сейчас, а бессилен. Ступни срослись с камнем. Вою или, может, хриплю. Мой голос не доходит до атамана. Он вскидывает секиру и рассекает пополам человечка. Ухмыляясь, оборачивается ко мне – теперь у тебя два дружка. Смеется. Над мертвым Ионом склоняется Катина. В зеленом. Она и не она. Шелковая накидка Симониды. Папакакас уже над ней, занес секиру с двумя лезвиями. Дым от спаленных домов сгущается, скрывает злодея и жертвы, прячет их от глаз...

Это мне снилось позднее. Папакакас не мог ни палить, ни убивать, не тот стал – мы тащим его на носилках, сооруженных из длинных жердей и рыжей ткани. Мы уходим. За нами, от села до ущелья, стоном стонет дорога – жуткая гусеница корчится в крике. Женщины и дети паникой наполняют жилу, спускающуюся из села в ущелье. Мы уходим не все. Остались (закопают ли их бижанчане?) Карп Любанский, Житомир, Яков и Миломир. Я не знал их чаяний, а теперь забываю лица, фигуры, одежды. На конях – поколотые Тане Ронго и братья Давид и Силян. Первый вскорости свалился с седла. Мы долго копали ему могилу возле двух деревьев, одно было побито молнией. Помолились без молитвы за упокой души раба божьего Антим и я, уже не монахи. Осенили крестом и прощальным вздохом.

После полудня мы снова очутились в той чаще, из которой вышли на Бижанцы. Истомленные и голодные, не совсем просохшие от дождя, что провожал нас в кошмарную схватку, мы бросались на землю, засыпая до того, как ее коснуться. Не все. Кто посильнее – Русиян, Роки и Антим – собирали сушняк и раскладывали костер. С испарявшейся влагой испарялось отчаяние. Прикрытый на носилках, не разбойник уже и не атаман, Папакакас кусал губы от боли и стонал, временами впадая в беспамятство и лихорадку. Он был нам обузой, он был и будет обузой жизни всем, кто узнает его хромым побирушкой или лживым юродом, завтра, скоро – когда распадется шайка, как распадается труп зверя, сперва приятельствовавшего со смертью, а потом ставшего ее знамением. Его люди и мы, все, и я в том числе, в иных обстоятельствах одушевленные иными

целями, могли бы стать хоть латниками, крестоносцами, освобождавшими Христов гроб и грабившими наши становища, а особенно Константинополь, украшенный иконами Михаила и Евтихия, богатый когда-то золотом, шелками, пряностями, обработанный медью и резной слоновой костью, позолоченным персидским оружием, драгоценными каменьями из земли фараонов, – и все это грабилось во имя креста и хмеля. Сейчас мы были безвольной толпой, людьми, разуверившимися друг в друге, затаившимися в своем безумии, для таких древние слагатели гимнов Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин и Касия, грешная или святая монахиня, не нашли бы похвальных слов.

Я засыпал возле огня и пробуждался. Выплетался из сотни неясных, мутных и липких снов, оттуда тянулись ко мне руки и щупальца. Вокруг меня кружили птицы, обнюхивало зверье – я труп, ждали пирушку. Но я слышу. Как-то странно – кожей, осязанием. Папакакасов приближенный Чеслав, в корче мышц и затаенного горя, серый, с пятнами ржави – железо для некой надобности, – до сего дня молчаливый и замкнутый, а ныне выпитый внутренней мукой, вертит в руках секиру предводителя. Словно ищет в лезвии и находит что-то ему одному понятное. Вздыхает. Сидит у огня и отворачивается от дыма, который ветер бросает ему в лицо. Глаза завешены волосами, однако видно – налитые кровью, косые. Голос горловой, металлический. Кто спит, а кто убегает от сна и слушает житие почти безжизненного Папакакаса.

Сын константинопольского властелина, он вырос в пышных царских дворцах, в Буколеоне, в Магнавре, его учителями были норманны и россияне, владевшие оружием, другие наставляли в грамматике, астрономии, составлении мозаик, врачевании – ученые из Генуи, Персии, Паннонии. Папакакасу было всего лишь пятнадцать лет, когда турки покололи византийское войско, где-то между Никеей и Никомедией. Слишком молодой и несдержанный в поступках, он обвинил в поражении стратигов и вельмож, навлекая на себя тучи высочайшего гнева. Вскоре пришлось бежать – по ночам подстерегали его платные убийцы. Чеслав, молочный брат (его мать выкормила Папакакаса, сына вдовца, богатого и именитого), не оставил его и без малого двадцать лет скитался с ним по белому свету – был охранником у мореходцев и купцов, платным ратником у вельмож. И разбойником. Чеслав признавался, что всегда был всего лишь тенью и теперь предчувствует: зароют тело – исчезнет тень, ее место тоже в могиле.

 Замолчал, словно собирая мысли, чтобы сообщить нам не-

что значительное, из-за чего и погрузился в свое и Папакакасово прошлое. На самом же деле Чеслав, повернув голову, прислушивался к стонам с носилок.

Его имя – не Папакакас. Сменив жизнь и друзей, он отказался от имени Поликарп – а им его окрестил первый глава константинопольской церкви божьей. Его звали как и погибшего из Любанцев – Карп. Власти всегда расставляли ему ловушки, но он, всех перехитрив, уносил свою голову. И вот теперь... Кабы можно, он, Чеслав, лег бы на его место.

Склонился, двумя пальцами ухватил букашку в зеленой броне, ползущую по земле.

"Скорбь подумать, – вымолвил. – Этот жук такого человека переживет. Воистину скорбь".

Исповедь, более обширная, чем я излагаю, прерывалась, доходила до меня, примостившегося у костра, медленно и трудно, забирала сознание в оковы, нагоняла оторопь. Я понимал: молочный брат атамана считает изувеченного Папакакаса конченым и все же вглядывается в сидящих вокруг в неясной надежде, предлагая золото тому, кто поднимет умирающего на ноги. А может, он искал человека, который подарит израненному легкую смерть.

Я спал. А взгляд мой следил за кем-то, пребывавшим во мне, – вот он выпрямляется и затаивается возле костра в ожидании события, которым завершится день. Папакакасова боль и мука Чеслава. Внезапно, не знаю когда, на нас наползла желтая мгла из можжевельника и одуванчиков. В желтом наплыве трепетал голос:

"Чеслав, не оставляй меня гнить живого. Убей меня... Убей... Прошу тебя, брат..."

"Для него нет лекарства. В куски весь изрублен. Давай я кончу".

Я не удивился. Именно Роки должен был такое произнести. Какой сон, какой жуткий сон! Но я не спал, и Папакакас действительно умолял избавить его от мук, и Роки действительно предлагал себя Чеславу, испрашивая его согласия стать избавителем: вытащить меч и знаменитым ударом, о котором я столько слышал – наискосок, от ключевой левой кости до какого-то ребра, третьего или четвертого, – упокоить главаря.

"Не смей, Роки. Ты мой ратник".

"Был твоим, Русиян. Давно, вчера. А теперь и ты не властелин, и я не ратник. Ну, Чеслав?"

Тишина, больное невнятное бормотание с носилок. И голос брата по молоку, хриплый, далекий:

"Сделай это. Поспеши".

Я не спал. Оперщись подбородком в колени, заставлял себя держать глаза открытыми, наблюдал. Но все, и движение и голоса, словно где-то в глубинах, куда я устремляюсь в поисках возможного выхода из всяческих тягот, навалившихся на нас. Нет больше Карпа Любанского, Житомира Козара, Якова, Баце, Миломира и Тане Ронго. Близнецы ранены: у Давида посечено ухо, у Силяна рука перевязана. Нико стоит в нерешительности, поглядывая то на носилки, где лежит изнемогший Папакакас, то на Чеслава. Парамон молчит, в одиночестве, вдалеке от нас. Богдан и Вецко ведут коней – возвращаются в Кукулино, и никто их не останавливает, не спрашивает, что они такое надумали и куда путь держат. Самый нахмуренный – Русиян. Его рука, того гляди, выжмет воду из рукояти меча. Пред ним остановился Антим.

"Одумайся, Русиян. Роки не твой воин больше. Подымешь меч – налетишь на два. Роки и Чеслав заодно. Да и Парамон прислеживает за тобой. Ты ведь у него в должниках".

"Неужто вы с Тимофеем дадите меня просечь?"

"Посекут за милую душу, и тебя и нас. Уходи. Я послежу, чтоб Парамон тебе не зашел со спины".

Сгущается и растягивается желтая мгла, сотворенная моей усталостью. И небо желтое, провисло выменем вселенской волчицы. Орел играючи касается его крылом, стремглав падает вниз, к дубовым кронам, и вновь взмывает с живым ужом в стиснутых когтях. Роки и Чеслав несут за кусты Папакакаса, медленно и торжественно – крестный ход, истовый и богоугодный.

Из кустов Чеслав воротился ни на кого не глядя, что-то пробормотал, стараясь не плакать, вроде бы – пропади она пропадом, эта земля. Прошел мимо нас к своему коню. И уехал, не оборачиваясь, неясной тропкой, исчезающей в лесу. Роки, тоже верхом, сказал кому-то, а может, всем:

"Чеслав мне не дозволил вытащить меч. Уходи, дескать, сделаю сам. И сделал".

Он тронул коня, поглядывая на нас через плечо. Половина лица его растянулась неопределенной усмешкой:

"Искусный удар. Поглядите".

В седле оказался и Нико. Парамон тоже покинул нас. С ним, смущенно посмеиваясь, уехали Силян с Давидом. Мы остались втроем – Русиян, Антим и я, – безгласные, брошенные, ненужные тому миру, который выбрали для себя они. Вдалеке, долиной, выкрадывающейся из леса, уже спускались всадники. И

они испаряли желтую мглу, сквозь которую к нам не пробивался ни ветер, ни конский топот. Огонек костра затаился, пыхнул последний раз и погас. Русиян провел ладонью по лбу, плюнул в кострище.

"Песьи дети, – горько вымолвил он. – Бросили вам своего Папакакаса. Что ж, погребайте его, вы монахи. Мне надо найти Симониду".

Мы с Антимом и его проводили взглядом. Вдали клекотал орел, из тех, что не признают святости змей и существуют в одиночку, без стаи. Я знал – Антим тоже отправится своим путем.

9

КРИК

Жизнь, которую я прошел, и ту малость, что осталось дошагать до могилы, можно разложить окрест Кукулина: на севере корчится горное чернолесье, на востоке – болото, ближе сюда, прямо за рекой Давидицей, – Песье Распятие. Три этих места – три круга, каждый со своими скорбями и упованиями, и крутятся по ним и теснятся, не охватишь счетом, людские судьбы, от веку.

И нижутся дни, идут недели, проходят годы. Как и всякому одиночке, ночи мне длинны и тяжки. Вспоминаю многих. Иных не стало, иные под землей, иные бредут сквозь туман по беспутью. Старого монаха Прохора погребли два года назад на монастырском дворе, рядом с костями из кукулинской крепости. Ему ни хуже, ни лучше, чем живым. Монастырь стерегут теперь трое – Теофан, Киприян и новый послушник, человечек Ион: долгой дорогой прибыл он из Бижанцев и нарекся в монашестве моим именем – Нестор. Маленький, локтя ткани хватило на рясу. Монастырские угодья западают, я, вернувшийся к сельской жизни, помогаю редко. Монаха Антима кровь увлекла дорогами, затягивающимися за ним узлом. Русиян кинулся в Город за Симонидой. И пропал. Недостроенная крепость на оголенной земле похожа на распавшийся череп. Сельчане ее доконали – растащили камень, тесанный с муками. Особенно старались следопыт Богдан и сын его Вецко – он женился теперь, жену за себя взял чуть постарше – Лозану, дочь забытого Кузмана. Молодых опекает Велика, два собственных чада ковыляют за ней, точно утята. Вскорости после смерти мужа, украсив его могилу петушками, Пара Босилкова переселилась в Бразду, увозя на двуколках свое добро, от веретена до

ткацкого стана, замуж пошла за тихого, кроткого человека, то ли горшечника, то ли тележника. "Мало в селе мужиков, – жаловался навещавший меня Богдан. – Да и те, что остались, без жен обходятся, разве дело?" "Сватом ходишь ко мне, устраиваешь вдовушкам мужей?" – спрашивал я. "Именно, мой любезный, – соглашался он. – Вон сколько их, молодых да крепких. Принесет тебе женушка близнецов". – "Ищи жениха в другом месте, Богдан. Я, может, еще вернусь к монахам". И он, и я знали, что не вернусь. Он меня укорял – в старости, мол, когда одолеют хвори и немощь, раскаюсь я и припомню его советы; Богдан был прав.

Покинувшие нас три года тому назад после сражения под Бижанцами уехали на конях, если живы – далеко. Грабят, бесчинствуют, предаются пагубе. Кем были и как звались, какому кресту молились? Антим, Чеслав, Роки, Парамон, Нико, братья Силян и Давид. Нет у них судей и нет свидетелей, некому их защитить и обвинить. Оттащило потоком времени, на них осадок забвения. Хотя мертвее их Карп Любанский, Пребонд Биж, Данила, Папакакас и многие еще. Легок им тяжкий камень нашей скудной земли. А я – в доме своей покойной матушки Долгой Русы. Один.

Я привык уходить в дубраву под Песьим Распятием. Вдалеке от людей лежал на спине, ладони под голову. Ночное небо походило на груду сдвинутых гроздьев с блестящими зернами. В одну такую мирную ночь я увидел ее, она подходила ко мне, я знал, словно со звезд вычитал, зачем и как надо с ней держаться. Я остался лежать. Она стояла надо мной, немая, похожая на тень, – не распознаешь лика, скорбь на нем или радость. Я ждал и молчал, в траве шелестели ежи, с дерева славили свой восход ночные птицы. И тут я услышал крик, тот, из забытых преданий. Жуткий, пронзительный крик человека или пса, когда-то давно распятого на кресте, может, на том самом месте, где я лежал. Я закрыл глаза. Крик стал картиной. Перед осенней свадьбой с копьем в горле стоит олень, вскинув голову к небу. Любовный зов преобразился в боль – зверь угасал, возглашая свою кончину, за ним остался крик, возрождающийся в роковые мгновения... Волчица в западне изо льда и железа. Вынашивает потомство, которого не дождется. Лопаются жилы, но она терпит и благодарит небо за то, что оно примет ее последний крик и будет возвращать его временами, чтобы земля вторила ему ее голосом... Или крик этот – жизнь призрака, вилы, отшельника в пещере, утопленника в густых водах болота? Сказания нашептывают: крик – это смертная молитва собачь-

его Иисуса, отмщение христиан многобожцам, а может, непокорство Веруновых почитателей, проклятие, направленное кресту...

Но она пришла и теперь была здесь, в шаге от меня. Я поднялся, теряя нити, из которых выпрядал свои вымыслы. Крик, вой, щупальце язвящего звука, обвивающееся вокруг. Слышала, спросил я в себе, и слышал, тоже в себе, что это вою я, моя грешная кровь, скорчившаяся от более чем тридцатилетних мучений плоть. Я был стар и напуган. Встал и пошел к дому. За мной шла она, Катина. Я знал, что Бижанцы остались без мужчин, что тамошние женщины, иные с детьми, расходятся на все стороны в поисках защитника и надежного крова. Только и по нашим селам женщины в преизбытке, мужчины пропадают, и мается в судорогах и пустоте про́клятый мой народ, раскинувшийся от моря, не виданного мной, до границ серного царства ада.

Мне бы, забрав с собой крик Песьего Распятия, убежать сквозь тени к укромной норе, где никто меня не найдет, – глодать камень и собирать дождевую воду в ладони, там я буду один, обманутый жизнью отшельник, а пуще того зверь и упырь, вгоняющий в дрожь человека и всякую тварь. Но я шагал. Медленно, чтоб она поспевала за мной.

С кладбища на нас летели трепетные светляки. В Давидице полоскался зверь, то ли выдра, то ли кабан. Под этот шум дробился в воде свет осеннего месяца. Над Песьим Распятием залаял пес. Его брех воротился ко мне криком и всего меня переполнил... Светляки проходили сквозь меня, но тотчас же мрак залечивал раны, забирая в свою броню. На мгновение, когда я обернулся к развалинам старой крепости, мне показалось, что месяц отразился в исполинском оке, выглядывающем из самой верхней бойницы. Я не остановился, продолжал шагать. Вдалеке, где-то над Синей Скалой, наискось, стремительно, оставляя за собой мимолетный след, спустилась звезда и распалась в глубокой пустоте. Пала на ту руку, которая выступает из земли, подумал я про себя, и еще подумал, успел ли Киприян своим астрографом измерить ее путь, ведь она предвещает смерть – его, мою или другого кого, с кем разминулись навсегда мои дороги. Ночь, огромный паук, не эта, а та, сопутствующая нам с первого дня жизни, опутывающая нас своими нитями, – мы живы, а мертвее мертвых, неживые в своей вечной, немой, неподвижной жизни. Живой, мертвый – удивлялся я, выдираясь из мрака. "Нет! – крикнул я месяцу. – Я живой, – и воздел руки. – Мы живые, Катина. Мы, ты и я. И лоза

перед домом – взойдет солнце, мы соберем с нее отяжелевшие гроздья".

За нами, над Песьим Распятием, простиралось безмолвие. И впереди, до бескрайних глубин, с которых поднимался предсонный покой и благоухание неведомых трав. Из приоткрытой двери дома пробился запах печеного хлеба. Заплакал ребенок, может новорожденный. Село окутала тонкая рубиновая мгла, и я не знал, знамение ли это завтрашних кровопролитий или обещание урожайных лет. По кровлям затаившихся домов и по кронам деревьев лежали золотые и зеленые отсветы звезд, выстроившихся в небе подобно птицам перед осенним отлетом. Спокойно, даже не перекрестившись, я прошел мимо понурого всадника на козле. Я ошибся. Тень, хоть и живая. В серебристой Давидице купался месяц, превращая ее рябь в тысячи кусочков опала. Высоко в горах трепетали свечи – правили свою панихиду деревья. В стойле травщика Миялко, павшего от меча бижанчанина, подала голос корова, под ней был теленок, меня опахнуло запахом молока и ясного неба; вдруг посыпал дождь, и ожили травы. Невен, самый дряхлый на селе, со сморщенным, точно у старой черепахи, лицом, сидел на погосте, у могилы, которую днем собственноручно себе копал, почитая ее своим будущим домом. "Сынки, – бормотал старик, обращаясь к двум деревцам у могилы. – Выплачивайте должок, берите меня под свою зеленую крышу". Пророчил себе кончину, три дня уже, как он стал вдовцом. Снохи его, Борка и Гена, уезжавшие когда-то от беды подальше, теперь опять в Кукулине, ткут ему смертное покрывало – распрощаются с ним и похоронят, чуть снег откроет Богдану следы дикого зверя. Песье Распятие за моей спиной с треском разверзлось. Гуд идет, вырастает в крик. Я остановился, зажал ладонями уши. И не смог укрыться от жуткого этого звука, никогда не пронзал он меня столь жестоко – это в будущем. Крик не смолкал, возрождался из отго-

лосков, они летели из старой крепости, где нашел я кости упокоенного Борчилы, и из новой, где жили воспоминания, Симонидины и мои, из дней моих между монашеством и погибелью бижанчан в ущелье. Ущелье то зовется теперь Серая Могила, для кочевого племени со стадами и кудрявыми ребятишками — племя это долго не касалось пастбищ нашего проклятого богом Кукулина. "Кто бы ты ни был, зарой меня!" — кричал с погоста Невен. Этот крик и свалил его в могилу, годы он холил ее и лелеял, караулил, чтоб не улегся в нее кто другой, даже свою покойную хозяйку не допускал. "Посиди немножко в мягкой земле, — уговаривал я старика про себя. — Вернусь, вытащу тебя". Завывал пес, оплакивая живого. Его завывание превращало Песье Распятие в страшную и огромную пасть. Может, пес тот скулил и завывал в зубах у самой земли, алчущей погребенных.

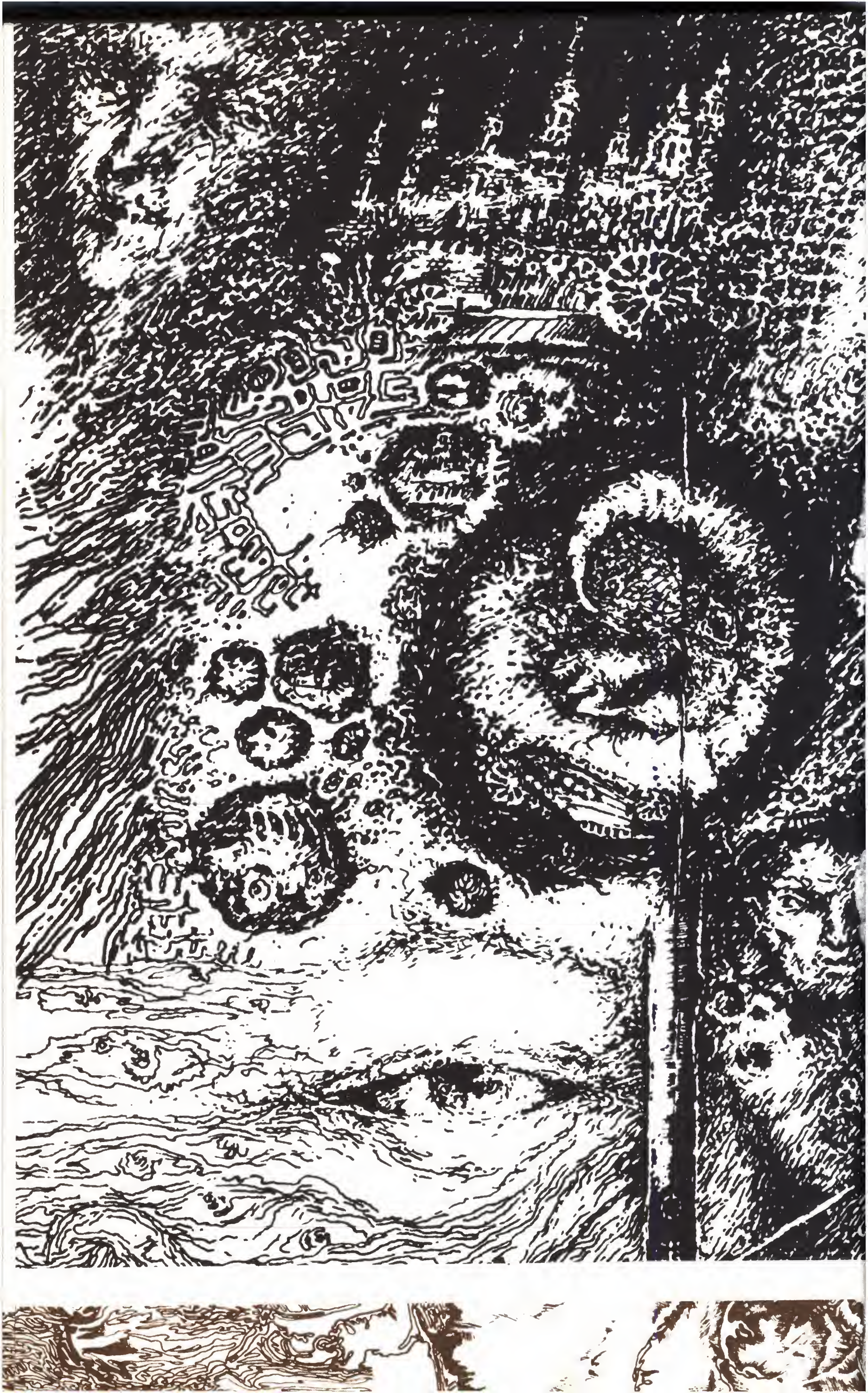
Я понял, я наконец-то понял: этот крик жутью будет пронзать меня до Судного дня, ибо он слышится самым грешным. А таких в Кукулине немного, таким мог быть только один. Я вынул из пояса нож и рассек себе левую ладонь. Помнил: напитавшись кровью, земля стихает. Утягивая за собой отголоски, крик исчезал, закапывался в свое каменное горло. Я шел дальше. На шаг позади неслышно ступала пришелица. Где-то ее подстерегал призрак — вечная неизвестность.

Перед домом Долгой Русы, теперь моим, я остановился. С руки, живыми нитями пробиваясь сквозь пальцы, цедилась кровь.

"Вот твой дом, Катина", — сказал.

Пес замолк. Невен больше не взывал из могилы, в эту осеннюю ночь погост светился тайным и таинственным светом, воистину — вечное царство отживших.

Теперь даже по ночам Черный Спипиле искал и находил кости.



Было у нас начало и было скончание.
И ваше черное житие к концу придет.

(Псалом усопших)

ВМЕСТО ИСПОВЕДИ

Запустил свою ниву Черный Спипиле, дурнина выпивала соки земли. Дом его покосился, одна сторона выпирала брюхом, из трещин по застрехам выселились птицы. Он возмужал, хотя от старости был далек. Но даже самые беззаботные дни, оттого, может, что он был моложе меня несколькими годами, нас не сближали. Он собирал кости и сносил их на тайное кладбище – закопать и помолиться над ними немо и с почитанием. Молиться умел и я. И молился, забравшись в орешник неподалеку от монастыря, неведомо кому и зачем, – просто сидел в одиночестве и глазами вымеривал небеса.

"Не смейся надо мной, – вымолвил он однажды, – я не лгал тебе. – Я не смеялся – смех давно омертвел в Кукулине. – Не знаю, как объяснить, только я слышу голос Петкана, того, что ходил в медвежьей шкуре, слышу, как он поет под землей". В торбе возле его ног наверняка лежали кости. "А ты? – спросил я. – Выкопаешь его и забьешь глотку землей, так?" "Я же не всемогущий, – заикался он, – как мне удается слышать мертвых? А я слышу. И не только сейчас. Нет, не смейся надо мной, в старой крепости завывал мертвец". Я не смеялся. "Завывал? А теперь не завывает уже?" – "Нет, и давно". Я ему верил. В крепости не было мертвеца, кости ее последнего обитателя погребены на монастырском погосте. "А ты слышал когда-нибудь крик с Песьего Распятия?" – спросил я. "Это кричат кости, я нахожу их уже пятнадцать лет, – ответил он. – Знаешь, сколько костей в голове у карпа? – вдруг спросил он. Я не знал. – Больше сотни, – сказал он. – А знаешь ли, Тимофей, какой крик испускает сотня костей? – И этого я не знал. – Превеликий. А я закопал тыщи костей. Но ты этого крика не бойся. Считай его за молитву".

Он исчез, словно не были мы друг против друга. "Черный Спипиле, – позвал я, – где ты?" Вокруг опадали листья, стала сгущаться тьма. "Что с тобой, Тимофей, кого ты зовешь?" – надо мной стояла Катина. Я открыл глаза: межи между явью и сном не было. "Меня разбудил крик, – ответил я. – Проклятый крик и проклятый сон". Ее ладонь забирала жар моего лба. "Это был не сон, – сказала она. – Я тоже слышала крик". Я сдернул с себя одеяло. "Позови следопыта Богдана. Пусть придет и посмотрит в треснутую тыкву. Я хочу пить, а без него мне не пьется".

Следопыт пришел. "И без тыквы знаю, – уселся он напротив меня. – Черный Спипиле пошел в ущелье хоронить кости бижан-

чан”. Я исподтишка взглянул на Катину. ”Тише, Богдан. В доме повешенного не говорят о веревке”. Но она нас не слушала.

Снаружи мешались со вздохами осеннего ветра разные шумы.

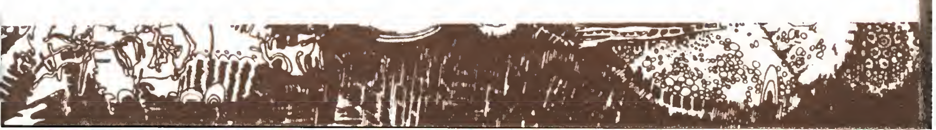
”Слышишь? – спросил Богдан. В пламени свечи лицо его удлинялось. Таким мертвецки худым я его никогда не видел. – Слышишь ли, Тимофей? То поступь наших годин. Они уходят, расстаются с нами”. ”Мы же не мертвые, – воспротивился я. – Сидим и пьем, дышим”. Он покачал головой. ”Уже мертвые. Черный Спипиле зароет наши кости с молитвой”.

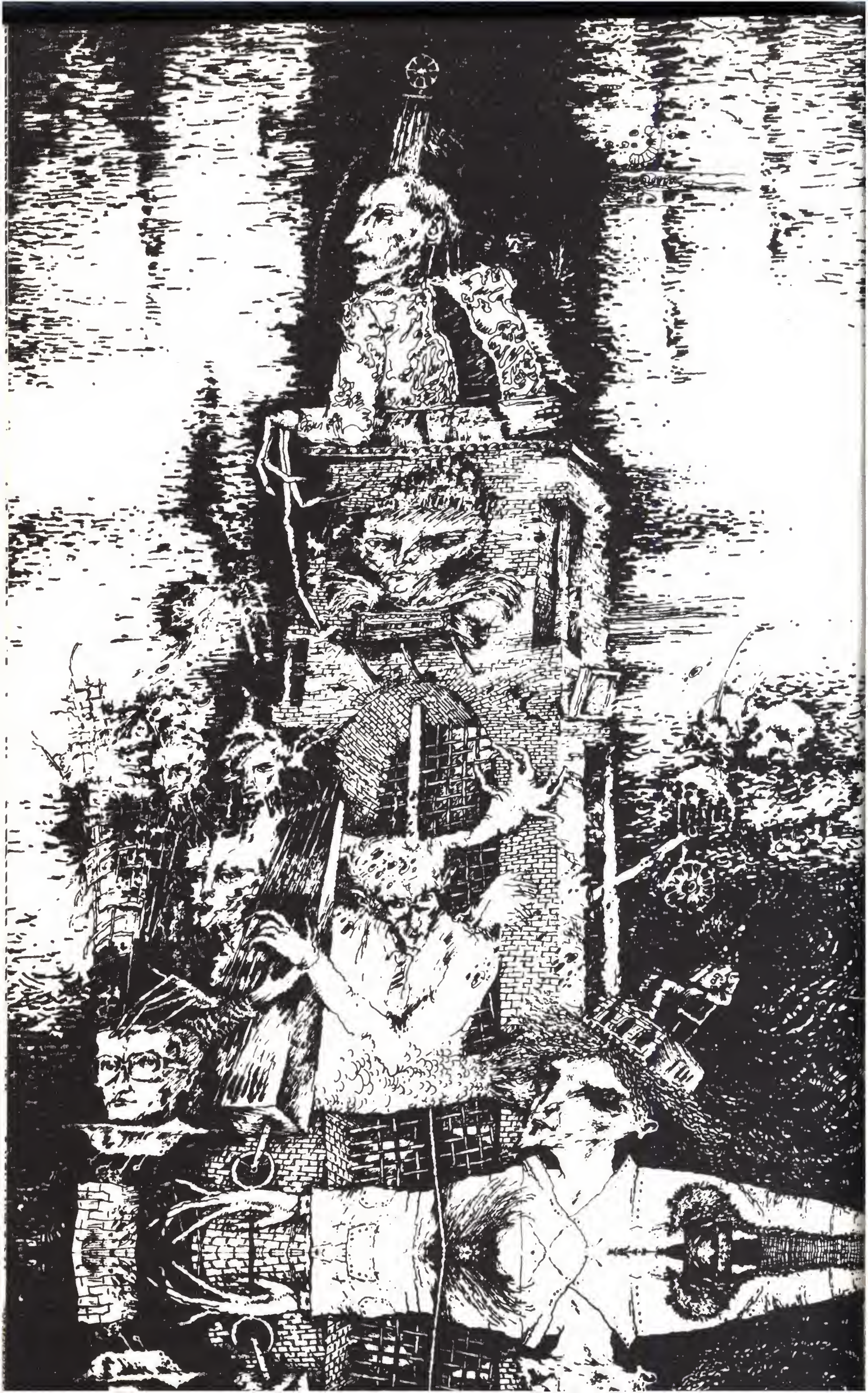
Богдан был не прежний. Мертвее, чем сам он, был его смех. И да простится мне, только мне почудилось, что он после каждого куска скалился по-собачьи. А мог бы и зарыдать. И я вслед за ним.

Промчалась ураганами жуть. И снова, хоть и оглохший от старости, слышу я ночами тот крик. Потрясает меня, возвращает в тот день, когда погребали мы под камнем живых бижанчан. Крик приходит не с Песьего Распятия, он обитает во мне. Катина родить не может. А все ж мы не одиноки в доме с виноградной сенью у двери. Взяли двух девочек из Каспарова племени. Ни они, ни Катина не ведают, что я из тех, кто глыбами завалил ущелье у их села, завалил людей – наверное, в смертный час кто-то поминал этих девочек. Растут. Хватит ли у меня сил до Судного дня таить, что отец их, может, погиб от камня, пущенного моими руками?

Однажды я войду в пещеру, чтобы своим криком побороть крик в себе. Пока же не остается ничего другого, как прижаться к скале лбом – оставить ей часть своего больного жара. Кашляю, сохну. Не далек день, когда надо мной, над криком, угнездившимся в моей изнуренной плоти, ляжет камень о четырех углах –

с
к
о
н
с к о н ч а н и е
а
н
и
е





В ОЖИДАНИИ ЧУМЫ

ЧЕКАЈКИ ЧУМА

Тем, кому я бередил раны,
да станут эти слова исцелением.

ВВЕДЕНИЕ В ЛЕТА ОТРОКА

1

ВЕЛИКИЙ ЛЕТУН СПИРИДОН

Дикие горные петухи распевали свадебно, распушив хвосты, ослепшие и оглохшие. В ежевичнике похрюкивала опоросившаяся свинья. На голом камне грелся под солнышком уж. Бывший монах Тимофей лечил в своей сараюшке олененка – поломана нога. Завершилась петушиная свадьба, свинья с поросятами присоединилась к стаду, уж сбросил кожу на камень и исчез. Кто-то, из Кукулина или из села по соседству, в одну облачную ночь унес олененка на мясо. В глазу бывшего монаха окаменела слеза. Нерест в болотине кончился раньше срока – выдры благословили его, принимаясь за лов. Женщины резали камыш на рогожки, мужчины собирали пиявок – всем чем попало село торговало с Городом.

"И я буду зеленобородым призраком, тоже буду вставать из гроба, как мой отец Вецко? Буду ведь, когда вырасту?"

Меня одергивали. Оставь в покое мертвых. Живым куда тяжелее.

А все началось много раньше...

...Лесной дорогой вышагивал к Кукулину человек с торбой. Напевал, привлекая рои мух, словно был их божком. На тропке у Сухогорской Ямы лежал длинноногий бродяга. Судя по всему, спал. Человек с торбой не стал его обходить. Перескочил. Бродяга открыл глаз, на другом гуще заплелась паутина сна. "Человек, когда его перескочат, не растет больше", – вымолвил. Путник усмехнулся. "Детишки не растут. А ты – что? – козловой кожи тебе надобно на обувку". Бродяга приподнялся. Сел, уставившись в можжевельник, в голые рожки-ветки. "Ошибаешься, дядя. Лукиян Жестосердец горазд удлиняться и рукой обирать каштаны. Что у тебя в торбе?" "Камень, – спокойно ответил путник. – Чудотворный, со гроба святителя Прохора, монаха, упокоенного в монастыре Святого Никиты". Бродяга вздохнул. "Ежели камень, то я тебя под ним и закопаю. Покажи. А то гони златницу с ликом кесаря". Человек и вправду вынул из торбы камень и спустил его на голову бродяги. "Прости, златницы с ликом кесаря не держу". Не осознав конца, бродяга мягко завалился на спину. "Я человек, – перекрестился другой, – и ты человек. Прикрою тебя землицей. А за крест из дерева, Лукиян Жестосердец, не потребую с тебя златницы с ликом кесаря. Даже сребреника не возьму. И не серчай на меня. Помяну тебя завтра в молитве".

Чуть дальше повстречал он Лозану, молодку с младенчиком за плечами. "Найдется ли на селе женщина для меня?" – подступил к ней. Лицо, заросшее волосами, напоминало мордочку выдры. Девятимесячное существо за плечами у женщины звалось Ефтимий. Сын Лозаны и Вецко, из-за больших ушей я смахивал на летучую мышь и был чадом крикливым. Пока человек с торбой ждал ответа, Лозана перебросила грудь за плечо – покормить младенца. "Маловат ты да хил, уважаемый женишок. И в ножках тонок". Поглядел на нее с сожалением. "А при чем тут ножки? Я летать умею, я – Великий Летун Спиридон". Лозана повелительно указала на охапку валежника. "Бери-ка это на спину, Спиридон. И запомни – я одна, Вецко моего ветер отвеял. Коли строить умеешь, отселюсь от свекра Богдана и свекрови Велики. Я не Агриппина Великомученица, чтобы маяться да дожидаться успения". Человек поинтересовался, не знавала ли она его матушку. "Что ты, чего мелешь?" – недоверчиво попятилась Лозана. Он уже подбирал сушняк. "Матушку мою, да будет тебе известно, зовут Агриппиной. Странствует без устали от церкви к церкви". – "Говори ясней, Спиридон. Святительша она у тебя, что ли?" Человек с торбой держал валежник в охапке. "Какая святительша! Игумена размонашила. Соблазн? Агриппинин муж, как и другие, подковал ветер – да за туманом вслед. Что был, что не было. А этот кусочек мясца на твоих плечах, значит, приходится мне сыном?"

И я стал его сыном.

"Какие они, небеса?" – вопросил он, когда мне было четыре года. "Мучнистые, – ответствовал я. – У бабочек крылья в муке, бабочки летают меж небом и землей, они – ангелы". Трижды стукнул меня по лбу средним пальцем правой руки, она была у него длиннее. "Они соленые, сынок, – наставительно произнес. Вводил меня в свои тайны. – Я совсем другой, чем прочие люди. Разину рот – и языком вижу. Когда глаза закрыты, язык самое мое вострое око. У меня во рту полно глаз без ресниц. А дерева коснусь ладонью – слышу. Пальцы следят за червями под корой ясеня или граба. Уши мне вообще не нужны. Мешают. Я их как-нибудь отрежу и дам тебе на игрушки. Запомни, небеса соленые, очень соленые. Я их лизал глазами. – Попотчевал меня глотком ракии. – И умею на них взлетать, – сам тоже отпил глоток. – Без свидетелей. Я не воробей зевак тешить. – Я не знал, что такое зеваки, знал только, что это не я. Я глядел в облака, мечтая увидеть под ними летуна с лицом выдры. – А ты заметил, Ефтимий? Кур я не режу и не ем. То-то и оно, я не такой, как другие. Когда мать

оставляла меня в зыбке голодного, ласточки меня кормили вишнями без косточек и гусеницами. Вот и сделался я птичьей родней. Пошли, ты не зевака. И запомни, гусеницами, маленькими такими, без щетинки".

Он взял меня за руку и повел на Песье Распятие, где стояла недостроенная крепость, ее называли Русияновой. Вокруг, в зарослях терновника и пырея, пусто – ни скотины, ни человека. "Какой высоты крепость?" – спросил он. "Такой же, как орех за домом деда Богдана", – с уверенностью прикинул я. "Верно, – согласился он. – Сейчас я ее перелечу. – Он взобрался на сухой ствол, откинул голову. Что-то шептал, полегоньку вздымая руки. Оттолкнулся, издав клич, и грянулся оземь. – Не мой день, – вздохнул, с трудом поднимаясь. – Через три дня полнолуние, тогда я взлечу".

Через три дня неспешно проплыла над селом луна, подобная моноксилону – челну из цельного дерева. В ту ночь Спиридон, без свидетелей, надо полагать, перелетел через крепость. Вернулся Великий Летун с первыми снежинками, со льдом на ресницах. "Провожал журавлей", – пояснил.

Через несколько зим Спиридон снова вызвал мое восхищение. "Лозана, подбрось-ка чурку в огонь, – задумчиво попросил он. – К нам подходит промерзший гость". Мать, склоненная над дубовым веретеном, глянула на него. "Мы никого не ждем, не морочь меня". Спиридон разинул рот – кончиком языка, белым и прозорливым, долбил время, высматривал сквозь него. "Слышу шаги. Идет бывший твой муж Вецко". Веретено в руках матери обратилось в кол для вампиров. "Не знаю я никакого Вецко. Муж у меня ты, бездельник".

Между облаками и селом сгущалась снежная вьюга, когда прибыл доподлинный Лозанин муж. В высоте бились с ветрами стаи диких гусей. Вецко отворил дверь единственной горницы и остановился, замотанный в тряпье и звериные шкуры. За ним под накидкой, со снегом в бровях скромненько шмыгал носом мой дед Богдан. "Веду его, Лозана, в твой новый дом". Стушевался и замолк, Лозана опустила веретено и поднялась с треноги. "Явился, непутевый вояка, воротился-таки, – принялась она приветствовать гостя. – Ни коня, ни меча. А я тебя теперь корми, да?" "Брось, Лозана, – прервал ее Спиридон. – По морщинам на лбу видать, что меч и конь променял он на медовину. Пусть войдет, такие не куют ков".

Вошли. Снег с них таял, собирался на глинобитном полу малыми лужицами, в которые я глядел. В одной я увидел себя старым и мудрым, на лбу, как ни странно гладком, спала ба-

бочка прошлой жизни. Меня не волновали семейные недоразумения и эта ночная суматоха. К тому же Вецко не был здесь хозяином – он сгинул еще до моего рождения и дом выстроил Спиридон. "Зима, – склонившись над очагом, Спиридон разворошил угли. – А слышу пальцами – громыхает. Будто летом. Уж не предсказание ли это, Богдан?" Богдан меж тем ожидал вина. "Давно я, мой любезный, не заглядываю в треснутую тыкву. Прошло то время, когда я в предсказанья игрался. Жуки навозные и те нынче стариков уважать перестали. Принеси-ка вина, Лозана, а то неможется мне". Уселся на тесаную сосновую скамью, рядом Вецко; по их лицам – у одного старое, у другого синеватое и испитое – заиграли блики пламени, перегоняя морщины: то казалось, что оба, и Богдан и Вецко, скалятся, то лица их подергивались – того гляди, разразятся плачем.

И позднее, в старости, я не знал, понял ли я тогда, что в жизни моей и моих близких смешное и трагичное будет путаться, накрепко переплетаясь, что на время и на события я стану взирать со страхом и любопытством, с детской наивностью, питающей кукулинское бытие. Я не назову себя вурдалаком, подобно русскому монаху Упырлиху, жившему две сотни лет назад и так себя помянувшему в своем писании, я не посчитаю себя вампиром, подобно Борчиле – его жутковатые записи попадут мне в руки, когда все вокруг станет безымянной могилой, а сам я сделаюсь былием, побегом в пространстве, распустившим цвет в пору, когда увядало и обращалось в прах то, что составляло сегодня.

"Зимний гром – это и впрямь предсказание, – растолковывал Спиридон. – Нынче ночью на село нападет волчья стая". Богдан, зажав в кулаке, пытался расколоть орех об орех. "Волчья стая, говоришь, а? Но у меня, любезный, скотины нету. Ниву мою пашешь ты, своим волом". Спиридон взял у него орехи, а вернул ему один, расколотый. Затем протянул и другой, расщелкав его крепкими зубами. "И все-таки эта стая зарежет твою овцу, – вымолвил он. – Одну или больше".

Меня положили спать, накрыли одеялами и шкурами: без детей взрослым слаще пьется. Не видели: я следил исподтишка, как они пьянели. По стенам собирались и удлинялись их тени: могли быть смешными, но были и страшными, каждая чернее своей судьбы.

Лозана принесла вино в глиняном кувшине и три глиняные же кружки и вновь уселась за веретено: смешно, что у нее два мужа, страшно, что не знает она, какой останется. "А ты, стало быть, чудотворец, – услышал я голос Вецко. – Некоторые го-

ворят, ты и летать умеешь, видел, дескать, мой сын..." "Погоди-ка, – прервал его Спиридон. – Какой это твой сын, как его зовут?" Вецко не знал моего имени. "Не важно, я ведь не чудотворец, Спиридон. Слышишь ты – Спи-ри-дон! Мне довольно и твоего имени. – Тень его упиралась теменем в потолок. – Так вот, хотел бы я знать, Спиридон, если не тайна, сладко ли живется с чужой женой?" За Спиридоновой спиной тоже выросла тень, распластанным крылом прикрыла дверь, в которую стучался бездомный ветер. Эта тень даже и без уст поучала: "Вон камень на полке с могилы отца Прохора. Чудотворный, вливает в меня силу. Коснусь его – и молитвы слышу, а то и советы". Я перевел взор на чудотворный камень – на нем восседал человечек в рясе. Сквозистый, похожий на личинку какого-то сна. "Камней я видел побольше, чем ты хлеба съел, Спиридон. Ты мне не угрожай, я-то тебя чудотворцем не считаю". Тень Великого Летуна убрала с двери свое крыло. "Ты меня вызываешь, воитель. Так вот, гляди, камень этот, чудотворения ради, раскалится". Карликовый игумен исчез. Не меняя обличья, камень задрожал изнутри, стал блистающим. Комната залилась растопленным золотом. Вецко поднялся, подковылял к камню. Протянул руку, кончиками пальцев прикоснулся к пыланию. Вскрикнул. "Не дури, Спиридон", – Лозана опустила веретено на колени, шерсть перед ней подрагивала, как живая, в белом дыму, ширилась, покрывала и свет, и тень.

Веки мои тяжелели, тоже раскалялись изнутри. Меня обволакивала теплота. Тени и голоса мешались, спутывались в неразличимость. Забирали меня в мягкую броню теплоты. "Спать ты, Вецко, ляжешь в сарае. В сене тебе будет тепло". Может, моя мать и еще что говорила столь внезапно вернувшемуся супругу. Только я уже забрался в тишину, один, с хохотком карликового отца Прохора в ухе. Сон увлекал меня в серебряные и розовые пределы, там стелились снежинки, очень теплые.

Той ночью волки порвали много овец в Кукулине, и трех из тринадцати у моего деда Богдана, бывшего следопыта и отгадчика вчерашних и завтрашних дел по треснутой тыкве.

На Честные Вериги апостола Петра, когда миновали большие праздники, крохотный старичок в рясе мне шепнул: "Весной, в первый солнечный день, Спиридон отведет тебя на то место, где отколупывает с неба кусочки соли".

"А я буду, отец Прохор, а я тоже буду?"

"Что ты будешь?"

"Призраком, как мой отец Вецко".

 "Не пророчь. Вецко жив".

"А я знаю. Он станет призраком".

Когда Давидица, река малая и святая, освободилась от вериг, когда зацвели подснежники, Спиридон повез меня на осле в лес. Миновало несколько недель со смерти моего деда Богдана – его сердце все еще живо во мне.

2

ПРЕЧЕСТНЫЕ ВЕРИГИ СКОРБИ

Серая волчица с золотыми глазами. В ногу ей вцепился нераспустившийся дуб. В лесу гниль и солнечные искры. Столетний перегной, мягкий и плодотворный, отепляет стволы испареньями. Рябчики далеко от гнезд. Волчица, вся в пене, рвется из плена, воет. Не пускает жилистый дуб. Ждет ночи. Оживит подземные корни, может, и дарует ей исцеление – освободит для завтрашней свадьбы с самым сильным волком северного чернолесья. Загадочна власть смерти. Ногу волчицы ухватили железные зубья ловушки, выкованной давно, когда в Кукулине проживал великий коваль, некий Боян Крамола. Волчья скорбь, бешенство помутившейся крови, заржавелость цепей. Зверь не воет – проклинает жестокую долю. Рычит и поскуливает, коротко и резко взлаивает. Сотворяя невидимые круги влажной мордой, черной и блестящей, острыми зубами рвет окаменевшее время. Редко, очень редко сорвется с ветки дуба капля росы, упадет неслышно прошлогодний лист, твердый и потемнелый – неживой. Не находится силы, что порушит ствол с живыми соками, поднявшимися из оттаявшей земли.

Спиридон и я сидели на поваленном дереве подальше от ловушки, где зверь изредка затихал, чтобы опять с громкой жалобой обратиться к своему господу. Мы пытались угадать имя волчицы. "Кабы ты, Ефтимий, слышал, как кто-то ее зовет – матерь, волчица-матерь, – так это был бы я. Понял бы ты тогда, что волчицу зовут Агриппиной. Понимаешь – Агриппина Великомученица". А я в ответ: "А если бы этот голос был мой, Спиридон?" "Молчи. Тебя волчица не выкармливала, как меня". Я напомнил про ласточек, что носили ему вишни без косточек и гусениц без щетинок. "Это было позднее, – возразил он. – Сперва меня выкармливала волчица. Только я в своей зыбке завою, она из логова откликается и бежит ко мне с полным выменем".

На узкой тропе дровосеков, и ночью беспогрешно находимой козловым башмаком, показалось несколько человек: Вецко, помолодевший, с усмешкой, от которой побелел хрящ

на его носу, да двое его дружков, Исидор и Менко, молодые, мосластые, первый пахарь, ворочающий за двоих, задумчивый, с тяжелыми веками, второй – незадачливый иконописец, обучавшийся у старого мастера из Любанцев и теперь перенявший от облысевшего Богдана кое-что из его следопытского умения. За ними подвигался нерешительным шагом Тимофей, бывший монах по имени Нестор и бывший разбойник, мщения ради угодивший на недолго в отряд к какому-то Папакакасу. С того места, где были мы со Спиридоном, они походили и на грабителей, и на святых. Хотя не были ни тем, ни другим, просто мужики, каждый на свою стать, но при том – одинаковые: дома запали и покосились, а сами – столбы живые, завтра подопрут кровли теменем, все, даже самый старый, Тимофей. Я у него считался в должниках – этим летом он вылечил меня травами от желтухи.

В снопе солнечного света, пробившегося сквозь дубовые ветви, я углядел: ловушка крепилась к корню цепями. Столетний ствол, с тайнами под корой, склонялся над волчицей, не сумевшей перегрызть себе лапу, чтоб, оставив ее в железных зубьях, спастись на трех ногах и вести калечную жизнь – кормиться падалью, остатками с орловьей трапезы, больной овцой, жуками. Костями впитывала она стужу земли, отдавая ей свою теплоту.

Пришедшие – за ними явился еще один, сельский могильщик Арсо Навьяк, бывший слуга и эконом городского торговца тканями, – выстроились вокруг владычицы лесов, не настолько близко, чтоб попасть к ней на острый зуб, но и не настолько далеко, чтоб упустить звериную боль. Молчали, а может, голоса их до меня не доходили. Сгорбленная, с ощетиненной шерстью на короткой шее, волчица билась передними лапами. Не приободрилась от близости человека – ее крепко держал капкан.

Оставив осла, Спиридон взял меня за руку и повел к дубу. Теперь я их слышал. "Сосцы набухшие, выкармливает детенышей. – В волосах Арсо Навьяка желтые и оловянные искры, луч солнца, отбиваясь от его плечей, множил их. – Где-то у нее осталось потомство". Менко, может для смеху, спросил, годится ли на еду молодая волчатина. Арсо Навьяк от него отшатнулся. "Я до мяса полгода как не касаюсь. Живу на капусте. Сюда пришел поглядеть на ихнюю Богородицу". "Вот, возьми, – Вецко протянул топор. – Отруби кусочек". Захихикали. "Я мяса не ем, стало быть, и не рублю. Моих-то овец эта волчица не трогала".

 Смеялись раскатисто и без толку препирались, то прибли-

жались к затихшей волчице, то отходили, бросали в нее сухими ветками и грибами, легонькими, боли не причиняющими. У молодых страдания волчицы вызывали какую-то неясную радость. Вой, беспорядочные всклики. Зверели? Похоже на то. Кружили вокруг в полоумном плясе. Расширенные ноздри жаром своим могли подпалить сухие сучья. Придумывали волчице казни: огнем обложить, колючками дикой груши в глаза, сырую известь в глотку, соль на пораненные места. Становились исчадием кошмара. Пришли к согласию – повесить. После нескольких попыток затянули шею петлей. Словно поняв приговор, волчица протяжно взвыла на удивление чистым, каким-то человечьим голосом. Откуда-то, со значительностью ответа, долетел точно такой же вой. "Да вы звери, что ли?" – спросил молчавший до того Тимофей. На него не взглянули. За спиной Тимофея, сморщившись, всхлипывал и дрожал Арсо Навьяк.

Тени молодых вешателей врастают в дубовый корень – высасывают из земли прах пролетевших столетий. Маятник на ветке – успокоилась повешенная волчица. "Бешеные, – впервые произнес Спиридон. – Вы же собаку повесили. Еще вчера она у меня ела с руки. Пошли, Ефтимий, тошно мне тут".

Две недели спустя Вецко распрощался с Богдановой могилой и, никому не сказавшись, снова отправился вымерять бесконечие пустоты. Следом безвозвратно умчались несколько лет, и село охватила новая тревога, явилась новая напасть – ее посчитали отмщением повешенной волчицы. Сперва сгорела часть урожая, потом сараи да два брошенных дома за кладбищем. Как всегда при внезапных несчастьях, нашелся ли, придумался виновник: Спиридон или Тимофеева жена Катина, оба пришлые, из западного, мертвого ныне села Бижанцы.

Подозрения были не случайны... Забытый уже атаман Папакакас, у него в разбойниках были и кукулинцы, каменными глыбами завалил мужчин из Бижанцев, в ущелье, по которому те двинулись за славой или за поруганием. Велика, Богданова вдова, полагает, что каждый народ после своей погибели оставляет отмстительные дрожжи, на которых всходит отравное тесто. Здесь такими дрожжами могли быть только Великий Летун Спиридон и Катина. Напрасно Лозана и Тимофей доказывали, что это безумие. Скрытая угроза раскаляла воздух. "Зарежут меня в постели, – пытался шутить Спиридон. И пояснял мне: – Огонь приносят псы. Им привязывают к хвостам тлеющие головешки и пускают. Спасаясь от огня, псы бегут и ищут укрытия где попало, в сарае, в доме".

После этих слов, ночью, сгорел наш сенник. Это некоторых

поколебало – с какой стати палить свой сарай? Спиридон ответил: "Чтоб вину от себя отвести, чтоб укрыться. Но только я не палил. Пошли со мной, на веревке приведем того, кто потчует нас огоньком". С ним пошли двое, Менко и Исидор. Верили ему. Исчезли в чернолесье, у Сухогорской Ямы.

Привели бродягу, старика из Бижанцев – руки в цепях с волчьей ловушки. Медленно вышагивал он перед поимщиками и пел. Вешать его не стали. Снизошли к глубокому его слабоумию и, по добродушию своему, свели в монастырь Святого Никиты, чтоб монахи его полечили. Малоумненький вскорости там и помер, как узналось позднее, распевая песнь о погибели бижанчан.

А однажды: "Вставай, Ефтимий, Петров день. Сходим на могилку к тому человеку, что нам сараи палил. Кабы я дозволил соседям меня повесить, он бы все еще распевал". Лозана злилась: "Такие, как ты, Спиридон, бук повалят, чтоб веретено вытесать". А он: "Бук, веретено! Когда мне рыбки захочется, Лозана, я в пашню мечу икру и дожидаюсь карпа ли, окунька ли. – Мне: – Люди вроде меня появляются на каждый пятнадцатый Рог Овна. Следуй за мной, Ефтимий. Ты тоже человек божий, будешь ты у меня Ефтимий Книжник".

Я следовал за ним по местам хоть и не далеким от Кукулина, но мне открывающимся впервые: вокруг разбрызгивалась каплями радуга, сплетались солнечные лучи и вздохи слабого ветерка в зарослях и кустах с незнакомым плодом. И снова капли находили дорогу друг к другу, сливались, возвращали свое истинное обличье, возвращали с удивительной четкостью. В кругах света и на островах тени, в этих просторах золотого моря, день затоплял межи. У шумов было свое место, своя строгая цель и определение: крик соек не перекрывал стуков дятла. И запах – такой запах был на погребении моего деда Богдана – отворял кожу, заставляя ее дышать, но тогда он поднимался из кадильницы и я понимал: слезы Велики, оставшейся с оравой Богдановых ребятишек, горючие и соленые, испаряются прямо на небо, где у Спиридона тайные соляные копи. Ладан? "Нет, это сосны встречают нас ароматом растопившейся смолы", – пояснил Спиридон, по пути наполнявший торбу грибами. И будто не я шел по дороге, обрамленной густым орешником, а она проходила сквозь меня – каждая моя жилка, каждая ниточка молодых мышц прирастала к листу и плоду лесному, к затаенному цветку. Пробегала лисица, вспархивала пернатая стайка, или шмыгал от нас, извиваясь, уж, и пряталась в свою костяную броню черепаха.

За густыми деревьями не видать было того, на что указывал мне Спиридон. "Вон там, в глубине, Синяя Скала, глыба с пещерами. Когда Вецко вернется к Лозане, я распрощаюсь с вами. Отшельником стану, святителем. – В глазах его слишком весело отражалась жизнь, потому я ему не верил. – Но в Кукулино я заявлюсь еще раз. Когда ты будешь жениться, Ефтимий". Я дивился. Не верилось мне, что он моей свадьбы дождется – я считал его старым-престарым.

В чащобе дорогу нам пересекла неясная тень и неслышно сгинула. "Призрак волчицы, которую повесили наши болваны, – услышал я, – призрак Агриппины Великомученицы в Честных Веригах". Я напомнил, что он эту волчицу назвал собакой. Глянул через плечо. "Я обманывал. А призрак волчицын за мной бродит, потому как я тайком выкормил ее волчат – братьев моих и сестер. Сотню лет моя мать была то женщиной, то волчицей".

Сквозь листву завиднелся монастырь: купол, на нем крест, за крестом облако, пушистая розовая овечка – спустится и пасется на солнечных пятнах, пьет из вчерашней или завтрашней радуги. На куполе вытянулась зеленая ящерица. "То не ящерица, – поучал меня Спиридон. – Тень беспокойного ночного бродяжки, что палил нам сараи и жито".

На монастырском дворе, косо перерезанном бороздкой воды, нас встретили двое, Киприян и Нестор, бывший Ион, человечек без бороды и ростом ниже меня – чуть больше пяди. Спиридон спросил, есть ли у них соль, а они: "Не откажемся, если кто принесет". Спиридон значительно покачал головой: "Бывают годы, отцы честные, когда соль горька, когда небеса проклинают людей вместе с их веригами, но я вам принесу". Спросили, чем ему за то отплатить. Он указал на меня. "Сделайте моего Ефтимия грамотным". Они припомнили, что насчет грамоты у них слабовато. Киприян помянул имя Нестора, не Иона-Нестора, а Нестора, бывшего монастырского послушника, ставшего опять Тимофеем. "Вот он грамотный". В шаге от нас, среди плит с именами, была могила малоумного, огнем палившего кукулинские сараи. "Без имени?" – спросил Спиридон. "Мы его имени не знали", – провел ладонью по лбу Ион. "Знал ты его, Ион-Нестор, знал еще по Бижанцам, и знал ты, что это брат мой, – возразил Спиридон. – Имя его было Зафир". "Проклятие на мою душу, – поник человечек, – промолчал я. Кукулинцы обратили бы свою ненависть на тебя". "Зафир, – не дослушал его Спиридон. – Моего брата звали Зафир Средгорник".

Свежая могила взрыта мягкими холмиками. Никто не объяснил мне, чего искал крот над умершим человеком и куда он делся, в какой затаился глубине. Я смолчал: Спиридонов брат мог бы иметь и другое имя. Зафир Средгорник был умершим уже кукулинцем.

Мы сидели за столом на монастырском дворе перед глиняной миской с грибами, жаренными на углях, над нами витали голуби и ангелы, квохтала несушка. Где-то журчала невидимая вода. Изможденный Киприян вел нас дорогой своего сына, и тысячи звезд умещались на его ладони. Потом Спиридон повлек нас в свой сон, полный теней, призраков, безглавых волчиц, после чего, пошарив в торбе, вытащил острый нож. "Вырежь ему имя на кресте, отец Киприян. Сделай это, прошу тебя. Я отплачу".

Бескрайние трепещущие просторы Киприяновых и Спиридоновых царств, их загадочная синева, которую я предчувствовал, увлекали меня в мой сон — будто я и здесь, за столом, и высоко над ним, среди голубей. Я ценил благодушие собеседников — у каждого во рту по грибу, — но не мудрость. Они моему сну не верили, а я все равно чувствовал себя возвышенным и им не завидовал. Тот, кто глух или нем, слепцу не завидует. Я решил: стану грамотным — крест на Спиридоновой могиле без имени не останется. Я ощущал себя в безопасности, точно ловец, амулетом защитившийся от когтей дикого зверя. Да, у меня был свой сон. Тут Спиридон спросил у монахов, вправду ли грамотен Тимофей из Кукулина. Они ответили — да, грамотен. Где-то кашлял третий монах — Теофан. С ним я не встречусь.

3

СКАЧУТ ЛИ ЧЕРЕЗ ЛЕС, МЧАТСЯ ЛИ?

Протаскивается время сквозь кольцо своего крика, днем осыпается колос, ночью созвездия. Укутавшись в волшебный кламис, пурпурно-синий, царюет Спиридон над частью неба. К земле приходит в добровольное изгнание. Прячет под лохмотьями свое величие. Но выдает лукавый блеск глаз — живыми опалами лучатся они даже после сумерек. Чародей из сказки, он не лгал: я верил — он летает через болото, а в небесах имеет соляные копи. Спиридон знал больше, чем все кукулинцы, вместе взятые. Когда в селе и вокруг села выстраивались на горячей земле дрозды, расширив крылья и разинув клювы, он советовал легковерным никакого предзнаменования не искать —

полуденное солнце оживило паразитов в птичьем пере, птицы их выискивают и клюют, истребляют. Для него не было тайн, этого слова он, кажется, и не знал. Сойки натаскивают на себя муравьев, чтоб их кислотой очиститься от гнид; из-за капли грязи павлин, водятся такие птицы по городам, скидывает с себя перо, идущее на украшение властелиншам; сорока, ежели попадется ей труп с перстнем, первым делом огладывает до кости украшенный палец, чтоб убрать золотом собственное гнездо; удоды, выстроившись друг за другом большим кольцом, так и зимуют, уткнувши клюв в хвост переднего – сохраняют теплоту; аист, заставши чужака в своем гнезде, клювом убивает аистиху; петух перед бурей стоит на одной ноге. Спиридон умел разговаривать со стрижами, галками, простыми и альпийскими, с голубыми зябликами у Давидицы. Подсвистывал, подманивал их птичьими голосами, и они ему отвечали: зяблики предсказывали дождь, черно-белые заморские стайки – набеги саранчи, сойки – коросту по яблоневым стволам. Ночами он открывал мне великие тайны. "Журавли выселятся из наших краев после трехдневного дождя, на Митров день. Ты меня в ту пору не ищи. Отправлюсь с ними. А как падет последний вишневый лист, пролечу над селом. Дожидайся – увидишь меня".

Пал последний вишневый лист, а ночью я и впрямь услышал крик журавлей и выскочил из дома. "Спиридон, – кричал я. – Летишь?" Он ответил мне журавлиным криком. Лозана ухватила меня за ухо, вопрошая – кто же на ослах летает? "Такого даже твой покойный дед Богдан не видывал в треснутой тыкве. Спиридон уехал спозаранку на осле".

Вокруг Кукулина разыгрались ветры, сильные срывают крыши с домов, слабенькие и писклявые, только что вылупившиеся, ждут, когда стужа затащит их в горы. Вернутся с вьюгами. Протянут сквозь полые тростники жалостный плач, воем призывая серые волчьи стаи на поминки, под дуб, на котором Вецко, Исидор и Менко повесили волчицу Агриппину Великомученицу. Вецко далеко, не помню уж, как выглядит, Исидор и Менко собрали кое-какой урожай в амбары и теперь недоумевают, то ли жениться, то ли обождать, потому как, по мнению второго, девки в соседних селах богаче, там всего не пропивают до опинок, как в Кукулине. У Велики подрастают Вецковы братья и полубратья, мои какие-никакие дядья, покорные на вид, а лица острые, как секиры. Меня, лишь гляну на них исподлобья, слушаются и ублажают. Один, Илия с усиками, все играет песни. Когда Велика его отколотит, идет в сарай и распевает, пока соседи палками не загрозятся. Заставляли его петь сколь-

ко выдержит – босым на толченом камне и на одной ноге. Всех это потешало. В ту пору даже покойников хоронили веселенькими, с усмешливо полуоткрытыми глазами. Этот мой дядюшка, признаться и я тоже, вздыхал по Тамаре – молчаливая, благостная, словно бы знающая тайные сны всех кукулинских молодцев, усмехается краешком глаз, косо врезанных в продолговатое лицо с выступающими скулами. Арсо Навьяк не бездельничает, копает могилу – завтра беспременно кто-нибудь да помрет. Маленький Нестор, бывший Ион, удлиняет свои ноги деревянными подпорами, Киприян из ночи в ночь пересчитывает, как свое стадо, звезды. Нынешней ночью все слышали журавлиный крик. И может, догадались, что Спиридон летит поверх облаков и бурь, оставляя за собой след, подобно летним хвостатым звездам. Из болотины раздается хрипловатый гул – не иначе русалки пробивают теменем первый лед, не давая себя замуровать. Велика ходит в черном, до самых глаз. Не велит верить сказкам, каких не рассказывал мне мой дед Богдан. Уставившись в очаг, на пляшущий огонь, прядет Лозана, вслушивается в гул, от которого бесятся псы. На полке лежит святой камень с могилы игумена Прохора, а сам старичок сидит на камне и расширяет руки, показывает мне, как Спиридон летает; маленький, может уместиться на ладони, и прозрачный – сквозь него я открываю будущее. Мглистое и туманное – вот оно какое, будущее.

Миновала ночь, утихли большие ветры, а малые повисли, вцепившись хвостами в ветки, и качались. Во дворе грамотного Тимофея пропел петух, откуда-то появился Спиридон, погоняя сонного осла. Лозана бросила месить тесто и вышла его встретить: сердитая – Великий Летун смирил ее взором. ”Я привез соли. Раздели по людям, да оставь для монахов. И без всякого обмена, запомни”. Лозана стояла в нерешительности – соль, откуда взялось столько соли? Но смолчала. Нашлось, молча же ответил ей Спиридон. Небеса соленые, очень соленые. Вымолвил: ”Я устал. Не будите меня до субботы”.

Он это вымолвил в среду утром. А в четверг заявились четверо в шлемах и вытащили его из-под одеяла. ”Неповадно тебе будет грабить городские запасы”, – рычали они. Я стоял за дверьми и посмеивался. Пустоголовые они, люди в шлемах. Спиридон возьмет да взлетит, а темница ихняя останется на земле. На улице, когда его уводили, я коснулся Спиридона рукой. ”Когда вернешься?” ”Когда тебя разбудят воскресные звоны Святого Никиты, – ответил он. – Примчусь, через лес перескачу. Я по праздникам не летаю”.

Прошли недели. Злая осень отступила перед розоватым снегом, сумерки сделались бледно-лиловыми, без теней. Напрасно я встречал и провожал воскресные звоны. Всматривался в горы – не скачет ли через лес Спиридон, не мчится ли. Он не вернулся, даже когда снег стал высоким. Люди его забывали, зато поджидали вороны. Черные стаи подлетали с раннего утра к нашему дому и каркали с болью, тоскливо. Лозана дважды ходила в Город продавать шерсть, в надежде что-нибудь разузнать о судьбе Великого Летуна. Ничего. Ударил мороз, до села не доходили вести о судьбе уведенных: за какие-то покражи, без свидетелей, перед снегом из села забрали еще двоих, Исидорова старшего брата, плечистого Зарко, да нового кузнеца, жившего в самом крайнем доме, Горана Преслапца.

Растаял белый покров, на нивы, выпитые диким зноем, опустился новый, после него и после нового зноя лег третий, гуще прежних, уже не розоватый и не лиловый, а похожий на скрипучую пену из кристалликов. После рождественских праздников ночи установились ясные и морозные. Дети и старики осипли. Илиина песнь была понятна только воронам. Лозана не осипла, но онемела. Одиночество и тщетное вглядыванье в бескрайнюю белизну, где под слепящим солнцем блестели в снегу светлячки, подточили ее. Я ее не утешал – не умел. С одобренья Велики, моей бабушки, хоть и не родной, дядья мои смастерили сани: привозили на них с предгорья пни и валежник и катали по снегу меня – два, три, а то и сразу четыре конечка. Иногда я ходил к старику Тимофею учиться грамоте заодно с его приемными дочками, Росой и Агной, у одной кудрявые волосы, словно шлак из старой заброшенной плавильни за болотом, у другой – медная кожа и пестрые, медного цвета глаза, лицом обе похожи на только что пробудившихся белочек. Я был не из робких и учился бойчее их. Хотя хозяйка дома, Катина, чурающаяся соседок, не нарушала судорожного своего молчания, у них меня всегда охватывала атмосфера тепла. С нами вместе пытался поучиться и Арсо Навьяк. От усердия на темени его щетинилась жесткая грива. "На мне все тупое, и нос, и пальцы, – признавался он. – И внутри, под теменем, тоже". Рассказывал, что знал: Менко и Илии не ходить по одной дорожке. Оба во сне видят Тамару (и я тоже), а она их и не замечает (и меня тоже), ей во сне если и улыбается кто, так это Исидор.

Перед тем как по весне выпрямился камыш, из города пришла весть: у властителя, чья жена считалась неплодной, родился сын. В честь этого, а также из-за переполненности темниц и рудников, мелких воришек выпускают на волю.

Вернулись Исидоров брат Зарко и кузнец Горан Преславец. Вернулся и Спиридон, не оттуда, откуда его ждали, а с севера. ”Воскресенье нынче, – шепнул мне, – день, в который я не летаю. Как обещал тебе, так и сделал – перескакивал через лес, мчался”.

У него, видно от холода, покривились кости, утончились, ходил он теперь неуклюже, накренившись набок. ”Погляди на волосы, – Спиридон нагнулся. – Лоб инеем занесло. Запомни: человек, когда седеет, мудреет. Долго я не возвращался, все раздумывал. Хочешь быть живой, не лазь к кесарям в глаза да в ихние соляные копи. Или сам делайся кесарем, или перестань свой овощ солить. Даже на праздничные обеды”. Я поинтересовался, будет ли он еще лазить на небеса за солью. Ткнул меня указательным пальцем в лоб, поясняя: ”Возвышается мудрость, обогащенная новой мудростью. Только сороконожки едят свои обеды без соли”.

Младшие Вецковы братья, Цене Локо и Дарко Фурка, отправились искать старшака. Не вернулись. С Великой остались двое: Илия и Дойчин.

4

ПОЖИРАТЕЛИ БУДУЩЕГО

Что поделаешь, весь мир как большое Кукулино, а Кукулино – малый мир, смешной и трагичный, повихнувшийся и придурковатый, ошарашенный, удивленный, равнодушный, набожный, сердитый, подавленный, шатающийся, иногда вознесенный заблуждениями и тайным соглашением со святыми, иногда, и гораздо чаще, чем иногда, обманутый и святыми, и собственным разумом. ”Сельчанам не хватает великих ритуалов, дабы приблизиться к своим безличным богам, – подносил к глазам чужое писание Тимофей. Я помаргивал от благостного возбуждения, когда его дрожащая рука касалась моего темени. – Не существует ритуала, который не был бы своего рода обманом, – поучал он меня. – За неимением ритуала и великого заблуждения сотворяется множество обманов маленьких, нередко более опасных, чем одно великое заблуждение”.

Годы были зернами в низке столетья, царской короной завладел Стефан Душан, а чуть раньше, четыре года назад, живой бог турецкий Орхан подмял под себя часть Византии. Гниет дерево на домах, темнеет камень, ржа покрывает железо. Повсюду и без вихря вихрем закручиваются шумы – завывание пса,

смутный вскрик, воздыханье призрака; поскрипывает дверь покинутого дома, того, где жил позабытый всеми Парамон, глухо стучит топор, поет мой дядя Илия. В горнице за лампадкой проживает паук по имени Тонко Нако, он хватает в сети свои ночных бабочек, слетающихся на святой огонек. Волосатый и с большими глазами – кукулинец. Спиридон выстругивает для него крохотную треногу. Он уже смастерил треноги для Исидорова брата Зарко, для Горана Преслапца и Манойлы. Во всем селе у одного Манойлы черная борода, в левом ухе серьга – в знак памяти. "Утопал я в эгейских водах, да не утоп. А серьгу выковырял из чрева морской раковины". Много раз он это рассказывал, может, и вправду был мореходцем. По возможности Спиридон, Зарко и Исидор с ним, помогают троице монахов в монастыре Святого Никиты. Троица! Была. Осталось двое. Самого старого, Теофана, погребли. Теперь, с запозданием, и немалым, неделю целую пьют за помин его души. На погребение ходил только Тимофей.

От несчастий и село, и сельчане будто синеют, люди так даже изнутри. А некоторые темнеют. С могилы монаховой ползла на Кукулино синяя тень. Прошел слух, что монахи Киприян и Нестор, с одобрения константинопольских церковных старейшин, ищут наследников монастырскому добру – нивам и дубравам, скопленному золоту и серебру, скотине: все в запустении, а они-де стары, им ничего не надобно. На хлебе, что будут поставлять им наследники, продержатся до судного мига, он уж недалеко, на подходе. К решению монахов каждый добавлял свое толкование, пока оно не обращалось в сельскую истину. Может, кто-то один дознался, а за ним узнали и остальные, будто Киприян и Ион-Нестор в несогласии: первый в наследники прочит любанчан, второй поминает в своих молитвах Кукулино.

С весенними потоками в село прихлынула новая весть: монахи порешили отказать добро тихим людям из Бразды и Побожья. В селах многие, подстрекаемые алчностью и честолюбием, только себя полагали достойными благостыни. Приходили в монастырь, ловко разминуясь друг с другом, оставляли пред алтарем пшеницу, мед, шерсть, а то и одежду, сбереженную после покойников. Коварство свое прикрывали набожными улыбками, клялись, что и деды их, и отцы десятилетиями возводили храмы, а иные даже уходили в отшельники. В Кукулине припомнили, что дед Благун из местных, был отшельником, еще когда на месте монастыря ничего не было, ни купола, ни креста, он уже тогда пещерничал под Синей Скалой. Но и лю-

банчане оказались не промах – в ответ припомнили, как кукулинцы сбрасывали с Синей Скалы стариков, чтобы осталось побольше вина и хлеба им самим да их детям, чьи внуки теперь тянутся к монастырскому добру.

Днями пережевывая россказни жвачкой, напаивались горькой болотиной люди.

Потеплело, закипала кровь. На мясопустной, уж и праздники позабылись, дядьку моего Илию нашли избитым у Давидицы. Собрались вокруг, толковали, дескать, дело ясное – любанчане. Посинелый от ушибов, но не признающийся, кто над ним учинил расправу, Илия распевал, слизывая языком слезинки. Серьга в ухе бывшего мореходца Манойлы угрожающе блестела. "Переведаемся мы с ними", – грозился он. "Не спеши, Манойла, – осадил его Менко. – Парня измолотили Тамарины двуродные братья. Он силком пытался затащить ее в сенник". Манойла нагнулся, захватил пригоршню воды из Давидицы и хлебнул – тронь кочергой, полыхнет пламенем. "Давайте, братцы, хоть одно да уходим, а?" Арсо Навьяк поинтересовался, кого – Тамариных родичей? "Да нет же, – ответил Зарко. – Это он на любанчан взъедается". Горан Преслапец предложил двинуть на Любанцы тотчас. Спиридон попрекнул – все б ему, дескать, бои да убойства. Ежели учинить такое, монахи их проклянут и из наследников выкинут. Лучше устроить по-другому.

И устроили. Нивы свои побросали и отправились, а с ними и я, покорять монастырскую землю. "Пожиратели будущего! – кричал им вслед Тимофей. – Проклятые пожиратели будущего". Глаза Тимофея затянула влага – слезы, что так и не прольются до самого Судного дня, не оставляли на лице мокрого следа.

Тимофей проводил, монахи Киприян и Ион-Нестор встретили. Выглядели старее, чем я запомнил, и рясы, и морщины будто ржавь прихватила, казалось, сырость отошедшей зимы, не найдя железа, кинулась на человека: до костей проникла, оттого они сделались медлительней, тащатся через силу к своему гробу. Манойла повалился им в ноги. "Благословите, отцы преподобные. Нынче мы слуги божии. Решили вашу землицу вспахать".

Я стоял за орешником и видел: у Манойлы, как и у прочих, появился клюв. И у Спиридона, Великого Летуна, тоже. Арсо Навьяк похож на здоровенного барсука, прихваченного внезапным светом. Потеет, не по нраву ему, что Манойла первенствует в толпе. Хочет что-то сказать и не может. И Горан Пресла-

пец весь в поту, и другие тоже. Манойла, поднявшись, склоняется над малым Ионом-Нестором. Еще чуть-чуть донаклонится и уклюнет. Умягчает его улыбкой, чтоб легче было клевать.

"Для жен бы своих приберегли милосердие, – отпрянул от него Ион-Нестор. – Днем борозды по нашим нивам потянете, а ночью эти самые нивы делить станете межами, каждому заграбить охота от монастырских угодий". Выглядел осерчавшим, того и гляди сам уклюнет. "Мы-то? – изумлялся Арсо Навьяк. – Что это с честным отцом, братцы? Какие межи, какой грабеж?" Горан Преслапец не сдержался. "Стало быть, вы добро свое другому селу обещали, Любанцам. Мы, значит, пахать будем, а они пользоваться". Теперь и монах Киприян задрожал приметно. "Никому мы ничего не обещали. Никогда. Будьте вы прокляты! Звезды вам уже предсказали чуму". Страшное предсказание всех ошарашило. Чума! Но где-то прорастало сомнение. Монахи впадают в огрех, зло наводят на них, не на Любанцы. "Я знаю от чумы средство, – пытался всех успокоить Менко. – Лук, ракия. И щепку от святого дерева под горло, на шерстинке от сивой козы". Зарко и Исидор одумались и заспешили тайком в Кукулино, с ними Тамарины двуродные братья. "Гнушаются милосердием нашим! – кричал Манойла. – Вы что, не видите, монахов околдовали эти жадюги из Любанцев. Или из Бразды и Побожья. Коли так, пускай им отходят волы да нивы, а нам монастырская земля над болотом. Поделим по-честному, каждый возьмет что полагается".

Повернули все и густой толпой хлынули по знакомым тропкам. Я мчался через лес вскачь, раньше их добрался до Кукулина. Теперь и Лозана знала, что и как, а с ней и прочие женщины. Я ничего не скрыл, все рассказал.

Полдень, шаг до пика весенней теплыни. Сижу на старом дубе желудем на толстой ветке, в надежде увидеть необычайное, гордый, наблюдаю за пустырем над болотом, куда десятка за десяткой сходятся женщины. Их много, целая толпа. К ним приближаются все нерешительнее Спиридон, Манойла, Арсо Навьяк, Менко и прочие, ходившие в монастырь. Размахивая руками, женщины идут на них. Ясно, встали на защиту монастырского добра. Один муравьиный рой заступает дорогу другому. Столкнутся – из мужчин посыплются искры: женщин вдвое больше, иные с вилами да дубинками. Я не слышал голосов, только видел. Понурив головы, мужчины двинули на попятный. Болото их провожало криками, удивленными, а то и насмешливыми. Может быть, журавли укоряли Великого Летуна? Разозленные на себя более, чем на женщин, сельчане прохо-

дили под дубом. Я ждал и дождался. "Спиридон! – крикнул я. – Если я с этой ветки брошусь, полечу?" Он увидел меня, засмеялся. Понял, что я насмешничаю, стало быть, взрослею. Нагнавший его сосед спросил: "А вправду, Спиридон, почему это нынче утром Тимофей обозвал нас пожирателями будущего?"

Мужчины отступали перед женами и матерями, от мужчин убегал великий властелин чернолесья сивый медведь. В поисках муравьиных яиц он опрокинул глыбы в овраге под селом и ушел далеко, дальше самой заглохшей человечьей тропы. Потому-то запасы меда в дупле столетнего дуба нашел человек, а не он, полинялый зверь, – мед нашел Исидор двумя днями позднее и роздал хворым детям да старикам.

5

ДИВЕСА

"Никогда, даже при полном круге луны, я уже не взлечу, – признавался мне Спиридон. – Время чудес миновало".

Не миновало. Как раз начиналось.

Манойла приручил соколенка, соколенок отнес Тамариным родичам петушка в золотом оперенье, Тамарины родичи заклали сокольнику вола, вол собрал вкруг огня сельчан – напиваться вином и сказками и угощаться жареным мясом. Так провели ночь строгого крестопоклонного поста, а назавтра сломалась солнечная колесница, просыпался на землю раскаленный овес и осушил болото. В оголенных камышах трепыхались жирные карпы и, вспухая от жары, смирялись. Голые и полуголые люди топтали липкую тину, набивали рыбой корзины и торбы. До потемок. А то и в потемках, при факелах. Не знали только, что делать с уловом. Спиридон посоветовал карпов распороть и, почистивши, посолить да высушить на дыму. Посапывали нерешительно – боялись остаться без крошки соли. Спиридон пообещался соли добыть и направил своего осла в небесный предел. Рыбу посолили и высушили.

И пошли нанизываться чудеса. Сперва из болотных трещин выбила вода, болото разрослось, затопило монастырскую землю. В паводке Менко углядел пиявку покрупней коровы. А перед тем гудела и тряслась земля, рушились деревья, на стенах появлялись расщепы. С небес же опускался зеленый прах. Старухи утверждали, что луну огладывают прусаки – тараканы,
 подъедают ее, оттого скудеет она и делается точно оспой поби-

тая. Стана, Манойлова тетка, похожая на пень с бородавками, имевшая, по общему мнению, дурной глаз, уверяла, что тараканы те вселенские, ни порошинки от луны не оставят. Другая, Наста, мать двуродных Тамариных братьев, запугивала людей – рыбу чтоб не сушили: от нее молодухи сделаются нерожалыми. "И Тамара?" – полюбопытствовала Стана. "Нет, она карпов не ест", – поспешила с ответом Наста. Обнялись. "Слава богу, – вздохнула Стана. – Подарит Тамара кому-нибудь внуков". Менко с раскаянием усмехался Илии. "Выдадут бабки Тамару за мореходца. Неси вина, выпьем на мировую".

Арсо Навьяк и Спиридон уже выпивали. "Башню собираются строить в монастыре, чтобы оглядывать Кукулино да выискивать грешников..." – "Башню? Кто собирается?.." – "Монахи новые, Спиридон..."

Чудеса перерастали себя. По велению городских властей под охраной воинов в монастырь прибыли шестеро монахов, столь похожих один на другого, что мне они казались сошедшими с одного гончарного круга. Молодые и круглые, как церковные колокола, белые лица обрамлены аккуратно подстриженными бородками, руки мягкие, без мозолей. На лбах жития не отпечатаны – без морщин. Нагрудные кресты точно ножны серебряные, того гляди кинжал выскочит. Разослали весть, что-де по царскому указу села под чернолесьем обязаны поставлять монастырю добровольных строителей, пахарей и жнецов да сверх того долю своего урожая. Из-за несогласия с взбунтовавшегося Иона-Нестора скинули рясу, а иссохшего Киприяна поставили в повара и чашники. Села загудели зло. Но и беспомощно. Монахи оставались как-никак под защитой ратников.

Явились в Кукулино и собрали сельчан в тени недостроенной крепости на Песьем Распятии шестеро, один к одному: Досифей, Мелетий, Трофим, Герман, Архип, Филимон. Спиридон морщился: "Подбери на реке шесть камушков да присвой каждому имя, погляди и – что же? – не разберешь, кто Трофим, а кто Филимон". "Подрежу я их под рясой, – грозился Арсо Навьяк. – Ишь как баб наших глотают глазами. Я их вот так", – пальцем он состругал палец на другой руке. Когда только успел разглядеть, как они баб глотают? Под Русияновой крепостью были одни мужики. Арсо Навьяк пальцем коснулся лба: "Нос у меня тупой, зато разум вострый. Все знаю, даже то, что станется завтра".

К монахам, растолковавшим сельчанам их новые повинности, приблизился Тимофей. Спросил, кто же теперь сельча-

не – парики, рабы? Ему ответили – отныне все, и он со всеми, объединены в один церковный приход. Пояснили, что многого не потребуется – треть урожая. Пойдет она не только на монастырь – две трети от той трети будет идти войску в город. "Пустому брюху не до войны и не до убийств", – мудрено выразился Тимофей. Спросили, как его имя, он назвался, и под благословение определили его в старосты кукулинские – отвечать за исполнение повинностей. Тимофей отказался – он, мол, уже мертвец. "Какой с покойника спрос, о чем толковать, коли живу не быть? В селе, даже когда у нас трети не забирают, не удается горсти пшеницы или ячменя отделить, чтоб купить масло, соль и одежду. Требуете с нас, а взамен что нам дадите – укроп, маслины заморские, амулеты, оберегающие от грабителей? Ветер высушил легкие – дадите нам исцеление? Скудная наша землица и нас пропитать не может. Мало у нас овец, шерсти нет на продажу, рогожки наши городу не нужны. Ни горшки наши, ни желуди, ни каштаны". Монахи рассматривали его без насмешки: откажется – поставят в старосты ратника, двоих или больше. Не угрожали. Надеялись с кукулинцами поладить, как поладили с другими селами. Тимофей спрашивал: а что село даст монастырю, коли ударит сушь, саранча, огонь полоумного, кто тогда сельчан пропитает? Ответ удручил его и одолел – ежели монастырю не будет выдана положенная пшеница, рожь и овес, дань будет взиматься золотыми номисмами и серебряными перперами. Не знали они: хоть ты выверни село наизнанку, хоть тряси его до следующего восхода и еще целую неделю, на мягкие монаховы длани не падет ни крупинки золота или серебра.

С двух краев села, на удалении, две крепости, одна на Песьем Распятии, недостроенная, другая на севере, старая и порушенная, окаменелый труп исполинского зверя с обломанными рогами-башнями, зацепившими омертвелый день. Я хоть и робел оружия, дивился ратникам в шлемах. Один мог быть самым большим двойником игрушки, вытесанной мне когда-то Спиридоном из ясеня, – твердый, без мысли, со скрытой душой для другого мира, а прежде всего неизменный, без улыбки и без скорби в глазах, с именем, какое дали ему и какого не было ни у кого на свете и ни у кого не будет, никто никогда не откликнется на это имя – бесконечие без чувства чужой и своей боли – Деж-Диж, – у этого ратника было имя как у деревянной игрушки. Были свои прозвания и у его собратьев: Клоп-глава, Клоп-нога, и Листовир, и Имела-Омела, и Зуборог, и Куноморец, было их шесть, на каждого монаха по одному.

Восставший со своего дна, к ним продирался Салтир, оборванный и зобастый старик без роду и племени. Салтир! И он был похож на игрушку из костей и сукна, а мог быть и из дерева. Слоняясь по селу, собирал в огромную торбу все, что находил: старую тряпку, веретено, ржавую железяку, разбитый горшок, обувку или ремень. Это диковинное богатство он громоздил в покинутом доме, пока владелец его, Парамон, бурей отвеянный из села, может, где-нибудь и обретался в живых. Все, человеку принадлежавшее, надобно сохранять ради спасенья духовного – полагал старик. Опорожняя сельские отхожие ямы для удобрения клочка земли и собирая буйные овощи, Салтир обменивал их на муку. Когда-то была у него жена, два или три сына, но лихорадка покосила их в один год. Схоронил всех и, обрекшись небесам, пошел в отшельники. Его дом горел, когда он был под Синей Скалой. Молился. Потом вернулся: там, на святом месте, явилась ему рука, указующая – вернись, Салтир, ты надобен кукулинцам, ты святитель! Теперь, выпрямленный, с лицом будто из топленого воска, без ноздрей, со стиснутыми губами, желтый и без огня в глазах, вздымал он руки к небесам – их предстатель. Опасаясь, как бы он излишне не разозлил ратников, Арсо Навьяк и Горан Преслапец пытались его увести, оттащить. Старик не дался, остался там, где был, со всеми. Загадочные, притихшие вокруг старика, призрачным быльем прораставшего из мертвой земли, стояли люди. Питали надежду, что Салтир умягчит пришельцев, умилостивит и они, махнув рукой на такое непутевое село, поищут себе другое, поумнее и попокорней. Веселились – ухмылялись, выкрикивали. Тоже призрачно прорастали. Старик перекрикивал всех, грозился – из огарков, оставшихся со Страстной пятницы, отольет восковые фигурки, монахам выколет глаза рыбьей костью, ратникам отдерет по одной руке. То, что постигнет восковых монахов и ратников, станется с их двойниками – живыми. Старик мог сотворить такое. Знал в этом толк. Видели, как он ночью скакал на козле. Все зажужжали, и я тоже, вообразив себя осой с жалом, жужжал и слушал: ежели Салтиру воска не хватит, сельчане подбавят, а того лучше с монахов рясы содрать заодно со шкурой на одежку да на обувку – голобосо Кукулино, а на кресты серебряные прикупить муки – сильно оголодало Кукулино. Наскакивали. Тому, что ожидало их в эту годину и в будущие, будто радовались – того гляди запоют, завертятся, запляшут. "Замолчать!" – приказал им Деж-Диж, похожее выкрикивали и другие ратники: "Не гневите нас", или: "По царскому повелению", или: "Малейшее против-

ление будет караться смертью". Не слушали. Неуклюже ударяя ступнями о твердую землю, и вправду строились в круг. Спиридон крикнул, чтобы я убегал домой, люди перед бедой синеют, а эти уже посинели, но я его не послушался, охваченный общим одушевлением, тоже захотел вступить в живой круг. Деж-Диж вытащил из-за пояса меч, поднял над головой. "Меня меч не сечет, проклятый", – придвинулся к нему Салтир, ногти его были долги и страшны. Меч его не посек. Пал на темя плашмя, закачал его, опрокинул на спину.

Деж-Диж, Деж-Диж, ты игрушка для отродья адова, не для мальчишки из Кукулина!

Сельчане разом умолкли и оцепенели. Манойла, Зарко и Горан Преслапец со стиснутыми кулаками шагнули к насильнику. Могли подпалить жаром своего дыхания. Но остальные ратники, Клоп-глава, Клоп-нога, Листовир, Имела-Омела, Зуборог и Куноморец, уперли в них свои мечи. Перед мечами оказался Тимофей. "Монахи, – промолвил он очень тихо, однако голос его ударил грохотом. – Вы хотели, чтобы я стал старостой, радел за монастырь. Идите, я соглашаюсь. Кукулино отныне часть вашего прихода. Но если этот человек мертв, воротитесь и погребите меня. Никогда кукулинцы не кормили своих убийц".

Ночью воины и монахи подобрали старца Салтира и швырнули его в полыхающий костер, оттуда прыснули искры, сгущаясь в маленьких старичков – их было шесть и все с его ликом, страшные и ногтистые, даже из глаз вылезали ногти.

То был сон, но явь вызывала еще большую жуть.

6

МАЛЕНЬКОЕ, А ЖАЛИТ И УБИВАЕТ

Спиридон: "Верно говорит Тимофей, пожираем мы свое будущее. Откажемся монастырю давать долю – рассуют нас по рудникам да могилам. Отдадим, что монахи требуют, – околеем".

Он говорил это бездельно собравшимся мужикам, распяливая свежую козью кожу на стене сарая, где затаился я – слушал. Кто был вокруг него? Самые ближние, те, что его почитали за кладезь премудрости: Настины сыновья – Панко, Исак, Анче, Мино, Драгуш – и Арсо Навьяк, братья Зарко и Исидор, Горан Преслапец, Манойла. Толковали и перетолковывали до бестолковья: вот, их же толпа целая, покропить монахов, всех шестерых, да с ратниками заодно; зло, будь оно в рясе или под

шлемом, оборимо, ежели приняться за него в согласии да с отвагой; в городе не наберется поди столько монахов да ратников, чтобы их сюда засылать безвозвратно. Арсо Навьяк дивился: по свежей шкуре козы кучились мухи, похожие на зеленые камни – такими украшают короны для пустых голов. Повторил – для пустых голов вроде наших, коли каждый может у нас отнять и пшеницу и душу. Его перекричал Исак, самый старший из Тамариных родичей, – уж он-то не даст ни зернышка, лучше станет той пшеницей откармливать свиней да кур. Зарко полагал, что против судьбы не попрешь – им терпеть да над сохой гнуться, а шесторотому монашьему отродью нагуливать жирок. Горан Преслапец зло видел в ратниках, тех, что явились, и тех, что явятся, а с монахами переведаться не хитро. Меж тем не все его слышали. Исаковы братья Панко, Анче, Мино и Драгуш грозились, и они, дескать, займутся откормом кур, а Арсо Навьяк, словно бы для себя, повторил дважды, что ночью с Песьего Распятия долетал страшный крик. От того крика трещинами шли стены домов. Исидор молчал. За него и за таких, как он, говорил Манойла – жизнь кукулинская увязла в страхе, призраки ночью на грудь садятся, высасывают, выпивают дыхание, не только у него, у всех – у стариков Тимофея и Салтира, Насты, Велики, Станы, у детей и даже у кур, которые никогда не откормятся.

Малоумие кукулинское имело свое обличие. Маленькое, а жалит и убивает, переживает всяческими сказаниями – всех заодно с будущим. И снова Спиридон: "И вправду, шкура эта собрала мух со всего Кукулина. А ты, Арсо, каким это криком грозишься? Оставь сказки бабкам. Исак свиней собрался откармливать овсом да пшеницей. Давай, давай, человече. Завтра отнимут у тебя и свиней и голову..." Горан Преслапец возразил: "Завтра, Спиридон, у нас от голода головы сами падут..." Затем Манойла: "Полыхнул бы монастырь и все его нутро, кладовки, кельи, сараи, стойла, пришлось бы монахам хвосты поджать да выместись. И следа б от них не осталось..." Исидор молчал. Вместо него, вместо всех Исидоров на свете, перекрикивались другие, и громче всех Тамарины родичи: "Пятница, день поста, а пост разум сушит – нынче в монастыре огонь, завтра огонь тут, сила не прощает, так что и вправду лучше уж откармливать потихоньку кур да свиней, а монахам из того, что на наших нивах растет, ничего не давать..." Опять Спиридон: "Да благословит бог ваше согласие. Или – да помутит вконец ваш рассудок. Такие-то вроде вас, прокопченные да порожние, в венцах победителей не щеголяют. Перевешают вас. А жалко.

Как вешать будут, узнаете тяжесть собственной глупости...” Они: ”А ты что, хочешь, чтоб мы с монахами обниматься начали, да?..” Спиридон: ”Вот-вот. Обниматься до удушения...” Горан Преслапец: ”Чьего, монахова?” Спиридон: ”Монахова или нашего. Тимофей у нас теперь староста, но он ведь и за монастырь радеет...” Зарко: ”Стало быть, ихний он человек, монаший...” Драгуш: ”Склонился перед ними старик, предался. Кость ему бросили. Был псом, на побоищах грызся, стал волком. Разбойники-бижанчане изурочили наше село. А он их порешил. До корня...” Исак: ”Старый он...” Арсо Навьяк: ”Волк и без зубов волк...” Спиридон: ”А тебя какой ветер привеял, вестничек? Чего запыхался?” Илия: ”Вон они, Манойлова тетка да мать этих вот...” Спиридон: ”Кого этих?..” Илия: ”Тамариных родичей. Сговорились. Будут выдавать Тамару...” Горан Преслапец: ”Самое время. А за кого, за тебя или за Менко?” Илия: ”За Манойлу. На Успение свадьба...” Мино: ”Как это – на Успение? А нас, братьев ее двуродных, кто спросил? Никто, ни Манойлова тетка, ни мать моя Наста. Право слово, никто. Манойла монастырь палить собирается, спаситель наш полоумный, а сам втихомолку женится...” Манойла: ”А вас-то чего засвербило, братишки? Сестрицу вашу никто силой не отымает. Или я не гожусь вам в зятья?” Исак: ”Зятек с серьгой! Кабы годился, тебя б давно определили в мужья, сотенку лет назад да с пребольшим гаком, в те еще времена, как дед моего деда логофетом служил у Теодора Ласкариса...” Манойла: ”Ты, вижу, к моему ножу за поясом речь держишь...” Исак: ”Нас тут пятеро, и без ножа управиться можем...” Спиридон: ”Опомнитесь! Вот оно, ваше будущее, сами его зубами рвать начинаете, сжуете и проглотите, так и кидаете взглядом, кого б ужалить. Не дуреете вы, дураками родились... Молчок, Тимофей идет...” Тимофей: ”Вы со мной не толкуйте, пагуба слушать вас. А я слушаю вас, криворотые мудрецы. Не будет вам поспешения. Согласился я быть вашим старостой. Не чтоб вы, бессильные, предо мной склонялись. Самому мне впору пасть на колени пред вами. Зло вас берет на тех, кто ни одной борозды не провел по вашим нивам. И я походил на вас. Да и ныне не стал другим. Обессилевший, одряхлевший, и я о двух душах. Одна меня возвышает, а другая пихает в пропасть. Потому как вы в этой пропасти, в самой ее бездне. Для вас солнечных проблесков нету, сплошной мрак. Падаете. Такие, как мы, и в капле воды утопают. По ночам, а бывает, и днями, снится мне место одно и то же. Каменистый холм. На нем дерево, наполовину под листьями, наполовину с голыми омертвелыми ветками. То дерево – Кукули-

но, а голые ветки да листья – мы. Одна душа у нас живая, другая сохлая да корявая...” Исак: ”Две души вроде как два глаза и две ноги. Так ведь? Все равно, будь у Манойлы хоть тысяча душ, Тамары он не получит. Дело знамое, Тимофей ученый, читает святительские жития. Пусть-ка наставит женишка с серьгой, чтоб к нам не цеплялся. Пошли, братцы, будем держать совет. Чтоб заедин быть, без несогласия”.

Маленькое, а жалит и убивает это безумие. Зубы черны, а вечные.

Разошлись. Я выбрался из сарайного мрака и теперь, как и прежде, был один, даже своим ровесникам ненужный. Распяленную кожу покрывали черные и зеленые мухи, не летели, не шевелились, высасывали остатний сок из козьей брони, не давали ей загнивать, они и солнце. На бревнах, мостом перекинутых через Давидицу, сидел Салтир, холодил подошвы. Неподалеку от него мыли шерсть две женщины. Из кожаной торбы Салтир вынул густо обложенного мхом ежа, предложил поменяться на муку. Одна женщина вскинула голову. ”И без ежа тебя покормлю, – вымолвила. Рядом лежал ворох шерсти. – Иди сюда да малость мне помоги”. Салтир остался сидеть. Не слышал. Мутными глазами уставился в сторону: верхом на осле направлялся к болоту Настин сын – как только ноги животного обрастут пиявками, соберет он их в ромейский стеклянный сосуд и снесет в город лекарям – перпер заработает. После полночного ветра, сильного и порывистого, Исидор перекладывал тонкие каменные плиты на кровле. Под тяжестью бревен где-то скрипела двуколка, слышались тупые удары топора. В сарае старого Тимофея пел мой дядя Илия. В летней теплоте вызревало жито.

Жито вызрело. Подошел день жатвы, и подошли шестеро монахов с подстриженными бородками и шестеро воинов – назначить, сколько отдать монастырю, сколько Городу. ”Не пытайтесь красть божье и кесарево, – внушали монахи. – Завтра, как половину урожая доставите, смеряем все до зернышка”. ”Половину? – ощетинились мужики. – Почему это половину? Мы ж сговаривались на меньшую часть”. Трофим, или Филимон, или Досифей, Мелетий, Герман, Архип, все равно кто, наматывая на палец завиток бороды: ”С господом да с кесарем не сговариваются. И чтоб зубов не показывать. Проживете куда дольше”.

В поле блестели серпы, солнце лизало темя жнецам, вдали погромыхивало, словно из могилы поднимался ураган, ширилось облако, белое и пушистое, неостановимое.

К Арсо Навьяку подковылял Салтир, пожаловался – спал, дескать, в известковой яме рядом с околевшим бараном и в бока себе нацеплял клещей. Арсо Навьяк сам в клещах, вцепились – изнутри – в душу. "Много хотите с нас, честные отцы. Не останется зерна ни на осень, ни на весну". Исак его поддержал. Манойла ухмылялся. "И для свиней с курами". Теперь стали ухмыляться монахи. "У тебя есть куры да свиньи?" Манойла ухмылялся. "У меня-то блохи одни. Свиньи и куры есть у Исака да у его братишек. Вот попаду к ним в зятья, попотчуют сальцем да окороком". Исак не ухмылялся. Помрачнел. "Попадешь к нам в зятья, когда мы тебя приженим на этой вот черной землице". Манойла поднял ногу и всей тяжестью опустил ее на зелененькую букашку. "Широка да глубока землица, – промолвил. – Потому ей пяток женихов занадобится, не один. – Из стиснутого кулака стал вытаскивать палец за пальцем, перечисляя: – Исак, Панко, Мино, Анче, Драгуш". Исак стоял в одиночестве, кабы братишки были рядом, впятером зажали бы этого Манойлу в кулак и раздавили. "Монастырю же, а стало быть, и защитнику Городу, я могу дать и побольше половины, – заносился Манойла. – Кесарю такие, как я, надобны – честные да разумные". Это было вызовом. "С чего это ты дашь? – вспылил Исак. – Со своей-то пяди скудненькой? Улестить хочешь ратников да монахов. Они мудрые и благочестивые. Раз на то пошло, так я и больше половины отдам. И не я один. Братья тоже". Тимофей зашатался. "Недоумки, – простонал. – Недоумки". Вечная слезинка боли выскользнула из его глаза.

Облако подошло, ударили крупные капли, потом обрушились небеса. Не сразу и не только в этот день. Рушились целую неделю. Ушла жара, вместе с ней и большая доля урожая. На Успенье Тамара не стала женой Манойлы – сбежала с молчаливым Исидором. Долго никто не знал, где они. Воротились повенчанными, за ними пошатывались и распевали сваты Арсо Навьяк и Горан Преслапец. О том, что на подходе голодные дни, не думали.

Хотя ветки давно оголились, Илия все еще изливал в песнях скорбь по Тамаре. Спиридон посоветовал ему не заглядывать ночами в горницу молодых. Исидор молчит, но кулаками работать умеет. "Запомни, – поучал Спиридон. – Осенью синяки дольше держатся". Словно присоединяясь к Илииной обиде и оплакивая лето, Салтир бросил собирать всяческие ненужности и загромождать ими присвоенный дом, где когда-то жил Парамон. Потерял зрение и совсем усох. А тут еще пре-

ставился мой безумный родитель Вецко. Появился внезапно больной, переночевал в сарае и сгас. Арсо Навьяк выкопал ему могилу, присыпал землей. На могилу опустился туман. Упокоился, не пережил стариков. Его братья Цене Локо и Дарко Фурка так и не объявились.

Пережили его старики, да не все. Под землю, под снег ушел вскоре Салтир.

До теплых ветров скрипел по ночам снег вокруг нашего дома. "Возвращается, стежки своей жизни распутывает, – прислушивался Спиридон. – Он это, Вецко, довершает свой путь. Заметила ты, Лозана? Когда мы его нашли вкоченелого, лицо у него было сморщенное. А когда его монах Трофим отпевал, он улыбнулся. Вытянул руку и сдернул серебряный крест". "Сдернул?" – спросил я. Спиридон засмеялся. "Конечно. Вецко с монаха, а я с него". Лозана только вздохнула.

7

ЗАПЛАЧЬ, ЗЕМЛЯ, ЗАПЛЯШИ

Весь наш край со всеми нашими селами – капище, где обитают в несогласии разные боги и разные люди, и завтрашний мудрец, усомнившись в сих строках, да проклянет грешную райю, посмевшую оставлять воспоминания о своих деяниях, ибо самого его проклянут, если он надо мною не надсмеется.

И все же я – око и ухо. Но что видел, что слышал я два года тому назад, до Исидоровой свадьбы? Люди – те же, какими были когда-то, или такие, какими их выдумал я?

Я вырастал. Мои сверстники созревали, становились мне ближе. У нас появлялись тайны, куда вплетались смутные томления, обдававшие нас волнами возбуждения. Тимофей мог растолковать огонь в наших глазах. Он, только не Катина – вокруг нее простиралась пустыня, где не встретишь человека, чтоб побеседовать с ним в радости и печали. Жила она в невидимой, но непробиваемой скорлупе, уменьшалась, подволакивала ногу, даже солнце не топило лед в больном бедре. И постаревший, Тимофей был на локоть выше ее. Глаза у нее расширились, захватив почти все лицо. Опустошенные и сухие, наползали на мелкие морщинки, выискивая место, откуда было можно увидеть кого-то, чтобы обрести блеск. Иные полагали, что она слепая и на ощупь распознает величественное и печальное лицо своего мужа. Их приемыши, Роса и Агна, ходили сутулясь, стеснялись наливающихся грудей. Однако и такие, от

нас удаленные, они волновали. Нас было трое, Мартин, Зарков сын, стройный, улыбкой напоминающий дядю своего Исидора, Цветко, сын Настиного Исака, из-за носа и верхней губы, вытянутых в одну линию, похожий на козла, и я – веснушчатый мальчишка и взрослый косец.

По ночам я горел с пересохшим горлом. Сквозь меня проходили звезды и созвездия. Не оставляя света, они располовинивали меня, мягкого и горячего: бился в судорогах я и не я, кто-то другой, Мартин или Цветко, или оба, с Росой и Агной в глазах, в крови, в каждой жилке. Я давал себе зарок пойти в гору на Урну, к трем источникам: там, у можжевелового костра, восседают три повелительницы судеб – первая выпрядает нить, вторая определяет новорожденному годы жизни, пересчитывая на ладони песчинки, третья после ее предсказания перекусывает нить зубами. Собирался, да не пошел. Урну с ее родниками, где испокон веков живут прорицательницы, огораживают невидимые сети, какими паук-судьба улавливает любопытных, чтоб отдать их на расклюв белой вороне, облаком затаившейся в высоте над горами. Волшебницы, конечно ж, сильнее даже камня святого, что когда-то принес Спиридон с Прохоровой могилы. Но сумеют ли они открыть мое будущее? В источники те никто не гляделся. Если проскочить сквозь невидимые сети, незваного гостя поджидает Уж, большая змея, и душит его, обвиваясь вокруг шеи. Змею можно миновать только раз в сто лет, когда она спит. Кукулинцы не знали этот день. Источники караулит и третье чудище, огненный карлик, чей взгляд обращает смертного в пепел.

Однажды мы, Мартин, Цветко и я, выдумали игру: той ли, другой ли из приемных дочек Тимофея запустить ящерку со спины под рубаху – девчонка испугается, мы прибежим и ухватим ящерку на голом теле, постигая пальцами тайны девичьих форм.

Мы устроили это Агне. Ощутив на себе живую ящерицу, она окоченела. Не вскрикнула. Мы тоже замерли. Стояли неподвижные и смущенные, немые, с раскаянием. Внезапно, тронутая дыханием страха или издевки, она задрожала и помчалась, вздев руки, высвобождая из горла затаившийся крик. Воротилась с косой, но мы были уже далеко, за старой порушенной крепостью, куда десятилетиями не ступала нога человека.

В сумерки верещали Мартин и Цветко – им розгами разукрасили телеса, а меня добил укором мой покойный родитель Вецко. Притащился в полуночь, устроился у меня на лбу, холодный и плесневелый. Я его понял: "Ну и глупый же ты, сы-

нок. И ты тоже, как этот пришлый Спиридон, лезешь в чужую постель". Я стонал. "Отец", – только и смог вымолвить. Он уселся на моей груди. "Мертвые, Ефтимий, сыновей не имеют, они в отцы не годятся, – опечаленно произнес он. – Они всего лишь кость да земля". При жизни он ко мне особых чувств не питал, как и я к нему; теперь же, угодив в вампиры, он скорее меня жалел, чем хотел напугать, я и не испугался: Спиридон знал, и я от него, что такие, как Вецко, не высасывают кровь из своего потомства. Отец приходил еще, с прозеленевшим черепом, и все повторял – у мертвых нету ни детей, ни родителей.

Так я переносил первую горячку своей молодости, дни и недели – моя мать Лозана выпрядала нить из лунного шелка, я мог, взобравшись по ней, покинуть Кукулино, попавшее под гнет заблуждений, тягот и искушений. Но Вецко притащился снова, зеленый и прозрачный, со светляком в лобной кости. "Лунная нить не для тебя, – молвил он, – пускай на ней повесится Спиридон". "Где он?" – спросил я его. "На Урне, он попался в невидимые сети, клюет его белая ворона, и душит его змея Уж, потому ты не жди его, пойдем со мной, до моей могилы не доходят проклятия и злоба живых". "Но ведь и я живой! – крикнул я. – Уходи из моего сна". Он прошелся по моему лбу длинным ногтем – царапнул. "Увидишь утром царапину – поймешь, не сон это, взаправду я приходил и стану к тебе ходить, покуда ты со мной не уйдешь, только вместе мы отец и сын".

Царапина осталась. "Тебе приснилось, – убеждала меня Лозана. – Никто еще не выходил из земли". Могильный дух, однако, застоялся в доме надолго. И Спиридона лихорадило – жаловался, будто расклевывает его огромный клюв и душит толстая холодная петля. Лозана твердила, что он простудился. "Какую уж ночь оставляешь двери в горницу открытыми". "Я всегда закрываю", – задумчиво произнес Спиридон. Нас одолевали одни сомнения – Вецко при жизни никогда не закрывал за собой дверь. "Он все-таки приходит", – я дрожал. "Знаю, – ответствовал Спиридон. – Придавлю его могилу камнем потяжелее".

Он не придавил камнем его могилу. Село оказалось без соли, дети худели, взрослые становились вялыми, безвольными и равнодушными. С Зарко и Гораном Преслапцем Спиридон отправился копать соленые небеса – все трое гнили по городским темницам, и теперь их связала тайна.

Соли не принесли. Воротились ночью, у каждого на спине

зарезанная овца. Лишь только Спиридон скинул овцу, от тени нашего дома отделилась тень, сгустилась в человеческую фигуру, и я узнал Дамяна, старейшего кукулинца, робкого и неуверенного, по утрам взывавшего к солнцу: "Благослови, Спаситель, я жив". Ночью он скрывался от смерти под тяжелыми покрывалами, днем, перед заходом солнца, сидел у могилы своего сына Босилко, много лет назад посеченного разбойниками. "Притащишь ты смерть нам, всех погубишь, – вымолвил он. – Овца эта монастырская". Спиридон потягивался – долго шел под грузом, согнувшись. "В какое село вышла замуж сноха твоя Пара, дядюшка Дамян?" – поинтересовался он. "В Брazду, – пытался припомнить старик. – А может, в Побожье или в Любанцы". "Верно, – подтвердил Спиридон. – И коли уж ты такой знающий, овцу эту я несу оттуда. Обменял соль на мясо и шкуру. Помоги мне ее освежевать, войдешь в долю. Голова и потроха твои". "Обманываешь, Спиридон, – словно защищаясь, вытягивал руки старец. – Краденое мясо застреет в глотке". Спиридон склонился над зеленым оком овцы. "И потроха?" – полюбопытствовал он. "И потроха", – отвечал старец. "Тогда будь здоров. Ступай себе, дядюшка, напитывайся фасолью". Старик переминался с ноги на ногу. Трудно было отказаться от предлагаемого. "А может, ты и не крал, – выжал он из себя. – Давай нож. Лучше некуда освежую".

После обильных угощений, состоявшихся в тот же день, старик, настежь распахнув дверь дома, стал на пороге: волоча за собой бремя лет, он словно сотни кривых тропок одолел, чтоб опять оказаться здесь, опустошенный и изнемогший, похожий на многих бедолаг, в чьих глазах видать, как падали они из пропасти в пропасть, каждое свое падение отчеркивая морщиной. Старик морщинился даже под кожей. Его белесые глаза под тяжелыми, набрякшими веками всякого повидали, может, были свидетелями первого дня сотворения мира. "Я иду от снохи своей, Пары. Никто ни в Бразде, ни в Побожье, ни в Любанцах овцу на соль не менял". Дома были мы со Спиридоном, Лозана пошла стирать на Давидицу. "Я тебя прокляну, Спиридон. Слышишь ты, я тебя прокляну". Спиридон удивился: "Какая Пара, какие Бразда, Побожье, Любанцы? Я купил овцу в Кучкове за корзину сухих слив". Старец пытался возразить и не мог. Губы его шевелились беззвучно. Спиридон кивал, подтверждая то, что старцу не удавалось вымолвить. "Умный ты, все знаешь сам. Овцу мы слопали, даже псов попотчевали костями, зато в Кучкове будут услаждаться сливами до самого Богоявления. А этот за тобой, кто таков?" В дверях стоял еще ста-

рик. ”Я Прокопий Урнечкий, – он подался вперед, – свекор нонешний Дамяновой Пары. Угостишь – освобожу тебя от грехов”. Спиридон спросил, умеет ли он свежевать овец. Ясное дело, Прокопий Урнечкий это умел. ”Такие мне годятся, – засмеялся Спиридон. – Придет время, я тебя позову”. Старик, морщинистое дитя, скрестив указательные пальцы, потребовал от Спиридона клятвы – овец чтоб не воровать, а покупать за сушеные сливы. Спиридон поклялся. Теперь и старый Дамян расслабился. Утешился, что не от краденой овцы потроха, какими лакомился. И он, и гость его Прокопий Урнечкий восчаяли свадеб, где им дозволено будет свежевать овец.

Свадьбы редко развеселяли Кукулино. Два Настиных сына, Мино и Драгуш, женились в одну неделю. Их торопливо повенчал в старой деревенской церкви отец Киприян, подоспевший в Кукулино на дряхлой мулихе. Потом, не потчуясь ничем, кроме хлеба и глотка вина со свадебного стола, он, выбирая из бороды крошки, растолковывал слушателям таинственную жизнь звезд. Сельчане знали: новым монахам он в тягость – древний и глуховатый. Три года подряд предсказывал он свою смерть, даже в немощи продираясь сквозь трещины состояния, одинаково близкого к сну и смерти. Его звезда угасла на седьмой день после этой свадьбы. Не успел окрестить второго Тамариного сына. Она тяжело носила: мучила изжога, у ребенка в материнской утробе росли волосы. Позднее, по пути из Города, обряд крещения совершил один из шестерых толстых монахов. ”Благослови, отец Филимон”, – подступил к нему Спиридон. ”Я не Филимон, а Трофим, – ответил монах. – Тут под чернолесьем живет подлый вор. В монастырском стаде недостает трех овец”. Спиридон обернулся ко мне. ”Слышал, Ефтимий? Трех овец! – И снова монаху: – Говорят, отец Герман, краденое мясо застреет в глотке”. ”Я не Герман, а Трофим. Пора запомнить. – И монах отправился восвояси. – Нарвется вор на мою дубину”. ”Скорбь да боль, отец Мелетий, – вздохнул Спиридон. – Пошли, Ефтимий, я тебя научу кроить господские сапоги из кожи...” Он заблеял и скорчил мину, изображая барана.

Он не научил меня выкраивать господские сапоги. Запил с тем самым Манойлой, что два года назад ушел и теперь воротился в голубой вельможьей накидке на тонконогом белом коне. Не дав сельчанам прийти в себя от изумления, Манойла объявил, что ищет строителей – обновить и довершить крепость на Песьем Распятии. Тимофей заметил ему, что крепость та бывшего властелина Русияна и супруги его Симониды. На каждом втором

пальце Манойлы по перстню, в серьге поигрывал луч осеннего солнца. ”Русиян уступил мне крепость за пятьдесят золотых византов”, – изрек. Поклялся, что сделка совершена при свидетелях, по закону. ”Пятьдесят золотых византов! – разинул рот Арсо Навьяк. – Да такого богатства нету у самого кесаря! А вправду, как ты разбогател?” Манойла неопределенно махнул рукой. ”Может, еще услышишь”. Затем, ни на кого не глядя, поинтересовался, в чьем доме вино не особо кислое. ”Пошли ко мне, – Арсо Навьяк расширил руки. – Выпьем”. Манойла велел позвать всех – он заплатит.

Пили, и в тот день и в следующие, в покоях новой крепости. Резали овец. Пошел шепот, что Манойла не то выкопал золотой клад, не то ограбил богатого ромейского купца. Всякие пошли слухи.

К январю выпили все вино и приели всех овец, даже купленных по другим селам. Голубую вельможью накидку источила моль, и Манойла, распухший и с побелевшими глазами, воротился в свой ветхий домишко к престарелой матери. К весне совсем обессилел. От богатства его остался лишь белый конь, похожий теперь на хозяина – торчащие ребра да понурая голова. Манойле пришлось наняться в услужение к монахам. Те дали ему кирку, указали, где копать. Могила была невелика – мертвый, маленький Ион-Нестор сделался еще меньше.

Перед тем как удалиться от людей, Манойла дивился, о каком таком богатстве его пытают и какую такую крепость он купил, у кого и на что, ежели отродясь был гол как сокол.

А еще позднее, на одно лишь утро обретший прежнюю норовистость, заявил горделиво, что он-де не голодранец – имеется у него закопанное золотишко. Пытались его тайну открыть. Но он замкнулся в себе и никому ничего не сказал.

Птица забвения кинула уже тень на его лик, когда он вдруг ушел из монастыря – захотел еще раз увидеть море в память о юности. Больше он в Кукулино не вернулся.

Вот и все. И еще: я нашел в кусте черепаху, поднял. Она обмочила мне руку, на коже появились чирьи. Своим снадобьем, не знаю каким, от этой напасти за семь дней избавил меня Тимофей, а Спиридон посередке черепаховой брони установил свечу и возжег ее. Сельчане выглядывали из приоткрытых дверей и крестились: всю ночь трепетал на погосте живой огонек. Кто знает, может, от этого огонька убегая, еж и налетел на лисицу. Свернулся клубком, а она катила его к воде, где добыча раскрывает свою мягкую утробу, чтобы вонзились в нее хищные зубы.

8

INDICTA CAUSA*

Пришло время, женился мой дядя Илия, вошел примаком в Тимофеев и Катинин дом. Велика его женила на Росе – не спрашивая, за руку оттащила к венцу. До свадьбы, со Спиридоновой помощью, Тимофей подправил пристройку к старому дому, изнутри монастырски белую и похожую на келью, где тайком встречаются монахи и святые: заживут в этой горнице чужие друг другу люди, муж и жена, чтобы, само собой разумеется, скончаться под тем же кровом, оставив селу, как положено, ораву таких же мучеников.

Имея на совести ту злую проделку с ящеркой, я свадебное веселье на широком дворе наблюдал издалека. Рядом были Мартин и Цветко. Мы передавали друг другу кувшин с вином и грызли орехи. На свадьбу нас не позвали: мы были уже не маленькие, чтоб прислуживать за столом, но и не настолько взрослые, чтоб пировать с гостями.

Свадьба. Вкруг сдвинутых столов гости, среди них, похожий на сивого орла, восседает монах. На почетном месте, укрытые виноградной тенью, жених и невеста в белом, застывшие и, как казалось мне с моего места, невеселые. Я пью и не удивляюсь, что Илия двуликий: левая сторона лица распухла от зуба, один ус торчит косо, словно, того гляди, выскочит из кожи вместе с корнем. Лоб низкий, завитки волос спускаются до паутинистых бровей, к глазам, в которых нет ни скорби, ни радости. К нему нагибается посаженый отец Менко, что-то шепчет. Может, и кричит, с моего места слышна только песня, Исака и Панко, другие Настины сыновья, подобно нетопырям, предпочитают веселиться во мраке. Всяк для себя и всяк своими словами подтягивает поющим – Зарко, Горан Преслапец, Спиридон. Не пьяные. На каждый глоток берут с глиняных блюд по два куска пирога или мяса. Парины свекры, Дамян и Прокопий Урнечкий, те, что свежевали овец, теперь за столом, седые и благочестивые. Прокопий отправится завтра в свое село, к своему концу. В волосах у Росы желтый цветок, словно проросший из шлака, подернутого слабой ржавчиной. Агна только раз появилась из дома и, как мне показалось, за спиной невесты вглядывалась в меня и в моих дружков. Не долго. Ссутулилась и ушла. Больше не появилась.

Собираются псы, бьются за брошенную кость, шумят соро-

*Приговор без суда и следствия (*лат.*).

ки в ожидании своей поры, своего мгновения – когда насытятся псы.

С наступлением сумерек, неопределенно-мутных, липнущих к стволу и корню, во дворе развели костер, и теперь, когда тьма сгустилась комьями, шумливая и беззаботная толпа заколыхалась в плясе. Опутанные выкриками и тенями, люди походили на пробуженных призраков, обезглавленные или двуглавые, с вывернутой наизнанку кожей: больные и безбольные раны изменяют их лица, мрак исцеляет, но улыбок нет, на лицах нет ничего – любострастие, набожность, упование принадлежат им вчерашним и другим; завтра они сделаются опять такими, какими были вчера. Остановились и приутихли. Можно было услышать, вернее, различить голос монаха. ”Индикта кауза, – зычно повторял он. – Индикта кауза? Таково время сие. Посему, моим повелением, с тех, которые не плодятся, будет взиматься больше от урожая. Перестанете плодиться, вы, молодые, Кукулино лишится будущего. – С другой стороны сдвинутых столов о чем-то его спросили. – Нет, не будет сего! – выкрикивал он. – Господь и монастырь никогда не повернутся к нищим спиной”. Проводил по глазам ладонью. Может, по толстым его щекам катились слезы, исчезая в подстриженной бороде. ”Отче Трофиме! – пытался кто-то перекричать его. – Нынешней зимой и мыши поколеют от голода”. Каждый каждого перекрикивал. Не заметили, что место Тимофея опустело и молодоженов тоже за столом нет. Зато явились Настины сыновья – Анче, Мино и Драгуш. Поднялся рев, про монаха забыли, и он со взором, из которого испарялся разум, умолк, затворился в собственном жире. Разобиженный бог весть кем и чем, Арсо Навьяк скинул потертые опинки, выпрямился. ”Преподобный отец не может быть индиктой каузой! – выкрикнул. – Не может. И с какой стати? Я тут родился, я тут живу. Стало быть, я – индикта и я же – кауза. Вот сейчас возьму да пройдусь босиком по угольям. Я, а вовсе не отец Трофим”. Заколтыхал к костру, но, прежде чем добрался до умирающей жизни сухих и зеленых веток, упал и остался лежать на земле. Был неподвижен – наверное, вина в нем было больше, чем крови. Уснул. ”Эй хозяева! – кричал Горан Преслапец. – Вино выпито. Пора нам и расставаться”. ”Никакого расставанья. Кто-нибудь из братишек сходит за вином. Сбегай, Мино. Ты помоложе”. Мино спал, уткнувшись лицом в пустое блюдо. Тяжкой поступью за вином отправился Драгуш. Не вернулся. Дамян и Прокопий пошли его поискать и тоже исчезли в ночи.

 Прежде чем разойтись, гости схватились: кто повезет мона-

ха и кто ему предоставит ночлег. Но монах рвался из рук. ''Ограбили, сняли новый серебряный крест! Немедля возверните, или я вас прокляну, всех погребу под индиктой каузой''. Я это слышал уже из дома, а еще слышал Лозану: ''Спиридон, что ж за народ такой в нашем селе?'' Тьма вздохнула: ''Набожный. Любит кресты''.

Как после всякой пирушки, голоса расплывались в ночи, на Кукулино опускалось коварное безмолвие, прерываемое угрозой пса или вскриком, дошедшим, может, с того света. Лозанин голос: ''Спиридон, когда же мы выстроим дом Ефтимию?'' Тьма: ''Завтра, перед тем как он станет Тимофеевым зятем''. Лозанин голос: ''Думаешь про Агну, ты ведь про нее?'' Тьма: ''Конечно. Хочется мне, чтоб он женился раньше хоть одного из своих дядьев. Со снохой да внуками старость пойдет веселее. Дай мне теперь уснуть. Если удастся. Мучает меня эта индикта кауза, кислотой нутро прожигает''.

Я слушал. От шепота Лозаны и Спиридона меня отделяла тоненькая глинобитная стена, размежевывающая две ночи, их и мою, две взбудораженности, где прогревалось семя хаоса. Прогрелось, пустило безмилостные отростки: вот они обвиваются вкруг меня, не чтоб меня удушить, а чтоб затянуть в глубины будущего, где я был, где я есть с того дня, как Тимофей взялся обучать меня грамоте и поделился мудростью – он возвращается из своего будущего, и мы расходимся: каждый новый молодой мудрец сам зашагивает в пределы грядущего. Я расходился с ним в эту ночь, я мог разойтись и с Агной. Может, лежа сейчас, я заступал в пределы старческого одиночества. Старческого или крысиного, в каморке с тусклой свечой, с воспоминаниями, которые сообщу – уже сообщаю. Старец в потертой ризе, крыса с черными точками в полуслепых глазах. А если я все-таки женюсь?

То, что приснилось мне той ночью, случилось.

9

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТРОКА

С Агной я встретился на тропинке, которая связывала село и болото. Мы могли разойтись, но не разошлись, а остановились в пяти шагах друг от друга, столкнувшись глазами, подобные букашкам, что движутся по заранее предвиденному пути, неспособные свернуть и разминуться. Неожиданная встреча, смятение. Агна стояла с выплетенной рогожкой под мышкой,

закинув голову, меряла меня взглядом без улыбки и без любопытства. С нее бронзовым дождем сливалось солнце и ослепляло меня. "Та ящерица, – услышал я. – Я все еще чувствую ее. Не защищайся, я знаю, это сделал ты". Я защищался, не принимал вину, подвергавшую меня незначительному, но долгому унижению. "Выходит, Мартин или Цветко?" – упорствовала она. Я бормотал, не соображая что. "Я знала, – произнесла она, – знала, что это не ты". Я воспламенился надеждой. Что-то горячее, бывшее во мне или бывшее мною, стиснутое оцепенелостью, пыталось вырваться и коснуться ее. Она шагнула. "Нынче вечером, в нашем сарае", – шепнула и обошла меня. Я стоял и не мог совладать с дрожью плоти, стоял и спрашивал себя, не ослышался ли, не выдумал ли это "в нашем сарае" жилкой распалившегося сознания, из которого прорастают тщетные надежды, болезненное заблуждение, сладострастие или обновленные сны, стоял и чувствовал на себе ее глаза, они притягивали и грозили медными бликами, полыхающими в глубине. Отошла от меня с быстрой усмешкой, будто девочка, делающая первые шаги после перенесенной горячки – осторожно, открывая мир таким, каким был он когда-то, недавно и очень давно: и лёт бабочки, и солнечный блеск в прозрачной воде, и небеса, даже в полдень способные покрываться звездами. Впрочем, может, она и не усмехнулась, может, просто губы ее напитались алостью подступившей крови – от нее молодая кожа делается прозрачной. Я стоял, пока четыре, пять или больше столетий, отделявшие меня от бесконечности времени, не вернули меня туда, где я единственно мог находиться, – в день, наполненный ласточками и комариным жужжаньем.

Я очнулся от крика предупреждения – укрепись и ускользни от призрака по имени *Нынче-вечером-в-нашем-сарае*, перестань верить, что встретил и слышал Агну. Я знал – это журавль в болоте криком призывал самку, криком, нараставшим и во мне: Илия станет отцом, Роса донашивает дитя, Мартин и Цветко стерегут сверстниц голодными глазами, а я стою на меже, по которой тянется последний день слишком затянувшегося отрочества, груды паримейников, набитых чудесами. Оттуда поучал меня покойный Вецко – не поддаваться собственным чувствам: истинные чудеса ведомы только мертвым, теперь вот и старику Дамяну, упокоенному и разлученному с Прокопием Урнечким, тот притаился в своем сельце Бразда, Побожье или Любанцы, и никто не поминал его, как никто точно не знал, из какого же он села.

Крик журавля, пламень в крови, сладкое опьянение весны

и вестник надежды – *Нынче-вечером-в-нашем-сарае.*

Позволяя солнцу унимать мою дрожь, я мягким изгибом изменил путь, которым шел, словно боялся встречи с Агной – наяву, а не с отлетевшим дневным сном.

Любовь, припомнил я шептанье в ночи – Вецко жил, обнимал землю и считал это любовью. Теперь его, покойника, обнимает земля, и он знает, что это тоже любовь, более чем любовь, жизнь после смерти, бесконечие без скорбей и без смертей. Ибо воистину только мертвые бессмертны, в своем вечном дне или вечной ночи.

Ты ошибаешься, Вецко, возразил я ему теперь. Мертвые не мечтают, они упокоены, и среди них нет Ефтимия. Ибо только я, только я, трепещущий и с душой распускающегося цветка, знаю, что такое любовь. В этот миг только я был Великим Летуном и властелином птичьих стай в поднебесье, летателем, одолевающим межу отрочества, волшебником, рассекающим свое тело, чтобы призраки, насосавшись моей юной крови, облагородились, встав на защиту влюбленных, против всех человеческих бед. Может, именно сейчас я понял, что Вецко сам у себя отнимал жизнь, отрекаясь от ее тщеты и тягот, без любви к другим и без любви других, с такой же опустошенностью в себе, как бессмертный исполин из одного Спиридонова сказания – у него змей унес любимую в мир теней. Нет, я не был сказочным исполином, я был исполином юности: зыблется под ветерком болото, знамением любви взнимается оттуда белый цветок, кроны деревьев устремляются к небесам, и все это мое, моей любви и моей жизни, все окрест на земле, под розовостью зорь, в близких и далеких, невиданных водах, отныне и навсегда. Я был живой, я шагал берегом неведомого и незримого моря, окатывающего меня теплой пеной счастья. Я думал о том, что Вецко, как и всякий другой, имел право на счастье, которое, вот оно, переходами жизни проследовало в на дорогу вечности, предоставляя живым пресоздавать поражения и поругания в воспоминания побед и славы, предоставляя когда-то, кому-то, мне смешивать амброзию жизни с горькими каплями существования загробного, чтоб ему, мне завтра воздвигли памятник. Протягивая, опять же когда-то, и теперь и здесь, кому-то и опять же мне, пшеничное зерно на ладони, зерно, напитанное соками телесного испарения, чтобы оно претворилось в мудрость ученого или в храбрость воина, грудью вставшего на защиту кукулинцев от ратников, отбирающих урожай. Я не был мудрецом и не был воином. Я был влюбленным.

День протянулся и удлинился, тени неспешно проходили

весенний свой полукруг. Поджидая сумерки и робея, я думал, что не найду силы войти в сарай. Боялся ли я? И это было. А может, мне больше нравилась любовь в ее неясности, чем предугадываемое соприкосновение плоти, тот неведомый миг, который выбивает искры, зажигающие огонь в крови. Отречение от смутных сладостных ощущений, выныривавших из горячего тумана и оседавших во мне, расплывалось, делаясь неуверенным и слабым. Отступало перед пламенем желания – крохотные, но судьбоносные законы владычили и над плотью, и над духом, поддерживая равновесие жизни.

После заката ноги сами понесли меня к сараю за домом Тимофея. Я двигался кругами, делая круги все уже, уже, подобно пауку, направленному на живую цель, запутавшуюся в нежной смертоносной цепи, подобно волку, устремившемуся в загон. На самом же деле двигался я как жертва – притягиваемая загадкой.

Темнело.

Тонкий и неподвижный, стоял на своем гумне Тимофей, точно дерево в бесплодном и сухом просторе. Был повернут ко мне спиной. Я укрылся за облупленной стеной дома и ждал, не желая с ним встречаться и выслушивать в который раз: он меня учит грамоте, чтоб грамотными стали все молодые кукулинцы, чтоб проникли они в тайны царских законов, чтоб по справедливости углядели собственное право и по справедливости уклонились от стези покорности, не становясь из париков рабами, чтоб сбросили с себя ярмо повинностей, накинутое самовольством городских судей и самовольством монахов да ратников, устроивших себе роздых в селениях под чернолесьем. Безграмотность и рабство – толковал он – четверг и пятница, их разделяет ночь, мрак сознания, дни до этой ночи и после нее тоже ночь. Я ждал. Гумно опустело, исчезли солнечные полосы, тянувшиеся среди деревьев. Я осторожно покидал свое укрытие.

Стемнело.

Из дома Илии раздался плач младенца. Он подтолкнул меня к сараю. Из полутьмы я зашагнул во тьму и застыл перед стеной застоялого воздуха. В горле пересохло. Я ждал в надежде, что окликнет меня из темноты знакомый голос, и вместе с тем готовый осторожно и незримо, без свидетелей, убраться из сарая и раствориться в жизни, какой жил до того часа. И все же я шагнул вперед – и окоченел. Что-то холодное, неприятное коснулось моего лица, отодвинулось и прикоснулось снова. Девичья рука, первое вступление в любовь? Не похоже. Пугаясь самого себя, я вытянул руку и схватил ящерицу,

подвешенную на бечевку. Ящерица, повторение игры, знак поругания над зрелым-перезрелым отроком! "Агна", – прошептал я. Не знал, зову ли, проклинаю ли. Берег, где обрызгало меня пеной море счастья, выскользнул из-под ног ползучим гадом. Я стоял пустой в пустоте. Исполин-двойник скукожился во мне и превратился в карлика, а вместе с ним и я: звезда обиды двинулась к созвездию гнева, черная звезда униженного пса, который дичает в созвездии волчьей стаи, под ее черным блеском, под угаданным вселенским криком корабль моей любви тонул в водорослях и кораллах, уходя в пучину.

"Что, племянничек, голубок ловишь?" Я обернулся прыжком.

Ухмылялся, я знал, что ухмылялся, несмотря на тьму, скрывающую лицо, – он, мой дядюшка Илия. "Ты когда-нибудь в чужом сарае оставишь кости. Отмолотят тебя да бросят на съедение тараканам". Я был выше его. Вокруг нас в соломе шуршали мыши, а может, призраки. Я шагнул к нему. "Не смей, – он отступил. – Я теперь родитель, имею дочку". Я не ударил его, я прошел сквозь черную дугу нелепого издевательского мщения, слишком малого, чтобы занять место в моем сознании, вобравшем в себя вселенную.

Дома встретило меня Спиридоново бормотанье: "Индикта кауза, безумие. Кто нашептал Трофиму, что Кукулино обязано плодиться и будет плодиться? Кто, дедушка Ной перед потопом? У нас, Ефтимий, один карабкается из паутины в материнском чреве, а двум другим кутью готовим, чтоб пухом им стала земля. Дамян уже не крестится на солнце, а нынче вечером отошла и Наста. Считаю и никак не сосчитаю, сколько ж нас останется через сотню лет. Не обновляемся мы и не множимся, не веруем в чудотворность камня с могилы отца Прохора. – Горько усмехнулся. – Стало не до камня, сынок. И вода негожа – не животворит, как прежде".

Огромная синяя гусеница ночи, мягкая и ненасытная, пожрав зелень, покрыла дома, покрыла все, как циклоп одноглазый, расплывшаяся луна возлежала посреди ее лба. Взблеснула на миг и вырвала из теней нас двоих, моего отчима Спиридона и меня, его словно увеличенные глаза и судорогу моих пальцев, вонзившихся в мозолистые ладони. Мы сидели на пороге дома. Лозана ушла с Великой обряжать покойную Насту. Я слышал их голоса, с болота возвращались Мартин и Цветко, рыбачили. Коварная Агна, почему не подманила в сарай кого-то из них?

"Потроха и голова, что ты дал тогда Дамяну, были от краденой овцы?" – спросил я. "От краденого не умирают, – отве-

тил он. – Просто старику пришел срок. А ты, Ефтимий, почему не женишься? Уж Агна-то будет родить, послушай меня”.

Агна! Кабы этот Спиридон знал, что наши с ней дорожки, может, навсегда разошлись, если только не пошутит с нами судьба, как со многими. Горечь комом собиралась в моем горле. ”Никогда, Спиридон”, – промолвил я. ”Конопатенькая, а? – пытался вытянуть он из меня признание. ”Конопатенькая? – Я вспылил. – Да Агна – жаба паршивая. И не слушай ты этого придурка Илию. Вчера его лупила Велика, а завтра Роса будет лупить”.

Пришла Лозана, поставила передо мной кружку с вином.

"Завтра подмажь очаг. Дымит отовсюду". Я посмеялся про себя. Очаг дымит! Я дымил вдвое сильнее, во мне пробудился огонь скорби, обиды, гнева, безумия всех минувших столетий. Во мне дым тысячи огней, Лозана, мог бы я прокричать. Но я молчал, раздумывал. Понял потом. Безумие минувших столетий было прологом в то безумие, что принесут с собой некий Антим и некий Парамон. Но и оно станет лишь личинкой безумия, из которого вырвется предощущенное Вступление в проклятие юности: растерзанного болью и сладострастием сатанинского смеха, сумасходство охватит меня на пути к неведомому, образуя в свой черед подступ к подлинному безумию.

Нищего меня напитали горечью.
И сладкой стала им горькая эта земля.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОКЛЯТИЕ ЮНОСТИ

1

МАГИЯ БЕЗУМСТВА

Плачет земля. Приложу ухо к теплой пашне и слышу – рыдает. На похоронах, как на свадьбе: земля вбирает в себя рожденное для будущей жизни. Живых избегает. Живы, а вроде призраков. Таким не умягчает хлеб собственная слеза, таким молитва не воскрешает имя.

Есть ли такие в Кукулине? Были: Вецко, Манойла. Первый в могиле, до времени предался земле – хоть какое-то, а тепло. Второй за собою следа не оставил. Принес сказочное богатство, подобно Августу, Траяну, Тиберию или другому какому царю, но пропился, сделался добычей нужды. Ушел обниматься с неведомыми глубинами моря, туда не достигал кукулинский разум. Их житие бледнеет в воспоминаниях. От семени Вецко возрос девятнадцатилетний ствол: я – его сын, никуда не денешься. Манойла пропил не все, перешептывались сельчане. Не мог. Перед уходом, в надежде еще раз воротиться в вельможьей накидке, закопал свой клад. Так в селе повелось сказание, будто в Русияновой крепости, купленной Манойлой пред свидетелями за пятьдесят золотых византов, закопано его злато-серебро. Слышали: по ночам при луне горшок катается из конца в конец двора, позвякивая монетами, а с первыми петухами глохнет в подземельях крепости, в кольце змеиных логовищ. Лик богача оживал всякий раз иным, менялось имя, в глубь времен отодвигались события. Все верили: Кукулино скрывает богатство. Убежденные в этом, Мартин, Цветко и я три года назад взялись осматривать крепость. Слышали или воображали шумы, затаивались с топорами в руках, не теряя надежды открыть таинственное богатство. Напрасно. Горшок с золотом так и остался в змеином логове. Сказание угасло, а потом снова воскресло, словно Лазарь. Даже новые монахи возмечтали о кладе, тщась сыскать корень великих волнений. И вот, бросив полевые работы на женщин, Тамарины двоюродные братья, не сговариваясь с сельчанами, принялись спозаранку перекапывать землю вокруг крепости. Вскоре кто-то нашел мелко захороненные человечьи кости. Расшибли череп Манойле – такая явилась догадка. Но тайны он не открыл, унес в могилу. Теперь пятеро братьев копали и по ночам. "Ну и силушка ж у вас, братцы, – дивились им Зарко и Горан Преслапец. – Золото найдете, не забудьте про нас. Главное – копать без передыху". Насмешка задела братьев, и один поинте-

ресовался, кому к спеху в могилку: Зарко или Горану? Словно советовался по-хозяйски. Горан Преслапец ухмылялся. "Верно, вас-то пятеро. Вам к спеху могилку не выроешь". Исидор, тянувший от Давидицы бороздку к своей ниве, еле угомонил их – благо доводился братьям зятем. Разошлись, утягивая за собой паутину злобы.

Копать братья перестали, но сказание о кладе, который караулят змеи, осталось.

Как-то, поминая стычку в тени малой крепости с сыновьями покойной Насты, Арсо Навьяк клялся, что могилу завсегда, ежели господь не убережет, выроет друг, потому как от недруга всякий защищаться умеет. Не пояснил только, кто выроет могилу могильщику, кто его погребет. Могильщика свернуло под чужой грушей в дождливую пору ближе к вечеру – выблевал желчь и уткнулся лицом в грязь. Две недели накидывали ему пиявки на шею да отпаивали черепашьей кровью. Не спасли. Хоронили его Спиридон с Исидором, дождь норовил погуще напоить землицу, чтоб могилка взялась пыреем. Понапрасну ждали монахов – чтоб с молитвой передали небесам отходящую душу. Присыпали землицей и поспешили, промокшие, укрыться от дождя. "Забирают у нас половину жита, морят голодом, – сетовал Спиридон. – Оттого и помираем до срока". "Не всех смерть берет, – вымолвил Тимофей. – К скорби, своей и чужой, я вот все еще жив".

В один из переменчивых дней, дождливых по утрам, в полдень же солнечных и умытых, в сторону Кукулина брели двое. Уже издалека можно было понять, что не просто путники. Тень страха накрыла село, когда они приблизились – выкриками и взываниями требовали почитания мучеников библейских.

Теперь, после стольких лет возвращаясь в прошлое и припоминая, как они выглядели, я стараюсь ничего не прибавить и не упустить. При свече, склонившись над палимпсестом, сижу, уперев лоб в ладони, и, прикрыв глаза, утопаю в глубинах далекой молодости... Две тени в однообразном сером просторе. Тени – люди. С них, как с потрескавшихся стволов, стекает смола. Челюсти времени уже подгрызли их облик, они не мертвы и не живы, они поверх жизни и смерти... Медленно и неуверенно сила воспоминания возвращает мне их людьми. Колдовством ли, нет ли, мне удается одолеть туман, распознать их... Один высокий, голова гордо вскинута, в струпьях – страшен. По закону того проклятого века носит клеймо: под бровями шрамы – ослеплен, вероятно раскаленным ножом. Будто голый и будто нет. С лица и со спины до половины прикрыт бородой

и волосами, тяжелыми и густыми, похожими на расплавленный и вновь затвердевший металл. Длинное лицо, длинные руки, длинные ноги. От пояса вниз неведомо, где кожа, а где рубище – голые колени, голые ступни, кости без мяса. Руки, плечи, и лицо тоже, сплошь в темных полосах – спекшаяся кровь, свежие раны – следы, оставленные кожаной плеткой. Время от времени второй хлещет его тяжелым бичом. "Избавление от грехов в муках, кои повелением божиим мы сами себе наносим". Дышат тяжело, второй особенно. Он без зубов. Искусный коваль вставил ему в рот подковку с желобком по деснам – с края челюсти до другого тянется единый железный зуб. Глаза огромные, смотрят за двоих. На шее болтается череп ласки. Оберег от зол, хотя ни одно из зол этого мира не обошло его. Чтя память родителя, носит на плечах медвежью шкуру: отец его, Петкан, назад тому лет тридцать, а то и больше, носил такую накидку.

Я погружаюсь в прошлое. Во мраке, густом и непробойном для слабого пламени свечи, сгущается третья тень. Яснеет, это – Тимофей. Узнает их...

Слепец – бывший монах монастыря Святого Никиты, Антим, человек с железной челюстью – Парамон; были разбойниками, стали мучениками – болью изгоняют грехи из плоти. Припоминаю их теперь, в каморке, где догораю – старый и с ослабшим взором. А тогда...

"Приставайте к нам, грешники", – вздымал жилистые руки слепец. К окровавленной, пестревшей следами ударов спине липли волосы, только, как казалось мне, боль сильнее чувствовали зрители, а не он; люди корчились и кричали, плакали, лица их собирались морщинами; содрогание тел передавалось земле, пробуждая в ней стоны веков; рвали волосы, бились лбами о камень, до крови кусали собственные руки. Тимофей с трясущимися побелевшими губами пророчил, что кукулинцы катятся в бездну. Люди не внимали, обращались в крик с новым богом в себе; прыщут искры, зажигают верующих огнем. Антим и Парамон – кремень и кресало, от них загорится земля, вспыхнут пламенем небеса. Я горько упрекал себя, что бессилен умирить сельчан, а потом упрекал себя еще горше за то, что не избежал чар безумия – с женщинами бросился ниц перед пришельцами, целовал им колени и руки, предлагал покорность. Веры не было в моем бурном одушевлении. Просто-напросто в то мгновение я сделался богом среди богов, нашедших определение бессмертия, красоты, морали, вырывающих меня и мою жизнь из мутной и всеобщей потребности грабить, ненавидеть, бояться смерти.

На время я приходил в разум и сознавал – восторг этот не возвышает меня. Сквозь горячий туман открывал я унижение и горе. Из живого клубка Зарко силой вырывал сноху Тамару. Брат его Исидор, подавленный, с помутненным взором, заметно поддавался набожному сумасходству. Ухватив его за руку, Менко, доводящийся ему, как и многим, кумом, внушал: коли завел дочку да сына, надобно их на уме держать, а не терять голову заодно со всеми. Слепец перекрикивал его призывом покориться и следовать за ним: над миром нависает конец, он же, вразумленный мудростью божией, возвещает восход.

Женщины, и Велика с ними, плакали в ногах у слепого избавителя, повторяли: спаситель, спаситель, спаситель. Спаситель – нахлестывая их кожаной плеткой, приговаривал Парамон, и еще: да станет грядущая ночь ночью мертвых, их воскресением. Он оплескивал толпу болью: только истинный мученик может ощутить ее сладость и возвыситься над своим бренным телом, червь в груде червей на бесплодье и в камне.

Безумство превзошло себя. Не жаль, что душа, стремящаяся ввысь, покинет тело, сопутствующее ей от рождения, коварное и эгоистичное, подобно божеству, она станет невидимой, дымом, смыслом бессмыслия, небытием. Ибо безумство их воистину могло превзойти все вступления и прологи вихрем промчавшихся столетий: слева кипит в недрах болото, над Песьим Распятием кружат призраки и псы, ветки деревьев осьминогами опутывают стаи скворцов и окровавленными их бросают на кровли, воды Давидицы возгорелись и дымятся черным дымом; содрогается старая крепость – встают из-под нее мертвецы; во мглистых испарениях воют глотками исполинских волков отшельничьи пещеры Синей Скалы, от этого воя с треском валятся столетние древеса.

Я видел это, видел кровь – с тыльной стороны ладоней слепца она цедилась на землю густыми каплями. Лозана вбирала эти капли губами – с сухих дланей слепца и с земли. Ей явился новый Христос, воплотившийся в двойнике своем или вестнике. А я вдруг увидел гору, возносящуюся на мглистых крыльях, и крикнул: "Христе, Христе, забери меня с собой! – И упал на колени. – Верую в тебя, я твой раб, не дай Спиридону и Тимофею оттащить меня. Клянусь, буду верным тебе, мой боже". И когда поднес ладони к глазам, они были в крови.

Я потерял сознание в миг ослепительного блеска священнодействия – столько было красоты в рабстве божием и в суровости, столько нежности, что, сделайся толпа еще безумнее, это было бы оправдано. Большего будущего не было ни у кого.

Ни у меня, ни у Кукулина. Ни у самого Христа, снятого когда-то с креста, или у этого, страшного и слепого, устремившегося к своему распятию на вершину Голгофы, сложенной из кровавых сердец. А может быть, я лежал раздавленный и незаметный, может, меня несли на руках, обмершего и похожего на труп, в то время как (и я знал это?) мое потерянное сознание оставалось на великой сцене, подобно актеру, ожидающему за мягкой тканой завесой своего мгновения – заскочить в игру и исполнить предписанную роль – воистину единственного Христа нового кровавого и единственного евангелия.

2

ВОСКРЕСЕНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Прошла одна долгая ночь или одно быстрое лето. Хаос обнаруживал некий свой порядок. Антим и Парамон разбезумили Кукулино во вторник, все равно в какой, а в среду из сел под чернолесьем неостановимой муравьиной вереницей потянулись мужчины и женщины, они собирались вокруг недостроенной крепости, ставшей святилищем раскровавленного слепого Христа и тени его – Парамона. Шли все – старые и молодые, здоровые и на костылях, немые, горбатые, косые. Безумие обогащало их разум новыми представлениями. Они веровали в чудо, в воскресение живых, в вознесение в мир вечно мертвых. Рвали с себя одежды, рыдали и вскрикивали, требовали, чтобы Парамон их хлестал. Бросались на землю, обливались зноем и пеной, сплетаясь в узел, целовали друг друга, кусали. Отрекались от всего, что превращало их в ничтожество и алчбу, распевали, и их песнь отречения от земного подхватывала гора:

был лес у меня я спалил его
и камень
было сердце погреб его
и реку
был родник иссушил его
и пашню
была нива сделал могилой
и кровь мою
я воскресну ты воскреснешь.

Красота смерти покоряла, обещала другую жизнь, бегство в бесконечие, не в то, что возможно было некогда в некоем мутном прошлом, а возможное некогда – в грядущем. Один Тимофей пытался убедить толпу, что Антим всего лишь бывший

монах и разбойник, посеявший в них больное семя, из которого вырастет чудовище – оно перерастет разум и пожрет себя вместе с разумом. Его не слушали. С ладоней Антима стекала кровь, верили – новый Христос снят со креста. Парамон вынимал изо рта железную челюсть и показывал; бросал ее на землю, топтал и вновь пристраивал к деснам, женщины, как подрубленные, валились без памяти.

С годами, помудрев, я узнал, что боги отрывают покоренные толпы от мира, стягивая их цепями одиночества. Одиночество Тимофея, как понялось позднее, было не болезнью, а здравомыслием, болью за фанатичное бегство кукулинцев из жизни и естественного хода времени. Мужчины и женщины зажили в огненных вихрях старых библий, в новых упованиях на величавые воскресения. Монастырским колоколам отзывались небеса и пекло.

Это потом... А тогда и одеяние и кожа Тимофея походили окраской на листву граба, внезапно и преждевременно обожженного инеем, но сумевшего сохранить соки мудрости, животворно питающие его. Не в чаянье солнца. В надежде, что молодой побег на его стволе, будущая его жизнь, вдалеке от бурь или в бурях новых. Тогда я не ощущал в себе Тимофея. Чувствовал легкость в себе, верил, что я – вестник вестника Христова, Антима; ему отдавали женщины сердца свои и глаза, с доверием и верой тянулись обмыть его раны, взамен ожидая дара – розовости восхода, в котором они воскреснут, очищенные от греха. Все возжелали смерти – скопом.

А смерть приближалась. На резвых конях влетели в Кукулино десять ратников, и Деж-Диж с ними, свирепо обрушились на толпу. Может, Антим их учуял заранее – встретил вздетыми руками и призывами не поддаваться злодеям, то же и Парамон. Призывы одушевили меня – я орал и швырял камни в ратников вместе с другими. Это была не столько злоба, сколько, может быть, потребность оставить после себя записанные кровью молитвы. Один ратник соскользнул с окровавленным лбом под ноги своему коню, другой не смог освободить шею от пальцев Горана Преслапца, стряхнуть его со спины. Пригубившие от чаши смерти о жизни не думают. В битве суровых, как сердце божье, кошмаров вздымались колья и топоры, тяжелые мечи рассекали живое мясо. В толпе сельчан наших и из сел других были такие, о ком я еще не успел помянуть: Йовко Иуда, стершееся веретено в широкой рубахе, глаза подо лбом мутные и без блеска, будто и не глаза, высокий из-за худобы, болезненный и бесплечий; Бинко Хрс, дядя сгинувшего Манойлы, эго-

истичный и мрачноватый, с проплешинами на темени и возле ушей; Коста Рошкач, ни молодой, ни старый, крепкий, точно косточка сливы, живущий медом, дикими ягодами и орехами, от Бинковой жены и в Бинковом доме у него растут свои дети; Славе Крпен, пришлый, маленький, пугливый, преждевременно постаревший и сморщенный. Поминаю их и больше не помяну – в их грядущее воскресение не поверит никто. Их оплакивали, оставляя умирать в крови. Дрались, взывали и к демонам, и к апостолам. Чудище оглашенности пожрало бы ратников, смолотило их, как осквернителей возвышенного состояния, в коем пребывало Кукулино и пределы окрестные, но с юга подошло два или три десятка новых. Они не были бездушными, как небесные боги жизни, – были суровыми или такими стали из-за убитых, среди которых оказался и Деж-Диж, тот самый, что когда-то сопровождал монахов Досифея, Мелетия, Трофима, Германа, Архипа и Филимона. Люди бились и секлись. Смерть позвала на пир самых верных: Исака, Менко, Горана Преслапца, кое-кого из других сел. Тимофей не уберег Катину: конские копыта угодили ей в ребра, выдавили через рот черную кровь или кусок легких. В шаге от нее зашатался Парамон с копьем под левой лопаткой. Скрюченными пальцами искал опору, захрипел и рухнул ничком, прямо к ногам оцепенелого Тимофея. "Не давайте им вестника божьего!" – кричала Велика, тщетно вырываясь из рук своего неуклюжего сына Илии. Ее оттащили за дом, туда же Спиридон оттащил Лозану, а братья Зарко и Исидор меня – чтоб не слышал я криков и стонов и не видел, как ратники посекают слепца Антима. С моего плеча стекала кровь, другим я прислонялся к стене дома. И припомнилось: однажды во время пахоты Спиридон выкопал из земли римскую наковальню из камня и подарил ее Горану Преслапцу, обязав выковать мне меч – если потребуется. Кабы был кузнец ясновидцем, вспыхнула мысль, я бы сейчас ссекал головы и не осталось бы ратников в живых. Я плакал. Гнев вернул мне сознание, или сознание открыло жуткую переплетенность религиозных фанатичных мечтаний и человеческой ненависти к убийцам с мечами и копьями.

У каждого человека есть свой цветок, и в последний час человек узнает его, вспоминает, когда и где его видел, в детстве или в первом восторге любви. Каждый. У кукулинцев на всех вместе один цветок, черный, отравный: растет внутри нас, высасывает нашу кровь и испаряется пурпуром, отнимая у неба голубое спокойствие. Каждый человек имеет и свою яму для пребывания, из нее не достанешь теменем солнца. У кукулин-

цев ям было слишком много – Спасительская, Сухогорская, Гадючья, Известковая, Железная, с севера до юга Кукулино корчилось в сплошной яме, и вот появилась новая – Антимова: кто-то тайком раскопал могилу Антима, убежденный, что ускорит воскресение слепого Христа. Могила оказалась пустой, и яма осталась открытой. Женщины иногда наполняли ее теплыми лепешками и розовой мятой – такой день для них был Христов.

Как-то Спиридон поминал погибших. "Воскресение откладывается, Ефтимий, – промолвил он. – Тот день ляжет бременем на плечи живых. Покойники не чувствуют ни тяжести земли, ни тяжести неба".

Тот день! Он оживает после стольких лет, замыкая меня обручем раскаяния и тоски. Подымаются призраки, крутятся винтом, тянут меня на допрос – почему я сбежал с поля битвы, почему не принял погибель. Скрипят кости, стонет нутро, горит безголосое горло – все забвение под прахом промчавшихся лет. И все равно я нанизываю имя за именем и ищу прощения от них для себя и для них от неведомого святого: Исак, Менко, Горан Преслапец, Катина, Антим, Парамон, Деж-Диж, Йовко Иуда, Бинко Хрс, Коста Рошкач, Славе Крпен, да еще двое или трое воинов, да из соседних сел безымянные, семнадцать или восемнадцать мужчин и одна женщина – толпа апостолов без Иуды, Иуда Йовко не в счет.

Иуда, спасся, укорила меня после их погребения Агна, немо, глазами, оставляя в оцепенении и лихорадке, я чувствую ее укор и сегодня, на склоне лет, исповедуясь перед грядущими, – призрак, явивший себя покаянным словом, отозвавшийся моим голосом Тимофей, чей тогдашний возраст я уже пережил.

Я стар, очень стар, между мной и тем днем десятки лет, Кукулино в цепях нового рабства, в город входит турецкое войско. Будущее – деяние будущих. Ослепший, возвращаюсь к вступлению в юность, к юности, крутящейся в вихре былого безумия.

Пламя свечи мигает, предупреждает – я раскровавлю сердце. Боль меня не пугает. Я живой, покуда ее ощущаю – мертвые сердца гниют, не кровоточат. Не знают, что такое боль, и не узнают, что *Воскресение откладывается*, в новом сладком безумии его дождется кто-то другой, после меня и после первой строчки новых библий *И был день*. Если он будет.

3

НИТИ СОСТОЯНИЯ

Не нужно было этого делать, это сделали топоры.
Елилига
пепелига
тамазана
до катана

Слова без смысла для детской игры. В нее играются старцы, дети в морщинах. Жил-был Богдан, отыскивал следы зверя и в треснутой тыкве прочитывал деяния прошлого. *Крива, крива рученька, Богданова душенька, прости, боже, кривые кости,* и жил-был Вецко, его сын *Калин препин, синолия русолия*, а потом – жил-был некий Ефтимий Книжник, Вецков сын *На плечах голова горячая, в груди душа одинокая*, но не будет жить-быть побег, возросший от его семени. Где тогдашний я, кто я? Отзывается глубина – я с тобой в твоей яме, я с тобой.

Нет, Ефтимий Тогдашний, между тобой и мной, Ефтимием Завтрашним, стоит некто – Теперешний. Не стена. Пропасть, проклятие между двух утесов – недосягаемых, по которым всползают и будут всползать черви страха. Нет? И нет, и да. Ибо я оцениваю во времени, которого нет, но в котором я однажды увидел: на Песьем Распятии в том месте, где посекли слепого Антима и железнозубого Парамона, выросли по весне два дерева, на их ветках, увитых человечьими жилами, распускались легкие и селезенки. И вот ныне я спрашиваю себя, видел ли я это или выдумываю теперь. Нити состояния увлекают меня; может быть, состояние длительного безумия постаралось, чтобы теперь я знал – я воистину видел те деревья, с чьих веток синевато-кроваво испарялась человечья бренность – воскресение, достойное сатанинских мираклей, являющихся кому-то или придуманных для новых заблуждений и вер.

Деревья были моей тайной. Я молчал, что увидел их. Спиридон теперь не летал, не копал соль на своих небесах, не веровал в чудеса – с тех пор как оглохла Лозана, он кричал, с кем бы ни говорил. Дочка моего дяди Илии, малолетняя, ошпарилась горячим молоком, родителям было не до чудес, лечили девочку какими-то вымоченными в масле листьями, обмазанными медом и свежим пометом. Сверстников своих Цветко и Мартина я видел редко. Я молчал, довериться было некому. Да мне бы и не поверили. Деревья днем не видны – уходят в корень. Только месяц вытягивал их из земли.

Все в сознании имеет свое Тогда, в том Тогда ночь накануне Иванова или Петрова дня. Я исцелюсь, завтра перестану быть дурачком божьим, исцеляюсь – я, Тогдашний. Но той ночью после молотьбы скудного урожая – его третью мы упитывали убивавших нас, – когда я, затаившись за кустом, поглядывал на деревья, с которых цедилась плазма или слеза из слепого ока со злым искушением в зеленом разливе призрачного месяца, явились монахи, перекрестились один за другим в великом безмолвии, а потом слышались только удары шести сверкающих лезвий, выбивающих из деревьев щепу и искры. Голос, до меня доходивший, не имел ясного происхождения – то ли тоска зверя ночного, то ли боль человеческого существа. Я дрожал, закусывая нижнюю губу, чтобы не застонать из-за муки деревьев – негаданного Антимова и Парамонова воскресения. В глаза мне заползали зеленые муравьи, оставляли под ресницами свои яйца, ослепляли меня кислотой, от которой я защищался слезами. Не защитился. Из-за худого питания я страдал куриной слепотой.

Зрение возвратилось, вновь меня подключая к происходящему: поваленные деревья горели, с дымом возносили ввысь души мучеников Антима и Парамона. Огонь, сам по себе зеленый, ширил вокруг зеленую дымную мглу. Меня словно не было, может, и я стал дымом в том дыму, ибо шестеро монахов проскользнули мимо, не заметив меня, но я все равно знал, что с их топоров, вскинутых на плечи, капала кровь. В горле моем собиралось рыдание.

Таким, пустым и испепеленным, в полночь меня нашел Спиридон. "Пойдем со мной, Ефтимий, – ласково позвал он. – Лозана ждет тебя". Я оставался на земле, пытаясь объяснить ему, как Антим и Парамон умерли еще раз вместе с посеченными деревьями в огне, похожем на пирамиду. Он сел рядом. "Нет, Ефтимий, огонь я бы увидел из дома", – успокаивал он меня. Я схватил его за руку, тянул туда, где горели деревья, – подтверждением, что я не обманываюсь, станут тлеющие головешки. Не вырывая руки, он пытался меня увести в село, а я все тащил его, и, стань он хоть корнем в земле, ему не устоять передо мной; не здесь, не здесь, не здесь, мы долго кружили в поисках, до безумия в моем безумии, до бешенства, а от огня ни следа, ни пепла, ни головешки, ничего, воистину ничего. Я рыдал, что-то бормоча и подвывая – здесь, или здесь, или здесь горели деревья. Я шептал, я рычал, что не лгу, повторяя это, пока Спиридон не поддакнет: конечно, Ефтимий, я твердил, что я не безумный, и Спиридон поддакивал: конечно, Ефтимий.

"Конечно, Ефтимий, – повстречался мне через несколько дней Цветко, – я надумал и сделаю это – женюсь на Агне". Зубы его росли без всякого ряда. Белые и желтые, они могли вдруг выскочить изо рта и, словно зверьки, наброситься на человека, не из вражды, а исключительно из инстинкта, столетиями передаваемого с десен на десны. Он хромал – колючка сидела в пятке. "Может, вытащишь?" Сел. Я присел напротив. "Значит, решил жениться?" Он моргал на западном солнце, моя скрюченная тень не покрывала его лицо. "Конечно, Ефтимий, ты станешь мне сватом". Колючка в пятке была видна и легко вытаскивалась. "Конечно, Цветко, – промолвил я. – Без свата не обойтись". Я крепко нажал на колючку ногтем. Он вскрикнул от боли. Вскочил, поднял руку меня ударить. Да так и остался. Его толстые губы прикрыли кривизну зубов. Отпрянул. "Ты блажной, это всем известно. У тебя червяк в мозгу. – Отошел подальше и выругался. – А я все равно на Агне женюсь! – выкрикнул мне оттуда. – А полоумный сват мне не нужен".

Ночью я соскальзывал по мягким кручам, измерял глубины тоски сел под чернолесьем без своей власти, зато со всяческой кровью в жилах сельчан – славянской, ромейской, иудейской, латинской, языческой и христианской. Эта смесь не сотворила единства. Кровь выпивала самое себя, сельчане грызлись. Хотя не всегда. Теперь они были едиными и сплоченными – скопище голов под короной мудрости, под которой не хватало места для еще одной, моей.

Я знал, что на селе меня считали блажным. Пялились недоверчиво, перешептывались, а лишь я приближался, всем словно делалось не по себе – улыбались льстиво, касаясь меня руками. Не были ни насмешливыми, ни злыми – всяк по-своему богом мечен, блажные вреда не чинят, не грабят, не трогают чужих жен. Меня испытывали. О чем только не спрашивали и не дивились моим ответам: будто всякий пожирает самого себя, ибо заключен в зерне пшеницы, будто голый слизняк – плод любви змия и подземной русалки, будто по ночам я встречаюсь с покойным Вецко. Интересовались, впрягал ли я в соху слизняков. Я был пахарь и жнец, как они, но я был другой. Я единственный решался войти в развалившуюся крепость, где жил мученик или вампир Борчило – тридцать с лишним лет тому осиновым колом он отнял у себя жизнь – первую или вторую. Женщины крестились за моей спиной. Я же шепотом благодарил святых, что не был этим женщинам ни сыном, ни мужем, счастливо сбереженный от такой беды. Многие куку-

линцы выказывали по разным поводам дурь. А полоумным считали одного – меня. Они не сомневались в своем счастье, а может, обманывали себя, что счастливы, я же пытался их возвысить взаправду – чтоб уважением к другому доказывали они свой ум и разум: лицо я присыпал мукой и толковал с воображаемыми собеседниками, у каждого свое неслыханное имя – Леко Сомустар, или Партений Черноутробец, или Епистимия Триокая. На шее я носил низку лука, но, как ни объясняй, им было не понять, что гласил пергамент из старой крепости, подписанный Лотом, а именно – сам великий фараон Хеопс луком одарял за верность. Они одно только знали: лук устрашает вампиров. А таковые были. Стучали ночью по крышам, отнимали у коров молоко. Многие, хоть и не все, стали носить связки лука. Клялись, что видели вампира. Старухам бродяжка нашептал, что вампиры убегают лишь от безумных. И люди даже завидовали, что хоть в этом мне предопределено быть выше их. "Не дури, Ефтимий, – советовал мне Спиридон. – Перестань бродить по ночам и пугать людей. Взбесятся". Я спросил, пахал ли я на впряженных слизняках. "Э, сынок, меня в повозке из дыма не прокатишь". Он знал, что я не безумен, в том же хотел убедиться и Мартин. "Скучно мне, потому притворяюсь", – признался я. "Так я и думал, – усмехнулся он. – А тогда, с колючкой в Цветковой пятке, как было?" Он ждал сказания, и сказание явилось из глуби времени: Цветко, он вроде Ахилла – исполинская нога и стрела в пятке. Решил жениться на Агне, да боится – она потребовала, чтоб он поедал ящериц. "Решил жениться на Агне", – повторил Мартин. По лицу его прошла судорога. "Ты меня прервал, Мартин, – укорил я. – Сказание только начинается". Он тоже вздыхал по Агне, как вздыхал по ней мой женатый дядя Илия, который в сарае выплакивал в песне тоску. Вот и теперь он пел, на соломе лежа. Увидев меня, сел, сжался. Я спросил, считает ли он меня безумным. Он прикидывал, как далеко до двери сарая, удастся ли выскочить от меня. Я велел ему оставаться на месте и спросил – не пора ли мне вешаться, раз Цветко решил жениться на Агне. Он помрачнел, того гляди заплачет, Агну жалел, не меня, я не очень-то ему был по сердцу. "Ты грамоте обучался у ее приемного отца Тимофея, – заскулил он, – повлияй на него. Пусть не отдает Агну Цветко". Я спросил, нет ли у него в пятке колючки. Он сделался будто еще меньше. "Нет, какая колючка?" – разинул рот. Я вытянул к нему руки. "Взгляни на мои ногти, дядюшка. Ими я ловко орудую, вырываю и колючки, и стрелы". Он подскочил, словно подкинутый, и прыж-

ком, обогнув меня, оказался снаружи. "Тимофей мой учитель! – крикнул я. – Прислушается к моим словам". За день до того я помогал Тимофею прибраться с сеном. Как и Спиридон, он мне советовал бросить дурь, не пугать сельчан – в Кукулине своих бед довольно. Село испещряли подвижные тени облаков, устремившихся в горы. Я спросил, хочет ли он доказательства, что я свихнулся. Он забросил навильник сена на столб и обернулся. "Ты мне лучше докажи, что ты не свихнулся, – вздохнул он. – И не только мне. Агне тоже". Этот Тимофей! Старый, замкнутый, а проницательности и мудрости не утерял. Не удалось мне скрыть от него смятение души. "Послушайся меня, – промолвил он. – Доказательство нужно Агне".

Я перестал присыпать лицо мукой и носить низку лука. Решился. Что было, то было, Агна, надоело мне представляться тронутым, пугать и дурачить сельчан своим безумием. Время мне и время тебе, чего ждать. Но так я только думал. К Агне приблизиться не смел. Ни я, ни Цветко, ни Мартин. Несмотря на всю нашу разность, мы были похожи и одинаковы: у всех чувство мешалось с самолюбием и страхом перед унижением – Агна могла высмеять. Я отступил. Спиридон настоял, чтоб я вернул себе сон, пил в больших количествах отвары из высушенных листьев конопельника, Лозана называла эту траву – канабина. Ангел любви ни к кому не нанимался в поводыри, не ждал монеты, протянутой на белой ладони.

Елилига
пепелига
томазана
до катана

Слова без значения, слова отчаянья. Боль. Сон от меня бежал.

4

ЧАСТЬ ГЛАВЫ ВВЕДЕНИЕ В ПРОКЛЯТИЕ ЮНОСТИ ЧЕТВЕРТАЯ ПО РЯДУ ЖЕСТОКАЯ БУРЯ ЖИЗНИ В КОЕЙ МНОГО ЧЕГО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ НА БЕСКРАЙНЕЙ АРЕНЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОДЯЩЕГО СКВОЗЬ НАС КАК И МЫ СИРЫЕ СКВОЗЬ НЕГО ПРОХОДИМ И МОЖЕТ МНОГО ЧЕГО СЛУЧАЛОСЬ ОТ СОЛНЕЧНОГО ВОСХОДА ПОСЛЕ СУШИ И НЕДОРОДА И ПОСЛЕ ГОЛОДОВ И В ГОЛОДА НО ОСТАЛОСЬ И НЕЧТО ТАКОЕ ЧЕМУ НЕТ В ЭТОЙ ЧАСТИ ИМЕНИ ЧЕГО НЕ НАРЕЧЬ ЧЕРНЫЙ СТЯГ ИЛИ СЕРДЦЕ КУКУЛИНО МЕРТВО ИЛИ ОТВОРИ ЕМУ

БЕЛЫЕ ДВЕРИ ГОСПОДИ ИБО ОН БЫЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ КУКУЛИНСКОЕ СЕРДЦЕ ВЕДЬ У НАС НЕ РОЖДАЛИСЬ И НЕ ВОССЫЛАЛИСЬ В ВЫСИ СВЯТЫЕ ДАБЫ ОТКРЫЛИСЬ ИМ НЕБЕСНЫЕ ДВЕРИ А Я ТЕПЕРЬ НЕ ОБМАНЩИК КАК ПРЕЖДЕ Я ТЕПЕРЬ БЕЗУМЕН ОТ БОЛИ...

Тимофей скончал свои дни.

5

ОГОНЬ И ЛЕД

"Воспоминания – рай, из которого нас не изгонят, ибо нас в нем удерживают цепи ада".

"Не понимаю тебя, учитель".

"Я тебе не учитель, Ефтимий. Твоего учителя закопали".

"Все равно. Я не понял тебя, Спиридон. Поясни".

"Не могу. Вот вытешу для дома новую дверь, старая подгнивает. Может, завтра".

"Завтра?"

"Завтра или нынче вечером".

"Завтра у нас не будет вина, Спиридон. Лист сохнет по виноградникам, умирает от своей чумы".

Жизнь моя не вошла в естественное течение, которое подхватило бы корабль моей юности. Нет, я не знал пути, каким погоню упряжку белых коней к радугам и золотым куполам радости, откуда протянется ко мне белая рука с бокалом амброзии любви, зацеляющей раны души и шрамы. Пусть я мог себе являться во сне величественным, в одеянии из солнечных лучей, чистым и бесплотным, не убогим и ничтожным, каким был, – жестокий жнец и отщепенец, жестокий лжец, от одиночества прикинувшийся безумным. Таковым я не был и быть не мог: я страдал душевно и впадал в тоску, неведомую безумцам, они несчастны лишь в сознании других, постигающих несчастье разумом, распаленностью рассудка, человечьего или звериного.

У Лозаны я единственное чадо, и отчим Спиридон не привез ко мне на звездной колеснице Плеяд омыть мое чело слезами и тешить тихим шепотом дождя, снимающего бесследно и печаль, и следы печали, жестокосердие, суровость таинств. Я им чужой, не довожусь братом, если у них был брат – мне довелось вычитать о нем в старинных записях Лота. Мне не обновить далекое былое, не стать частью многобожия его во дне ны-

нешнем: не оплакивают меня Плеяды, их любовь не умилостивит чудовище – не избавит меня от ужасных когтей и душевной муки, сидеть мне у подножия горы и можжевеловой брагой и медом приветствовать почившего Тимофея и проклинать судьбу, что не назначила ему стать Зевсом, нашим, здешним, на вершине чернолесья, властителем наших судеб.

Порушить идола, воздвигнутого сердцем, – значит освободиться, такие идолы могучей, чем у многобожцев. Не скрою, Тимофей был для меня живым божеством, но даже без него я не обрел свободы от блаженства идолопоклонства. Напротив: я ощущал, как оковы пустоты сжимают во мне пустоту, не давая добраться до Прометеева огня истины, чтоб осветить свой мрак и там найти ответы или толкования на загадки жизни. Вряд ли огонь истины мог мне принести освобожденье, так же как оковы пустоты не удерживали меня в неволе, в которую я полагал себя попавшим. Убеждение, что одиночество – неволя, было всего лишь игрой чувств: человек свободен, когда он один и без цепей, сковывающих его дух, – законы, чужое право, делающее его бесправным, несоответствие меж тем, что есть, и тем малым, чего нет, но что должно быть. У Тимофея идолов не было. Он пренебрежительно относился даже к богам из старых преданий и, если заводили про них речь, противопоставлял им смертных. Он помешал углубиться вражде между сельчанами и ратниками и, согласившись представлять права монастыря и Города в Кукулине, не дал пролиться крови. Когда же люди, уверовав в Антима, новоявленного Христа, не послушались его – стычка с ратниками расширила их кладбища.

И с ним, и без него жизнь в человеческих пределах оставалась прежней – грудой недоразумений, проистекающих из алчбы по славе, из славы, алчущей жизни, а то и жизней чужих, из сладострастного бесчиния над смертью, отпора, голода, кровавых трапез.

Пробиваясь сквозь время и сквозь неведенье, принося с собой собственное время и собственную путаницу случайно избранных дорог, прихрамывали в село оголодавшие вестители, за корку хлеба растолковывали, что меняется в недоступном кукулинцам мире и отчего. Необыденные то были люди. Разоблачители истории, сдирающие кожуру с нее и добирающиеся до сердцевины со сноровкой, не свойственной другим... Позмеиному ползучие границы царства византийского менялись, корона переходила от кесаря к кесарю, множились престолы, парик не успевал запомнить имя нового владетеля: у жизни были крылья – погибели и лихоимства, мчащие людей в моги-

лу. В некоем Дринополе некий Кантакузин провозгласил себя императором восемь или три года назад (вестители различно толковали), чтобы вместе с восточными иноверцами и ратниками северного царя Душана подгрызть большое, рыхлое и немощное чудовище – Византию, оставившую свой блеск в старых пергаментах. История эта не очень-то касалась Кукулина, сельчане никогда не знали, кто у них в царях и как зовется. Сверкание венцов и устремления венценосцев волновали их куда менее, чем небылицы: от кошачьего укуса помер церковник великого сана; военачальник, тысячник, повесился в конюшне, потому как молодой послушник не ответил на его любовь; в некоем городе спустился с небес, вытягивая за собою белый след, большой пузырь, внутри – живое существо: и человек и нет, руки из пупа, пуп на темени, а разума так целых два, по одному на каждое колено.

Диковинные случаи были не про нас, зато греха хватало.

Жили люди, я знал их, – в соседнем селе, он с небывалым именем Ринго Креститель, со вдавлинками по лицу, как у ягоды, она – Рила Наковская, маленькая, робкая, стыдливая, из Кукулина родом, старшая Заркова и Исидорова сестра. У них была дочка, тринадцатилетняя Невена, словно вылитая из меда и повитая золотистой паутинкой, с нежными глазами и нежным ртом, с нежными руками, похожая на персик. Про них никто бы и не вспомнил, кабы не случилась беда. На Невену, собиравшую в лесу листву для коз, набросился Цветко и осквернил ее, отнял радость жизни и невинность. Дядя ее, Зарко, был не из самых злых, но обид не прощал. Избив, он чуть не повесил молодого негодяя – в последнее мгновение петлю с шеи скинул другой дядя обесчещенной девушки, Исидор.

"Цветко Агне не жених, – разглагольствовал Спиридон, выстругивая из можжевельника треногу и кося глазами на меня. – Может, другой кто". "Мартин", – выдавил я из себя. "Агна одна осталась, – он словно меня не слышал. – Лозана говорит, пусть, мол, живет у нас". Завывал холодный ветер, в северную стену дома билась голая ветка. В доме оседал дневной мрак. Из-под кровельных плит зеленого камня выбегала мышь, а может, хорек, напуганный холодным ветром и первыми развихрившимися снежинками. Спиридон оставил треногу и подживил огонь, бросив чурку, подождал, пока она вспыхнет, выпрямился. "Мартин, а? – обернулся. – Ты не думаешь..." Я ему не позволил докончить. Я не думаю, Спиридон. Агна не для меня. И сам удивился своему упрямству. Испугался, вдруг Агна скажет завтра – он не для меня? Именно, испугался, достаточно я на-

терпелся унижений от жизни, и Спиридон это знал. "Тебя, Ефтимий, не злит Цветкова подлость, и Зарков Мартин тоже не злит. Незначительны они для той ненависти, что разгорается от твоей затаившейся любви. Боишься, тебе на твою любовь не ответят, и поэтому себя ненавидишь, ненавидишь жестоко. Того гляди зарыдаешь". Я его попросил замолчать, и он замолчал. Это был конец.

Это был не конец. Оставляя извилистые следы на снегу, подгоняемый ветром, я шел к знакомому дому, где я стал грамотеем, не признанным односельчанами. Позвал ее. Я не знал, чего хотел, попросить ли ответа на свою любовь, предложить ли охапку сушняка с гор. Я звал ее в ночи, сжигаемый внутренним огнем. Агна раз, Агна два, Агна много раз, горловым чужим голосом, пока не услышал, что должен оставить ее в покое, она зареклась три года оплакивать Тимофея. "Ты три года, – шептал я, ветер выжимал из моих глаз слезы, – ты три года, а я всю жизнь". Она не слышала меня и не отвечала, невидимая, недоступная, далекая. В селе или в горах завывал пес, а может, волк, не понять. Я стоял и коченел под белым мхом. И это в самом деле был конец.

Конец этой ночи и этой зимы, когда Цветко нашли в мелких водах Давидицы с оледеневшими глазами, перекрестились – сам себя рассудил! За ночь до того я видел в Кукулине ягодноликого Ринго Крестителя. Я его не винил. И утопленника никто не винил: мертвые свой грех забирают в землю. Грех, но не боль от греха – она остается живым.

6

ЧАРЫ

У кукулинцев были в чернолесье свои сосны. Рассекали на стволах потрескавшуюся кору и, приладив под засечку глиняные сосуды, собирали смолу. Скудной была торговля с Городом, вот и продавали смолу, ее увозили в огромных бочках на далекое море, вероятнее всего на судоверфи. Было время, искали золотые жилы в Давидице и в ямах окрест села, не нашли, теперь искали железо, но не было и его. И все же с Городом торговали, земля не могла прокормить. За небольшие деньги продавали бревна, доставляемые на двуколках, мастерили бочки, разную гончарину, собирали весенные травы для снадобий, предлагали шерсть, сушеное козье мясо и рыбу – боролись за жизнь.
 Иногда бараний жир и кожу меняли на пшеницу и овес в тех се-

лах, где земля была пощедрее и где людям удавалось сохранить побольше урожая.

В село возвратились ласточки, начали устраивать гнезда.

Дуб-горун сбрасывал прошлогоднюю шубу, показывая сочную молодую листву, а яблоня и айва цвели уже, когда в Кукулине объявился чужак, Фотий Чудотворец, выдающий себя за родича Иоанна Палеолога, кесаря, враждующего с самозваным кесарем Иоанном Кантакузином. Никому из местных, и мне тоже, не верилось, чтобы царский сын мог быть таким худым и обожженным. Его словно выпекли из глины, протянув сквозь живую фигурку жилы хитрости: шустрый, он и не старался оказывать царственную надменность, выдавая ее за достоинство. По левой стороне его лица ходили мелкие волны, отчего морщины там жили независимо от всего – от глаз, западающих глубже, чем положено, ото рта без губ и без улыбки, от ощетиненных бровей. Он мог быть мошенником и богочтителем, мог быть чародеем: голос тихий, а доходит до самого глухого уха, не повелевает, а опьяняет, забирает частичку человечьей силы. Большого рода, а сам будто весь уменьшенный – голова, плечи, ступни, только пальцы рук небывало длинные, с длинными розоватыми ногтями, – мошенник или чародей. На серебряной нитке под горлом крест, в белизну врезано имя – стало быть, богочтитель. Судя по одеянию, он мог быть придворным и даже кем повыше – плащ, царский кламис из багряной ткани с вышитым на спине орлом. Из-под плаща, выгоревшего на солнце, выглядывали пояса, бляхи и нож, украшенный аметистами, каменьями, оберегающими от пьянства, от сглаза и от недугов. Он приехал на резвом коньке – грива в косицах, из влажных ноздрей испаряется жеребячья молодость. Приехал не один. Следом за Фотием Чудотворцем на коне, еще более резвом, ехал, подремывая, косоглазый костистый иноверец, его возможный приверженец, слуга или охранник, в коротком без рукавов кожухе на голом теле, в кожаных штанах до колен и в кожаных гетрах густой шерстью наружу. Все было так скроено и пригнано, что выглядело его телом и костями. Воин или разбойник, он мог оказаться мстителем. От широкого носа свисали дугой к бороде реденькие усы, губы полные и потрескавшиеся, шея в заметных жилах. Уже потом, став помудрее, я понял, что был он монгольского племени, которое посекло когда-то славянских князей на далекой реке Калке, провозгласив часть Руси своим владением. Золотая Орда, именно Золотой они нареклись, не Кровавой, Погибельной, Грозной или Черной, Зубатой, Дикой или Немилосердной, Мно-

гобожной, Страшной. Именно Золотой. Уверовав в бесконечное сияние побед, поклонялись своему золотому богу с ликом солнца и зубами змея, нанизывали по захваченным ими пашням с золотой пшеницей на острие меча кровавые заклятья. На прямой спине его висел колчан со стрелами, лук-татарник и шестиструнная лютня – ал оут. Звали его – Кублайбей. За двумя, привязанный длинным недоуздком к седлу монгола, покорно тащился третий конь, груженый-перегруженый.

Между зазеленевшей монастырской нивой и болотом с цаплями и русалками пришельцы воздвигли шатер из блестящего шелка, подобие бродяжьего или разбойничьего дома, пустили коней пастись в наступающих сумерках без комаров и без ясных звезд, а сами уселись возле костра и принялись жарить мясо – овцу они привезли с собой. Со струн ал оута, украшенного перламутром, стекали звуки, усыпляющие землю и воду. Сладострастным криком, тоскующе и приглушенно, отозвались на них русалки. Молодые кукулинцы, не поддаваясь сну, собирались кучками. Держали наблюдение, похожие на призраков, вынырнувших из безмолвия. Призраки. А не живые тени, ибо тени двигались – расходились от костра, подбегали к нам и возвращались покорные пришельцам, их рабы или их волшба, на пяди их земли в земле чужой, рабы внуков и сыновей призраков под мертво взблескивающими коронами царей Теодора Ласкариса, Ватаца, Андроника или завоевателей иноверных – Эмира, Османа, Орхана, после великих кровопролитий за землю и власть, за могилу и славу ставших законодателями и судьями, смертными богами, равнодушными к судьбам подданных и мудрыми лишь в алчбе. Эти тени тоже были воинами, защищающими Фотия Чудотворца и Кублайбея, бездушные безобличия, не нападающие, но предупреждающие о своей безмилостности ничтожных – да не поднимет кукулинец руку на господ. Я не ведал смысла магии той ночи, просто был ее добычей и рабом. Все разошлись, я подпирал спиною дерево до самого рассвета, покуда не потух костер и пришельцы не укрылись в шатре из шелка. Зарю я встретил в одиночестве. А через день...

...Непонятные пришельцы и неразгаданные их намерения сплотили нас: Исидора, Илию, Мино, Мартина и меня. К пришельцам мы не приближались, караулили издалека. Они нас не замечали или делали вид. Рвали зубами горячее мясо, оба полулежа и опираясь на локоть, устремив глаза на полыханье огня. Пили из бурдюка, похожего на сплющенный кувшин с удлиненным деревянным горлышком. Днем отсыпались, словно люди, одолевшие долгий путь, не ища близости с теми, чьими пределами

двигались или собирались двигаться. Женщины крестились и не отпускали от себя детишек, старики после смерти Антима и Парамона стали не любопытны, а может, остерегались возможной беды. И Спиридон постарел, давно обессилел, не копал соль в своем уголке небес. Предупреждал меня, чтобы я берегся – всякий пришелец питает тайную вражду к местным, к тем, кто имеет больше их. Я напомнил ему, что и он пришелец в Кукулине. "У меня тут все, земля и дом, жена и сын, если тебе угодно быть моим сыном", – он смерил меня усталыми глазами. Великий Летун сделался медлительным в поступи, крылья сказаний больше не поднимали его в выси встречать и провожать журавлей. Сгорбился. Но и выпрямленный не доходил мне до плеча. "Лозана уговорила Агну", – Спиридон ладонью прикрыл глаза от восточного солнца. Я не стал дожидаться, когда он начнет меня укорять одиночеством. Пусть сетует про себя.

Я возвращался с косьбы не один: Исидор, Илия, Мино, Мартин были со мной, после трех-четырех вечеров мы приблизились к костру Фотия Чудотворца и Кублайбея. Они нас не замечали, или нам только казалось так. Передавали друг другу бурдюк с вином и заостренными прутиками доставали из жара мясо. Жевали неспешно и молча. Я не знал тогда, потом сам Фотий Чудотворец мне открылся, что владеет магией старых финикийцев, что из писаний некоего Платона постиг он тайну души, ибо происходит от семени аргивян, а они знали, что луна – девица, нимфа, старуха; потом и я мог разглядеть в дыму костра все три воплощения в прозрачной определенности цвета: первую – белой, вторую – пурпурной, третью – черной. Спустя какое-то время он ненавязчиво растолковывал нам, что душа его к истинному другу привязывается по-собачьи, зато может быть по-циклопьи грозной к врагу. Лукавый и осторожный, он не говорил про золото, хотя поначалу в сказаниях его поминалось золотое руно. Тогда, в первую встречу, Фотий Чудотворец скинул с себя кламис и сделал рукою знак, приглашающий нас к костру. Мы приблизились. Из-за игры пламени, ко всему цепляющей румяные завитки и трепетные тени, мне казалось, что Кублайбей на то и рожден, чтоб унижать презрением нерешительных вроде нас, что это заклинаниями Фотия Чудотворца вызваны и сладострастно сплетаются посреди костра раскаленные змеи. Мягкая ночь, жестокая магия. Косые глаза Кублайбея покрылись лунной смолой. Он встал. Шагнул ко мне, протягивая бурдюк с вином, колдовским напитком, стирающим разницу между людьми, между верами и языками.

Теплота ночи улеглась мне словно женщина на колени. Лас-

ковыми незримыми руками ощупывала лицо и лоб, выискивая тайны. Тайн я не имел. Я был слабеньким зерном в непробойной коре тайн. Так же, как и бывшие со мной кукулинцы. Мы сидели с пришельцами вокруг костра и пили. Покоряясь мирно выраженному желанию Фотия Чудотворца, открывали ему кое-что из своей жизни, даже то, о чем он не спрашивал, кто мы, но не какие мы, и что мы, но не чем будем. Мы пили, и я знал, может, мне шепнул об этом пришелец с царственно гордым челом, что вино приготовлено из колдовского плода и пряностей, неведомых в селах под чернолесьем. Вино разливало по нашим лицам благость. По всем? Не знаю. Мы пили из двух бурдюков, Фотий Чудотворец и Кублайбей из одного, мы пятеро – из другого. Может, все мы ощущали себя частью магии, может, только я. Внезапно я оказался на белом облаке. Надо мною пролетали звезды, внизу монгол из лука пускал стрелы в луну и подставлял ладони под ее серебристую кровь, подносил к полным губам и пил, серебря горло для песен, чтобы, сев на облаке со скрещенными ногами и сжимая ал оут под сердцем, выпустить с натянутых струн журчащую воду. Я слушаю, игре отзываются соловьи, выплакивают свою тоску далекие земли, вздымаются к небесам певучие молитвы и искры. Облако меня опускает, теперь я у костра, со мною магия моих детских лет: крохотный монах, восседающий на святом камне, Спиридон, летящий впереди журавлиной стаи, лик мудреца Тимофея, обрамленный золотом и огнем.

От вина и песни я почувствовал себя сильным. Голоса удалялись. Удалялся и я, от костра, от теней, от легкого полуночного ветерка.

Магия – это я, именно так, знаю. Агна будет моей. Меня спрашивали. Я отвечал вскинутой рукой, доходящей до звезд, в ту ночь только моих. Пой, Кублайбей, песню о моей кровавой душе: вон он я, в высях, зову к себе Агну. Звезды, тките ей венчальное платье.

Я проснулся – лежал, скрюченный, на краю болота. Надо мной стоял Спиридон. Я с трудом разлеплял глаза, не понимая криков цапель и журавлей. В затихшей камышовой чащобе, откуда доходил до меня дух тины и гниющих трав, дрожал воздух. Головастики ожидают там отрастания ног, я же, их исполинский брат в лягушачьей коже, не имею сил ни поплыть, ни зашагать. Вялость. Весь, до самых пяток, наполнен оловом, разъедающим утробу кисловатыми испарениями. Ночь засеяла мои глаза песком и солью. Язык вспух, в горле скопилась горечь. ”Слышал я от покойного Тимофея, – Спиридон присел

возле меня, – такое тяжкое похмелье бывает от мандрагоры, ею колдуны подчиняют себе пропойц". Я оторвал от земли спину, притиснул ладонью лоб. Не было сил ни противиться, ни соглашаться. Из желудка к горлу поднимались пузыри, оседали и поднимались снова, всякий раз оставляя на языке каплю горькой пены. Я повернулся на бок, прижимаясь плечом к еще несогревшейся земле. И почему я не возле костра и почему один, когда и как покинули меня Исидор, Илия, Мино и Мартин? Меня знобило. Опустошенность во мне и вокруг меня была как сон, для которого явь – двойник, проклюнувшийся из сна сон. Я подтащился к краю болотины. Окунул голову в воду. От капель, скатывающихся с волос, по мутной поверхности ширились и расплывались один от другого круги, откуда уставилось на меня лицо утопленника, многоокое, рот в судороге плача и смеха, нос подгнил. Мое отражение.

Мешаются сны и дни, лица и события. Утопленник говорит Спиридоновым голосом. "Перекрестись за упокой отошедшей души, Ефтимий, и сходи в монастырь, приведи кого-нибудь из монахов, лучше Трофима, он к нам поближе. Арсо Навьяка нет, теперь я за могильщика. Нынче ночью преставился Тимофей".

Я чуть не взвыл. Тимофея давно похоронили. Спиридон пытался поднять меня на ноги, я стоял на коленях и пялился в воду. "Что с тобой, Ефтимий, зачем ты поминаешь Тимофея, которого нет среди нас?" Я шатался. "Со мной ничего. Тимофея помянул ты, Спиридон". Он повернул меня к себе, солнце ударило мне в глаза. "Агну, Агну я помянул, – произнес мягко. – Она у нас, с нами". Из болотных вод выглянула выдра. Оставляя после себя круги, исчезла. "Агне будет спокойнее в нашем доме". Я приблизил глаза к его лицу. И его лицо, когда-то из-за волосатости напоминавшее выдру, тоже словно выныривало из дрожащих, расходившихся по воде кругов. Губы мои, я это чувствовал, шевелились безгласно и бесцельно, я не знал, о чем спросить. Спиридон знал, он умел слышать людскую муку глазами. Подтвердил то, о чем мне полагалось спросить. Агна станет жить в горнице, которую мы с ним пристроили – из нее еще испарялись сны моей юности, в которых Агна дышала моим ночным дыханием.

"Но ты помянул старого Тимофея".

"Нет, Ефтимий. Какой прок его поминать? Он покойник. Можно перекреститься и зажечь на его могиле свечу. – Взял меня под руку. – Пойдем, я покажу тебе. На вязе, что мы посадили у его могилы, завелось гнездо".

Бедный пьяный Ефтимий. Обезумев, тащит вселенную на

плечах, он – не я, лишен имени, ему тяжко из-за самообвинений в безумии, он добивается – а добился ли я? – не потеряв, отыскать в сумасходстве разум, он, я, страждущий Ефтимий. Сумасшедший не бывает один. Их всегда двое. "Смейся, смейся, Ефтимий, гляди, как бы не зарыдать..." – "Во мне и смеха нет, Спиридон, отравленный я, пустой..." – "Ничего, сынок. Из твоей, из моей крови выцедится лекарство от людской муки..." – "Есть ли в той крови ответ на то, что мучит меня?" – "Колдовское вино Фотия Чудотворца и Кублайбея отравило твою, мою кровь. В ней нет ответа... Укрепись, сынок. Мне тоже тяжко, о как мне тяжко, о как, о, и – о, и – о, вдвоем мы припомним: небесные сестры Ефтимия такие нежные, но у них нету брата, настоящего брата, чтобы украдкой омывать ему чело и разгонять черные тени. Грех не иметь сестры, жены, сына... Я один, ты один, Ефтимий. Это лишь введение в безумие человечества, безумие – оно грядет... И это только введение в будущие введения, потому не дай упасть твоей звезде, ты должен, я должен вернуться через столетия, зазвучать голосом сегодняшнего дня. Одна любовь, одна боль, две боли, обе мои. Тысяча болей. Слишком мало для любви отрока, распевающего:

Елилига
пепелига
томазана
до катана

Безумец, безумец, безумец!

"Давай посмеемся, Спиридон. Я стану отшельником на Синей Скале. Возьму себе новое имя. Может, Тимофей, а?"

"Ты не станешь отшельником. Я тебя оженю".

Под стрехами сельских домов ласточки довершили строительство своих гнезд.

7

ВЕЩАНИЕ О РЫБЬЕЙ УТРОБЕ

Живу в сарае, отказываюсь садиться за стол, упрямствую и бешусь на свое упрямство: Агна у нас, с моим отчимом Спиридоном и с Лозаной. Питаюсь по-собачьи, без ряда. И скалюсь по-собачьи, того гляди укушу. Дичаю, пытаюсь задавить муки крови. Ослабевший, распятый между тоской по Агне и рассказами односельчан о пришельцах, о Фотии Чудотворце...

...В продолжение столетий, от пречестного Константина до царя вчерашнего или нынешнего, Византия имела свои взле-

ты и свои стремительные падения, одаривая коронами избранных и отнимая их жизни. До последнего Иоанна Палеолога, он жив, но его подгрыз Кантакузин, в жажде славы заключивший союз с султанами и христианскими князьями: первые выступают под благословение своего пророка, вторыми предводительствует благочестивейший Стефан Душан. И те и другие отхватывают значительные куски от когда-то славного царства, сотрясаемого в прошлом крестоносцами, латинянами, восстаниями и мятежами. Бокал с вином славы разъедает ржа: судьба нацеживает кесарям в тот бокал отравные капли на трапезе, где нынешние сановники и вельможи собирают крошки с пира своих предшественников. Огромное немощное и разбухшее туловище священного зверя с умом и сердцем в Константинополе сотрясают невидимые глазу лихорадки: кость за костью муравьиные сонмища оголяют его упорно и неостановимо за время своих кратких или долгих веков. Фотий Чудотворец доводится родней последнему византийскому василевсу, не сыном, как полагали иные, а лишь родней, кровной, по второй или третьей линии, но и этого было довольно, чтобы враги короны возненавидели его и попытались вырыть ему могилу. Оттого-то и пришлось спасаться бегством. Гнали его и по суху и по воде. Он держал путь на Святую Гору, Афон, где в монастырях надеялся снискать утешение и божескую любовь. Настигли и напали на его галеру. Со всех сторон обложили жестоким греческим огнем. И после безнадежного отпора пленили вместе с верным Кублайбеем, чью жизнь он вымолил когда-то у кесаря. Обоих запихали в мешок из бычьей кожи и швырнули в море, в пасть исполинской рыбы, в мрак и ядовитость ее утробы. Но страшная буря помчала рыбу и выкинула ее на песчаную отмель гнить на солнце. Мешок распался от кислот в рыбьем желудке. Пленники выбрались из утробы морского чудища и через несколько недель оказались в Кукулине.

"А кони, на которых приехали, они что, тоже были в рыбьей утробе?" – сомнительно спрашивал Спиридон.

"У Фотия Чудотворца было золото, – придумал я. – Коней он купил то ли у иудейского купца, то ли у ромейского вора".

О своих приключениях, о том, как они попали в рыбью утробу и как выбрались, Кублайбей по-иному рассказывал Мартину, наедине, у ночного костра...

...Самозваный царь Кантакузин – человек с козьими ножками в глубоких башмаках, выплетенных из серебряных и золотых нитей, – с тыщей ратников захватил их, Фотия Чудотворца и его сподвижника Кублайбея, как беглых зилотов, пытав-

шихся установить справедливость без ограбленных и грабителей, поделить землю, дав селянам, богатеям и монастырям столько, сколько сами они смогут вспахать и засеять. Не по нраву им было покорство обреченных на черствый кусок, вот и поднимали они голодных и угнетенных на отпор, на бунт против сытых и наглых вельмож, бесчинствующих по городам и селам. С презрением отвергнув смирение, двинулись они на большие мечи силами один к десяти и не отступали даже перед верной погибелью. Кровью покупали право на жизнь. После боя, в котором много зилотов погибло, Фотий Чудотворец и Кублайбей раненые угодили в оковы. Власти потребовали от них в обмен на свободу присягнуть на верность, они с бранью и проклятьями отвечали, что и мертвыми, из могилы, будут бороться за права угнетенных. Не зря же, ратуя за справедливость, они отказались покориться последнему Палеологу и, спасаясь от его наемников, очутились на морском берегу, где нужда и гнев сдружили славян, Зевсовых потомков, и иудеев. Фотий Чудотворец был у них тысячником до того самого дня, как оказался в плену вместе с могучим Кублайбеем. После жестоких мучений пленников поместили в морскую воду по самый рот: окованные, стояли они в воде, пропитываясь солью, удел их был либо покориться, либо сойти с ума от раскаленного солнца. Второе было вероятнее. Не много минуло времени, всего семь дней, а они и впрямь обезумели. И просить разучились, и покоряться. Губы растрескались до крови, подобно перезревшим плодам, соленая вода разъедала желудки. Вокруг на плотах и в лодках находились стражники, распивали вино, плескались в пресной воде. Привязанные к кольям, укрепленным цепями к плоту, Фотий Чудотворец и Кублайбей (родом он из-под неведомого нам города по имени Мараканда, далекий правнук Александра Македонского и красавицы из лесов с диковинными деревьями, соснами — арча чиримаз) изнемогали от жажды, пили морскую воду и слепли от палящего солнца. Внезапной бывает смерть, но внезапным бывает и возвращение к жизни. Посреди ночи, седьмой, восьмой или девятой ночи адовых мук, нагрянула буря с утробным и страшным звериным воем, потащила плоты в морские глубины, вместе со стражниками и пленниками. В невиданном этом кошмаре самым добрым пожеланием могло быть пожелание тихой человеческой смерти. Разверзлась пучина, из нее появилась исполинская рыба и проглотила людей в оковах. Так зилоты оказались в утробе чудища по имени Балок.

"А кони, на которых приехали, они что, тоже были в рыбьей утробе?" — выцедил я Спиридонов вопрос.

Мартин не догадался ответить, как ответил отчиму я. Ощетинился. "При чем тут кони? Величие Кублайбеевых деяний не под конскими хвостами надо искать, а постигать умом. Все было именно так, Кублайбей поклялся мне в том своими родителями, которых звали Камарок и Угрум, их могилы в далеком краю Урта Шарк, что означает Средний Восток, там Александр Македонский, женившись на местной красавице, провозгласил себя Искандаром Пейгамбером, вслед за ним поженились и тыщи его воинов, некоторые увезли жен с собой, другие оставили их с синеокими сыновьями".

Вырастая, мы с Мартином отдалялись друг от друга: подошло время жениться, Агна созрела, на нее поглядывал исподтишка зубастый Дойчин, младший брат дяди Илии, ему-то уж давно подошло время – пять, шесть, семь лет назад. Раньше я его как-то не замечал, теперь передо мной словно ожил Вецко, погребенный без слез: бледный и синегубый, глаза прикрыты тяжелыми веками. Идет, будто учится ходить, в слове медлителен и когда спрашивает, и когда отвечает, будто с каждым словом что-то из себя вырывает, опасаясь остаться с голыми деснами и без языка. Его считали слушателем, а не собеседником. Все, даже тот, кто моложе, мог над ним посмеяться. Он не обижался. Самым злобным насмешникам улыбался зубасто, похожий на человека, которого оттрясла лютая лихорадка, пометив его клеймом бледности, в обмен на капельку теплоты напуская ему лед в кости и жилы, чтобы когда-нибудь, не обязательно в глубокой старости, дланью своей наглухо прикрыть ему очи.

И вот с этим самым Дойчином сдружились пришельцы. Ради него, точнее, вроде бы ради него возвращаясь в прошлое, Фотий Чудотворец поведал нам тайну избавления из рыбьей утробы.

"Сами знаете, зовут меня Фотий, – начал он однажды у ночного костра. – По женской линии я восхожу к кесарям константинопольским, по мужской потомок Педро Арагонского, в союзе с Михаилом Палеологом защищавшего Византию от Карла Анжуйского. Для потомков заслуги предков иногда как бремя. Придворные, враждовавшие с кесарем из-за корысти, обратили свою ненависть на его близких, выходит, и на меня. Благодаря моему верному Кублайбею, в жилах которого течет благородная кровь великого Аргункана, дважды я спасался от смерти. Но от судьбы не спастись. Как-то на охоте нас окружили с десяток наемников и после недолгого отпора раненых нас повязали. Чтобы замести следы коварства, что-

бы поверилось, будто мы потерялись в бездорожье или перекинулись на сторону бунтующих бедняков, которым мы помогали тайком золотом и оружием, нас ночью увезли на лодке и вышвырнули в море, где, того никто не увидел, поджидала нас огромная рыбья пасть, извергнувшая нас в какое-то рыбацкое селение. Набожные рыбаки приняли нас, окрестив меня Чудотворцем, ибо я вылечивал их от лихорадки, от беспамятства, от заушницы. Во вторую годовщину выхода из рыбьей утробы мы пустились в путь и вот оказались тут, в Кукулине, а завтра покинем и вас, как покидали многие такие села и многих таких людей. Дивное дело, но ведомо мне, что исполинская рыба была святым заступником нашим, и теперь я вижу его то облаком над собой, то лесным волком. А бывает, является он мне родником, бьющим из голого камня".

Кукулинцы перестали рыбачить: кто знает, может, в какой рыбе обретается преображенный святой заступник их, седобородый посланец небес, затаившись в тине, караулит грешных, а набожных защищает от зла и мрака крови.

Рассказы о том, как Фотий Чудотворец и Кублайбей очутились в рыбьей утробе и как выбрались из нее, отличались один от другого. И все же были очень похожи. Даже когда выяснилось, что чудо-рыбина проживает не в море, а под песками пустыни. Толкуемые всякий раз по-новому, сказания приносили новые заблуждения. Фотий Чудотворец признавался, что каждую ночь видит во сне святого, преображенного в рыбу. И я волей-неволей пытался представить себе небесного посланника в чешуе – исполинская рыба со святительской бородой. До меня, сидящего у костра, доходила всхлипывающая боль моего дяди Дойчина, он то будто приближал темные губы к самому моему уху, то оказывался далеко во времени и просторе. Он плакивал и взаправду. Отмахиваясь от нас ладонями, словно бы защищаясь, отказывался от выпивки. А мы пили – Исидор, Мино, Илия, Мартин, я и двое пришельцев.

Звездные летние ночи быстро сдавались солнечному восходу. Днем жали, но можно было и подремать в тени межевого столба или под камышовым навесом, укрепленным на четырех жердях. И та ночь, когда исповедовался Фотий Чудотворец, расплылась. Привыкшие к винному грузу, мы медлительно разошлись – почти всем надо было на ниву. С Фотием Чудотворцем и с Кублайбеем остался Дойчин. Спал, свернувшись клубочком, у погасшего костра возле костей, оставшихся от дикого поросенка, его привез на коне Исидор, гордый своей добычей, не посрамившей позаимствованного у Кублайбея татарника.

По утрам мне казалось, что и я вылез из рыбьей утробы. С трудом привыкал к солнечному половодью и к духоте, изо дня в день становившейся все более тяжкой и немилосердной.

Ночи были другими. Агна, сидя на белом ковре, встречала меня улыбкой и ждала в безмолвии звона золота – оно зернами сыпалось с моих ладоней, образуя сияющий холм, она его разделяла на кучки, взглядом приглашая меня присоединиться к ней. Я усаживался напротив и вступал в игру, чувствуя, что кончики моих пальцев горят – золото раскалялось от прикосновения ее ладоней, и я раскалялся тоже и... "Вставай, Ефтимий, пора!" Голос. Или в голове смутный шум крови. Я вскакивал – с тех пор, как Агна переселилась в дом Лозаны и Спиридона, уже не мой, я ночевал в сарае – и вглядывался в темноту, недобрую, тяжкую для тех, кто просыпался внезапно в глухую пору. "Вставай, Ефтимий, пора!" Я не знал, кто меня зовет. Заснуть после этого не удавалось.

Я окончательно просыпался. Оставляя мрак за спиной, пошатываясь, выходил из сарая. В звездную ночь. На востоке, у болота, горел костер. Вокруг трепещущего пламенного столба сплетались тени. Притянутый чарами, бездомный и похожий на призрака, я шагал. Костер манил меня, как манили выходцы из рыбьей утробы.

Из ночи в ночь.

Так я и встретил первый день осени, в бреду, от которого усыхал с неясным ощущением, будто некая сила нудит меня подчиняться чарам.

"Вставай, Ефтимий, пора!" Словно кто-то будил мертвеца – выплачивать долги, сделанные при жизни. Живой труп в двадцать с небольшим лет, каковым был я, не может благодарить бога мертвых за то, что пока на ногах, за то, что знает – бог хлопочет не о спокойствии, мир в Кукулине лишь подступ к сражениям, которые умножат его подземные легионы. И я спрашивал себя, знаю ли я больше живых или больше мертвых, с мертвым словом на мертвом языке, с мертвой молитвой: *и встани Тимофей якоже Лазарь: и остави дух свой дияку своему: и беседи гласом дияка лобзанием уст твоих Агна: лобзанием уст: и лобзанием...*

8

ЛОБЗАНИЕМ УСТ ТВОИХ

Перед первыми дождями Фотий Чудотворец и Кублайбей, называемый ныне Дойчином и прочими на домашний лад – Ку-

бе, перебрались в заброшенный дом, где когда-то жил Парамон, а после него старый Салтир. Сделались кукулинскими жителями. Берлогу, в которой скопились запахи прошлого, неопределимые под плесенью мутных воспоминаний, почти до отказа забивала ненужная рухлядь – обезличенные мраморные головы греческих богов и царей, разъеденные ржавчиной шлемы, куски железа из кузни, покинутой более тридцати лет назад, сношенная обувь, старые сосуды из металла и глины, корзины и молитвенники, изгрызенные мышами и влагой, подсвечники, кремни и огнива, неведомо чьи и откуда добытые секиры, ткани без цвета и назначения, потрескавшиеся ремни, воловьи рога, облезшие шкуры, жернов от ручной мельницы, колчан без стрел, копья с затупившимися остриями, пучки сухих трав, тюфяки, одеяла из козьей шерсти, кувшины, кирки, косы, лампады в виде галер, оловянные баночки из-под святого масла, иконы, веретена, осколки мутного стекла, куски шлака, песьи черепа, заячьи шкуры, низка кабаньих клыков, многочисленные маски из полотна и кожи, – настоящее царство мышей и моли, пауков, тараканов и червей. Салтиров призрак словно не желал покидать это место, мертвый и мертвецкий дом был наполнен шумами, выползавшими из трещин в стенах. В полом камне фундамента жили скорпионы и ужи. Днем ящерицы ловили вокруг дома букашек, гонялись друг за другом или же недвижно грелись на солнце. Чуть они удалялись, из-под кровли выглядывали суслики и, прежде чем обрушивалась на них тень совы или быстрый хорек, прятались по своим укрытиям. Может, затаясь выжидали, когда Салтир притащит свои дряхлые кости и испустит последний вздох забитым землею ртом, выискивая и находя в провалах времени беды своих истекших лет – когда он не знал еще, что смерть, как и любовь, всего лишь часть этой нелепой жизни: и вот, пытаясь вызвать к себе почтение, раз уж это ему не удалось в живых, является он здешним людям призраком или сном, предвестником опасностей, подстерегающих в засеках ежедневия. Может, старик тосковал по смерти, но не желал угасать, ведь и водяные цветы в болоте принимают в себя звездный свет, знаменующий, что и во мраке сохраняется жизнь. Наверное так: звезды залечивали старику язвы, в моих снах он был омыт серебряными лучами, в потухших глазах возвращенная жизнь. Иногда сон обманно преображался, и вместо старика Салтира я распознавал святителя Тимофея, бога, продолжающего обогащать меня печалью и тоской. Нет, сны не становились кошмаром, у них был свой порядок и свой закон, подключавший их к жизни, подобно тому

как я, несмотря на молодость, подключался к смерти, каплями своей крови или вздохом желания пребывал и среди живых, и среди мертвых. Такие, как я, сотканные из противоречий, не определяют судьбу мира мечтательными догадками, не доращивают красоту жизни, раз существует она вне сознания; они – в этой судьбе. В моих снах одинаковую цену имеет Тимофей и живой, и мертвый. И Салтир, и Вецко, и Арсо Навьяк. Цена эта – любовь сновидца. И Исак, и Горан Преслапец, и Катина.

Фотий Чудотворец и Кублайбей, и с ними мой зубастый дядя Дойчин, опорожнили Салтирово логово от ненужных вещей, подлатали стену глиной и измельченной соломой, перестелили кровлю тонкими каменными плитами. Из соседнего села добыли пшеничного семени и засеяли позади дома небольшую, вспаханную уже ниву. Заимели козу, яблоки, орехи, грецкие и лесные. Не грабили. Платили за все, кроме бревен и дичи. Не торговались, но и не давали больше стоимости товара – жбана, горшка, одеяла, масла или яиц. Только начинала плакать лютня Кублайбея, ныне именуемого для простоты Кубе, вино лилось рекой: не каждому селу выпадает удача принимать гостя царских кровей да еще с сопутником из столь далеких краев. Недоверие женщин к пришельцам исчезло. Фотий Чудотворец и вправду умел изгонять хворь из костей, а Кублайбей своей музыкой придавал праздникам благочестие, от музыки крупнее делались и плоды и звезды. Сперва пришельцы хотели вселиться в дом, покинутый Агной. Спиридон не позволил, хоть и не отрицал их права на жительство; он был убежден, что пришельцы не христианской веры и в село явились с тайными помыслами.

Между тем происходило необъяснимое: Тимофеев дом кто-то обшаривал ночью. Дверь сломана, все раскидано, земляной пол в горницах зиял ямами. "Золото, не иначе у Тимофея имелось зарытое золото", – строили догадки сельчане. "Вши, разве что вши имелись у Тимофея, – возражали сами себе. – Так и помер, бедняга, при постном столе". Дойчин, однако, будто слышал от родителя своего Богдана, что Тимофей после гибели разбойников из Бижанцев, молодой тогда, вынес их казну, награбленную у купцов, вельмож да монастырей. Если искавший не знал, что Тимофей оставил записи, свои и Борчилы, на пергаментах и беленых кожах, а их наверняка можно дорого продать в Городе и даже в самом Константинополе, то, увлеченный россказнями, мог верить и в золото. Богатство. Спиридон вспомнил, именно это слово вымолвил Тимофей. "Да, я

храню богатство в этом доме". "Выходит, это ты", – подозрительно заметил я. Спиридон усмехнулся. "Обшариваю его дом и копаю, ты ведь про это, да? Ошибаешься, Ефтимий. Слишком стар я, чтобы мечтать о богатстве".

У Спиридона с Лозаной появилось любимое чадо, не по крови, зато по душе – Агна. Меня они предоставили самому себе, лишь изредка пытались одолеть мое упрямство и выманить к столу. Осенние ночи были длинными, раздробленными на мгновения и обрывки снов. Лежу в сарае, всматриваясь в темноту, а по ней скользят знакомые лица, сменяются одно за другим. Вместе не живут. Все лица имеют свою долю в моем сознании, и тем не менее все отступают перед укрупненностью Фотия Чудотворца и Кублайбея. Неслышные и вознесенные – то, что совершается вокруг, им и до плеча не доходит. Отыскиваю во мраке их глаза и не пойму, пылает ли в них дружеское сочувствие, или это презрение ко мне, сжавшемуся под тяжелым одеялом. Смотрят без улыбки, в безмолвии. Ничего от них не утаить: ни мысли, ни перехода с сонливого бодрствования на разорванные сны, в которых, совсем близко, а все же за гранью разорванности, пребывает Агна. Пытаюсь стать равным с ними, вскрыть их, как плод, и узреть тайны – кто они, и что они, и с какого света. Но они не даются мне.

Казалось, из бесчисленных ярких камушков я строил здания, обличьем похожие на людей, находил их в прошлом, где жил другой Ефтимий, на другой земле и среди других людей...

...Фотий Чудотворец походил на себя теперешнего, хотя разум видел его в глуби столетий среди ангелов и демонов, сюда, в Кукулино, он явился целителем детей и старцев. Похититель чужого богатства, черноризец, охотник за старинными записями, беглый отпрыск царской лозы? Вполне возможно. Растения ему покорялись, становясь чудодейственными, и сам он делался избавителем – исцелял от болей в желудке, в горле, в легких, освобождал от тяжелого кашля, от слепоты, от омертвелых наростов, кормилицам возвращал пропавшее молоко, очищал гнойные раны. Вот и теперь он управлялся с падучей, изгонял лихорадку, избавлял от ломоты, тайком пользовал даже монаха из монастыря Святого Никиты, и окрестные сельчане к нему приходили, чтобы коснулся их ладонью или дал снадобье. Фотий Чудотворец – властелин над травами, в воле его конопельник, мирта и подорожник, одуванчик, кислица и жимолость, крапива, переступень, пятилистник. В мягких пределах сна он всегда является мне под капюшоном из травы
 и листьев, в броне безмолвия. Я, ничтожный, корчусь, протя-

гиваю к нему руки – ты мой спаситель, Фотий, подай мне утешение, восхочешь, буду жив и твой. Безмолвие, одиночество, густая тьма.

И после него...

...Кублайбей. В быстром промельке полусна, выпрямляется, косоокий, протягивает ладонь, щедро напитывающую всяких птах – зябликов, ласточек, стрижей, щуров, куликов, скворцов, дроздов, дятлов, удодов, жаворонков. Птицы не боятся его, оставляют ему песню, ту самую, какую он вплетет в струны лютни, чтобы звуками ее опьянять и работящих и бездельников. Ладонь у него пустая. Полные губы облепило пухом. Ковыряя в зубах острием стрелы, идет ко мне. Я крупица его бескрайней вражды к неверным. Говорит – погибельна эта ночь, она станет тебе последней, тебя уже нет. Я бегу с криком, застрявшим в горле. И просыпаюсь весь в поту, словно вынырнув из мутной воды, из тины.

Наутро Фотий Чудотворец и Кублайбей казались мне людьми и таинственными, и обычными, как все под чернолесьем: таинственными, потому как и днем паутина сна опутывала мое сознание, обычными, совсем обычными – излечивая страждущих от ломоты или от плешивости, они брали взамен муку, масло, вино, сушеные фрукты, случалось и полотно.

Дни, словно убегая от стаи разъяренных псов, мчались вместе со мною, а я в темноте сарая все разгадывал странных пришельцев, по-другому, пробуя их слить воедино: Фотий Чудотворец делался косооким и с луком в руках, Кубе я накидывал плащ с вышитым на спине орлом. Слиянность не оставалась безымянной, она называлась Фотибей или Кубе Чудотворец.

В село они явились с тремя конями, теперь у них остались два: поста они не держали и не могли обойтись без мяса.

Последние дни осени были сухими, земля окаменела. Пытаясь ее вспахать, сельчане поломали сохи и заморили скот. Те, у кого не оказалось семян, оставили нивы без борозд.

С первым тоненьким ночным ледком кто-то принес весть – монахи требуют, чтобы мы прогнали нехристей. Ежели и дальше они останутся в присвоенном доме, обманывая легковерных бесполезными снадобьями, то монахи – Трофим, Досифей, Мелентий, Герман, Архип и Филимон – почтут нас отпадшими от веры и проклянут. И чтоб на похороны и венчания их не звали. "Застращали меня слуги небесные, – с лживым отчаянием разводил Спиридон руками. – Придется мне, Лозана, упокоиться не под молитву разбойника в рясе, а под лютню разбойника же, но совсем иного разбора". "Не упокоишься ты, мне сперва

доведется, – серчала Лозана. – Что ни день в огонь бросаю по треноге и все о них спотыкаюсь. Будет тебе их вытесывать".

Село подхватило Спиридонову шутку. Дойчин объявил, что ему теперь не жениться. Спрашивали почему. "Монахи хлопнули передо мной дверью", – вроде бы с обидой пояснял он. "Рясу, ты вот что мне купи, братец, – крестился Илия. – А уж я тебя оженю". Мино и Зарко подбодряли старичков, дескать, поживете еще, хоть маленько, хоть сколько вздумается: по божьему повелению умирание откладывается.

Зима. Кое-где осенние отрепья – сухие листья на дубовых ветках. Сельские шутки дошли до монастыря. Понапрасну Лозана с Тамарой пробивали путь по январскому снегу, упрашивали монахов, чтоб пришел кто-нибудь проводить молитвой упокоенную старушку Стану, тетку забытого Манойлы с серьгой в ухе. На погосте копал Спиридон. Долго. В полдень, после вьюги, за кирку взялся Кубе. Быструю молитву над покойницей прочитал Фотий Чудотворец, в дьячках у него был Дойчин: завершил вроде бы от Соломона, а на самом деле обращаясь к смерти с собственными словами – *Лобзанием уст твоих, пришел час сподобления моего...*

"Только-только я прибрал дом покойного Тимофея, – затверделыми от стужи губами жаловался Спиридон Настиным сыновьям. – И что же? Нынче ночью опять кто-то там шуровал, раскапывал". "Ты веришь в призраки?" – интересовались братья. Спиридон согревал дыханьем окоченевшие ладони. "Я верю в грабителей".

Лобзанием уст твоих, я мерз отверженный, я умирал в сарае и вдруг почувствовал, надо мной – она, мягко скользит под одеяло, трепещущая, со снежной влагой на лбу и на губах. "Дом благодетельного Тимофея наш, – шепнула. – Сумеем ли мы обновить его очаг?" То был не сон. Агна была со мной.

Завывает зверь и вьюжный ветер, братья по судьбе, если у них есть судьба. Затаились и псы и люди. Поскрипывает дверь пустого дома, крошится кровля, под которой никто не живет. Дом, в котором завтра буду я и Агна.

9

СТРАХ

Кукулино не христианская земля, погибла Византия, село в плену у иноверцев-турок. Царь Лазар мертв и не скорбит по своему разоренному царству, султан Мурад под тяжелой плитой не радуется победе.

Я стар, глаза заволокло туманом, напротив меня Ефтимий, другой, таким я был четыре десятилетия назад. Я разворашиваю себя (кто я? что я?), ищу себя, силюсь разобраться в алхимии крови. Ночь, ветер. Брякают цепи, которыми оковано село. Я слышу в себе голоса, один из моей юности, другой доходит из могилы, в которую я зашагнул мыслию. Кукулино теперь могила в могиле. Господи, я и впрямь последний из тех, за кого молюсь в этом писании.

"Имя?"

"Ефтимий Книжник, от отца Вецко и матери Лозаны, приемный сын Спиридона, владетеля клока небес, откуда он добывал соль, и клока земли, заросший пыреем под гнилым крестом".

"Рожден?"

"В прошлом, на меже разума человеческого".

"Непонятно. Говори яснее".

"Хорошо, скажу еще неяснее: рожден как туман в тумане, как ночь в призрачной ночи".

"Обличье?"

"Пустота в пустоте того, что мы или бывшие до нас нарекли жизнью".

"Жизнь?"

"Последний шаг к смерти. Непредумышленное прощание".

"Цель жизни?"

"Поиск, приближающий к истине".

"Непонятно. Яснее".

"Туман. Я не вижу цели и не в состоянии объяснить ее. Может, попытка разбить оковы неизвестности, отчаянья, страха".

"Неизвестность, отчаяние, страх? Страх перед чумой, которую ты поджидал?"

"Страх безумия перед чумой".

"Заслуги?"

"Все свидетели моей жизни ушли. Заслуги могу выдумать для грядущих мираклей".

"Вина?"

"Привязанность к Кукулину, безоглядная готовность защищать так, как некогда защищали его Тимофей, Богдан, Парамон".

"Дай объяснение".

"Страшусь, что меня не будет. В этом вина безоглядности".

"Страх – опять?"

"Опять. Страх – оттого что существую и, вертясь по кругу, ищу и не нахожу цели. Что тебе еще?"

"Ничего. Прощай, Ефтимий. Один из нас призрак, один из нас лишний".

"Конечно, один. Я, Ефтимий, или ты во мне. Прощай, забудь мои ответы и возвращайся в юность".

Молодой Ефтимий вернулся в свое время, в ясную морозную ночь – лунный свет паучьими нитями опускался на кровли, не соскальзывая на лед и не разбиваясь, богиня в белом нежна, приходит и уходит неслышно, поступь ее легка и таинственна, как имя.

Ближе к зиме солнечный дубнячок отяжелел от плодов, желуди приманили диких свиней. Ловля в ту зиму была богатая, зато муки не хватало – три модия дичины отдавали за полмодия пшеницы или ржи.

Я подсчитывал свои годы, Фотий Чудотворец подсказал мне: с первого дня жизни грамматика Борчилы до дня, когда меня предадут земле, лежат два столетия.

Прощай, Ефтимий, вот мы и встретились, Борчило.

Весна заспешила. Сломала лед на Давидице и напилась мягкой горной воды, за одну ночь высыпала из облаков на землю подснежники и миндальный цвет, напитала целебными соками листья и бутоны мяты, синильника и первоцвета. Синей небес казались птицы. Вокруг села летали дятлы и овсянки. Летали, а Спиридон не мог. Старческие лета совсем его покривили, подпалили ему невидимые крылья. Плечистый, с не ушедшим из-под ресниц зимним сном, Зарко поил его кровью молодого пса. Лозана окручивала ему поясницу шкурьем. В костях Спиридона затаился зимний холод. Спать укладывался ногами на чудодейственный камень, принесенный с могилы монастырского игумена Прохора. Соли у людей не было, Спиридон не раскапывал небо. Хворали дети, скотина делалась медлительной и неуклюжей. Никто не встречал журавлей по ночам и не провожал их к болоту. Спиридоновы чувства, тончайшие щупальца плоти, гасли. Он не видел языком, не слышал пальцами. "Рвутся мои нити, Ефтимий", – доходил откуда-то его голос. Я просыпался и затаивался в темноте. Возле меня спала Агна, мягкая, золотая и теплая, как хлеб, нежная изнутри. Дитя не хотела. Ждала дня, когда монахи пустят нас к алтарю и повенчают по-настоящему. Не соглашалась идти к Фотию Чудотворцу в недостроенную сельскую церковь. А Фотий Чудотворец нет-нет да выпытывал у меня, не знаю ли я, где писания Борчилы, жившего в старой крепости, расспрашивал и про записи покойного Тимофея. Городской вельможа предлагает, мол, целое богатство в византах и перперах за старые писания и иконы. Стало быть, в поисках этих записей они с Кубе и перетрясли Тимофеев дом и разрывали землю. "Те записи откро-

ют нам, где схоронено золото бижанчан, – уговаривал мягким голосом Фотий, – найдем, разделим по-честному". Я не польстился на посулы ловцов кладов. "Писания те, завернутые в кожи да пропитанные смолой, сложены в сундук и закопаны", – подкольнул я его. "Где?" – глаза его заблестели. Я пожал плечами. "Это знал только Тимофей, он теперь не скажет". "Агна, а ты знаешь? – выходил из себя Дойчин. – К чему нам нищенствовать и голодать?" "Не заботься, дядюшка, – тихо отзывалась Агна. – Тот, кто знал, не с нами". Косые глаза Кублайбея коварно разгорались. "Может, они в монастыре?" "Может, – соглашался я. – Спроси у монахов". Колчан на его спине щетинился стрелами. "А ты не знаешь?" "Не знаю", – ответил я. Его короткие пальцы угрожающе вцепились в нож за поясом. Агна подала мне топор. "Расколи чурбак. Нужно для очага". Я стоял с топором. "Идите себе, – вымолвил. – О записях мне ничего не известно". Подошли Спиридон, Зарко и Исидор. Тоже с топорами. "Мы тебе поможем, Ефтимий, – произнес Спиридон. – Навесим новую дверь на Тимофеев дом и заровняем пол".

Скоро Фотий Чудотворец и Кубе сгинули из села. Ушли тайком, забрав коней и добро. Дойчин слонялся один, похожий на пса, вынюхивающего след потерянного хозяина. Похудел, только зубы оставались большими и страшными. Не пахал, тоска словно выпила всю кровь из порыхлевшего тела. Брат Илия и сноха Роса давали ему иногда хлеба, но за стол не звали. А однажды в праздничный день пес, напав, видать, на хозяйский след, исчез. Как после зимы какое-то время остается угроза затаившейся в комьях оледенелости, так и от этой троицы для меня словно осталось в воздухе что-то будоражащее, запах или звук, напоминающий о них и их рискованных попытках заполучить записи: Борчило вел записи истории, своей и кукулинской.

"Мы с тобой двойная родня, – встретил меня как-то на Песьем Распятии Илия. – Я тебе дядя, ты Росин зять. Слышал я от брата Дойчина, что толстый вельможа из Города целую суму монет дает за писания, которые закопал где-то наш Тимофей. Серебро, сытая жизнь, понимаешь? В Городе нетрудно сыскать Фотия Чудотворца и Кубе. Мы им писания, они нам... А?" Слова были липкие, гладкая морда родственно ухмылялась. "Этих писаний у меня нет, нету таких евангелий, о каких ты толкуешь". Он ухмылялся. "Есть, Ефтимий. И Роса про то знает, и дом-то ее отчима Тимофея. Давай по рукам. Ты нам писания, мы вам с Агной дом". "А небес ты не хочешь?" – спросил я.

"Каких небес?" – он насторожился. "Того гляди, мы и небеса поделим?" "Не насмешничай, Ефтимий", – выцедил он из себя. Я попросил его ласково, очень ласково: "Подожди меня здесь. Я принесу топор, будем колоть чурбак". Ждать он не стал. Ушел, пригрозив: "Мино с братишками разберутся с тобой в потемках. Им тоже золотые монеты по душе".

Полегоньку между мной и уверовавшими в легкое обогащение углублялась пропасть. Один ошибочный шаг мог обрушить меня в ее глубины. Для них на моем челе выступило клеймо алчности. Караулили меня. Надеялись, выдам, где укрыты писания, о которых никогда не знали и знать не желали, какие они и где, – да и теперь им не догадаться, что мы с Тимофеем спрятали их в старой крепости, в гробнице посреди покоя под тяжелой плитой, на которой кто-то когда-то выдолбил молитву и имя Борчило.

Взаимная неприязнь между мной и сельчанами, может, обернулась бы непотребным злодейством, если бы в селе не появилась весть, что по земле с прошлого года разгуливает черная чума, оставляющая за собой вздутые трупы. Весть обрушилась с внезапностью ливня, завладела простором, хлынула потоками страха, взбудоражила Кукулино. Люди, затаив дыхание, прислушивались к ночным шумам, страшась увидеть исполинскую крысу, ее окровавленную морду, злобную, безумную, может, многоголовую, которая накинется на них, отравляя кровь сатанинской хворью. Пугались болячек на коже. Искали спасения в пьянстве, в диком луке, лампадах и иконах, магии и щепе от святого дерева, ее откуда-то принес Спиридон и выменивал на горсть муки и корчажку водки.

Случилось так, что в один день померли двое. На сухих старческих лицах выискивали знаки чумы. И находили. Старики не были бледными, были синими, и никто не решился закрыть им глаза. Кто-то припомнил: старик, что постарше, перед кончиной встретил худую женщину в черном: руки – голая кость, голова – череп с волосами. Коснулась его рукой, бормотала – целуй меня, *лобзанием уст твоих*. "Давайте сожжем их, – шепнул кто-то. – С ними сгорит и чума". Так и сделали. Трупы положили на сушняк под старой крепостью. Взвился дым и распугал ворон. Старики, политые смолой, горели долго. В сумерки собрали кости и закопали в одном гробу, без монаха, под молитву, которую знал или выдумал Спиридон.

Припомнилось старое кукулинское предание. Вампир обесчестил мертвую женщину и оплодотворил ее. Покойница разродилась под землей. Выкормила безымянную черную дщерь, чуму. Через сто лет она, чума эта самая, выбралась из могилы. С ее последней жатвы минуло новых сто лет. Чума идет, она где-то тут, на подходе, в шаге от Кукулина под чернолесьем. Мурашки в нашей крови – ее предвестники.

В полночь завыли псы. Тоскливо и перепуганно. Пришелица, неслышная и без ясного лика, черная в черном, шествовала по селу. Ее не видели. Просто знали за запертыми дверями – чума не сгорела со старцами, она вышагивает совсем рядом, прикидывая на пальцах, скольких ей коснуться рукой и губами.

Ночь, зеленый лунный свет, черные мертвые тени, трепетание дикого страха...

Луч кукулинский – веретено,
нескончаемо прядущее мрак.

ВВЕДЕНИЕ В МРАК СОЗНАНИЯ

1

ИКОНОСТАС

...Страх, возбудитель всяческих безумств, сохраняет и растит в своей оболочке извращенную смелость, одинокую и безоглядную, непонятную, скорее погибельную, чем спасительную.

В тот день, еще до солнечного восхода, предвестьем безумия звучали хриплые крики ворон. Я слушал их и не придавал значения. Не имея сил на переживания, я недвижимо пялился на чужака, появившегося в Кукулине, – казалось, его оставила своим знамением истекшая ночь. Без имени и без лица. Закутан в рясу, под капюшоном маска с прорезями для глаз, морская раковина на груди, босой, высокий, в руках – факел. Шел выпрямленный и неспешный, за ним тянулся прозрачный дымный хвост. Может, его игра или молитва была обетом, дозволяющим приступать к богам с верностью и восторгом, по уставу, ведомому только ему, по ритуалу, в котором жизнь оказывалась без цены. Я не мешал ему молиться богу способом, какой он удумал, стоял и ждал без любопытства и без волнения, не дивясь тому, что предвижу новое зло – огонь и смерть.

Неведомый и безымянный святитель, похожий на одушевленное пугало, вошел в сарай заики Черного Спипиле, самого никудышного из кукулинцев. Дым, оставленный его факелом, расходился, зато внезапно повалил с язычками пламени сквозь стены, выплетенные из ветвей, и, относимый легким ветерком, заволакивал только что взошедшее солнце. Кто-то крикнул, отозвался другой, и тотчас к сараю ринулись люди. Подхватив человечьи крики, вороны довершали свое утреннее предсказание. Они пролетали над старой крепостью призраками, не успевшими сгинуть вместе с ночью. Вокруг сарая толпились люди, прикидывали, как бы одолеть огонь. Все это будто не касалось Черного Спипиле. Он не пытался загасить пожар и не умолял других сделать это, стоял сгорбленный и лохматый, сжав кулаки. Я знал его давно – морщины, глубоко запавшие глаза, – я был беспомощным свидетелем многолетней его нужды. Он словно каменел в удалении. Но вот, согласно намеченному ритуалу, не терпящему перемен, из сарая появился пришелец с факелом, сам похожий на сгустившийся дым. Вздымая руки, повелел собравшимся склониться и вознести молитву божественному огню. Люди стояли и слушали его проповедь, покуда один из Настиных сыновей не двинулся к

нему с тяжелым колом в руках. Но пришелец был обетован своему огненному богу. Погибель от людской руки была б грехом и для него, и для того, кто ее нес. Он полегоньку отступал к горящему сараю, навсегда оставаясь в моем сознании без имени и без лица. Сам выбрал свой конец, измыслив собственную дорогу в небо. Дым потащил его, прихватывая мягкими лапами, и никто, даже те, кто стоял близко, не пытался протянуть ему руку, чтоб воротить к иной смерти. Исчез, предавшись огню. Я словно переходил из сна в сон, хотя ничему уже не дивился, ни в тот миг, ни потом, когда Черный Спипиле, тоже как бы задымленный и вялый, рылся в золе, отыскивая безымянные кости. Нашел, собрал в кучу и склонился над ними, молясь за себя или за покойника – он, без сомнения, посчитал его святым, способным вернуть долг. Молитвы его были немы, но не сокрыты – подрагивали влажной болью в глубине глаз. Может, в то предвечерье он, расставаясь со своим шестидесятым летом, отнес и эти кости на какое-то тайное кладбище и там схоронил. Я захотел припомнить его таким, каким знал его старик Тимофей: ребенком, в дни святых, он подбирал выкопанные или брошенные кости и хоронил их; жил с калекой-матерью, возил ее на стуле о двух больших колесах, бывало, докатывал и до монастыря; не женился, ухаживал за несчастной, но и после ее смерти, оставшись в одиночестве, еще не старым, так и не завел семьи. Посиживал теперь перед своим домом на том самом стуле о двух колесах и, скорее уединенный, чем одинокий, поглядывал на звезды. Одежонка скудная, несмотря на крепчавший холод. Костер освещал лицо, на котором ноздри казались больше глаз, морщины на лбу укрыла ночь, верхняя губа слабо очерчена. Я спросил, знал ли он человека, сгоревшего в сарае. Он махнул рукой. Заикался меньше, чем обычно. ”Посоветую тебе, сынок. Когда явятся братья святого, с песней предавшего себя огню, не подымай на них руку”. Я присел к костру. ”Если явятся, будут злыми”, – возразил. Между нами прыскали искры, вокруг собирались дрожащие тени. ”Слишком много мы убивали, и слишком много убивали нас, – вздохнул он. – Спросишь и диву дашься. В Кукулине люди часто уходили до срока”. Мне было интересно, что он станет делать, если кто-то бросится на него с ножом или топором. ”Никто на меня не бросится. – Он поднялся со своего стула. – Спокойной ночи, сынок. А если бросится, с ножом или с топором, найдется человек, соберет мои кости. Может, это будешь ты”.

И ушел, прошел – тень мимо тени. Ни он, ни я не знали,

что Кукулино обречено на новые костры, на новую главу библейских злоключений – невиданный иконостас из девяти икон для сатанинского святилища, воззвание, увлекающее нас к кровавому побоищу, а меня к завершению сего летописания.

*
*   *

(I) Братья по бичу. Приплелись из Города крестным ходом, в отрепьях, нахлестывали друг друга жилами и плетеными кожаными хлыстами. От их вскриков наша кожа покрывалась иглистыми кристаллами инея. Их предводитель, Фотий Чудотворец, окровавленный, нечесаный и почти голый, возносил руки, призывая сельчан сделаться стадом его: крепкими змеистыми бичами очистить от грехов свою плоть и застращать чуму – да не воздвигнет она свой престол в Кукулине. За ним, среди бродяг и нищих, извивались, корчились, выли Кублайбей и Дойчин, изукрашенные по лицу и оголенной спине кровавыми полосами. Слепые братья слепых демонов, не ослепшие, каким являлся новый Христос Антим, а слепые, с глазами без слез и жизни. Толпа двигалась в порядке, венцом окружила недостроенную Русиянову крепость, на ходу каждый бил хлыстом идущего впереди. ”Кому одолеть чуму?” – вопрошал Фотий Чудотворец. ”Тебе”, – ответствовала толпа. ”Люди, будьте Сатанаиловыми и моими!” – кричал Фотий. Это действо завлекло кукулинцев – Мино и Илия, расхлыстанные и вспотевшие, спешили присоединиться к братьям по бичу. Сдирая с себя лохмотья и волосы, молили нахлестывать их посильнее, чтобы забить чуму в их плоти и костях.

Я стоял на пороге дома онемелый и чувствовал, как меня тянет к ним. Агна и спохватиться не успела, как толпа потащила меня и приняла в себя – бесопоклонника с Христовым именем на устах. Меня хлестали, но боли я не ощущал, колдовской восторг притуплял ее. Вышагивал со всеми по кругу, падал. Поднимался, задыхаясь и слизывая с губ кровь и пот, а может, слезы. И покорялся необъяснимой магии и славил надуманными словесами имя Фотия Чудотворца. Не заметил, когда и как вытащили меня Лозана и Агна из венца живых трупов. В доме, уже повязанный, я вопил и бился головой о пол, кусая до крови губы. Гнал Агну от себя, обещал в мужья ей Чудотворца Фотия, умолял освободить от уз и вместе со мною присоединиться к братьям по бичу. Потом меня забрала усталость,

выцедив последнюю каплю восторга, затолкала в броню тяжелого сна, предшествовавшего лихорадке, которая, случалось, уже помутняла мою кровь. Сатанинство не открыло и не убило во мне чуму, зато пробудило хворь – добираясь до каждой моей жилки, она одолела и разогнала сатанинство. Сатанаил – Христос наш с Голгофы по имени Ад, припоминались мне крики Фотия Чудотворца. Безумие, а может, слепое желание владеть и покорять рассекло его лицо – от глаза до бороды тянулся кровавый шрам, на который слетались и лепились мухи. Во сне я почувствовал этот шрам – во всю длину своего вдруг забившегося сердца – и понял, что взбесившееся стадо Фотия Чудотворца – начало зла, которое обрядит Кукулино в траур. Единственное наше спасение – в сплоченности. Но кто нас сплотит и как, этого я не знал.

*
*   *

(II) Улей. Недостроенная крепость на Песьем Распятии, та самая, откуда кукулинцы тащили двери и тесаный камень для своих нужд, для межевых столбов и стен, превратилась в улей. Бичующиеся захватили все помещения, ели и пили награбленное, ссорились, замахивались друг на друга камнем или ножами, согласно повелению сатанинской библии *ненавидь ближнего своего.* Принесли с собой смрад и кровь, засилие и насилие, отпугнув тем сельчан. Самые оглашенные, пребывающие на грани разума и безумия, еще освобождали тело от греха, бичами и прутьями изгоняли чуму. Таких было мало. Больные и старые, грязные и паршивые, ковыляли они тропками людской беды. Голодные, изнуренные, бескровные, призывали смерть. Она же отзывалась им скрипом костей. Двое уже умерли. Их отвезли на конях, далеко. Не думаю, чтоб погребли: в голубых небесных высотах призраками закружили стервятники и раскричались вороны. В ложном самоотречении последователи адова вестника Фотия Чудотворца, уже не набожные (вера в демонов!) и не беснующиеся, как по прибытии, а просто пьяные и злые, не заметили третьего упокоившегося своего брата. В смерти, как и в жизни, подобный всем, он распухал на солнце с разинутым ртом. ”Черная смерть среди нас”, – бился человечек с исполосованной голой спиной. Пав на колени и вжавшись в землю, он плакал, умолял бичевать сильнее, чтоб вышла из него чума. Прочие искали холодок и вино, сварились

между собой, и все вместе были угрозой селу. Потехи ради вор с медвежьими лапами подмял под себя Дойчина. Фотий Чудотворец дубинкой вызволил своего верного пса в людском обличье.

Крепость, купленная Манойлой, если ему верить, за пятьдесят монет при свидетелях, бурлила, оттуда расползалась по кукулинской земле коварная тень нового зла, может, куда более страшного, чем все бывшие: ратники и монахи забирали урожай, но ведь кое-что и оставляли, не давали помереть с голоду. Бесопоклонники отнимали все до последнего.

Я дышал с трудом. Едкий дым забивался в глаза и в горло, впитывался в каждую морщину и мышцу. Покуда на костре по повелению Фотия Чудотворца сгорал мертвец, притащили еще одного – зарезали ножом Мино, сына покойной Насты, не отдававшего из хлева свою свинью.

Я старался убедить себя, что происходящее всего лишь мираж, безумие, решительно и бесповоротно захватившее мой разум, утягивающее меня в пропасть новых безумств, и я задавался вопросом – неужто душа, венец недолговечной плоти, находит свою погибель до ее смерти? Я плакал, сжимая рукоять тяжелой Тимофеевой секиры, не имея храбрости пойти в малую крепость и отомстить за Мино и за тех, кто завтра до времени станет мертв. В крепости, я это знал, рой огромных разъяренных шершней накинулся бы на меня, ободрал до позвоночника, жужжа, вереща, вопя от счастья, что удалось принести своему богу-бесу еще одну жертву. Агна стояла на пороге дома, глядела на меня обеспокоенно. Флагеллант, неряшливый и грязный, подходил к ней с похотливым взглядом. Я знал, понял в тот миг, что могу убить.

Черная птица смерти угнездилась в Кукулине: клюв ее кровав, утроба ненасытна. Жизнь до скончания будет агонией. На пепелище молился перед грудой человечьих костей Черный Спипиле.

"Убил, – зарыдал я. – Убийца, обвиняю".

*

*   *

(III) Морская раковина. Трудно было предположить, что они несут утешение и защиту от одичалых братьев по бичу. Подошли разом, сбитые в толпы, немые, лица прикрыты личинами из кожи, глины, перьев, налепленных на ткань, у иных на теме-

ни бараньи или козьи рога. Среди них беглецы перед законом или обнищавшие купцы (потом я узнал, что эти-то не латиняне), вместо креста – морская раковина. У толпы обличье большого и неуклюжего зверя. Перед ней отступала и смерть и жизнь. Братья по бичу затаились, углядели, что новоприбывших бесопоклонников, а может, сынов неведомого бога приходится на каждого по два, а то и по три. Словно бы не замечая флагеллантов, стоглавая толпа миновала Песье Распятие, направляясь к старой крепости. От толпы отделялись по нескольку человек и, выбрав на глазок дома покрепче, требовали пропитание: хлеб, мясо, вино. Женщины, даже пожилые, укрылись. У людей с диковинными лицами был старейшина, теперь он толковал: тех, у кого сокрыты лица, чума не берет, она забирает тех, кому успела загодя пометить лоб невидимым и тайным знаком – мертв. Голос его, тихий, словно бы извивающийся, доползал до домов, забирался в трещины, упреждал: если чуму перехитрить, она посрамленная удаляется, перекидывается на другие села и других людей. Истина только в нас, внушал он. Те, кто не с нами, несут в себе обман и проклятье.

Из паутины безмолвия, обвивающей малую крепость, выплеталась только Кублайбеева песня, невидимыми щупальцами выискивала себе путь, судорожно цепляясь за струны лютни, звучала она не тоской, а бранной угрозой. И новые пришельцы приняли ее как вызов. От костра, где жарилось мясо, поднялась тень, в руке коса, отбивающая последнее солнечное трепетание. "Отец Лоренцо, – вымолвила. – Пойду-ка я их усмирю".

Я укрылся за деревом, наблюдал. Песня Кубе вскорости оборвалась и не возобновилась. Человек к костру не вернулся, и никто не пошел искать его в темноте.

Его нашли утром со стрелой в шее. Когда стащили личину из козьей шерсти с прорезями для глаз, я увидел его лицо: парень, моложе меня. Выкопали могилу и похоронили под латинское пенье, похожее на плач колоколов и бряцанье мечей.

Между легионами Фотия Чудотворца и отца Лоренцо протянулись тени от трех осин. В одной тени молодой пес глодал кость. Прилетела стрела и вонзилась ему меж ребер. Поскуливая, пес помчался вверх по Давидице и исчез, сопровождаемый хохотом из малой крепости. Мне подумалось, пес вскарабкался прямо на небеса – облако под кромкой горы налилось кровью.

"Отец Лоренцо, – окликнули. – Это он. Привести?" Ста-

рейшина, лицо под маской, держал в руках стрелу, вынутую из шеи ночью убитого. ''Идите и приведите его, – ответил. – Злодеев даже в Библии не прощают. Приведите живого. Я буду его судить''.

Отправились вшестером.

*
*   *

(IV) Петля. Его не трудно было сыскать на Песьем Распятии – выдавали лук-татарник и колчан со стрелами. Шестеро набросились на него разом, схватили и повязали руки за спину. Собратья его оставались безучастными, не защитили даже словом, ни они, ни Фотий Чудотворец с Дойчином. Связанного Кублайбея уводили к усохшему дубу за старой крепостью. Возле ее бойниц кружили вороны, среди них одна белая, как ангел среди демонов, отпавший и покоряющийся большинству. Фотий Чудотворец спал, его не стали будить. Дойчин скрылся.

День был теплый, прогревший до самых глубин болото и журчащие воды Давидицы. От дубов и сосен у подножья горы убегали утренние тени. Далеко над Городом зловеще взвивались дымки, они соединялись в облако, которое уползало по гребню Водны, выискивало себе гнездо, чтобы затаиться. У домов и сараев завывали псы в предвкушении своей доли на этом пиру смерти: хозяева, поукрывавшиеся с семьями, забыли про них, ни сами не едят, ни собак не кормят, ни скотину – все равно не защитить ее от чужого ножа.

Со связанными руками, окруженный людьми в масках, Кублайбей вышагивал задумчиво, словно выискивал в себе песню для начала или завершения дня. Глаза его были сухи. Из них можно было выбить кровь, но не слезу. А может, после буйной ночи не понимал, какое горькое похмелье его ожидает. Только вблизи старого дуба, наполовину усохшего, без сока в ветках, окинул взглядом крону, словно выбирая для петли место, достойное его жизни и его шеи. Не страшился. Мне издалека казался выше и стройнее. Старейшина под маской, с раковиной на груди и в пурпуровой обуви, что-то говорил, судил его, выносил приговор за убийство. Жизнь каждого приверженца морской раковины имеет цену, закон гласит – жизнь за жизнь. Огонь, чьи пламенные цветы обращали мертвого в пепел, взвивался без дыма, его поддерживала добровольная могильная десятина.

Погожий солнечный день, страшный день: сук, веревка, петля.

И тишина.

На пядь приподнятый от земли, Кубе вытянулся. Веревка раскачивалась, поворачивала удлинившийся труп то в одну, то в другую сторону, пока наконец он сам повернулся лицом к востоку. Виселица размежевала пришлых, поставив закон на будущее: человек за человека, одному стрела в шею, другому виселица. Может, у висельника была последняя мысль – о далях, откуда примчали его яростные ураганы среднеазиатских гор, одного, без соплеменников, искать удачи, а найти смерть без скорби и страха в глазах. Он висел бледный и нагой – двое ссорились из-за его одежды. Судья приблизился, поднес его ладонь к своим глазам, изучая линию жизни. Качнул труп, будто язык в незримом колоколе, и тотчас отозвалось из монастыря колокольным звоном – монахи встречали праздничный день, свой, а не пришельцев, день преподобного Никиты Мидикийского или день великомученика Никиты Серского.

Горит Кублайбеева лютня, горит в том же огне и сам он, чтобы вместе со своими песнями растаять в высях.

Тень его дотягивалась до ног безлицего Лоренцо. "Гунн, печенег, – пробормотал он. – Отступник. Слава кресту – он возмогает и над такими".

*

* *

(V) Ловцы душ. Я не знал, молод он или стар. На следующий день после смерти Кублайбея, певца с лютней и луком-татарником, я увидел его. Голый до пояса, поджарый, с заметными обручами ребер, Лоренцо умывался в Давидице. Я узнал его по пурпуровой обуви. Он подозвал меня рукой и, когда я приблизился, спросил имя. Даже теперь, стоя рядом, мне трудно было определить его возраст. Продолговатая голова, глаза в глубине, лукавые, но холодные, голизна между верхней губой и носом, золотистая кудрявая борода, мягкой дугой соединяющаяся с волосами на голове, – ему можно было дать и пятьдесят лет, и гораздо меньше. Взял мою руку, нагнулся, выискивая в линиях ладони тайные знаки моей жизни, прошлой и будущей. "Я вижу, ты грамотен, – промолвил. – У меня при себе баночки с сепией и katoвером, пергамент и перья. –

Он все еще держал меня за руку, и я не решался вырвать ее. – Пойдем со мной, мне надо послать весть своим друзьям".

Я уселся под полуиссохшим дубом и стал записывать, что диктовал мне Лоренцо – тягуче, слово за словом, монотонным голосом:

Мне посчастливилось. В поселении христиан, запущенных и полностью уподобившихся варварам, среди диких людей, из коих трудно будет образовать католиков, я повстречал юношу, достойного и уважения и любви. Гладкая молодая кожа, какую редко встретишь даже у придворных его возраста, робки, почти девичьи очи, нежный, узкий в талии, но широкоплечий, он похож на мраморного бога, коего из любви к египетскому художеству привез в Рим могучий император Адриан двенадцать столетий назад. Подобно вам, друзья мои, знаю, что время богов прошло. И все же представьте в мыслях своих Адрианова бога, оживленного теплой кровью, трепещущей рукой выстраивающего мои слова в четкие строки, постигая их истинный смысл, находя в них и себя и меня, нас – завтрашних, близких, молящихся одному богу, католическому и не только католическому, может быть, богу близости, из коей вырастает любовь, наша, человеческая, божеская: только ему, сему юноше, пристало быть виночерпием с бокалом и с вином, струящимся в этот бокал, подобно Ганимеду, любимцу олимпийских богов; вникая в смысл моих слов, он, может, спрашивает себя: достоин ли я быть тем богом, кому откроет он свое чистое сердце, что осветит, высветит меня изнутри. Нет, друзья мои, не считайте меня легкомысленным, каковыми бывали вельможи старого Рима, ныне утерявшего свои прежние основы и уже не пребывающего в нас, ведь вы, и я вместе с вами, всегда искали и находили в песке мимолетного сладострастия нежный цветок любви. Здешние варвары ожидают чуму. Но и устрашенные, навряд ли они с легкостью перешагнут из православия, перемешанного с язычеством и мистикой, в более возвышенное и благородное исповедание христианства, приверженцы коего покорными центуриями сопроводили меня до сего места, веруя, что я воистину встану между чумой и ими. Мы здесь ловцы душ, радеющие о том, дабы вырвать варваров из сетей заблуждений и открыть пред ними пределы свободы, поэзии крови и любви. Через семь дней я отзовусь вам снова. Семь дней – срок, данный сему юноше на раздумье и принятие решения важного и судьбоносного: присоединиться ко мне, стать моим секретарем и любимцем, достойным профилем своим

украсить золотые монеты, если только здешние будущие католики признают его цезарем, его или меня, готового с ним разделить власть.

"Я найду тебя через семь дней". Взяв пергамент из моих рук, оставил меня в раздумье и тоске. Ведь он сам был куда как грамотен и – диктовал то, что хотел внушить мне, а не своим друзьям.

*

* *

(VI) Чумо-люди. А ночью: "Ефтимий, выдь". Я узнал его голос. Вышел, держа за спиной топор. Не приближался, стоял на пороге полуоткрытой двери, вытесанной Спиридоном и Зарко. "Что-то ты слишком долго сидел в ногах у этого Лоренцо. Ты с ним? – Я молчал. – Он же проклятый иноверец, – продолжал Фотий Чудотворец. – Пытается навязать Кукулину своего бога и свой закон. Знаешь ведь, как безмилостно он казнил моего друга Кублайбея. – Близко Фотий не подходил. Я спросил, чего он от меня хочет. – Уговори сельчан идти со мной, – тихо вымолвил. – Только вместе сможем мы их прогнать". "И что тогда? – спросил я. – Твоя центурия не менее зла, чем Лоренцова". Я напомнил – его люди убили нашего Мино. Он вздохнул. "Кукулинцам надо решаться. В союзе со мной у них один только будет недруг. Подумай, братья по бичу примут вас с открытым сердцем. А кто Мино убил, сбежали. Я за ними погоню послал, как поймают, устроим суд". – Он отступил и исчез во мраке.

Опасаясь быть застигнутыми врасплох, оба воинства выставляли ночную стражу. Иногда, отгоняя сон, перекрикивались протяжно и бессмысленно, пугая детей и взрослых, затаившихся по домам. Казались половинками одного зверя, стерегущими удобный момент, чтобы – ради собственного спасения – заглотить друг друга. В сущности, и те и те были уже чумой – того гляди набросятся на Кукулино, разорвут его сердце черными когтями. А может, и впрямь они были чумными: два дня спустя возле обеих крепостей, если то был не сон и меня не обманывало зрение, сжигали мертвых.

Побоище между братьями по бичу и приспешниками раковины произошло как-то слишком внезапно, чтобы можно было за ним уследить и понять причину стычки. С того места, откуда я наблюдал, люди походили на муравьиные рои, перепутавшие

тропинки и цели. Голорукие или с палками бросались друг на друга, душили, рвали зубами и ногтями, ломали кости; даже в драке старались пристроиться под удары потяжелее, освобождавшие от греха и изгонявшие чуму. Падали изувеченные и фанатично ползли опять туда, где все кипело в поту и крови, иные, истомленные и объятые страхом за ту чуточку жизни, что оставалась, бежали в поисках укрытия в дубравы и к болоту.

Так до полудня. С сумерками, румяными от последних лучей солнца, по обе стороны опять задымили костры: в обоих воинствах обнаружилось по убитому, что позвало братьев по бичу и поклонников морской раковины к мести и взаимным обвинениям во имя своего знамени. Черный Спипиле не успевал закапывать кости. Потом сгинул. Его костей никто не искал.

"Пока они истребляют друг друга, мы остаемся в живых, – хоронясь от чужого глаза, ночью ко мне пришел Спиридон. – Нынче у них опять будет по мертвецу". По спине моей побежали мурашки. "Ты? – прошептал я. – Тайком их убиваешь?" Указательным пальцем он перекрестил рот. "Тише. По одному убили Исидор и братья Мино. Нынешней ночью наш черед, твой и мой. – Я онемел. А в его глазах засветилось понимание – почуял мой испуг. – Добро, Ефтимий. Попрошу братьев Зарко или Исидора. А может, Исидора только. Они обесчестили его жену Тамару. Но ты подумай. Агна твоя ведь молода, очень молода".

*

*   *

(VII) Перуника. Название ямы, куда сваливают кости безродных и безымянных. Голубая весна без песен, капля росы в чьем-то оке. Перуника – имя цветка. И еще имя девицы, сухопарой и раскосой, без желаний и без друзей, – цветок, взращенный одиночеством. Бросила старых родителей и прибилась к братьям по бичу – спать с ними. И плясать возле костра. Фотий Чудотворец благословил ее ухмылкой. Благостный, похожий на библейского Иосифа рядом с девственницей Марией, Перуника же, по словам Агны, и вправду как очумела: после третьего десятка жизни выбралась из собственной кожи и выплясывает бесстыдно, вызывая похоть.

"Нелегкое дело отымать головы, и нелегко поддерживать между нашественниками вражду, – Спиридон словно бы отступал от своей задумки. – Перуника до солнечного восхода

спать не дает братьям по бичу, а Лоренцо выставляет тройную стражу".

Перуникины родители, сестра ее Гликерия, беременная, в пятнах, и зять Герасим, бедолага заика, серая тень в серой мгле моих детских лет, пытались удержать Перунику от поругания. Сладострастники Фотия Чудотворца их не повесили. Не дозволила Перуника. Только Гликерия родила раньше срока да Герасим, оставив ее на родителей, прикрывши лицо тряпицей, ушел из ненависти к Фотиевым врагам: узнаваемый по облезшему кожуху, он грозил Перунике огромной оглоданной костью, но она, отплясывающая босиком, даже не замечала его.

Когда синеватый блеск цветка с ее именем затягивала на кладбище ржавчина мрака, блеск появлялся в ней – синий и кровавый в отсветах пламени костра, освещавшего ее, когда она извивалась в танце и пела горловым голосом, похожая на змею-цветок. Вокруг волос кружили огненные золотые жуки, к ней тянулись тени рук. И, завораживая землю колдовством, смутные очертания малой крепости оплетали терпкие запахи неведомых трав.

На пергаменте, украшенном фиалкой, Лоренцо прислал мне список царей народа, к какому принадлежал:

Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, Оттон, Антонин Пий, Марк Аврелий, Луций Вер, Комод, Пертинакс, Дидий Юлиан, Виталий, Веспасиан, Тит, Домициан, Нерва, Траян, Адриан, Септимий Север, Клодий Альбин, Песцений Нигер, Каракула, Гета, Макрин, Елагабал, Александр Север, Максимин, Гордиан I, Гордиан II, Пупиен, Бальбин, Гордиан III, Филипп Араб, Филипп Младший, Деций Младший, Гостилиан, Требониан Гал, Волусиан, Емилиан, Валериан, Галиен, Постумус, Викторин, Клавдий Готский, Тетрик, Квинтил, Аврелиан, Тацит, Флориан, Проб, Кар, Карин, Нумериан, Диоклетиан, Максимиан, Галерий, Констанций I, Караузий, Алект, Флавий Север, Максимин Дая, Максенций, Александр, Лициний, Константин I, Константин II, Констанс, Констанций, Магненций, Юлиан, Иовиан, Валентиниан, Валенс, Грациан, Валентиан II, Магнус Максим, Флавий Виктор, Евгений, Теодосий, Аркадий, Гонорий, Константин III, Теодосий II, Приск Атал, Констанций III, Иован, Валентиан III, Петроний Максим, Авит, Маориан, Лев I, Любий Север III, Прокопий Антемиус, Олибрий, Глицерий, Лев Младший, Непот, Зенон, Ромул, Август, Анастасий Юстин I, Юстиан I – и подчеркнуто katоновером, – *Ефтимий... In vita aeterna, в жизнь вечную являются не из бесплотности, а вступают священнодействием, на мгновение освобождающим от плоти. Од-*

нако не всегда должно давать предпочтение духу: люди, даже цари минувшие, земные, наделенные правом выбирать, как и какой дорогой шагать, дабы достичь божественного престола, к коему грядущие поколения протянут руки за поспешением, но – всуе, если нынешнее, наше время не уразумеет смятения крови своей, твоей и моей.

Каждому живущему надобно мгновение, в котором он велик, как судьба. И Перунике тоже. Неужто эта ночь была ее великим мгновением?

Из села люди бежали. К Синей Скале. А может, дальше. Говорили, что бежали и изо всех сел вкруг монастыря Святого Никиты.

*
*   *

(VIII) Умирает человек, умирает бор. Разъеденная тяготами, душа горы испарялась, гора умирала. После того как фанатики с вероисповеданием или без оного захватили Кукулино, случилась напасть: сосна под Синей Скалой гибла. Тысячи желто-зеленых гусениц с бородавками смалывали крохотными и крепкими челюстями игольчатые побеги, быстро, безжалостно и ненасытимо: то было нашествие боровой осы, пожирающей растения, истребляющей зеленую кожу горы. Древесные тени слабели, словно их подъедала моль.

Сторонников разных богов или бесов неожиданно, за одну ночь, сблизила неутомимая плясунья Перуника. Лоренцовы люди преступили границу, разделяющую крепости, – уходили к братьям по бичу. Скинув маски с лиц, они искали хмельных объятий у вчерашних недругов. Редели оба стана, люди отыскивали тропы в другие села под чернолесьем. В поисках вина осваивали новые пределы, волоча за собой двуколку смерти. Не переставала бурлить кочевая кровь. С самых разных сторон взвивались теперь в небо дымки во славу зла и проклятьем непротивлению человека.

Через гонца Лоренцо прислал мне грамоту, и я знал уже, какую этот латинянин носит в разуме и в крови адскую отраву. Я дрожал от неведомых мне тоскливых и горьких предчувствий.

Прошло пять дней с нашей встречи возле реки, возле малого Тибра в сем малом Риме. Всего лишь одна среда и один четверг отделяют нас от нашего общего счастья. Я благодарен бо-

гам и судьбе, направившим меня сюда, как некогда Адриана к египетским многобожцам, дабы отыскал он своего Ефтимия и наслаждался счастьем среди мудрецов, поклонников магии и пророков. Адриан мертв. Он тень, пребывающая в моем сознании, человек с мертвым сердцем и мертвой любовью, но его, как и меня, все отталкивало бы в этом сброде, кроме твоих лучистых глаз и чистого сердца. Еще два дня, всего два дня. О, как бесконечно ожидание.

Послеполуденный дождь загасил огни, столбами своих дымов подпиравшие небеса, и они теперь опустились на горы, даруя исцеление чернолесью. Поздно. Бог, сотворяя божественную сосну, определил ей тянуться ввысь и погибать от алчных челюстей гусениц. Тот же или другой бог подарил просторы человеку: убегай от бед, мир широк, он твой. Но мы не бежали. Не все. Остаться живым и голым, без добра, думали одни, то же, что быть мертвецом на своей ниве. Если думали. В пене нашего разума еще не мелькнуло решение о бегстве, об избавлении. Еще два дня, всего два...

Господи, руки мне на себя наложить или убить проклятого Лоренцо?

*

* *

(IX) Ночь накануне седьмого дня. Спрячься, предупредил я Агну, когда за мной пришли. Не сопротивляясь, пошел с ними, не сопротивлялся и когда мне завернули руки за спину возле старой груши. Только отпирался, что знаю, где захоронены записи Борчилы и Тимофея.

От Лоренцовых глаз, от его соглядатаев меня скрывала малая крепость. Став пленником братьев по бичу, я все равно боялся завтрашнего дня, когда должен востребовать меня обезумевший латинянин.

Песье Распятие являло собой миракль, разыгрываемый повихнувшимися библейскими отшельниками и голодранцами-грабителями: Кукулино – утроба исполинского демона, на чей жертвенник я возведен во имя приверженцев креста – отпадших от креста – славян, латинян, иудеев, амаликитян с Синая и из пустыни Негев, сельджуков, многобожцев, воскресших, призраков, блаженных.

Фотий Чудотворец пил, мрачнея все более. "После третьего трепетания звезды над головой станешь мертвецом, забытым

в общем забвении, – предупредил он меня, – будешь в огне печься, пока не откроешь, где спрятаны записи". "У Тимофея не было золота", – попытался я вывернуться. "Было, – он принял ковш от Перуники. – Он заграбастал золото Бижанцев". Веки его отяжелели – для него я был мертв, он перескочил меня во сне, заныривая в золотую пену.

Внезапно, когда я потерял надежду на избавление, веревка на руках ослабла. "Беги, – услышал я Перуникин голос. – Сам решай куда. В Кукулине не оставайся. Фотий пьет все – и вино и кровь. Поспеши, тебя ждет Агна".

Я был свободен.

2

БЕГСТВО

Тайком мы выбирались из Кукулина с тем, что успели собрать и погрузить на ослов, мулов и жилистых горных лошадок, иные вели или гнали перед собой корову или козу, покидая дома, нивы, кладбище, с которым нас связывали ушедшие от нас. Спиридон, Лозана, Илия, Роса с дочкой Ганкой, Исидор без Тамары, Зарко, его жена Коца и сын Мартин, несколько стариков и старух с внуками и со снохами, Агна и я.

Ночь, опустошение в сердцах, тоска.

За последними нивами у подножия гор перед нами из мрака вынырнул человек, воздел руки. "Воротитесь в дома! – кричал он. – От чумы не уйдешь". Этот старик, по имени и Пандил и Пендека, похожий на подтопленную солнцем свечу, ходил по селам, обряжал покойников, помогал на свадьбах. Никто не знал ни рода его, ни мест, откуда он пришел в наши края, помнилось, что он беглец с рудников. Только бог, разве что он один, был старше его и мог иметь больше морщин на лице и на длинной шее. "Мы от людей бежим, они-то пуще чумы, – зашелестела не то голосом, не то лохмотьями старуха, такая же кривая, как и он, и даже с похожим именем – Санда Сендула. – За нами, почтенный Пандил, разор. Нивы стали могильником". "А перед вами? – спросил старик. И сам ответил: – Сосны, обглоданные гусеницами, а дальше – камень да змеи". Не все его слушали. Обходили молча. Санда Сендула, с восьмилетней внучкой и внуком того меньше, звала старика с нами – в Кукулино пришел голод, муки, хоть всю собери, и на один хлеб не хватит, а в пути не пропадем – нынче ночью выберутся из Кукулина сноха ее Жалфия и сын Димуле, да девять овец с ними, да

свинья, сейчас как раз ее обдирают. ”Погодите, вы же всего не знаете, – старик пытался нас задержать. – Я иду из Города. А там, это всякий знает, о прошлом годе еще возглашен Законник благочестивого царя Стефана, и честным его словом берутся бедняки под защиту от всяких насильников. Повеление. Не будет грабежей и злодейств. Возвращайтесь. Царь защитит наши села. А в советниках у него бородатая монахиня. Знаете ее – Аксилина. Празднуют ее Богосав, Борко, Боса”.

Не столковавшись с ним, мы двинулись дальше, гуськом, следуя за медлительным Спиридоном.

По пути, пугая и пугаясь нас в темноте, присоединялись к нам беженцы из Бразды, Побожья, Любанцев, Кучкова и Кучевища. Вокруг шумели сосны, обильно истребляемые гусеницами. Тишину разрывал писк: Санда Сендула маялась летним насморком и бранилась, спотыкаясь. Она отставала, и, когда ее чих и бормотанье пропадали, мы, кукулинские, останавливались. Отыскивали ее и приводили. Отбивались и другие, ребенок либо коза. Постепенно люди обособились, разбились в группы, однако все мы устремлялись к Синей Скале, высокому утесу с пещерами, где по сию пору дровосеки и овчары находили кости то ли старцев, от которых освобождалось там давнишнее племя, то ли кости отшельников, чьи души оставили нам в наследство синеватый мох на камне, откуда, может, и пошло название этого места. Одного такого отшельника припомнила Санда Сендула. Звали его Благун, она его видела, когда кормила младенца, и он благословил ее молоко – чтоб не посягали на него ужи-сосальщики. В детстве она имела обыкновение, тыча пальцем в небеса, подсчитывать звезды. За такое деяние полагается кара, и вот руки ее усыпало бородавками. От этой напасти тоже избавил ее Благун. Внезапно старушка углядела и самого давно покойного добродея: он стоял, вцепившись руками в грудь, готовый разодрать рясу, а чуть подалее, в пустоте, подымалась хрустальная церковь. Санда вскрикнула и упала, разревелись ее внуки. Мягкий ночной ветерок разогнал видение. Женщины подхватили ее с двух сторон, поставили на ноги и перекрестились у родничка, на месте которого Санда Сендула углядела церковку. Смочили святой водицей лбы, и мы тронулись дальше. От них долго исходил дух ладана.

Я смеялся во мраке, и со смехом оживал во мне прежний Ефтимий. Шустрый старичок из соседнего села таинственно и доверительно сообщил мне свое имя – Исо Распор. Я тоже ему поведал, как год назад на Благовещение дядюшка мой

Трипун, узнав, что Законник царя Стефана будет защищать бедняков, три дня хлебал тюрю из ящеричьих хвостов. Старик даже подскочил: "Трипун тебе доводится дядей по матери, а? Трипун Пупуле?" У меня не было дяди по матери, и никакого Трипуна Пупуле я не знал. Я подождал, пока он меня нагонит. "Да уж не знаешь ли ты и другого моего дядю по матери, Койчу из Коняр?" – поинтересовался я. На нижней его губе улегся месячный луч, один глаз посмеивался. "Неужто и Койче из Коняр хлебал такую же тюрю?" – изумился он. "Хуже того. Встречал ты такого, кто бы собственную свинью окрестил Пердушкой, а потом на ней же и разъезжал? А этот вот Койче, дядюшка Исо, вытворял такое". Старичок одушевленно ухватился за меня. Мы ожили. Взялись за руки, мне казалось, что я его научаю ходить. "Нет, Койче колдуном не был. Он даже летать не умел. Зато третий мой дядя, Заре, тоже по матери, с тайным именем Поликарп, тот был колдун знаменитый. Подумать только, рыбьими косточками прикалывал навозных жуков вокруг своего пупа. А как крови его насосутся, запрягал их в двуколки". Это было слишком даже для Исо Распора. "Врешь!" – дернулся он. "Почему же? – вроде обиделся я. – Разве ты не слыхивал про чудеса? Знаешь небось побольше моего и всех, кто тут есть". Он снова вцепился в мою руку. "Что верно, то верно, чудеса бывают, – согласился он, поблескивая глазом, тем самым, что посмеивался. – У меня тоже было трое дядьев по матери, давно еще, до того как построили монастырь Святого Никиты. Ерофей, тот не хлебал тюри из дробленых ящеричьих хвостов, потому как рта у него не было. Он напитывался каштанами да орехами через пупок раззявленный. Младший, Евсевий, спал головой вниз, подвешенный к потолочной балке. Почитал себя за летучую мышь. А того пуще был третий мой дядя с женским именем Патрикия Велесильная. Щипал нити и выплетал паутину – перепелки в нее ловились. Так и жил среди пауков в дуплястом дереве". Он остановился, прислонив ладонь к уху и словно прислушиваясь. "Что, кличет тебя Патрикия Велесильная?" – спросил я. "Верно, – подтвердил он. – Этот мой дядька завсегда серчает, ежели я имя его поминаю, не выпивши за его душу. У тебя, чай, и винцо водится, а?" На Спиридоновом осле было у нас два кувшина. "Как присядем, выпьем, – обрадовал я его и продолжал: – Заре, с тайным именем Поликарп, умывался дымом можжевелового костра". Он на это: "А Патрикия Велесильная из можжевеловых веток броню себе выткал". Я: "Моему Поликарпу и броня была не нужна. Об его кожу гнулись и секиры и копья".

Исо Распор: ”А Патрикия зубами грыз и секиры и копья”.

Люди уходили от своих домов, там распускались черные маки смерти. Каждый цветок становился урной для праха. Исо Распор и я, подгоняя друг друга, убегали от отчаяния в горький смех. Шестеро наших воображенных дядюшек выныривали из тени, от их облачного прикосновения на ресницах оставались капли, но то были не слезы. А может, и слезы. Дрожащая мглистость впереди была дымом. Марево, только и всего. ”Путь в неведомое всегда тернист и туманен, дядюшка Исо”. Он отозвался не сразу: ”Я не Исо, и дядьев у меня нету. Никого нету. Меня Найденко зовут”. – ”Какая разница, Исо Распор легче запоминается”.

Мы догнали Спиридонова осла. ”Спиридон, давай посидим при луне. У нас с Исо Распором не оказалось дядьев. Ты нам и дядя и опекун, и Поликарп и Патрикия Велесильная”.

К нам пристраивались все новые и новые беженцы.

3

ПРЕДАНИЯ

У Синей Скалы народ кишит – не окинешь взглядом. Собралось тут всяких и отовсюду, все бездомники, живые тени, спутанные в клубок и зависимые друг от друга, переставшие возводить в мольбе глаза к небу; господь, отлучивший нас от себя мраком забвения, стал угасать в нашем сознании. Женщины не плакали, мужчины выпивали, когда находилось что. Беда сблизила. Неимущим уделяли соломы на подстилку, находилось чем укрыть кормящую, дети малые не оставались без козьего молока. Кто умел складно сказывать, у тех были свои костры и почитатели. Это – Исо Распор или Найденко, Спиридон, Иоаким из Бразды, Райко Стотник и Волкан Филин – оба из Побожья. Вот их предания, услышанные мною в долгие скитальческие ночи...

Волкан Филин (мрачноватый, остроносый, с сердитыми ноздрями, сам приземистый, руки коротковаты, а шея толстая, волос дикий, жена Ира, сынишки семи и пяти лет – Санко и Робе): ”Кое-кто помнит мою бабку Сребру, у старухи было шесть пальцев на левой руке, держалась всегда пряменько, как осинка, не горбилась. Вышла она из дому ночью в грозу проверить, не отелилась ли корова в хлевушке, и не вернулась. Кинулись ее искать с факелом, а на дворе гром да молонья, беснуется ураганный ветер. Видим – лежит она под корявой

шелковицей, ствол дымится, расщепило его громовой стрелой. Нагинаемся мы, и без факела видать – сжимает старуха шестипалой рукой мертвую змеистую молонью. Лицо улыбчивое, прозрачное, на глазу слезинка дрожит и вроде бы как полегоньку твердеет, превращается в хрустальное зернышко. Я слезу эту с собой ношу. Покажу вам. Помогает от глазных хворей. Закопали мы старую Сребру, да время ей могилку сровняло. Только ежели ухо к земле приложить в том месте, слыхать грохот – громовая стрела даже мертвая отзывается. И еще по ночам земля посверкивает. С той поры гром село Побожье стороной обходит".

В пещере горели дымные факелы – там рожала женщина из Любанцев.

Звезды в высоте сияли и впрямь как отвердевшие слезы прощенных душ, тех, чьи кости и кровь после нескончаемых войн согревали землю. Одна звезда была слишком ясная и зеленая. Может, ее сияние вернет жизнь соснам, погибающим от алчных гусениц. Когда я снова вперил взгляд в небеса, звезда показалась мне крупнее. Словно спускалась на призывный шелест леса у Синей Скалы.

Райко Стотник (молодой, сиво-желтый, белые одежды подпоясаны плетеным веревочным поясом, за поясом нож, в руках кизиловый трезубец, сам вспыльчивый и угрюмый): "Побожье наше еще живо и живы люди, взять хоть Волкана или меня, по милости одного-единственного червяка. Диковинное дело, а? Сто лет назад, может чуть побольше, страшная разразилась засуха, скотина пала и в село пришли голодные дни. Ни хлеба, ни мяса. Мертвые деревья – без кизила и без орехов. В птичьих гнездах яиц не сыщешь; сгинули и сойки и голуби. В кустах ни черепах, ни ежей. Голод. Три годины кряду. Тогда-то из кукулинской болотины и выполз исполинский червяк, толстый, не обхватить руками. Сперва все живое перепугалось. А самый голодный как почувствовал на своем горле руку смерти, взял да и отмахнул острой косой у червяка кусок хвоста. Съел. Мясо оказалось вкусное и крепительное. Избавляясь полегоньку от страха, принялся оголодавший народец отсекать от того червяка кусок за куском, и мясо того не убывало. Лица, до времени остарелые, сделались опять гладкие, под кожей сальце прикопилось. Закрепли люди, наплодили детишек, и пошло, и пошло, так вот и живем до самых нынешних пор".

Коца, Заркова жена, просит меня, украдкой, тихим голосом, побыть с Исидором. Я подошел. Но он избегает меня, как и всех. У Исидора свой костер. С ним Зарко и Мартин.

Лето нынешнее не засушливо. Богатый по нивам урожай, да только хлеба, видать, перестоят. Жнецы разбежались от пришельцев с бичами и раковинами. Сгниет колос, если до того не погибнет от огня Лоренцовых и Фотиевых людей...

Иоаким (заплата на заплате, из тряпья, словно из брони, выступает черепашья голова с глазами, такими сонными, что не мудрено уснуть, глядя в них): "В Бразде ни суш, ни голодов не помнят. Село наше лежит над самой сердцевиной земли, откуда в изобилии бьет вода. А в глубинах того подземного родника живет человек с жабрами. Спина в серебряной чешуе, никто не знает, из какой он выметался икры, неведомо также, чем он кормится. И по сю пору мы на рассвете ищем, а бывает, и находим серебряные чешуинки для амулетов, что-то вроде Соломоновой ладанки. А раньше, случалось, от этого диковинного подземника брюхатели бабы. Бежали без памяти на болото и метали икру. Был у нас человек в Бразде, Тихоном звали, задохся он: язык у него распух от осиного жала – захватил в рот с виноградинкой. Я это от него слышал. Запомни, Иоаким, говаривал Тихон, женщин, с которыми переспал жаберный человек, завсегда узнаешь. Глаза у них серебряные, как монетки, омытые росой".

Наши тени расходятся от костра и, может быть, укрывают подземного человека в серебряной чаще, который притаился за кустом, подслушивает, выбирает себе женщину на ночь. У Иоакима по лбу желтая низка желтого бисера – не иначе, выметалась икра во время посказа. Я слушаю и тоскую по Кукулину.

Спиридон (весь полыхает внутренним огнем – и заросшее лицо, и одежда, у него болят кости, травят воспоминания о времени, когда был молодым и крепким, но он посмеивается, такие не склоняют голову перед недугом): "Человек с жабрами, ну и что? Бывают ведь и такие, кто по весне встречает журавлей. Силою взлетать в небеса одаривает тебя родитель: напоит глазами перелетную птицу – цапель, журавлей, перепелок – и на всю жизнь остается слепым. Отец мой, Петруш Черновид, понапрасну перед смертью подымал кверху пустые глаза, чтобы углядеть меня в облаках. Меня можно было только слышать. С легкостью кружил я по небу и распевал птицей, я знал язык жаворонков, словно был им родней. Уток и куропаток я не ловлю и кур не режу. От меня разбегаются ужи и гадюки. Цаплей от меня несет либо аистом. В Кукулино меня привел удод, он предсказал мне, что я женюсь на Лозане и стану отцом этому вот Ефтимию. Стаи, что по весне возвращаются на болото, знают, а стало быть, знаю и я: здешние села не топтать

чуме. Ни теперь, ни через сто лет. Чернее всякой чумы человек, ныне это Фотий Чудотворец и Лоренцо со своим диким разбоем. Мы не от чумы убежали. От них".

Иногда у костра присаживалась Лозана. Остальные женщины были в пещере, и Агна с ними.

Отзывалась сова, подтверждая сказанное Великим Летуном. Головой прислонившись к его плечу, дремала Лозана, сон пересекал ее лоб морщиной скорби. Старая, седая, как и этот ее муж. Птица их молодости далеко, в пределах забвения...

Исо Распор Найденко (ночью он выглядит моложе, морщится лишь вывернутый кожух, словно вылеплен из глины и крови, один глаз усмехается, усмешка сердечная и весомая, кривит голову на сторону): "У Патрикии Велесильной были усы, края их она цепляла за ромейские серьги. Потому я и называл ее не теткой, а дядей. Жила без мужа, сама за него была, потому и женилась на господской дочке Анастасии. Затянула в свою колдовскую паутину. Оженилась, стала Патриком и подружилась с Заре, под тайным именем Поликарп. Обоих, когда им было лет по восемь, по девять, выкупали в моче белой ослицы. Так они сделались колдунами сильней других в два раза. В то время чудеса были делом обычным. Чего мудреного чародею заставить навозных жуков молотить на гумне или оседлать свинью, окрещенную в церкви, скажем, Пердушкой или еще как? Ничего. Куда мудреней сеять песок на камне, а дожидаться ржи или ячменя. Однажды, а может, и много раз, заставили они зеленых старух карлиц – те жили под землей, а кормились зернами – копать рыбьими костями тайные копи и вытягивать оттуда золотые нити. Старушки карлицы ткали из того золота для них плащи. Похожие на крылья. На них они летали. В полночь прополыхивали на небесах двумя солнцами. Патрик и Поликарп могли глазами ворочать камни и складывать из них стены. Это они построили монастырь Святого Никиты".

Санда Сендула усыпляет внуков скорбной песней, от которой сжимается сердце.

Далеко, на грани земли и неба, трепещут два золотых плода, два ночных солнца, две магии – Патрик и Поликарп, две вымышленные души, которым жить в сказаниях. Знаю: эти солнца – лучистые глаза, верующие в чудеса. У кого-то из нас такие глаза...

Исо Распор Найденко: "Жена моей усатой тетки, то бишь дядьки, не льстилась на золото. В какой-то тогдашний праздник, вроде бы на Тяжкое искушение, укуталась в одежду из камыша да соломы и отправилась на скалу к орлам, знавшим

Анастасию, а таких немного, всего, может, только я да Ефтимий, поминают ее в те ночи поста. Девятая годовщина поста пала на прошлый январь – за несколько дней до дня избиения младенцев в Вифлееме. Она живая и нас переживет. Ныне из волосяной травы ткет она обувку для сирот да набожных нищих, для всех убогих. Я знаю это, потому как я приемыш ее и вестник".

Спиридон: "Фотий Чудотворец лжет, будто из рыбьей утробы вышел. Ежели так – кровь у него отравная. Такого укусит гадюка за пятку и испепелится отравой. А еще мне ведомо, одному мне: гадючьей кожей, растворенной в вине, женщины в Константинополе разбавляют питье мужьям-властелинам, чтоб сидели с ними в обнимку да миловались. Вот и пропадает византийское царство, пухом ему земля. Сосут цари то зелье, а землей не владеют. Взяли над ними засилье Фотий Чудотворец да Лоренцо. У меня есть святой камень с могилы достойного монаха, старейшины монастырского. В том камне голос усопшего старца так советует: Возьмите вилы да косы и изгоните нашественников".

Иоаким из Бразды: "Когда лист у смоквы свернется от инея, надо его тайком сунуть жене в волосы. Тогда не станешь в обнимку сидеть, как царь. Будет покорствовать да рожать. А по ночам выгоняй на пашню, голую, чтоб плясала да пела. Овес, и все прочее, дает двойной урожай. А ежели дробленый смоковничий лист скормить овцам – принесут двойню. Верно говоришь, Спиридон. К вилам да косам можно еще топоры добавить".

Райко Стотник: "На этом вот месте, под костром, кроется в глубине исполинская рука, пальцы что старый бук, однолеток нашему Исо Распору Найденко. Ногти на той руке долгие. Сядет промеж нас грешник, а божье наказание теми пятью перстами пробьет землю и раздавит его, как гниду. Только таких промеж нас нету. А когда-то бывали. Разбросаны возле Синей Скалы кости. Чьи? Безбожников. Человек, он вроде той руки, велик и силен. Коли тень твоя велика на восходе, значит, и ты не маленький".

Волкан Филин: "Я-то не маленький. Был я мальчонкой, когда яблоня наша расцвела под снегом. И плод дала. Только один, большой да сочный. Дед мой Добре протягивает мне топор. Рассеки яблоко. Топор будет вечно острым. Понадобится, когда повзрослеешь и придет беззаконие, а оно придет. И людям надо будет уставлять новые законы".

"Я им не верю, – шепнул мне Мартин. – Мстителям полагается молчать и делать то, о чем не говорится".

"А я верю им, – ответил я. – Я им верю".

В пещере горьким сказанием заходился новорожденный. Какое Завтра ждет его, если уже сегодня смех, предчувствуя свою гибель, пожирает себя до самого корня, чтобы, насытившись, загнить и оставить свой желудок в черной отравной луже?

4

ТЕНИ ПРЕДАНИЙ

Земля эта не дала и не даст святителя. Старуха Санда Сендула сомнительно посматривала на хромого человека, он вертелся возле костров – торговец с торбами, приросшими к телу, продавец водицы от неплодия, снадобий из трав и сала дичины. Вялым голосом обещал избавление от заушницы, плеши, глазной хвори, коросты. Старикам предлагал омоложение, истомленных убеждал, что вернет им силу. Липкий и толстый, лицо цвета обожженного инеем смоковничьего листа, упомянутого Иоакимом из Бразды. Среди беженцев врагов у него не было, но и близких тоже не находилось. Для него и его преданий не было места в новых мираклях, сотворяемых у костров под Синей Скалой. "Хочет, чтоб дозволили ему помолоть свое жито, а нам замесить лепешку из отрубей для затыкания рта, – посмеивался одним глазом Исо Распор. – Но все равно он святой. Уши у него бледные и продолговатые. Таких ушей у обыкновенных людей не бывает".

А до того, устроившись на припеке, коробейник Гаврила Армениан болтал о двуглавых оводах, захвативших Город, откуда он явился два дня назад предлагать беженцам за медовину хлеб и свои снадобья. Ведомый инстинктом, подобным собачьему, он оказывался именно там, где едят. Прислуживал, даже когда его не просили об этом: помогал выплетать шалаш из прутьев, усыплял младенцев нездешними песнями, резал и обдирал овец и коз. Прозвали его Подорожник, по имени растения, чьи листья, смоченные в подсолнечном или приморском оливковом масле, исцеляют раны. Ему не верили и не давались в лечение. Но он все равно пристраивался, таскал в бурдюках воду, даже тем, чьего куска не попробовал. Глаза его разлились ото лба до кончика носа, заняли пол-лица: в них можно было смотреться, любуясь на свою усмешку или угрюмость.

"Слышал я, вы тут говорили о косах да топорах, – он уселся к костру рядом со мной. – Мечтаете о битвах. Да ведь те, от кого вы бежите, слишком сильны и слишком злы. Позани-

мали ваши дома. И вам их не уступят". Опершись на локоть, я обернулся к нему и спросил: "Фотий Чудотворец благородный вельможа, Лоренцо будущий царь или первый царев советник, а кто такой ты, Гаврила Армениан?" Он повернул ладони к огню. "Был и я кем-то, пока жил на щедрых берегах реки Аракс. – Его одолевал сон. – Завтра я открою тебе, как оказался среди вас, нищих, как пришел в эту землю, общую и ничью". Заснул.

Агна спала в пещере, среди детей и женщин, спали и те, кто встречал утро у погасших костров. Женщинам удобней в укрытии – мужчины, не находя и не стараясь найти иных выражений заботы, оберегают своих рожениц, поварих, прачек, дрожат тени, меняют обличья, становятся такими, какими задумал их я.

Оводы, так напугавшие Гаврилу Армениана, смиряются перед ночным ветерком. Букашка заползла в его ноздрю и никак не выберется из густых волос. Коробейник спит в неудобной позе, рот приоткрыт, одна сторона лица освещена слабым огнем.

Меня привлекли глаза. Я взял головню и, осторожно обходя спящих, шагнул в темноту. Глаза сверкающие, излучающие боль, не человечьи. Подошел ближе. Пес, сбежавший из Кукулина со стрелой промеж ребер, лежал и поскуливал, ждал помощи. Я присел, провел ладонью по его хребтине. Железный наконечник так и торчал. "Гаврила, – тихонько позвал я. Он не слышал. Я вернулся, потряс его. – Дай мне твоих снадобий, – попросил. – Святое это дело быть избавителями". Он глядел не понимая. "Какие снадобья, какая обязанность?" – спрашивал перепуганно. Я заставил его встать. Он был не из тех, кто сопротивляется. Заковылял за мной со своей торбой. Глаза пса и впрямь были наполнены человеческой болью. Гаврила Армениан этого не заметил. "Пес, который не подыхает от стрелы, – демон, – заметил он. – Этот или бешеный, или взбесится". Все же присел. "Я свяжу лапы, – шепнул я, – а ты ему стяни челюсть ремнем, чтоб не кусанул". Наконечник стрелы из отощавшего зверя я вытащил быстро. Гаврила отыскал в торбе похожий на медвежью лапу или гриб мешочек и присыпал оттуда собачью рану черным порошком. Мы отпустили пса – пускай себе сыщет место, чтобы оклематься либо сдохнуть.

"А ведь ты святитель, Гаврила", – я протянул ему руку.

Потом устроился поудобней и стал рассматривать звезды, тайный и таинственный порядок вселенских миров, насылающих чары на души и чувства людей и животных. Ночь чарует и травы, ведь и у них есть души и чувства – в листе, в корне,

в семени. Ночь, проходящая слишком медленно для бодрствующего человека, остановилась вовсе и подслушивала мои мысли, – эта ночь, черный бог, обдавала меня ледяным дыханием. Признаться, даже в самые тяжкие времена, бога, если только я сознательно не обманывал себя или кого-то в себе, некое ”я” в будущем, мне не случалось призывать. Настала пора. Я осознал, что боги всего лишь разновидность рабства, которое мы сотворили сами в заблуждении и под гнетом тех, кто властвует во имя этого бога и несет нам голод и унижение, страх, несчастия и смерть. Я обманывал себя прежде, но обманываю и теперь. Только в эту ночь у меня не было бога. Помню, я потерял себя до безумия перед слепцом Антимом и железнозубым Парамоном и предался их вере. Магия? Не знаю. Может, потому что у меня не было бога, я хотел обрести его, когда братья по бичу лишили меня сознания и я сделался бесплотным вздохом или дымом костра, вспыхнувшего во мне и поразившего столбняком.

Оживают в вышине предания – поблескивают жабры подземного человека, нескончаемо тянется червь, летит Спиридон с журавлиным криком, умирает молния, стиснутая в кулаке, зеленые старушки карлицы черпают золото из муравьиных копей для Патрикии Велесильной, покорные и без отпущения, – не близок день воздания, когда их допустят к хлебу и вину для причастия и станут они знаменитыми в чудесах придуманной троицы – Заре с тайным именем Поликарп, Койче из Коняр, Трипун Пупуле.

Одиночество толкало меня на сочинительство – теней и призраков...

Хотя я был не один.

Осторожно глянул через плечо: во мраке, не освещенном кострами, горели глаза. И вдруг я понял, что человек может обойтись без бога, а пес всегда будет искать бога и господина. Или друга. ”Горчин, – позвал я. – Иди сюда. Слышишь, ты теперь Горчин, я тебя окрестил. – Помахивая хвостом, он не спешил приблизиться. – Иди, – снова позвал. – Два пса и без бога могут”.

И досадливо вспомнилось: *In vita aeterna, в жизнь вечную являются не из бесплотности, а вступают священнодейством, на мгновение освобождающим от плоти. Однако не всегда должно отдавать предпочтение духу: все мы, даже цари минувшие, земные, наделенные правом выбирать, как и какой дорогой шагать, дабы достичь божественного престола, к коему грядущие поколения протянут руки за поспешением, но –*

всуе, если нынешнее, наше время не уразумеет смятения крови, своей, твоей и моей.

Проклятый пес Лоренцо!

Сюда, Горчин. Хоть он и повесил угодившего в тебя стрелой, мы отнимем у него жизнь. Рано ли, поздно – отнимем. Иди, сынок. Покажем ему vita aeterna.

Воют голодные детишки – их господь глух.

5

ДОЛГИЕ ДНИ, ДОЛГИЕ НОЧИ

Братья Исидор и Зарко, и Мартин, Зарков сын, и с ними мой дядя Илия разводили свой костер: у них были свои немые сказания и, судя по всему, свои тайные планы. Во время трапез, где козье мясо рвалось руками и зубами, восславлялась нелепость бездомности. Делилось свое и подворовывалось чужое вино. Исидор темнел без Тамары, темнели и Зарко с Мартином: по ночам лики их словно выныривали из костра и, соединяясь с дымом, исчезали, уходили к звездам. ”Так и будем скрываться и довольствоваться тем, что есть жратва”. Подошел ко мне раз Мартин. ”Что верно, то верно, Мартин. А ты бы что сделал?” Он не ответил, удалился, и я не углядел, было ли в его глазах презрение. Я считал его своим однолетком, хотя он был на два года младше; теперь я чувствовал себя и слабее, и младше его, гораздо младше – я страшился смерти, своей и чужой. Страх перед смертью у стариков указывает, что им давно пора уйти. А я себя чувствовал старым: быть моложе и слабее другого старца вовсе не значит, что ты молод, даже если ты между вторым и третьим десятком.

Летние дни занимали все больше временного простора, но для отчаявшихся и одиноких ночи остаются долгими. Многие, притиснутые нуждой, холодом и тоской, покидали нашу разномастную дружину и возвращались в свои дома, на их место являлись другие – с навьюченными конями и ослами. Свой костер под Синей Скалой первым погасил Исидор. Ушел ночью. ”Не виновата Тамара, что над ней надругались негодяи, – шептались Лозана с Агной. – Не выдержал, к ней пошел”. Мужчины думали по-другому: Исидор снова отправился мстить, исполнять вынесенный приговор – земля становилась сплошным судилищем, а люди обращались в палачей и жертв. Зарко пробовал пальцем острие топора, того сáмого, как мне помнится, которым он уложил насильника из оравы не то Фотия Чудотворца,

не то Лоренцо. "Кровь его потянула, – заметил для себя Зарко. – Чую я, не вернется он". Вскоре и он исчез вместе с сыном Мартином.

А из села прибывали вестники. Вокруг них собирались люди, слушали со стиснутыми сердцами. Пандил Пендека, оборванец из оборванцев, босой, голодный и страшный, вампир, выпивший свою кровь и лишь за неимением зубов не оглодавший свое мясо, собрал всех. Ему дали корку хлеба, выцедили каплю вина из кувшина. Он долго жевал, морщины на лице растягивались и собирались сеткой, шевелились, будто живые. Мы ждали и получили свое.

...Дом Спиридона и Лозаны проглотило пламя, спалили потехи ради братья по бичу, полыхнул, как охапка сухой соломы, заодно с треногами, что вытесывал по ночам Спиридон при факеле или при луне. Перуника после пьяной ночи, когда у сестры ее Гликерии и зятя Герасима порезали коз и овец, поднялась с тряпья и соломы, перекрестилась и колом прибила к земле Фотия Чудотворца. Видать, уразумела, что он над ней насмехался, веселя братию обещанием жениться и, возвысив до своего положения, увести в большой мир. Место убитого занял бородатый дезертир из Города Иван Ангел, а несчастную Перунику мертвой бросили в яму. Гликерия с младенцем и Герасим исчезли. Они неподалеку, вон подходят к Синей Скале. Иван Ангел, погнавшийся за ними, ухватил под чернолесьем трех монахов – Германа, Мелетия и Досифея, связанными приволок в Кукулино. Остальные, Трофим, Архип и Филимон, сбежали. Позднее мужики нашли только Филимона, лицо зарыто в песок Давидицы. Может, плененные монахи и остались бы живы. Может. Да Исидор, мстя за Тамарино поругание, расколол голову жестокому Ивану Ангелу. Герман, Досифей и Мелетий долго висели на суках в реденькой дубраве под малой крепостью. Потом кто-то снял их и закопал, может Зарко с сыном Мартином. Страх жаждал чудес, в чудеса веровал и Пандил Пендека, потому, упокоенные и неотпетые, не такие толстые, как при жизни, обклеванные сороками и воронами, монахи подымались из мягкой приболотной земли, становились на колени у своих могил. Молитвой поручали небу свои души. Фотий Чудотворец (схоронили его с подобающими вельможе почестями) тоже вылезал из могилы и шастал по Кукулину.

"Тени, призраки, – чихала изнуренная и оголодавшая Санда Сендула. – Послушайтесь моего слова, понавтыкайте крестов, по стежкам да вокруг сараев. И возле лежаков своих. Помните, как Манойла-то повампирился, тот, что с серьгой в ухе, толь-

ко крестом его и изгнали". Никто ее не стал убеждать, что Манойла исчез из монастыря, где прислуживал за трапезой тем самым монахам, которых теперь, если можно верить, осталось всего двое. Гаврила Армениан спросил ее, что старее на свете, человек или крест. И сам себе ответил: человек. Как же в старые времена, когда про крест знать не знали, одолевали вампиров? "Упокоенные без молитвы, духоизбавительная матушка, не в призраков превращаются, а в оводов. Я вот с собой ношу запись с молитвой мученика Симона, что от пояса вниз был яко столб каменный. Потому-то зло и разбегается от меня". Иоаким из Бразды спросил, что он хочет за Симонову молитву. "Легкие у меня сохнут без молока, Иоаким. Хочу козу. Слышал ты про грозного Велиала? Нет? Так вот. И он тоже с моей дороги уходит".

"А мне, ежели занадобится спасительное слово твоего Симона, я его и без козы заберу, – пригрозил Райко Стотник. – Будет тебе молоть. Не дал дослушать почтенного Пандила Пендеку".

В обиде, что его вести посчитали ненужными, Пандил Пендека уселся под буйным можжевельником. Тщетно допытывался у него Спиридон о кукулинском бытье, тот словно смолой залепил рот, ни словечка не вымолвил.

Люди, устрашившись, что погибельная рука дотянется и досюда, покидали временное укрывище у Синей Скалы и устремлялись дальше, к мертвым Бижанцам. А из Кукулина приходили все новые вестники. Они подтверждали и дополняли уже слышанное.

...Вместе с домом Лозаны и Спиридона сгорело еще четыре или пять домов, и Перуника порешила Фотия Чудотворца. Только вовсе не за его насмешки, и не колом или копьем. Она нарочно к этому человеку прикачнулась, обманывала его, будто с ними, единственная их сестра и вроде бы жена. За Кукулино, за свою опустелую отчину, вилами пригвоздила она проклятого к земле и без страха приняла казнь – головой вниз ее сперва держали в болотной воде, а потом, мокрую и с открытыми глазами, ночь целую жгли на тихом огне. Велика преставилась, схоронили ее без Илии и без Дойчина. Дойчин, тот, ставши братом братии по бичу, молился только за душу Фотия Чудотворца. К упокоенным монахам Досифею, Мелетию, Герману и Филимону присоединился еще один, Архип: нашли его неподалеку от монастыря, объеденного стервятниками, а может, он сам улегся, сам себя упокоил, наперекор антихристовой вражде простился с землей без насилия.

Дни шли не скоком, а тянулись один за другим, словно муравьи, и в сумерки забивались в неприметную трещину, осторожно, норовя не оставить за собой следа – капли света или ненужной тени. Толстый, вернее, распухший, как бы переполненный неведомым веществом, лишенным энергии, Гаврила Армениан мастерил короткими пальцами из моченого хлеба коз или уток. Делился с псом Горчином и жевал столь медленно, что казалось, будто он жалеет свои творения, наделенные душой и надеждой на долгую жизнь. По вечерам Волкан Филин прогонял его от нашего костра. Он устраивался неподалеку и сидел, похожий на потемнелый гриб, затаивший отраву, и молол, молол: Фотию Чудотворцу не давали лука и орехов в меду, злобствуя, что из ночи в ночь пребывает в девицах, Перуника сладострастия ради отняла у него душу. Горчин не оставлял его одного, а я не оставлял их голодными. Потехи ради Иоаким из Бразды и Райко Стотник набросились на коробейника со спины, грозили, что оженят его с Сандой Сендулой. Для них он был никчемным обрывком будней. Гаврила вырывался. Глаза закрывали пряди сальных волос. Хрипел.

"Пустите его, – нахмурился Волкан Филин. – А коли снова станет досаждать своими занудными сказками, клянусь этим огнем, я сам поженю его на Санде Сендуле. Получит он от нее и лук, и орехи в меду".

"Пустите его! – крикнул еще кто-то: в темноте поднялся высокий парень. – Вы бы лучше поспешили к брошенным селам да вилами и топорами воротили свои дома и нивы".

Все немо уставились на эту живую махину. Выглядел он таким могучим, что хоть миндаль камнем толки на его темени, боли не почувствует. Исо Распор пояснил: новоприбывший, сын кузнеца из Кучкова, зовут Секало, пашет и жнет на чужих нивах, отец его, за неведомую вину, сгиб в царских рудниках. Мы молчали, и он пошел искать место для своего костра и для своего кусочка звездного крова.

Я ушел, а когда через час вернулся, чувствуя на себе и в себе Агнину теплоту, встретил меня Спиридон: "Поищи-ка Илию. Роса волнуется". Найти Илию было не трудно. Он сидел на скале и песней тосковал по Велике: Велика была ему матерью, выкормила-выходила его, а мне Велика приходилась бабкой, хоть во мне и не было ее крови – моему отцу Вецко была вместо матери. "Там пес, Ефтимий". Я обернулся. Горели глаза. "Что тебе пес?" – спросил. Он съежился. "Ты знаешь, его убил стрелой Кублайбей". "А тебя ждет Роса, – сказал

я. – И дочка Ганка". Он все сидел. "Этот пес призрак, – вымолвил. – Убей его, Ефтимий". Я дернул его за волосы. Он застонал. "Одумайся, Илия. А то и впрямь отмолочу тебя, а ты мне как-никак дядя". Кроме пса, вблизи был еще кто-то. "Гаврила Армениан, – окликнул я. – Давай я тебя возьму в дядья". И услышал: "Иоаким из Бразды и Райко Стотник собираются меня поженить на Санде Сендуле. Заступись за меня, Ефтимий".

Журчала вода, никем до того не отысканная.

6

РАВНОВЕСИЕ

У беженцев нет домов, зато появляются могилы.

Коробейника Гаврилу Армениана не поженили на Санде Сендуле. Старуха приказала долго жить. Ее сын Димуле и сноха Жалфия были с нами. Не оплакивали. Погребли с ладаном и молитвами – Трофим, последний монах от Святого Никиты, приковылял весь в поту, задыхающийся, исцарапанный – продирался ночью сквозь лесные чащи волчьими тропами. С раздутыми от простуды и слез лицами старушкины внуки Стефания и Саве прилепились к добродушному Исо Распору. Кто знает, может, они и не уразумели грань, за которой мрак и забвение, поддерживающую, подобно весам, равновесие – между колыбелью и гробом. Лозана упорствовала на возвращении – в Кукулине родилась, там желает докончить свой век. Перестала понимать: оравы слились в громаду, обирают дома, уволакивают женщин, оставляют трупы тех, кто сопротивляется. "Голодаем, – сокрушался все более мрачнеющий Спиридон, – но осла резать не станем. – Пальцем чертил в золе потухшего костра. – Мы в западне. Там набежники и смерть, тут голод да хвори, опять же смерть. – Он уставлял побелевший от золы палец на Секалу – тот возвращался с низкой рыбы и вершей, судя по всему от болота. – Верно он тогда нам сказал. Слюнтяи, дескать, чего не вызволите родных сел? Может, попытаем, Ефтимий, а?"

Однако мы быстро уразумели: люди не рвутся умирать за Кукулино. Трофим, опавший телом и буйно заросший бородой, гремел, что царь самолично направит сюда войско, поверстанное в десятки, дабы истребить безбожников, осквернивших монастырь и благочестивые села. Надо ждать. Гаврила Армениан, с тех пор как уступил Симонову молитву за

козью лопатку, посиживал на круглом камне и сомнительно покачивал головой. Как и у Трофима, у него помутнели глаза, из груди вырывался хрип. Простужались, плохим покровом служили сны. ”Царь, да”, – только и вымолвил Гаврила.

Мы остались под Синей Скалой.

”Небеса сплошь соленые, да нету мочи копать, – хриплым голосом рассуждал Спиридон. – Летал когда-то, было дело. А теперь кости отяжелели и покривились, зовет их земля. Ты слышал, Ефтимий? Трофим с благословением своим послал набожного Райко Стотника в Город гонцом? Теперь и следа не сыщешь. Не иначе угодил в засаду”. Лицо Спиридона покрывали белые волосы. В них терялись беспокойные глаза. ”Все знаю, Спиридон”, – шептал я, перемогая колики... *узкий в талии и широкоплечий, он похож на мраморного бога...* Губы мои обнесло коростой от ночной лихорадки, потому посмеяться я мог лишь про себя: когда-нибудь, Лоренцо, я размозжу тебе голову камнем с могилы святителя Прохора.

С гонцом монаха Трофима ушел и Пандил Пендека. И тоже не вернулся. ”Редеем, – беспокоился Исо Распор. – А Секало-то у нас навроде как новый Христос. Делит рыбу детишкам. – Глянул на меня, блеснув искрой в глазу. – Спиридону тоже придется стать Христом, Ефтимий. Не съесть ему осла одному”. Я обернулся к отчиму. Тот понурил голову. ”Тут и есть-то нечего, – вымолвил тихо. – Больно долгий пост получился”.

Осла зарезал и ободрал в мелком ярке коробейник Гаврила Армениан, так быстро и так ловко, что мне показалось, будто с ресниц моих слетел бледный короткий сон. Свежевал и болтал без умолку, Горчин рвал ослиные потроха. ”Пес этот прежде принадлежал Аргиру, – заметил Гаврила Армениан. – У него я тоже свежевал осла”.

Я пошел полежать под орешником. Трава, которую подминал, выпрямлялась с шелестом, прощая жестокость. В ней скрывались тайны букашек: иные медлительны, словно бы ленивы, иные поспешны, похожие на крохотных куропаток, только я не находил объяснения этой немотной жизни, бесконечно удаленной от человеческих тягот. Цвела розоватая скумпия. На тоненькой ветке примостился желтогрудый птышонок. В листву вплетались солнечные лучи. Улетел, оставляя за собой поигрывающую ветку, и из своего убежища проклял меня. Ко мне осторожно приблизился трепещущий луч, благодарный за то, что я избавил букашек от крохотного, но алчного клюва. В шаге от меня медленно ползла черепашка чуть больше

половинки ореха, за усаженным грибами пнем простирался бурьян. Слабый ветерок доносил запах щавеля и звериной крови. В высях таяло облачко, похожее на цветок. День был воскресный. Вместо колокольного звона подала голос горная куропатка – каменярка, раз и еще раз, прочитала свою молитву, от которой день становился прозрачным и наполнялся скорбью, моей и земли, мягкой и теплой.

Окружающее было внешним, со мной не связанным: я отяжелел, костные полости забило песком. Дышал раскрытым ртом, в горле комом собирались все тяготы мира. От этих тягот не отвлекал ни кашель, ни боль в желудке. Тоска и мрак оседали в меня, точно в могилу, на дне которой хихикали беззлобные демоны, принесенные вихрем: щекочут рожками мои легкие, из селезенки замешивают лепешку для пира, на котором моя кровь станет вином, а хрипота дыхания – песней, прыжком заныривают в отстой человечьей бездны – в скорбь, в боль, в невозвратность былых маленьких, всегда маленьких, надежд, редких, как клевер с четырьмя листочками, трутся друг о друга, лица стерты, точно медные денежки, без глаз, без носов; вихри перекатывают их с одной стороны ребер на другую, плавят, меняют обличья – то это резвые козлята, то живое переплетение болотных трав.

Тьма во мне разбухла и заволокла взор.

Когда я проснулся, вокруг бродил сумрак и где-то прощались с днем крикливые сойки. Демонский вихрь, разворошивший меня до дна, утих, зарылся в мои колени и остался там, отчего ноги совсем отяжелели, однако я заставил их покориться и отвести меня к костру, где жарилось мясо, нанизанное на прутья. Каждый мог отрезать кусок от туши осла, подвешенной за задние ноги на дерево, и каждый отрезал – дрожащими руками и с лихорадочным взором. Хотя были и исключения. Лозана сидела поодаль, отвернув испитое лицо. Прислонившись к ее плечу, Агна неприязненно поглядывала на недопеченное мясо, которое я ей протягивал. Словно я чужой, того гляди проклянет. Не прокляла. Засмотрелась на Пандила Пендеку – он выползал из черепашьего панциря ночи. Я вернулся к костру: Пандил Пендека был нашим посыльным – от Синей Скалы в Кукулино. Сейчас он воротился из Города.

Сказал, прежде чем сесть: молодой гонец монаха Трофима, Райко Стотник, потерялся в дороге ночью, где-то между монастырем и Кукулином.

Рассказал, усевшись: устрашенные приближением чумы, городские власти, купцы, ратники и чернь впали в блуд, в Го-

роде ни стратиг, ни церковные старейшины знать ничего не желают о селах под чернолесьем.

Рассказал после первого куска: смерть взгромоздилась в Городе на трон из костей и шепчет его имя, а также имена всех, собравшихся у Синей Скалы.

Толкнув меня в бок острым локтем, Исо Распор шепнул мне, что никто, даже смерть, не знает его имени. Я напомнил ему, тоже шепотом, что имя его Найденко, он, укладывая на угли недопеченное мясо, усмехнулся одним глазом. "Как бы не так, дожидайся! Назову тебе пять святителей – Теодор Тирон, Григорий Нисский, Моисей Мудрый, Никола Рибар, Герасим Йорданский. Один, не заставляй меня открыть кто, твой дядя Найденко".

У своего костра, половиной лица обернутый к нам, сидел Секало, один, без прутика с мясом. Громадный – тень доходила до кромки мрака. Опасались его, большинство подбадривало друг друга благоразумием: подстрекает людей выступить против Лоренцо и сгибнуть. Я решился. Встал, подошел к нему. "Как думаешь, нам удастся? – спросил, усаживаясь рядом. – Удастся ли собрать довольно людей?" Он сидел задумчивый и понурый, зажав ладони между колен. "Я не знаю, что это – довольно людей. Нужны сильные. Теперь нас уже двое. Попытаемся".

Положив голову на передние лапы, между нами лежал Горчин. Рана его зарастала.

Без слов, и так все ясно, подошли и сели к костру Волкан Филин и Иоаким из Бразды. И еще Спиридон, а за ним Исо Распор, Гаврила Армениан, Димуле, сын покойной Санды Сендулы. Илия в ту ночь воротился в Кукулино один.

Крупные звезды дрожали. А вдалеке, за болотом, сверкали молнии.

7

ПРЕОБРАЖЕНИЯ, МАЛЫЕ И ЕЩЕ БОЛЕЕ МАЛЫЕ

День обрушился на нас одновременно с сильнейшим ливнем. Полусонные, мы убегали под кроны деревьев, в хилые шалаши, в углубления Синей Скалы, в ее пещеру. Огромные капли, тяжелые и густые, оголяли прошлогодние грабы, достигали до пульсирующих корней в глубинах. С северных утесов накатывал гул, казалось, хрип исходил из разверзшейся утробы земли, которая в агонии выбрасывала из себя скорбь

упокоенных за тысячи столетий до нас и теперь извещающих нас о своем одиночестве: мы долго ждали, идите к нам! Все воды мира преобразились в потоп библейский, какого не помнят самые старые, Пандил Пендека и Исо Распор, о каком не читал монах Трофим в старых писаниях, с того дня, как человечество прозрело, хотя и ослепло потом.

Я стоял, прислоняясь спиной к морщинистому стволу, от дождя меня пока защищал густой зеленый покров. Размышлял, холодный как лед, замкнувший в себе тайну, как острие ножа. Тимофей не открывал мне природных загадок, возможную связь между землей и небом, между духом и богом, коему мы обязаны покоряться по законам, которых нам никто не растолковал. Это и понятно, он, хоть и был монастырским послушником, а потом монахом, не имел своего бога и не молился чужим. И все же от него я узнал: путь звезд, не как знаков небесных, соединенных с человеческой судьбой, не в прорицательном смысле, независим от нас, и мы живем независимо от них, от их могущества, не ведомого ни звездочетам, ни плутающим тропками суеверий. ”Стремись к ним, возвышаясь над собой, – наставлял он. Тогда я его не понял. И долго не знал, как толковать его совет. – Когда доберешься до звезд, узнаешь, что чудес нет, а есть лишь суровая явь. Путь звезд проходит сквозь нас, дай им обогатить себя озарением”, – говорил он. Он был старым и слишком земным, без мракобесия, отличавшего Борчилу, с которым мне довелось столкнуться позднее. Не ошибаюсь ли я, полагая, что равновесие тоже лишь сонм противоречий и недоразумений, соприкасающихся, как день и ночь, как равнодушие и страх.

Я часто полеживал в одиночестве, уставив глаза на небо. Люди верили, что я разбираюсь в звездах, могу исчислить их путь, указать, где скрещиваются судьбы людей. Они искали избавителя от житейских тягот, каковым, я думаю, меня выставлял Исо Распор, да и постарался дядюшка мой Илия, убеждавший всех, что пес Горчин поднят мною из мертвых, что он призрак. Ко мне привели слепую женщину, молили, чтобы я наложением пальцев исцелил ее. Люди верили в чудеса, и тут тоже было противоречие: меня почитали мудрецом, меня, а я назад тому какой-нибудь год разыгрывал из себя бесноватого, выбелив лицо и повесив низку лука на шею. Я не исцелял женщину наложением пальцев. Корчился, слушая, как она распознала меня в своем сне – таким, каким меня придумал Лоренцо. Противоречия гнездились не во мне, всегда одинаковом и всегда ином, чем вчера, они были в прожитых мною годах

и в людях, окружавших меня. ”Произвол случайности, того, что мы именуем судьбой, определяет нам царей, мы не знаем, но веруем, что они вечны и неизменны, рожденные с короной и троном, – оживал во мне голос Тимофея. – Мы всегда представляем их себе неизменяемыми, даже когда они исчезают из жизни или из пределов царства. Но ничего не меняется так, как меняется властелин: возвышение чревато распадом, алчностью, эгоизмом, равнодушием к сделавшим его тем, что он есть. Он меняется, делается плоше и плоше, и если не меняются подданные, горе им – до могилы тащить им на горбе его груз”.

Женщина, к которой возвратилось зрение, оттого что она увидала меня во сне, ее родня, сыновья и снохи, уверовали, что я исцелитель, и теперь я мог провозгласить себя новым Фотием Чудотворцем или Лоренцо, я мог властвовать. Мог. Но это было не для меня. Слишком ничтожен был я, чтобы возвысить себя над нищими и превозмочь унижение, которое пережил, не найдя в себе силы воспротивиться злобным пришельцам.

Дождь усилился вдвое и загустел, пробил мою зеленую кровлю и обернул меня в непрозрачные ткани. ”Ефтимий”, – тягуче призывал Спиридон из пещеры. Я слышал его сквозь водяную стену, но стоял, не отзываясь, втянув голову в плечи. В шуме воды возник новый звук: глухие быстрые удары. Вокруг запрыгали белые ледяные зерна. ”...тимий”, – услышал я свое уполовиненное имя и, согнувшись, помчался к утесу, а град отскакивал от моей спины и от рук, которыми я прикрывал голову. ”...мий”, – призывал меня Спиридон.

Я укрылся. Немилосердные и мимолетные жемчужины неба становились крупнее, превращались в тяжелые орехи. Они плотно покрыли землю. Град поредел, а ливень стал еще злее. В беспросветно серых облаках протянулись молнии, загремело. В сосны, прямо в ненасытных гусениц, раскатистым треском ударил гром. Из овражка, где Гаврила Армениан управился со Спиридоновым ослом, долетел шум: к подножью скалы устремился буйный поток, его жестокая сила валила каменные глыбы, тащила за собой коз и коров, ломая им кости, и все, затаившееся под камнем или в траве. Пес Горчин ходил за мной лишь по ночам, днем он не показывался на глаза людям. Значит, поток и его захватил своими огромными лапищами.

Дождь слабел, утих, удалился, холодная белизна покрывала землю. Люди не покидали свои укрытия, чего-то ждали.

Между землей и небом лежало проклятие. После потока, утащившего к Кукулину свою добычу, в овраге затаилась угроза, не в очертании или звуке – в скрытом смысле неведомого.

Солнце лишь на мгновение пробило облака. Выглянуло и скрылось. И опять сгустилась мгла и зависла паутина дождя. Конца ему не предвиделось, его нити нанизывали белизну града, похожего на икру рыбы-усача в море серости.

Глыба, под которую я схоронился, скрывала меня от сидевших в шалашах и пещере. Потому его никто не заметил. Оставив загнанного коня, он приближался ко мне, сам Лоренцо, с размытыми дождем глазами. "Не пристало будущему владыке быть изменником", – укорил он меня, а я уже догадался, кто меня выдал. Он подтвердил. "Не стану тебе лгать, Ефтимий. Да, твой дядя Илия описал мне, где тебя найти. И вот он я, с голыми руками и без охраны, убежденный, что ты вернешься". Я задрожал, не от холода. В его глазницах лежали синеватые градины. Он тянул ко мне руки и шагал, точно оживший монумент. Я предупредил: безумие его чревато погибелью – попадись он на глаза нашим людям... Он не слушал. Лед из глаз расползался по лицу. Губы стали тоньше, растянулись, но это не походило на человеческую улыбку, незнакомое неживое лицо менялось на глазах, принимая чьи-то гримасы и судороги. Я дрожал, бессильный. Хотелось, чтобы это был сон, который минет, и я вернусь в явь, где призраков не бывает – даже не прикасаясь, он высасывал меня с бесовской похотью. Я поднял руки, чтоб защититься... чтобы убить его... чтобы низвергнуть это исчадие ада. Мне ли его низвергнуть? Я умел лишь защищаться и убивать. И тут появились Спиридон и Секало, Спиридон узнал его по пурпуровой обуви и раковине на груди, но судьей мог стать только Секало. И стал. Ухватил его и потащил за собой.

Я не мог согреться возле костра, на мне испарялась влага, из меня – кровь. Сидевшие рядом мастерили из молодых буков копья, острили топоры на камне. "Он сам попросил нож у Секалы, – подошел ко мне Спиридон. – И – ножом, сам, понимаешь?.. Закутайся в накидку, она сухая. Пойдем со мной. Рана на груди белая, словно в нем не было крови". Я закрыл глаза, молчал и тосковал. Мне не хватало Горчина. Гася жар в утробе, Стефания и Саве, внучата покойной Санды Сендулы, жевали ледяные комочки.

Вольно или невольно Илия обезглавил чудовище, виновное в наших бедах; а я в тот дождливый день, в мгновение, протянувшееся между двумя ночами, постиг, что знаю больше мерт-

вых, чем живых. Я поднялся, чтоб отыскать свой молодой бук и заострить его с одного конца, – больной и слабый, я должен был стать ратником, каким был Тимофей и тысячи до него. Воодушевления не было, я не понял тогда и навряд ли понимали другие: чума нас наняла в жнецы, дабы пометить своим серпом обреченных.

8

И ИЗБАВИ НАС

Лоренцо был мертв.

In vita aeterna, в жизнь вечную являются не из бесплотности, а ступают священнодейством, на мгновение освобождающим от плоти. Однако же не всегда должно давать предпочтение духу: все мы, даже цари, минувшие, земные, наделенные правом выбирать, как и какой дорогой шагать, дабы достичь божественного престола, к коему грядущие поколения протянут руки за поспешением, но – всуе, если нынешнее, наше время не уразумеет смятения крови, своей, твоей и моей.

В этих словах Лоренцо я находил смысл, какой вряд ли он предполагал. Строчки на присланном пергаменте не казались двусмысленными, во всяком случае не тогда и не мне; в них, словно придуманных прозорливым мудрецом, был завет, и относился он к тому дню, когда мы должны схватиться с нашественниками, от которых сбежали, *ибо в жизнь вечную являются не из бесплотности... ибо все мы, даже цари минувшие, земные, наделенные правом выбирать, как и какой дорогой шагать...* даже если это случится раз в жизни, для нас это будет не *священнодейством, на мгновение освобождающим от плоти...* а действием, освобождающим плоть от многих чаяний и страхов: погибель не довольствуется частью жизни, она требует тебя целиком и целиком принимает, и тебе не стать после этого ни именем, ни смыслом в истории; явятся другие кроить и перекраивать эту историю по своим надобностям, не важно, будут ли они чужаками или здешними торговцами прошлого маленького и проклятого богом народа Кукулина, Бразды, Побожья, сел под чернолесьем.

Илинка Пенковица, к которой зрение возвращалось лишь во сне, чистая и набожная, укутанная в черное, снова увидела меня – высоким, в золотых латах, повелевающим молниями и потоками, что вернут людям покинутые очаги и очистят нивы; а пока на тех нивах, она, слепая, это видела, чужаки соби-

рают жатву, занимают наши дома. Некоторые ей верили. Я не знал, как защититься, как остаться собой – неприметным и неотличимым от других. Украдкой Агна схватила меня за руку. ”Не ходи, – прошептала. – Тебе с ними не тягаться”. Губы белые, тонкие. Я спросил, неужто она хочет, чтобы кто-то своей жизнью проторил мне дорожку, а я по ней вошел в Кукулино победителем. ”Я слишком молода, чтобы оставаться вдовой”, – ответила она. Я даже отшатнулся. ”Тогда выдумай себе бога и молись за меня”, – вспылил. Я знал ее страхи. Она боялась за меня и опасалась, что я стану мстить Илии – слышала, как до меня добрался Лоренцо. Я поискал и нашел утешение, для нее, не для себя. ”Иди к Росе. Я Илию не считаю предателем. С придурка какой спрос?” – ”Ты мне снился кровавым”, – услышал я. И только-то – кровавым!

В те ночи всем снились сны. И мне тоже: из земли под Синей Скалой, от лучисто растворившейся глубины протянулась исполинская рука. Косматая и черная, покрытая шрамами и язвами. Длинными ногтями раскапывает она небеса, с них валятся раскаленные глыбы и засыпают меня. Агна плавится и тает, превращается в огненный поток, на его зыблющейся поверхности глаза с золотыми точками в глубине, из которой двойным отражением таращусь я, тоже объятый огнем. Глаза Агны – это все, что от нее осталось. Живые, они растут, и слеза, только одна, дрожит и блистает, потом она испаряется в зное, оседая росою на деревья и камни...

Ночная стужа превращала пламень в лед – я просыпался закоченевший. Но и бодрствующего лихорадка забирала меня в недоконченный сон: рука схватывала меня и вскидывала ввысь, а затем бросала падать немого, без молитвы на языке, долго, очень долго, до начала или до скончания жизни, а чуть в стороне, на холме среди огненного моря, стоял с распоротой грудью Лоренцо и твердил монотонным голосом – приди, Ефтимий, приди, приди! – и напрасно я пытался взлететь и вернуться на небеса, я падал и падал, боясь не смерти, а возможной жизни нас обоих, Лоренцовой и моей. Но и этот крик был голосом сна. Такие сны страшнее смерти, ибо мертвые страха не имут.

Ира, жена Волкана Филина, плакала в своем и моем сне, плакала она и сейчас – побитый кустик с дрожащей душой. Ее муж – топор за поясом – и Гаврила Армениан словили в овраге бродягу. Вели несвязанного – подгонять не пришлось. Остановился перед Секалой и улыбнулся бесхитростно и безвинно. Не знал он, что поставлен пред судьями безмилостными, не

прощающими никому, кто оказался не в их стане. Кабы не такой случай, все в нем выглядело бы смешным – и реденькая бороденка, и короткие тупые ступни под корой грязи, и жалкий писклявый голос. И имя – Терапонтий Кирияк. Ко всему услышанному он прибавлял от себя слово – нет. Розыск вели Секало и Спиридон. "Ты их лазутчик?" – "Ты их лазутчик – нет..." – "Доносчик, ты..." – "Доносчик, ты – нет..." – "Добро ж, хотел смерти и нашел ее..." – "Добро ж, хотел смерти и нашел ее – нет..." Он не понимал, что для них он охвостье всех зол, начавшихся с того дня, как явились в наши края нашественники с бичами и раковинами. Стоял с улыбкой. С уголка губ свисала перламутровая слюна. Сомневающиеся в его вине были. Многие, но не все. "Отпустим его, – робко вмешался Гаврила Армениан. Глупость, любую, он почитал за святую вознесенность, мудрость становилась межой меж людьми. – Давайте его отпустим". И тут Терапонтий Кирияк, то ли дурачок, то ли мудрый, вынес себе приговор. "Давайте его отпустим – нет". И улыбался. Без этого "нет" он произносил только свое имя. Монах трижды спросил его, и трижды он пискляво ответил – Терапонтий Кирияк. "Вы будете прокляты, если отымете у него душу, – встала Лозана. – Слышишь ты, Спиридон? Стократ прокляты". Спиридон молчал, прятал глаза. Секало ее не слушал. Лицо строго вытянулось, словно у апостола с церковной фрески. "Веди его в сосновый лесок, – обратился он к нахмуренному Волкану Филину. – И возвращайся один. Сделай это".

Волкан Филин вернулся один. Сел на камень, уперев лоб в колени. Его жена Ира плакала.

Вчерашние облака только теперь принялись редеть. Все выстраивая в свой ряд – и несуразицу, и зло, – солнце вышло попрощаться с покойником, угодившим в попутчики к неисчислимым предшественникам, без лица и без имени. Терапонтий Кирияк! Боль в желудке была не сильнее нараставшей тоски. Я горел, грыз коросту на затверделых губах, понимая, что Секало своим приговором закалял слабаков и делался себе и в себе главарем, знать не желающим слова "нет".

Влекомые предчувствием или призванные кем-то, из Кукулина с вилами и секирами явились Исидор, Зарко и Мартин, вместе из нас получилось малое войско: Спиридон, Трофим, Волкан Филин, Иоаким из Бразды, Исо Распор, Пандил Пендека, Гаврила Армениан, сын покойной Санды Сендулы – Димуле, зять и сын слепой Илинки Пенковицы – Добромир и Джордже, худые и, точно близнецы, одинаковые, Герасим, два его срод-

ника – Нетко Кукулинский и Павле Смук, я и еще не помянутые мною из сел под чернолесьем, в большинстве своем не слишком старые для рогатины без железного наконечника, для топора и вил, было всех два с половиной десятка, и впереди всех и над всеми еще один, известно кто – Секало. Я многих не помянул и вот теперь поминаю, перед погибелью ничье имя не должно забываться: Наум, коваль из Кучкова; молчаливый и глуховатый Андрей, молодой, из того же села; Рашко Нафора и Силян Рог, братья, промышляющие кражей скотины, из Побожья; Божидар с изувеченной рукой, бывший рудокоп и бродяга; Петко Нижнев, шурин Райко Стотника, малолеток; Наце Сучало, бондарь и травщик, желтый робкий вдовец из Любанцев.

"Сколько их в Кукулине?" – подошел я к Мартину. "Втрое больше, чем нас", – ответил он. "Их же было много, – заметил я, – сотни и сотни". "Было, – согласился он. – Да многие сгинули. Расползлись по селам, а то воротились в Город. Те, что остались, живут в домах. Жнут, зимовать собираются в Кукулине". Спиридон толкнул меня локтем. "Считать надо не только мужчин". Он не смеялся. И вправду. Агна, Роса и еще коекто из молодых женщин ладили себе буковые копья. Третья десятка становилась полной, а если добавить малолеток тринадцати, четырнадцати, пятнадцати лет, то и того больше.

Введением в битвы прошлого были, без сомнения, молитвы церковных иерархов, пред коими становились на колени и логофеты и кесари. "Склонитесь, – вознес руку монах Трофим. – Помолимся". Из мужчин на колени опустились только двое, Гаврила Армениан и Герасим. Трофим начал: Послушай, отче наш, нарицаемого раба твоего, ништ же един именем, Трофим, моление его есть избави нас од истление, всех, и старейших и отрочих, отче наш, иже еси взел плот и души наших вскрай трона твоего, и избави нас од недуг и акриди, всегда имах пит од плода твоего и лознаго и поедат од плода твоего и земнаго, неповинен ест сам, и избави нас и дай нам врачевание од струпи смрти, погубити – не, глаголаше раб твой Терапонтие Кирияк, абие мзда би его погуба, и избави нас...

"Аминь", – голос, имени в лад, секучий, как лезвие. Вырванный из бессильной молитвы, Трофим открыл глаза и устремил их на грозного Секалу. Зубы монаха оголились, десны опали к корням. Словно искра, гаснущая на морозе, расплывался взгляд. Молитва не кончена – хотелось ему взбунтоваться. Но промолчал. Царь не смел учинять такого с владыкой в тяжелых драгоценных ризах – корону давал и отнимал господь.

У Секалы короны не было. ”Женщинам и детям двигаться далеко позади, – распорядился он. – Тому, кто боится, оставаться тут. Тронулись”.

9

КОНЕЦ ВВЕДЕНИЙ

В лето шесть тысяч восемьсот шестьдесят первое – три года прошло и три месяца с того дня, как покинули мы Синюю Скалу, – Секало, перед тем как скинул его лютый конь прямо на кол из завалившейся ограды нового дома покойного Спиридона, заходил ко мне. После битвы с нашественниками он прижился в Кукулине, поставленный Городом в старейшины, женился на вдовице Тамаре, заимел двух дочек, своих, да сына с дочкой от забытого Исидора, и, хоть мы не были близкими (трудно любить того, кого опасаешься), пришел ко мне ночью накануне Успения и попросил медовины. ”Сколько крови мы пролили, Ефтимий, своей и чужой, – промолвил, бледный, без былой остроты в голосе и в глазах. – Сгибли Исидор, Гаврила Армениан, Герасим, Павле Смук, Наце Сучало да еще, хоть и недруг наш, твой дядя Дойчин. А иные из тех, что пристали к нам, изувечены. Димуле хромает, Нетко Кукулинский без глаза. Кровью волю свою оплатили. А воли нет. Принуждают меня забирать у вас треть всякой жатвы на потребу наемных ратников Города. Монахам новым, разбойникам в рясе, опять вы пашете ниву. Воля, собачья жизнь. – Глаза его мутнели от медовины, на скулах поигрывали желваки. На столе между нами трепещет огонек, выбивающийся из глиняной плошки с воском. – Воля? – Его тень покрывает всю стену. – Опять обман – рабство, никакой воли. А скольких мы тогда поубивали? – Попытался припомнить сам. – По трое на каждого нашего. Жуть, два дня могилы копали. Девять или больше для своих и одну, поглубже и пошире, для тех. Достроили в честь победы церковь, начатую сорок или пятьдесят лет назад, Трофим сражался, подарили ему покинутый дом. Воля? – Он сжал кулаки. – Она самая. Только в оковах да в вечном страхе перед всем: перед алчностью городских старейшин, перед сушей и градом. Чума нас обошла, зато злые беды не миновали. Ночью тону в крови пролитой, вскакиваю во сне точно бешеный. Долго не выдержу. Или шайку соберу грабить Город, или удавлюсь. Нету мочи”.

Тогда. А до того – по дороге ухватили троих. Как зовут? Арсений. Волкан, Богосав, ведите его и возвращайтесь одни...

Как зовут? Флориан. Герасим, Димуле, ведите его... Как зовут? У меня нету имени. Добро. Будешь Неврат-Пропащий... Нетко Кукулинский, Ефтимий, ведите его. Вместо меня пошел Спиридон. Я жалел троих супостатов, прихваченных на дороге: первый с гноящимися глазами, тщедушный, искривленный на ту же сторону, что Спиридон; второй, молоденький и голобрадый, даже не понял, что его ожидает; третий, ровесник Исо Распору, мог быть и отшельником, и разбойником, и мелким воришкой. Допрашивал Зарко, приговор выносил Секало.

Спиридон потом исповедался перед монахом Трофимом: душ у них не отняли, не взяли греха – Арсений, Флориан и Пропащий обещались больше не заглядывать в наши края.

Как бы взамен троице, выпущенной тайком и сгинувшей, к нам присоединилась другая, то ли из Бразды, то ли из Побожья, двое с вилами, один с косой. С вилами – отец и сын, Рачо и Петрушко, широколицые и широкоплечие, садовые ножи за поясом, спешили с каждым поздороваться за руку, третий же, Епифаний Горский, пребывал в недоумении – то ли воротиться, то ли остаться с нами, озирался испуганно, словно впервые вылез на свет божий. "Спокойный, – кивнул на него Ра́чо. – А бывает, нападает на него блажь – хватает пса и норовит его ободрать живым. Гляньте-ка ему на руки, до локтя в шрамах". Епифаний Горский молчал, будто не слышал. "А нынче-то он в себе ли?" – спросил Спиридон. "Он всегда в себе", – ответил Рачо. "Всякие бывают, – вмешался Исо Распор. – Трипун Пупуле, братом он доводился Патрикии Велесильной, тоже вот был спокойный. Он даже и псов не хватал, драл собственные ладони, все доискивался, что там под кожей сокрыто и какая такая сила заставляет их держаться за косу. Из кожи той, нежной да новенькой, какую с ладоней надрал, рубаху себе пошил". – "А ты, Рачо, ты-то спокойный?" Рачо подтвердил кивком головы. "Я спокойный, пью, когда есть, да молюсь. Когда нету, небеса оставляю тем, у кого есть, нищему бога не надобно". Это был вызов монаху Трофиму. "Кто к нам пристает, должен присягнуть на верность, иначе веры ему не будет. Епифаний Горский ведь не немой поди?" "Не немой, – согласился Рачо. – Молчит только. У него это вроде поста. Со Страстной пятницы словечка не вымолвил. Могу заместо него присягнуть, честной отец. Я приглядываю за ним".

Словно пытаясь растянуть день или приблизить беззаботную ночь, мы болтали всякую несуразицу. Так и сотворяло сказания славянское наше племя: откладывало судьбоносные решения, посиживало, выжидало да пило, разглагольствуя о том о

сем; у многих в голове пустовато, завтра землицу черепа наши не слишком обременят.

Секало не скрывал нетерпения. Сидел верхом на коне – Лоренцовом. "Прими присягу, отче Трофим, да в путь". Но и в пути, словно для того и отправились, мы не унялись. Гаврила Армениан (на каждом плече по торбе) дождался своего мгновения – задышливо вводил нас сквозь хрустальные двери в мир, который вечером, у костра, казался куда реальнее. Был он грузен и медлителен, потому и вышагивавшие рядом с ним отставали. Рачо, Исо Распор и Пандил Пендека сомнительно относились к его библейским повествованиям. В тот же день, чуть позднее, все сказания его покончились вместе с ним.

"На яблоне растут яблоки. Это всякий знает. Даже молчальник постящийся Епифаний Горский. Во дворе Патрикии Велесильной, имя тут не имеет значения, ее могли звать Зиновия или Евстратия, возрос из яблока ствол. Небольшой. Как эта гора за нами – всего-то. Ветки усажены плодами. Солнцами. Тысячи их, может, на штуку, на две побольше. Ночи нет, бесконечный день. И что б вы думали, пошли кражи. Каждую ночь пропадает по солнцу". Исо Распор словно бы возбудился: "Ты чего мелешь? Сам же говорил – ночи нет, бесконечный день". Гаврила Армениан не смутился или виду не показал. "Как это нету ночи? – удивился он. – Всему на свете полагается отдых. Глазу, лисице, воде. И солнцу. Во дворе Зиновии или Евстратии солнца погружались в сон. Так ли, эдак ли, с сонным всякое можно сотворить. Вот солнца и воровали". Он замолчал. Ждал мгновения, чтобы продолжить, а может, ждал, что его попросят об этом.

Рачо вышагивал на пядь-две впереди коробейника. Смерть стиснет ему пальцами сердце не первому – он поживет чуть подольше Гаврилы Армениана. В тот день, когда ему предстояло проститься с солнцем и со сказаниями, он выискивал чудо, чтобы тень его перекрыла растущий из яблока ствол. Епифаний Горский молчит – постится.

Я заспешил, оставляя их за собой, и нагнал братьев Зарко и Исидора. Тогда я не ведал, что прощаюсь с младшим – в полдень, к которому мы приближались, он отойдет к мертвым. Выглядел он печальным, солнцу не удавалось озарить его задумчивые глаза. Я не знал, что его ждет, и боялся за себя: у Лоренцовых людей нет ни лиц, ни сердца, они не с этого света, убивают, а сами бессмертны. Исидора забили дубинками и доконали ножом – на его месте я видел себя, бессильный отделаться от преследовавшей меня смутной картины. Мы перекинулись

словом. Тамару не поминали, ни он, ни я. "Словно на смерть нарывается, – жаловался мне обеспокоенный Зарко. – Будет убивать, а защищаться не станет". Герасим пытался его успокоить. "Да они разбегутся, только нас увидят. Они ведь не ратники, а злодеи. Правда, Павле?" Тот согласился. Оба они, Герасим и Павле Смук, тоже не знали, что проходят под радугой смерти, а их Аргир, младший братишка Павле, он к нам присоединится в бою, хилый и тщедушный и для рогатины, и для ножа, выживет изувеченный, останется до конца дней своих бледным и заикающимся.

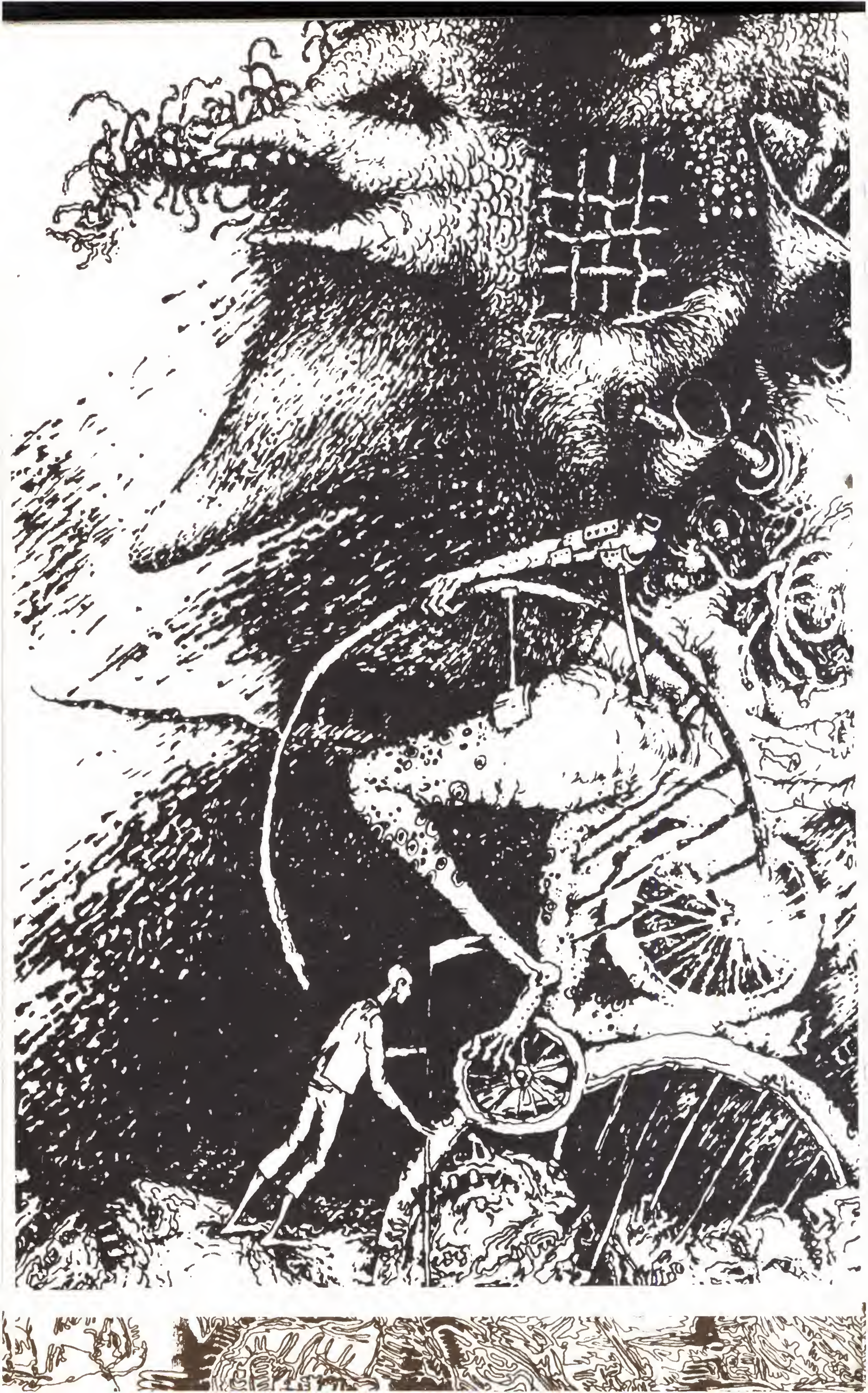
За нами в отдалении спускались женщины и дети, впереди простиралось Кукулино, с домами, гнездами жизни, и с пепелищами – распавшимися черными костяками домов. Там и сям, посреди жарчайшего месяца лета, дымились трубы. Меня охватил озноб. У Тимофеева дома, не его уже, не Агны, не моего, неведомый человек, новый хозяин без лица и без возраста, оправлял кровлю. Даже в самые лучшие дни моей юности деревья не казались мне такими зелеными. Над болотом и на западе за Давидицей желтовато стелились скошенные нивы, по ним неслышно и плавно ступали тени облаков. А между двумя крепостями собирались малые и большие группы пришельцев: солнце взблескивало на отточенных косах. "Знают уже, поджидают нас", – прикрывая страх, шепнул Нетко Кукулинский. Он был молод, как и многие. Вчера еще, мастеря себе буковые рогатины, мы не ведали, что вот так остановимся в раздумье, не зная, как приступить к бою, не абы какому, а нашему – за свой кров и порог, не на жизнь, а на смерть. Увидев все воочию, мы не сразу освободились от нерешительности. Я понимал: в нападение мы пойдем тем же медленным, осторожным шагом за Секулой, с топорами и вздетыми вилами и косами, с рогатинами без железного овершья. Трофим не стал требовать, чтобы мы помолились. Ветерок пошевеливал его волосы – в рясе и с копьем он мог сойти за архангела и небесного мстителя, которому не воспротивился демон толпы. "Слышу их, они молятся за меня, – выпрямился он. – Они, мои убиенные братья монахи: Досифей, Мелетий, Герман, Архип и Филимон". Его драная ряса была как трепещущая хоругвь новой веры, дающей и требующей кровь. Одесную и ошуюю от него стояло по старцу ангелу – Пандил Пендека и Исо Распор, сзади, похожие на них, Гаврила Армениан, Рачо и молчащий постник Епифаний Горский. Молодые чувствовали себя надежнее рядом с Зарко. Остальные собирались вкруг Секалы, плечо к плечу, черпая силу друг в друге.

Женщины уже подошли к нам, среди первых Агна с палкой из молодого бука. "Вернись, – глянул я на нее. – Этот день – мужской праздник". Она не ответила, встала рядом, не одна, с Росой, Лозана тоже стояла возле отчима моего Спиридона.

Из Кукулина кто-то шел. "Илия! – крикнул я Росе. – Идет к нам". "Может, его послали для переговоров, в Кукулине к

нам присоединятся и остальные", – сказал кто-то позади меня. Секало сошел с коня. "Никаких переговоров, – отсудил он. – Двинули, братья". Волкан Филин и Иоаким из Бразды перекрестились.

Было тихо. Как во сне. Пахари вдыхали теплый запах своей земли – земли, которая ждала их.



МОЛИТВА МАТЕРИ МИНАДОРЫ

От рождения Борчилы, свидетеля сражений с крысиными легионами, до предполагаемой кончины Ефтимия Книжника пролегло два столетия. Меж этими временными точками родился и упокоился Тимофей. Жили, а не имеют могилы. Время призраков отлетело, Кукулино ныне под кривой иноверской саблей, и я последняя молитвенница за отошедшие души.

Молюсь камню и молюсь воде. На старых стенах вокруг меня слепые святители: им выкололи глаза. Может, они глухие. Не услышат мою молитву. Может, и я немая. Кровь во мне шелестит – *скончах словеса своих именами упокоених*: Агна; Аскилина, монахиня; Алгир; Ангел; Андон; Андрей; Андроник Ромей, послушник; Андруш Кобник; Антим, монах; Анче; Апостол Умник; Арам Побожник; Арсений; Арсо Навьяк; Архип, монах; Баце, разбойник; Бинко Хрс; Благун, отшельник; Блажен; Богдан, следопыт; Богосав; Божана; Божидар; Божьянка; Боян Крамола, кузнец; Борянка Йонова; Борка; Борко; Борчило, грамматик и вампир, по собственному уверению; Боса; Босилко; Боци; Василица Гошева; Велика; Вецко; Викентий, иконописец; Владимир; Войка Вейка; Волкан Филин; Вуйче Войче; Гаврила, ратник; Гаврила Армениан; Галчо; Ганимед, ратник; Ганка; Гена; Герасим; Герман, монах; Гликерия; Гора; Горан Преслапец; Гргур; Гулаб; Давид, разбойник; Дамян; Данила, разбойник и ратник; Даринко; Дарко Фурка; Деж-Диж, ратник; Денисий Танцев; Деспа Вейка; Деспот; Димуле; Добромир; Добросава; Дойчин; Долгая Руса; Донка; Досифей, монах; Драгуш; Джордже; Ефтимий Книжник; Елен, ратник; Епифаний Горский; Ефимиада, монахиня; Жалфия; Живе, могильщик; Житомир Козар, ратник; Зупан; Зуборог, ратник; Зарко; Зафир Средгорник; Захарий; Иван Ангел; Илларион; Илия; Илинка Пенковица; Имела-Омела, ратник; Ипсисим; Ира; Исайло, человек или крыса; Исак; Исидор; Исо Распор Найденко; Яглика, колдовка; Яков, разбойник; Янко, ратник; Иоаким из Бразды; Йовко Иуда; Ион, позднее Нестор; Иосиф, разбойник; Камен-

чо; Канон, бондарь и седельщик; Карп Любанский; Катина; Киприян, монах; Кирилко; Клоп-глава, ратник; Клоп-нога, ратник; Косара; Коста Рошкач; Коца; Кублайбей; Кузман; Куноморец, ратник; Листовир, ратник; Лозана; Лоренцо; Людвиг, сакс; Лукар; Лукиян Жестосердец; Любе; Макарий, судия; Максим, знахарь; Манойла; Мартин; Матрона, монахиня; Мелетий, монах; Менко; Миялко, травщик; Миломир, разбойник; Мино; Минуш; Мирон; Мито; Найдо Спилский; Наста; Наум, кузнец; Наумка, колдунья; Наце Сучало; Невен; Невена; Неврат; Нетко Кукулинский; Нико, разбойник; Нуне; Павле Сопка; Панда; Пандил Пендека; Панко; Папакакас, разбойник; Пара Босилкова; Парамон; Патрик, разбойник; Пейо; Перуника; Петкан; Петко Нижнев; Петра; Петрушко; Поликсен; Првослав; Пребонд Биж, разбойник; Прокопий Урнечкий; Прохор, монах; Радика; Размо; Райко Стотник; Рахила, чадо человеческое или крысиное; Рачо, Рашко Нафора; Рила Наковска; Рина; Ринго Креститель; Робе; Родне; Роки, ратник; Роса; Румен; Русе Кускуле; Русиян; Саве; Санда Сендула; Салтир; Санко; Секало; Серафим, князь Терновенчанный; Силян, разбойник; Силян Рог; Симонида; Славе Крпен, Смилка Богданица; Соломон, строитель; Спиридон; Стамена; Стана; Стефания; Стоимир, ратник; Тамара; Тане Ронго, разбойник, Теофан, монах; Терапонтий Кирияк; Тимофей, потом Нестор, потом опять Тимофей, книжник; Трофим, монах; Угра; Угрин; Урания; Урош; Устиян Златоуст; Фиде; Фила; Филе; Филимон, монах; Фидамена; Флориан; Фоя; Фотий, чудотворец; Фросия; Цако; Цветко; Цена; Цене Локо; Чако Чанак; Черный Спипиле; Чеслав, разбойник; Шана; Шурко Дрен.

И во памят упокоених скончах словеса своих, а ти одвратил еси лица своего од всех добрих и злих, без моления моих упокои их или презиром упокои мене: скончах словеса своих, во 1835, по старому – седумтисушто трисотное тридесеттретое лето многузвездное и многугробное.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Основоположник македонского романа, прозаик и поэт, лауреат многих союзных и республиканских наград, член Македонской академии наук и искусств Славко Яневский (род. в 1920 г.) дебютировал в 1945 году сборником стихов "Кровавое ожерелье", вобравшим в себя опыт военных лет – С. Яневский участвовал в народно-освободительной борьбе в составе Третьей македонской ударной бригады. В 1952 году вышел в свет его роман "Село за семью ясенями" – первый роман на македонском литературном языке. С тех пор писатель много и плодотворно работает в самых различных жанрах: кроме восьмитомного кукулинского цикла (выходящего в 1989–1990 гг. отдельным юбилейным изданием) опубликованы три сборника его рассказов, сборники стихов (самые известные – "Хлеб и камень", "Евангелие от лукавого Пейо", "Окованное яблоко", "Астропеус", "Змеи для игры", книги для детей, сценарии, сборник путевой прозы "Горькие легенды"). С. Яневский – автор научных статей в области литературоведения, истории литературы и литературной критики. Произведения С. Яневского переведены на все языки СФРЮ, а также на русский, украинский, английский, немецкий, французский, итальянский, польский, чешский, румынский, венгерский, турецкий и эсперанто.

ПРИМЕЧАНИЯ[1]

С. 18

Было лето шесть тысяч восемьсот тринадцатое... – дата летоисчисления от "сотворения мира". Для перевода в современное летоисчисление используется постоянное число 5508: 6813––5508, т. е. 1305 год.

С.19

...до падения Андроника Комнина Византийского, когда... нахлынули норманны и подрезали корень его царства. – Андроник I Комнин (ок. 1123–1185) – византийский император с 1183 г. Проводил политику террора по отношению к аристократии. Организовав против него заговор, столичные и малоазийские аристократы призвали на помощь южноитальянских норманнов – злейших врагов Византии. Во время восстания в Константинополе Андроник был растерзан толпой, а затем казнен*.

С.20

...и крестоносца Фридриха II, проклятого папой Григорием... – Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250) – германский король с 1212 г., император Священной Римской империи с 1220 г., король Сицилии с 1197 г. Боролся с папством и североитальянскими городами, несколько раз отлучался от церкви.

...одолели на Калке православие и его князей. – На реке Калке произошло первое (31 мая 1223 г.) сражение русских и половецких войск с монголо-татарскими войсками, одержавшими победу.

...по нашим пределам наступал конец богомильскому непокорству... – Богомильство – антифеодальное движение X–XIV вв. на Балканах, принявшее форму религиозной ереси*.

С. 21

...во времена Первого Стефана... – Стефан Неманя (1113 или 1114–1200) – великий жупан, основатель Сербского государства и династии Неманичей. Добился признания независимости Сербского государства от Византии (1190)*.

С. 22

...добытые Филипповым Александром. – Александр Македонский (356–323 до н. э.) – сын царя Филиппа II, воспитанник Аристотеля, царь Македонии с 336 г. Путем завоеваний образовал огромную монархию, которая распалась после его смерти. В средневековье об Александре Македонском ходило множе-

[1] Примечания С. Яневского; примечания, отмеченные знаком *, – Н. Смирновой.

ство легенд (в книжной традиции – различные версии Александрии, восходящей к греческому роману об Александре Македонском Псевдо-Каллисфена), изобилующих сказочными подробностями*.

С. 25

Скупи – старинное (античных времен) название Скопле.

...а Византия и царство Никейское под Ласкарисом и под Ватецом... – Теодор I Ласкарис (1206–1222) – византийский император, основатель Никейской империи, объединившей под своей властью разрозненные силы феодалов после падения Византии (в результате IV крестового похода после захвата Константинополя на части территории возникло новое государство – Латинская империя, 1204–1261). Преемником первого никейского императора стал его зять Иоанн III Дука Ватац (1222–1254)*.

С. 30

Поста – первая сжатая полоса, прославляемая молитвой для успеха дальнейшей жатвы.

С. 33

Скиния (*греч.* шатер) – в Библии походный храм иудеев, в котором хранили ковчег Завета.

...торговал с ромейскими городами и самой Рашкой... – Ромейские города – византийские, Рашка – в средневековье юго-западная часть нынешней Сербии.

С. 35

Киттим – библейское название о. Кипра.

В средние века звание *Magister artium liberalium* (M.A.L.) носил учитель так называемых свободных наук, впоследствии звание присваивалось как ученая степень на философском факультете.

С. 37

Аскирит – писец в императорской канцелярии.

Иоанн Златоуст (347–407) – византийский церковный деятель, талантливый проповедник, с 398 г. – константинопольский патриарх, в 404 г. низложен за обличительный характер проповедей и отправлен в ссылку. Автор множества богословских трудов, проповедей и псалмов*.

Эрделия (Эрдель) – Трансильвания*.

...Голиаф с душою Давида... – По библейской легенде, юноша-пастух Давид, будущий царь Израильско-Иудейского царства (конец XI в. – ок. 950 г. до н. э.), победил в единоборстве великана-филистимлянина Голиафа и отсек ему голову*.

Кратисский – от "Кратис" – старое название македонского города Кратова*.

С. 38

...заплутавшийся средь балканской жути Зигфрид... – Зигфрид – герой эпоса германцев*.

С. 39

Доброзлой – олицетворение дуалистических представлений о равноправности двух управляющих миром начал – доброго и злого.

С. 42

...Иезекииль из племени пророков... – Далее цитата из Библии, Книга Иезекииля, 38:22*.

С. 43

...обученного на холме Святой Женевьевы в далеком городе. – Имеется в виду г. Париж, центр средневекового богословского обучения*.

Зло из себя выделяло зло в обличье крысиного Арнольда из Амальрика. – Имеется в виду Арнольд Амальрик, папский легат во время крестового похода 1209 г. против альбигойцев. По преданию, он изрек фразу: "Убивайте всех, Господь своих узнает!", ставшую символом жестокости крестоносцев.

С. 55

Модий – 8,76 кг.

Мануил I Комнин (1123?–1180) – византийский император с 1143 г.*

Канон (*греч.* правило) – в христианском богослужении цикл песнопений, входящих в состав утрени; полные каноны состоят, как правило, из девяти песен.

С. 59

Первый эпиграф взят из Библии – Книга Пророка Наума, 3:7*.

С. 61

Стоби – античный город, остатки которого сохранились в верховьях реки Вардар.

С. 73

...с садами из мандрагоры... – В средние века мандрагора славилась волшебными свойствами: считалось, что она лечит от бесплодия, приносит богатство и т. д. Колдовская репутация мандрагоры отражена и в художественных произведениях (у Н. Макиавелли, А. фон Арнима, Ш. Нодье)*.

С. 78

Юбилей (от *др.-евр.* рог овна: у древних иудеев в юбилейный год, раз в пятьдесят лет, трубили в бараний рог) – библейское название для каждого пятидесятилетия.

С. 88

...из времен Александрийского священника Ария... – Арий (ум. в 336 г.) – священник из г. Александрии, зачинатель еретического течения в христианстве IV–VI вв. Согласно его учению, Христос как творение Бога-отца – существо, ниже его стоящее. Арианство осуждено как ересь церковными соборами 325 и 381 гг.

...во дни римских царей... – Далее перечисляются первые семь (86 до н. э. – 509/510 н. э.) римских царей (слово "цари" здесь применимо условно, это скорее выборные племенные вожди, одновременно являвшиеся военачальниками, верховными жрецами и судьями), сведения о которых носят преимущественно легендарный характер*.

С. 90

Лифостротон – по евангельской легенде, судилище, каменный помост, на котором восседал Пилат, пославший осужденного на казнь Иисуса Христа на Голгофу; в апокрифах лифостротон нередко отождествляется с горой Голгофой.

С. 103

Озеро Лихнидис – Охридское озеро (старинное наименование)*.

С. 114

Андроник II Палеолог (1282–1328) – византийский император*.

Моноксилон – челн, выдолбленный из цельного дерева.

С. 115

Кановер – красная краска для выписывания заглавных букв*.

С. 129

Оттокар – Пржемысл Оттокар I (1197–1230), король чешский, добившийся от Фридриха II признания независимости Чехии*.

С. 130

Пентеконтера – пятидесятивесельное судно.

Керакосор – город на реке Нил, ныне Ал-Аркас.

С. 131

Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

С. 135

Лазарь – евангельский персонаж; по евангельской легенде, воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после смерти*.

С. 136

Индикт – введенный в 312 г. византийским императором Константином Великим (ок. 285–337) цикл 15-летнего исчисления времени вместо олимпиад.

Пентаграмма – в средние века магический знак, изображавшийся на амулетах.

С. 142

...семь худых коров непременно сжуют и заглотят семь тучных... – Имеется в виду библейский рассказ о снах фараона, истолкованных Иосифом (Бытие, гл. 41)*.

С. 143

Мойры – в древнегреческой мифологии три дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы (в древнеримской – парки).

С. 144

Каллиопа – в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница эпической поэзии и науки, мать легендарных певцов Лина и Орфея.

С. 145

...ураган, вызванный магией раскаленной Бородатой звезды... – Можно предположить, что имеется в виду комета Галлея, период обращения которой вокруг Солнечной системы составляет около 76 лет, видимо, речь идет о событиях 1208 г., имевших место за сто лет до нашествия крыс.

С. 148

...отпрыска лозы Авиценновой... – Авиценна (Ибн Сина, ок. 980–1037) – арабский ученый, философ, врач. Трактаты Ибн Сины были чрезвычайно популярны на Востоке и на Западе.

С. 152

Сефер Йецира – Книга Творения, древнейший литературный каббалистический памятник; написан на классическом иврите.

С. 164

Аттила–Милутин. – С V по XIV в. Македония переходила из

рук в руки – находилась под властью римлян, византийцев, сербов, болгар. Аттила – царь гуннов с 433 по 453 г. Милутин – сербский король (1282–1321) из династии Неманичей.

С. 170

Субботний путь – библейская мера длины, около двух тысяч шагов.

С. 180

Макпели, Сукот, Мигдол – географические названия из еврейских мифов.

С. 184

Битвы на севере между братьями Милутином и Драгутином... – Милутин и Драгутин – сыновья сербского короля Уроша I. Драгутин в 1276 г. разбил войско отца и занял королевский трон, вскоре (1282) отказался от власти, вероятно, под давлением феодальной знати, в пользу младшего брата Милутина, оставив себе в управление некоторые области в Северной Сербии; опираясь на поддержку Венгрии, создал на северных границах Сербии фактически самостоятельное государство; умер в 1316 г.

С. 187

Парик – зависимый земледелец в феодальной Македонии.

С. 195

Галгалсфиравесалий – вероятно, соединение библейских имен Гаогар, Эсфирь, Авессалом.

С. 199

Палимпсест – в палеографии рукопись, для написания которой переписчик использовал папирус или пергамент с предварительно стертым текстом, следы которого видны под поздней записью.

С. 216

Такой жизни святого или Агасфера... – Агасфер – осужденный богом на вечную жизнь и скитания за оскорбление шедшего на Голгофу Иисуса Христа*.

С. 224

Ганимед – сын троянского царя Троса, любимец богов Олимпа, похищенный за красоту Зевсом.

С. 227

 Мияки – македонское племя, обитавшее по среднему тече-

нию реки Радики и занимавшееся скотоводством*.

С. 231

...поищу я гору Иеремиеву... – Имеется в виду Сион, гора в Иерусалиме*.

Прония – земельное владение, выделяемое пожизненно за военную и административную службу.

С. 233

Симонида – дочь византийского императора Андроника II, браком с ней Милутин закрепил мир с Византией, заключенный в 1299 г.

С. 236

Коло – *букв.*: круг. Народный танец наподобие хоровода. Коло пляшут, взявшись за руки или за пояс*.

Мария Иаковлева – мать апостола Иакова, согласно Евангелию присутствовавшая при казни Христа*.

С. 237

Воловье Око – одна из звезд созвездия Большая Медведица.

С. 250

Растег – старинная мера длины, около 185 м.

С. 262

Один я, без Ераста... – Тимофей и Ераст – ученики апостола Павла, посланные им для проповеди христианства в Македонию (Деяния апостолов, 19:22).

С. 273

Дукс – правитель византийской провинции или города.

С. 274

Тодорова суббота, Тодорица – первая суббота пасхального поста, праздник коней и воинов.

С. 280

Панагия (*греч.* всесвятая) – небольшая икона Богоматери, нагрудный знак архиереев, внутри которой иногда хранились мощи.

С. 286

Исаак II Ангел (1185–1204) – византийский император, свергнутый и ослепленный своим братом Алексеем III.

С. 289

...никогда он не встанет за чуждый Рим... – Аллюзия на слова римского трибуна Тиберия Гракха, произнесенные им в 133 г. до н. э. "И дикие звери в Италии имеют логова и норы, куда они могут прятаться, а люди, которые сражаются и умирают за Италию, как кочевники, бродят повсюду с женами и детьми". Парафраз этих слов имеется в евангелиях – от Матфея, 8:20 ("И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову"), и от Луки, 9:58.

С. 296

Роман Сладкопевец (род. в конце V в., ум. после 555 г.) – византийский поэт, гимнограф и музыкант*.

Иоанн Дамаскин (ок. 675–753) – византийский богослов, первый систематизатор христианского вероучения, представитель греческой патристики*.

Касия – принявшая монашество византийская поэтесса (IV в.).

Буколеон и Магнавра – византийские дворцовые залы, выделенные для университетских занятий*.

С. 324

Кламис – царский плащ.

С. 325

Опинки – крестьянская обувь из сыромятной кожи*.

С. 328

Стефан Душан (ок. 1308–1355) – король Сербии, царь сербско-греческого царства из династии Неманичей. В 1345 г. провозгласил сербскую епископию патриархией. В 1349 г. издал Законник (т. н. Законник Стефана Душана)*.

Орхан (1326–1359) – турецкий султан, сын основателя Османского государства Османа I, завершивший завоевание византийских владений в Малой Азии*.

С. 334

Номисмы и перперы – византийские серебряные монеты (вес номисмы – 4,48 г).

С. 338

Логофет – в Византии одна из высших государственных должностей.

С. 341

Капище – языческий храм, молельня, кумирня.

Райя – букв.: стадо. Презрительная кличка христианских подданных Оттоманской империи.

С. 346

Византы – монеты византийской чеканки, имевшие в средневековье широкое хождение в Европе (французские безаны или безанты).

С. 350

Паримейники – здесь: сборники рассказов на сюжеты из христианской мифологии.

С. 373

Плеяды (Плиады) – семь дочерей Атланта, превращенные Зевсом в звезды в созвездии Быка.

С. 375

Иоанн VI Кантакузин (ок. 1293–1383) – византийский император в 1341–1354 гг. Будучи регентом малолетнего императора Иоанна V Палеолога (1341–1391), возглавил мятеж феодальной знати, которая провозгласила его императором (1347). После отречения от престола в пользу законного императора (1354) ушел в монастырь.

С. 378

Татарник – лук типа самострела.

С. 379

Аргивяне (аргивцы) – жители г. Аргоса, греки.

С. 383

Греческий огонь – зажигательная смесь, воспламеняющаяся при соприкосновении с водой. Применялась в раннее средневековье греками и арабами.

Зилоты (*греч.* ревнители) – политическая группировка в Фессалониках. В 1342 г. возглавили движение за автономию Фессалоник и при поддержке народных масс (особенно моряков) захватили власть в городе. В 1349 г. движение зилотов было подавлено византийским императором Иоанном VI Кантакузином с помощью турок.

С. 384

Мараканда – нынешний Самарканд.

С. 385

...потомок Педро Арагонского, в союзе с Михаилом Палеологом защищавший Византию от Карла Анжуйского. – Миха-

ил VIII Палеолог (1259–1282) – византийский император, отвоевал Константинополь у латинян и восстановил Византийскую империю. Карл, граф Анжуйский (ок. 1226–1285), брат Людовика XIV Французского, в 1282 г. овладел Неаполем и Сицилией, однако в Палермо вспыхнуло восстание против французов ("Сицилийская вечерня") и королем Сицилии был избран Педро III Арагонский (ум. в 1285 г.). За Карлом осталось Неаполитанское королевство*.

Аргункан – сын Абагакана, иранского шаха (вторая половина XIII в.).

С. 392

Лобзанием уст твоих... – начало библейской Песни Песней, авторство которой легенда приписывает Соломону, царю Иудейско-Израильского царства (X в. до н. э.)*.

Царь Лазар – сербский князь с 1371 г. Лазар Хребелянович (ок. 1329–1389), в фольклорной традиции именуемый царем, возглавил сербско-боснийское войско в битве с турками на Косовом поле (15 июня 1389 г.), попал в плен, был казнен.

Султан Мурад – турецкий султан Мурад I (ок. 1319–1389), погиб в Косовской битве, в которой турки одержали победу.

С. 396

...по земле с прошлого года разгуливает черная чума... – Речь идет о чуме, первая опустошительная вспышка которой произошла в Европе в 1348 г. Особенно сильная эпидемия была в 1360–1361 гг.

С. 402

...морская раковина на груди... – символ паломников, посещающих святые католические места.

С. 404

Братья по бичу или флагелланты (от *лат.* бичующиеся) – религиозное братство, выступившее против социального и духовного гнета феодалов и католической церкви. Возникло в Италии в 1210 г. Флагелланты подвергались самобичеванию в знак покаяния и "крещения кровью", дающего якобы искупление грехов. К XIV в. флагелланты распространились почти по всей Европе. В 1349 г. были осуждены церковью как еретики. Превратившись в замкнутую секту, постепенно прекратили свое существование.

С. 410

Адриан (76–138) – римский император (с 117) из династии Антонинов*.

С. 412

Перуника. – Южные славяне называют перуникой растения из семейства орхидеевых (ирисы, ятрышник и др.), некоторые из них использовались в магических или обрядовых целях.

С. 421

...что-то вроде Соломоновой ладанки. – В средние века царю Соломону приписывалось авторство сборника заклинаний духов и демонов ("Ключ Соломона"), их носили в виде амулета на шее, хранившего от зла.

С. 429

Велиал (Велиар) – в иудаистской и христианской мифологиях демоническое существо, дух небытия, лжи, разрушения. В Библии это имя чаще всего передается описательно; нередко встречается в апокрифах.

С. 449

Минадора – монахиня, жившая в монастыре Святого Никиты в первой половине XIX в.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Славко Яневский

МИРАКЛИ

ИБ № 5407

Редактор Р. ГРЕЦКАЯ. Младший редактор Е. КЛИМОВА. Художник Ю. ЦВЕТАЕВ. Художественный редактор С. БАРАБАШ. Технический редактор М. ЛУБЯНСКАЯ. Корректор Е. РУДНИЦКАЯ. Подписано в печать 26.01.90. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсет. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 49,25. Уч.-изд. л. 31,16. Тираж 50000 экз. Заказ № 1426. Цена 3 р. 60 к. Изд. № 6351. Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати. 119859, Москва, ГСП-3, Зубовский бульвар, 17. Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

3 р. 60 к.

МИРАКЛИ

СЛАВКО ЯНЕВСКИЙ